10.1977

Иностранная литература

ГЕНРИ ЛИНТОН (США). Одиночество

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1977

10 ОКТЯБРЬ

Содержание

ВЛАДИМИР ЧЕРКЕЗ — Руки (Стихи. *Перевод с сербско-хорватского Роберта Рождественского)* 3

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР — Превратности метода *(Роман. Окончание. Перевод с испанского Юрия Дашкевича)* 6

ГОР ВИДАЛ — Бэрр *(Роман. Окончание. Перевод с английского М. Брука и А. Файнгара под редакцией Е. Суриц)* 96

АНДРЕЙ ПЛАВКА — Полная чаша *(Перевод со словацкого Н. Аросевой)* 170

Литературное наследие

Из китайской классической поэзии
(Перевод с китайского и вступление Л. Эйдлина) 193

Критика

РАДКО ПЫТЛИК — Книга, обращенная к сегодняшнему дню *(Вступление и перевод с чешского С. Востоковой)* 206

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ — Этика и космос (Свет и тени научно-технического прогресса в англо-американской научной фантастике семидесятых годов) 210

Литературные портреты

Г. ВАСИЛЬЕВА — Урок труда и любви Эжена Гильвика 219

Культура и современность

Заметки на полях

М. Шашкова — Документ эпохи 226

Публицистика

Во имя счастья человека (Зарубежные писатели о проекте Конституции СССР)

ПЕТЕР ШЮТТ — Два комментария к советской действительности 228

РОЖЕ ШАТОНЁ — Ответ родины социализма 231

Софийский дневник

Интервью, взятые Е. Стояновской у участников международной писательской встречи (В этом номере: Константин Симонов, Миколас Слуцкис, Пьетро А. Буттита, Ян Штевчек, Тибор Череш, Альфредо Гравина, Джон Чивер, Гор Видал, Чарльз П. Сноу) 233

Наши гости

Н. Булгакова — Николас Гильен. Луис Суардиас (Куба) ✦ А. Чугунова — Дан Хэуликэ, Ион Яноши, Аурел Мартин, Габриэл Димисяну (Румыния) 257

Антирубрика

Политическая сатира Вангелиса Павлидиса (Греция) 260

Из нашей почты

262

Среди книг

Издано в СССР

Захар Дичаров — Облик времени и душа народа ✦ Венгрия вчера и сегодня. С. Небольсин — Пядь земли, соль земли. А. Бочаров — Разные грани 264

Издано за рубежом

Поэзия родного дома. ✦ Франция: политика и фантастика. Л. Токарев — Сквозь призму легенды. Никита Разговоров — Неподвижное путешествие 269

К нашим иллюстрациям

Ю. БОЛЬШАКОВА — Гражданственность и лиризм 276

Из месяца в месяц

278

Авторы этого номера

286

На обложке: картина ЧАРЛЬЗА УАЙТА (США) «Только двое»;

© «Иностранная литература», 1977 г.

ВЛАДИМИР ЧЕРКЕЗ

Руки

Перевод с сербско-хорватского
РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Руки,
протянутые из колыбели.
Руки
в самом начале жизни
и руки в самом ее конце.

Руки,
сжавшие полумесяц серпа,
руки с короной звезд на ладони,
обнимающие ребенка
и протягивающие ломоть хлеба.

Руки
со следами бывших цепей,
набрякшие руки в рубцах от бича,
руки, вымытые в ключевой воде,
сжимающие винтовку.

Руки, трепещущие во сне,
разглаживающие дорогое письмо,
юные руки цветущей айвы,
добрые руки мамы моей,
вкусные руки ребенка.

Руки, поникшие от разлук,
горькие, страшные руки —
последний взмах,
последний привет
из сплошного огня и дыма.

Руки, разбросанные по стене
за пять минут до расстрела.
Пальцы, сжавшиеся в кулак,
вскинутый над виселицей.

Руки склонившейся медсестры,
сумрачные руки бойцов,
несущих убитого друга.
Руки людей, добывших победу,
в рубцах и ранах,
прикрытых цветами.

Мозолистые, крестьянские руки,
точные руки каменотеса,
руки, обнявшие нашу планету,
соединившие близкое с дальним,
уверенные руки пилотов,
плывущих среди удивительных звезд,
и твои, твои, любимая, руки
с душистой охапкой синих цветов.

Руки
в гриве гнедого коня!
Отраженные чистой гладью металла.
Руки, пробившиеся из земли
сквозь могильный холм — немыми костями,
и большие, пропахшие порохом руки
у сгоревшего дома
на перекрестках
сопротивления и страдания.

Руки, связанные веревкой,
руки, вытянутые вдоль тела,
успокоенные и оплаканные,
руки,
скрещенные на груди.

Руки на струнах веселых гитар!
Руки, мелькающие над барабаном!
Руки наших снов
и реальной жизни,
и твои, твои, любимая, руки
посреди травы,
посреди травы.

А еще —
тупые руки убийцы,
распростертые над кровавой ямой!
А еще —
изможденные руки голода,
руки долгой мольбы на кострах столетий.
Да не смоет время
людскую память!
Да не станет цепей
на руках человека!

Исцарапанные руки мальчишки,
ищущего птичьи гнезда.
Руки жниц, шершавые от колосьев,

и дубленые руки седых рыбаков,
пусть вас этим утром согреет солнце!

Швыряющие в пашню зерно,
кладущие камень в фундамент дома,
будто огромные стрелки часов,—
руки,
показывающие время!
Руки юных сборщиков урожая,
срывающие виноградную гроздь.

Эта тихая песня — во славу вашу,
человечьи руки,
руки людей.
В бесконечной жизни еще не раз
посредине вечного звездного неба
золотые слова о самих себе
вы напишете сами.

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

Превратности метода

РОМАН

Перевод с испанского ЮРИЯ ДАШКЕВИЧА

12

...Ведь есть какой-то обманщик, весьма могущественный и хитрый, который употребляет все свое искусство для того, чтобы меня всегда обманывать...

ДЕКАРТ

Телефонными звонками Доктор Перальта поднял министров с постели — после официального банкета, те, невыспавшиеся, у себя дома еще было изрядно добавили, пищеварения ради, и золотистого ликера «исарры», и зеленого «бенедиктина», и темно-лилового «шерри-бренди». Всем надлежало явиться на экстренное заседание Совета, назначенное на полдевятого утра, а там, конечно, кофе хватит, чтоб заспанным стряхнуть дремоту и заодно похмелье. По мере того как министры прибывали, на ходу пережевывая мятную резинку, потея от аспирина, проясняя глаза эликсиром, Мажордомша Эльмира препровождала их прямиком в ванную комнату Президента, где на месте каждый мог выразить свое возмущение зрелищем раздробленного фарфора, разбитых вдребезги зеркал, осколков флаконов и мыльниц в лужах одеколона; из биде, с вентилей которого были сорваны ключи, безудержные струи фонтанировали к треснувшему при взрыве потолку... «Ужасно... потрясающе... непостижимо... и подумать только, что чуть-чуть...» — «Я не хотел и заходить туда...— заявил Глава Нации с оттенком драматизма в голосе, когда все расселись по креслам.— Я не хотел и заходить туда — страшусь собственного гнева». Воцарилась длительная пауза, чреватая грозными последствиями. Затем, уже более спокойным тоном, он присовокупил: «Будем работать, господа».

Заседание открылось докладом секретаря, сообщившего о происшедшем, уточнившего час, обстоятельства и т. п. Капитан Вальверде, Шеф сыскной полиции, уже приступил к расследованию. Вчера, в связи с торжественным открытием Капитолия, президентская стража была переведена в Великое Полукружие, и охрана Дворца действительно оказалась недостаточной — на ответственных постах расста-

Окончание. Начало см. в № 9.

вили совсем неопытных солдат. Однако, как бы там ни было, никто из посторонних, не имевших отношения к дворцовой службе, к доверенному персоналу, после смены караула в здание не проникал. «Кроме того,— заметил Президент,— взорвавшаяся тут бомба не принадлежит к категории тех, что можно пронести с собой в кармане. Уже многие часы это находилось за ванной, и механизм был запущен. Речь идет не о любительской хлопушке, состряпанной на нитроглицерине, бездымном порохе или пикриновой кислоте,— в данном случае взрывное устройство сделано теми, кто в этом толк знает. По суждению эксперта, запах горького миндаля, до сих пор ощутимый, свидетельствует о познаниях преступников в технике...» Следуют одна за другой гипотезы: быть может, они из «Анархо-Синдикалистской Революции», еще месяцы назад рукой неизвестных выводились на городских стенах буквы «АСР»; либо, быть может, это приверженцы Доктора Луиса Леонсио Мартинеса, оказавшегося более проворным, чем мы предполагали, а в последнее время они значительно активизировались и, надо признать, весьма ловко привлекают к себе людей в столице и провинции... не то, быть может, это студенты: всегда они затевают заваруху, идут на всякого рода непотребство (а, кстати, почему бы не закрыть сегодня же университет Сан-Лукас?)... не то русские нигилисты («Чепуха»,— буркнул Президент)... не то агенты American Federation of Labor Сэмюэла Гомперса [1] (нет, не смейтесь...), которые недавно развернули революционную деятельность в северных районах Мексики. «А кроме того, Красная литература»,— вставил Министр просвещения. «Вот именно, Красная литература!» — хором откликнулись остальные. Однако Шеф сыскной полиции не усматривал какой-либо связи между происшествием на рассвете и распространением книг, как, например, той — из серии «Библиотека Барбадильо», что называется «Наслаждения Цезарей», которую ему только что показывали и в которой, на репродукции римских камей, можно было разглядеть фигуру императора Октавиана, ласкающего — да еще как! — свою дочку Юлию, а Нерон — на другой камее — был изображен выделывающим такое, что и словами нельзя описать из уважения к присутствующим. «Не об этом идет речь, и не о размалеванных картинках — в конце концов, вреда они никому не приносят,— заметил Министр просвещения,— а имеются в виду книги об анархизмах, социализмах, коммунизмах, о рабочих интернационалах, о революциях... «Красные книги» — так их называют повсюду».— «Не будем пустословить, господа, не будем пустословить,— заявил Шеф сыскной полиции, явно уязвленный.— Проблема значительно проще. Распространяются — и все об этом знают — отпечатанные типографским способом листовки, полные оскорбительных выпадов в адрес правительства, и написаны они в нашем, креольском стиле, а его ни с чем не спутаешь,— клевета все, конечно, но клевета такого рода, что обычно распускают силы оппозиции. И нет ничего общего с нигилистами, с анархо-синдикалистами, ни с людьми из... как это называется?..» — «Да, оттуда, вот как сказал сеньор, по-английски я не знаю»... Врагами попросту были затаившиеся политиканы, которые пытаются «бить в барабан», рассчитывая свергнуть правительство. «Они следили за нами, окружали нас в кольцо, а теперь — и это подтверждает происшедшее — начали военные действия в открытую. А поскольку война разразилась, то на войну надо отвечать войной»,— заявил он, выложив пистолет на стол. «Однако прежде чем объявлять войну, следует уточнить, где находятся враги»,— сказал Президент. «Поручите это мне. Я знаю, с кого начать. В моем

[1] С. Гомперс (1850—1924) — один из основателей и руководителей Американской федерации труда, правой профсоюзной организации США.

списке уже есть кое-какие имена. Если хотите, зачитаю...» — «Лучше нет, Капитан. А то по отношению к некоторым из названных я вдруг окажусь слишком мягок. Вам оказываю все мое доверие. Действуйте. Быстро и энергично. Мы друг друга понимаем».— «И даже одна ошибка, несомненно, была бы достойна сожаления»,— произнес Перальта. «Errare humanum est» [1],— назидательно заключил Глава Нации по-латыни, заимствованной из Малого словаря Лярусса. И чтобы оживить лица своих министров, вымученные пережитыми треволнениями и бессонной ночью, он распорядился принести несколько бутылок коньяку. «Залпом»,— сказал он, наливая себе рюмку. «Бесспорно»,— откликнулись хором остальные... Уже прибыли каменщики и водопроводчики, которым надлежало отремонтировать ванную комнату; с собой они принесли инструменты, паяльники, кафельные плитки. «Так или иначе, посмотрите насчет Красной литературы»,— обратился Глава Нации к Шефу сыскной полиции, однако тон президентского голоса не подчеркивал особого значения сказанного. «Не беспокойтесь, сеньор, у меня есть люди, разбирающиеся и в этом»,— ответил Капитан Вальверде и тут же простился с похвальной торопливостью того, кто спешит перейти от слов к делу. «Отличную облаву устроим сегодня на германофилов»,— заметил Перальта.

Редким и неожиданным спектаклем поразил жителей столицы тот день. Было что-то около двух пополудни. А поскольку подошел час возвращения чиновников в свои конторы, и час подачи десерта в ресторанах, и час чашечки кофе на открытом воздухе под тентами «Тортони», «Хуторка», «Маркизы де Севинье» — как с недавних пор ввели тут в моду, взяв за образец Париж,— то улицы города уже кишели народом. На улицах, переполненных людьми, под пронзительный вой сирен внезапно появились Черные клетки на колесах, похожие на огромные зарешеченные коробы, на задних подножках которых с мрачным видом стояли охранники, сжимая в руках винтовки. Вскоре стало известно, что эти зловещие фургоны, недавно приобретенные правительством, должны заменить примитивные, запряженные мулами тюремные рыдваны — «птичьими клетушками» их прозывали,— предназначенные подбирать пьяниц, воров и педерастов. Одновременно бросался в глаза небывалый в городе наплыв полицейских. Беспрерывно шныряли мотоциклы. Там и тут неожиданно высовывали нос детективы, правда, быстро распознаваемые по непомерным их усилиям «не привлекать к себе внимания»,— да и одеты они были не то под коммивояжера, не то под Ника Картера, что уже само по себе не оставляло места для сомнений. А тут еще сирены — оглушающие, тревожащие — перекликались из квартала в квартал, раздавались над крышами домов, над дворами, вызывая панику голубиных стай, метавшихся меж высоких модерновых зданий. «Что-то произошло,— толковали в замешательстве люди,— что-то произошло». И многое происходило, действительно многое произошло в тот день, час от часу все более хмурившийся, сеявший теплую изморось. В полтретьего Вице-ректор университета вещал с кафедры о номинализме и волюнтаризме Уильяма Оккама [2], когда полиция вторглась в аудиторию, арестовав его, захватив с собой всех слушателей за то, что они пытались протестовать против произвола. Затем, заняв факультет гуманитарных наук, полицейские к новым тюремным машинам увели — грубо толкая, награждая пинками — еще восьмерых профессоров. Капитан Вальверде, которому надоело выслушивать напоминания о многовековых привилегиях и о праве на университетскую автономию, ударом кулака свалил Ректора в фонтан центрального патио,

[1] Человеку свойственно ошибаться *(лат.)*.

[2] У. Оккам (1285—1349) — английский философ и богослов.

и ученый муж рухнул вместе с традиционной шапочкой, традиционной мантией и прочими академическими атрибутами, чем тщетно пытался было внушить захватчикам уважение к собственной персоне... В три часа полицейские под командованием Лейтенанта Кальво, назначенного экспертом, ворвались в книжные магазины, где публике предлагались в массовых изданиях такие книги, как «Красная неделя в Барселоне» (брошюра о гибели анархиста Феррера), «Шевалье Красного замка», «Красная лилия», «Красная заря» (Пио Барохи), «Красная Дева» (биография Луизы Мишель), «Красное и черное», «Красная буква» Натаниэла Готорна [1],— все, что представляло, по заключению эксперта, Красную литературу, революционную пропаганду, во многом повинную в событиях, подобных происшедшим накануне во Дворце. Книги, сброшенные в фургоны, были отправлены в печь для сжигания мусора, построенную не так давно за городской чертой. «Захватите попутно и «Красную Шапочку!» — кричал вне себя от возмущения один из книготорговцев. «Ты арестован, тоже мне остряк нашелся»,— заявил Лейтенант Кальво, препоручая его полицейскому... А позже — было уже около пяти пополудни — начались обыски в домах: полицейские, будто обрушившиеся с неба, бегали по крышам, влетали в патио, вносились в кухни, взламывали двери, заползали под кровати, шарили в шкафах, перевертывали ящики, вскрывали чемоданы — под плач женщин, вопли детей, проклятья бабок, под взрывы бешенства патриарха семьи...

Наступил вечер, однако не прекратился поток сумбурных слухов об арестах, задержаниях, исчезновениях «подрывных элементов», германских агентов, социалистов-германофилов, хотя в городе, казалось, жизнь продолжалась в привычном ритме. Загорались светящиеся рекламы вина «мариани» и медицинских препаратов, зазвенели звонки в кинематографах, и в то же время в кафе и барах люди безуспешно перелистывали вечерние выпуски газет, в которых говорилось обо всем, но только не о том, чего все ждали. Похоже, и Черным клеткам была дана передышка. Оркестр пожарников в беседке Центрального парка, как всегда по четвергам, сыграв марш «Sambre et Meuse», исполнял балетную музыку из оперы «Самсон и Далила», пасодобли боя быков. По самым злачным улицам — Сан-Исидро, Ла Чайота, Эль Манге, Экономиа, Сан-Хуан де Летран...— фланировали завсегдатаи. Но как только часы пробили одиннадцать, началось — внезапное, дикое — наступление на бордели, ночные игорные притоны, таверны, салоны танцев, где еще звучали скрипочки и гитарки. Всех, кто не смог подтвердить, что он принадлежит к государственным служащим или кадровым военным — некоторые даже не успели одеться,— заталкивали в армейские грузовички и свозили в древнюю Центральную тюрьму; камеры, коридоры и внутренние дворы ее уже были битком набиты арестованными... А когда рассвело, террор в городе господствовал. Аресты не прекращались. Вновь разъезжали Черные клетки. И, однако, тем вечером, несмотря на террор и все ему сопутствующее, Мажордомша Эльмира, приводившая в порядок библиотеку в зале Совета Министров, обнаружила за «Всеобщей историей» Чезаре Канту подозрительную банку от «animal-crackers»[2], которая при досмотре оказалась бомбой грубой кустарной работы,— своевременно успел

---

[1] «Шевалье Красного замка» — роман А. Дюма-отца (1803—1870); «Красная лилия» — роман А. Франса (1844—1924); Пио Бароха (1872—1956) — испанский писатель; Л. Мишель (1830—1905) — участница Парижской коммуны, была прозвана Красной Девой Монмартра; «Красное и черное» — роман Стендаля (1783—1842); Н. Готорн (1804—1864) — американский писатель (в русском переводе его роман назван «Алая буква»).

[2] Печенье для животных *(англ.)*.

обезвредить ее один из охранников Дворца, учившийся на пиротехника. «Придется гайки подвернуть покрепче»,— прокомментировал Перальта.

С годами уплотнялись стенки артериальных сосудов Главы Нации, да и в глазах его обнаружилось какое-то странное расстройство — перестал он видеть в третьем измерении, к тому же очками никогда не пользовался и при чтении в них не нуждался. И теперь то или иное, близкое либо далекое он видел как п л о с к о с т н о е изображение, лишенное объема, наподобие образов готических витражей. И так же, как фигуры на готических витражах, он рассматривал каждое утро людей регламентированного цвета — этот черно-синий, тот бело-золотой, третий в желто-песочном мундире,— и все они докладывали ему о своем труде, выполненном в течение предыдущего дня или за ночь, проведенную в полицейском комиссариате и тюремных камерах, в военных казармах и подземельях, чтобы вырвать слово, имя, адрес, нужные сведения у тех, кто упорно не хотел говорить. Это был перечень тех, кого с головой погружали в воду и в нечистоты, подвешивали... это был каталог клещей, палок, жаровен... это были видения из жизнеописаний святых великомучеников, картины кары божьей, павшей на богоотступников, отражение пыток на гигантском витраже отдаленного сияния над Вулканом-Покровителем. После слов «Большое спасибо, господа» осколками рассыпался первый витраж, исчезали синие, белые и желтые цвета первоначальных сцен и через другую дверь появлялись, размещаясь во втором витраже, Подслушивающие и Подсматривающие, Выглядывающие, Выслушивающие, Раздувающие, Развлекающие, Притворяющиеся, мастера в опознаниях и искусники в дознаниях, которые не только доносили о том, что удалось им уловками заполучить, подхватить на лету злокозненное высказывание, порой уразумев лишь наполовину, намотать его себе на ус во время дипломатического приема, у стойки бара, в интимности алькова — вездесущие, незаметно проникающие всюду Стеклянные гости либо, если нужно, Каменные гости, прощелыги, пройдохи, однако порой располагающие к себе...— кроме того, они были Стражами над Стражами, Дозорными за Плутами, запоминавшими также все, что изобретали, замышляли, подстраивали сами сподвижники, сотрапезники, сородичи Главы Нации под прикрытием его Высокой тени. Вот так, выслушивая своих людей, подглядывающих и вынюхивающих, он вникал — подчас с возмущением, подчас с усмешкой — в разнообразнейшие и живописнейшие темные делишки, что творились за его спиной: сделка о строительстве моста через реку, которой не было на картах; сделка о муниципальной библиотеке, в которой не бывало и нет книг; сделка о племенных симментальских быках из Нормандии, которые никогда не пересекали океан; сделка об игрушках и букварях для детских садов и школ, которые не существовали; сделка о сельских домах материнства, в которые никогда не могли бы попасть крестьянки, рожавшие, следуя вековым обычаям, на табурете без сиденья, ухватившись за веревку, спускавшуюся с потолка, и натянув на свою голову сомбреро мужа, чтобы родился сын; сделка о километровых столбах из камня, которые так и остались лишь нарисованными на бумаге; сделка о порнографических кинофильмах, проданных в банках из-под «Квакерской овсянки» — «Quaker-Oat», сделка о «Китайской шараде» («jeux des trente-six bêtes» [1], как назвал ее барон де Дрюмон, привезший в Америку кантонское лото с нумерованными изображениями животных), ею занималась Бригада национальной полиции по борьбе с азартны-

[1] «Игра в тридцать шесть скотов» *(франц.)*.

ми играми; сделка об «эректиле» — корейском ликере с кóрнем женьшеня в бутылке (на самом деле настоянном на лиане-гараньоне из Санто-Доминго, черепашьем порошке и экстракте шпанской мушки); сделка об автомате «jackpot»-монетоглоте, присвоенном Начальником тайной полиции; сделка о документах, подтверждающих дату и место рождения ad perpetuam memoriam [1] для тех, у кого «interdits de séjour» [2], и для выходцев из французской Кайенны, горящих великим желанием стать нашими соотечественниками; сделки об астрологических консультациях, ясновидении, хиромантии, гадании на картах, гороскопах по переписке, индийской мистике — все это было запрещено законом и во всем этом был замешан Министр внутренних дел; сделка о принадлежащих Капитану Вальверде «Галантных живых картинках», допускаемых на ярмарках и в луна-парках; сделка о каталонских открытках — менее изысканных по сравнению с французскими, как утверждают знатоки,— чем увлекался Лейтенант Кальво; сделка об «Освященных простынях для новобрачных» («Draps bénis pour jeunes mariés» — именно так!), выделывавшихся в Париже, в аристократическом квартале Марэ, и предназначавшихся в приданое каждой христианской невесте... Развлекаясь и возмущаясь — но чаще развлекаясь, чем возмущаясь,— созерцал по утрам Глава Нации эту панораму жульнических проделок и комбинаций, поразмыслив, что самое лучшее, чем можно вознаградить верность и рвение своих людей, так это выдать им соленое креольское словечко. Тем более он не был — и никогда не бывал — сторонником мелочных сделок. Владелец предприятий, управляемых через подставных лиц, он представал Властелином рыб и хлебов, Патриархом посевов и отар, Повелителем ледников и Повелителем родников, Господином путей сообщения по воде и по суше — многообразны были сочетания коммерческих знаков и символов консорциумов, торговых фирм, неизменно анонимных обществ, не знающих ни убытков, ни краха.

И все же, созерцая свои утренние витражи, Глава Нации не мог не обратить внимания на то, что, вопреки террору, проводимому после взрыва во Дворце первой бомбы, стало давать о себе знать н е ч т о — некая сущность, которой его людям ни схватить, ни убить, что ускользало из их рук, чему не могли положить конец ни аресты, ни пытки, ни введение осадного положения. Это н е ч т о бурлило в недрах, в земных глубинах, возникало в неведомых городских катакомбах. Нечто новое заявляло о себе по всей стране, его проявления нельзя было предусмотреть, и нельзя было раскрыть его существо — Главе Государства такое казалось совершенно необъяснимым. Похоже, что и сама по себе обстановка изменялась под воздействием какой-то неосязаемой пыльцы, притаившегося фермента, убегающей, ускользающей, скрытой и все-таки выказывающей себя силы, молчаливой, хотя с живым пульсом кровеносной системы — в ежедневном выпуске подпольных листовок, манифестов, прокламаций, памфлетов, печатаемых на бумаге карманного формата в типографиях-призраках («...неужели вы не способны установить местонахождение столь трудно скрываемого, столь шумного заведения, как типография?» — кричал Глава Нации по утрам в те дни, когда его распаляло бешенство). В листовках уже не оскорбляли его по-креольски, на жаргоне трущоб и пустырей, с игрой слов и дешевыми остротами, как бывало ранее,— теперь его клеймили Д и к т а т о р о м (и слово это ранило куда глубже, чем любой грязный эпитет, любое нецензурное прозвище: ведь такое слово было разменной монетой за границей, прежде всего во

[1] На вечную память *(лат.)*.
[2] Запреты на жительство *(франц.)*.

Франции!). Без прикрас, в резких выражениях листовки разоблачали перед народом многое: намерения, сделки, решения, физическое устранение неугодных..— все, что ранее никогда не стало бы достоянием посторонних.. «Но... кто, кто кто публикует эти листки, эти пасквили, эту гнусную клевету?»— кричал каждое утро Глава Нации перед всегдашними витражами обливавшихся потом, судорожно морщившихся в полном отчаянии доверенных лиц, бессильных найти ответ. Что-то лепетали и синие, и белые, и желтые — подчиненные регламентарных цветов; что-то отмечали за ними запутавшиеся вконец, потерявшие ориентировку, изрядно слинявшие за это время Собратья по опознаниям и дознаниям, хотя и сходились все на одном: нужно немедля устранить Кружили вокруг текстов, искали виновных меж строк Нет, конечно, это были не анархисты — они поголовно арестованы, не приверженцы Луиса Леонсио Мартинеса — они сидят в разных тюрьмах страны; и, конечно, не трусливые оппозиционеры других мастей — каждый из них зарегистрирован в полиции, находится под наблюдением, а главное — они не располагают необходимыми техническими средствами, чтобы содержать подпольную типографию постоянно и активно действующую... И так получилось, что путем предположений, гипотез, брошенных на ковер подсчета возможностей, сочетая отдельные буквы, как кусочки в английской головоломке — puzzle, добрались до слова К-О-М М-У-Н-И-З-М; последнее, что пришло на ум... «В конце концов,— об этом размышлял вслух Глава Нации, оставшись наедине с Перальтой,— мы, как, впрочем, и все латиноамериканцы, ужасно любим охотиться за новинками. Едва разнесется что-то по свету — любая мода, любой продукт, любая доктрина любая идея, любая манера рисовать, писать стихи, высказывать бред собачий,— и тотчас же всё с восторгом подхватываем. Именно так было с итальянским футуризмом, как и с Жювенсией французского аббата Сури, с теософией и с бальными марафонами, с учением немца Краузе и вертящимися столиками. А ныне еще этот русский коммунизм — чужеродный, невероятный, осужденный всеми честными мыслителями после скандального Брест-Литовского договора.— ныне он протягивает свои щупальца к нашей Америке. К счастью сторонников не имеющей будущего доктрины, чуждой нашим обычаям, немного; во всяком случае, их деяния не очень-то заметны. Однако.» Однако эту доктрину только что определили возможным двигателем происходящего, и перед присутствующими вдруг возник пренебрегаемый доселе образ одного юноши по фамилии Альварес, не то Альваро не то Альварадо — досконально Перальта не мог вспомнить,— более известного как Студент; тот, который в одной из своих речей, на редкость агрессивной, заявил: «Во мне вы видите лишь еще одного студента обычного студента, Студента»; тот, который выдвинулся во время прошлых студенческих волнений Недавно агент-осведомитель слышал, как тот в хвалебном тоне говорил о Ленине, свергнувшем Керенского в России и начавшем там раздел богатств земель скота серебряных столовых приборов, женщин... «Так что надо разыскать его,— сказал Президент.— В лучшем случае, тут и найдем что-то». Однако привычный витраж каждого утра вскоре превратился в картину горя Невозможным оказалось схватить Студента. И поскольку за ним никогда не велось особого наблюдения — опасным юношу не считали, похоже, он интересовался скорее поэзией чем политикой,— то мнения экспертов службы безопасности насчет его внешнего вида, роста, физиономии корпулентности не совпадали Одни эксперты сообщали, что у него зеленые глаза, другие утверждали, что — карие; третьи убеждали, что он атлетического сложения, четвертые уверяли, что человек хилый и болезненный. По

записи в университетском матрикуле — ему 23 года, сирота, сын школьного учителя, погибшего во время бойни в Нуэва Кордобе. Так или иначе он должен был находиться в городе: нагрянув в его убежище, полиция обнаружила неубранную постель, свидетельствовавшую о недавнем пребывании тут владельца, а также наполовину опорожненную бутылку пива, сожженные бумаги, окурки сигарет; однако на полу лежала книга, а именно — первый том «Капитала» Карла Маркса, купленный, как можно заключить по наклейке, в книжном магазине «Атенеа» Валентина Хименеса, ныне находящегося под арестом за продажу Красных книг. «В точку! — воскликнул Глава Нации, узнав обо всем.— Кретины забирают «Красное и черное» и «Шевалье Красного замка», а на витринах оставляют более опасные книги!» Вспомнив, что Именитый Академик, там, в Париже, однажды говорил ему о «марксистской опасности», о «марксистской литературе», Глава Нации приказал Перальте («более интеллигентному, чем эти паскудные детективы,— не напортит...») собрать и доставить всю литературу такого толка, сколько отыщется в городе... Два часа спустя на столе президентского кабинета были разложены тома—Маркс: «Классовая борьба во Франции с 1848 г. по 1850 г.», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Гражданская война во Франции (1871 г.)». «Ба!.. все это предыстория»,— сказал Глава Нации, отодвигая книги небрежным жестом. Маркс и Энгельс: «Критика Готской и Эрфуртской программ»... «Это, по-моему, памфлет против европейской аристократии... Гота, как ты знаешь,— некая разновидность ежегодного телефонного справочника принцев, герцогов, графов и маркизов»... Энгельс: «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»... «Не верю, что такое может сбить с толку наших трамвайных вагоновожатых»... Маркс: «Заработная плата, цена и прибыль».

И Президент стал читать вслух: «...определение стоимости товаров *относительными количествами фиксированного в них труда* есть нечто совершенно отличное от тавтологического метода определения стоимости товаров стоимостью труда или *заработной платой...*» — «Что-нибудь понял? Я — ничего». Маркс: «К критике политической экономии»... Полистал взятый наудачу том и со смешком заметил: «Э, да тут стихи по-английски, стихи по-латыни, стихи по-гречески... Посмотрим, может, этим подучат Мажордомшу Эльмиру («Меня, видно, считают большей дурехой, чем есть на самом деле»,— буркнула та, задетая за живое...). Все еще посмеиваясь, он взял другой том: «Ага! И знаменитый «Капитал»!.. Ну-ка, взглянем:

«Первый метаморфоз товара, его превращение из товарной формы в деньги, всегда является в то же время вторым противоположным метаморфозом какого-либо другого товара, обратным превращением последнего из денежной формы в товар...

Д — Т, т. е. купля, есть в то же время продажа, или Т — Д; следовательно, последний метаморфоз данного товара есть в то же время первый метаморфоз какого-либо другого товара. Для нашего ткача жизненный путь его товара заканчивается библией, в которую он превратил полученные им 2 фунта стерлингов. Но продавец библии превращает полученные от ткача 2 ф. ст. в водку. Д — Т, заключительная фаза процесса Т — Д — Т (холст — деньги — библия), есть в то же время Т — Д, первая фаза Т — Д — Т (библия — деньги — водка)».

«Единственно, что для меня здесь ясно, так это — водка,— сказал Глава Нации, пребывая в отличнейшем настроении.— И сколько же стоит этот немецкий томище?» — «Двадцать два песо, сеньор».—

«Пусть тогда его продают, пусть продают, пусть продолжают продавать... И двадцати двух человек не найдется во всей нашей стране, чтобы заплатили двадцать два песо за этот том, который весит тяжелее, чем нога покойника... Т — Д — Т, Д — Т — Д... Меня квадратными уравнениями не свергнуть...» — «А вот взгляните-ка на это»,— сказал Перальта, вытаскивая из кармана тонкую брошюрку «Разведение красных род-айлендских кур». «А какое это имеет отношение к остальному? — спросил Президент.— Нам никогда не удавалось акклиматизировать американских кур. Ни породы нат-пинкертон с перьями на лапах, ни леггорны, которые там, в Штатах, несут больше яиц, чем дней в году, но у которых, не знаю почему, здесь зажимается яйцеклад, и выпускают они не более четырех в неделю, а красных род-айлендских пулярок сразу же, как поступят к нам, сжирают вши».— «Откройте, книжечку, Президент, и вглядитесь хорошенько...» Маркс и Энгельс: «Манифест Коммунистической партии»...— «Ах, дьявольство, вот это иное дело!» И, нахмурившись, охваченный подозрениями, он принялся читать: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские...» Воцарилось молчание. Затем он произнес: «Как всегда, иероглифы или предыстория. Священной... Священный альянс (не после ли падения Наполеона?), и папа, который никого не беспокоит, и Меттерних, и Гизо (а кто помнит здесь, что существовали некие сеньоры по имени Меттерних и Гизо?), и русский царь (который из них? Даже я не смог бы сказать...) ...Предыстория... Чистая предыстория». Перелистнув страницы и добравшись до последних строк брошюры, изданной в обложке пособия по птицеводству, он задержался, размышляя над фразой: «Одним словом, коммунисты повсюду поддерживают всякое революционное движение, направленное против существующего общественного и политического строя...» Воцарилась на этот раз длительная пауза. Наконец, Глава Нации проговорил: «Всегдашний анархизм, бомбы в Париже, бомбы в Мадриде, покушения на королей и на королев, анархо-синдикализм, коммунизм, АСР, Т — Д — Т, Д — Т — Д, П.О.С.Д.Р., И.М.К.А. Беспорядок в алфавите, быстрое приумножение сокращений — свидетельство упадка наших времен. И все-таки насчет разведения красных род-айлендских... Ловко придумано... Красные — Red... Надо все конфисковать, надо засадить в тюрьму каждого, кто распространяет такую птицеводческую литературу... Кроме того... кроме того... но... что это такое?..»

Было уже три часа пополудни. Торжественно, медленно, размеренно начал отбивать колокол кафедрального собора. И, как бы отзываясь на первый удар тяжелого языка-молота по величественной литургической бронзе мощного колокола — прародителя колоколов-детей, детишек-колокольчиков, зазвенели чистыми, звонкими голосами еще не пострадавшие от трещин и царапин колокола Голубиной часовни там, наверху, у самой кромки снегов Вулкана-Покровителя, и голоса их подхватили сопрано Сан-Висенте де Рио Фрио, баритоны Тарбских Сестриц, колоратура карильона Иезуитов, контральто Сан-Дионисио, basso profondo [1] Сан-Хуан де Летрана, серебристое сольфеджио Святой Девы-путеводительницы, воспламенив празднество звона и трезвона, вызваниваний и перезваниваний, радости и наслаждения, и за колокольные веревки цепко хватались, приподнимаясь, приседая, отталкиваясь пяткой от земли, чуть не взлетая в воздух, звонари и пономари, капуцины и семинаристы, ловко опять отпру-

[1] Глубокий бас *(итал.)*.

живаясь, и снова вздымаясь, и снова опускаясь в ритме шумного прибоя, накатывавшегося и обрушивавшегося с высоких башен-звонниц. От Севера до Юга гремел концерт, от Востока до Запада выступали концертанты, погружая город в чудесную полифонию звуковых колебаний, переливов и перестуков, тогда как сирены фабрик, клаксоны автомашин, сковородки, по которым ударяли ложками и поварешками, кастрюли, консервные банки — все, что звучало, звук отражало, звуком оглушало,— все будто вздыбилось над узкими древними улочками и над широким асфальтом новых авенид. Теперь загудели паровозы, завыли пожарные машины, зазвенели медью трамвайные звонки. «Война окончена!» — закричал, ворвавшись без предупреждения, Министр иностранных дел и тут же схватил бутылку рома «Санта Инес», стоявшую на столе меж книг,— ее только что раскупорили Глава Нации и его секретарь, в полной уверенности, что никто их здесь не заметит. «Война окончена. Цивилизация победила силы Варварства, Латинидад — силы Германизма. Эта победа — наша победа!..» — «Ну и влипли,— проронил Президент вполголоса.— Вот именно, сейчас мы влипли...» Ученики, освобожденные от уроков, выскакивали с криками и песнями из школ. Веселые девушки с улицы Ла Чайота, с улицы Экономиа, с улицы Сан-Исидро заполонили тротуары, щеголяя лотарингскими чепцами или черными эльзасскими лентами, завязанными в банты. «Война окончилась!.. Война окончилась!..» Ремесленники, каменщики, настройщики роялей, ростовщики, стрелочники, уличные торговцы манго и тамариндами, женщины, растиравшие нежные початки маиса, спортсмены в пестро размалеванных теннисках, продавцы мороженого, органисты в широких блузах, рабочие муниципальной службы очистки улиц. профессора в накрахмаленных манишках, химики, сахаровары, натурщики, теософы, букмекеры с ипподрома, исследователи. спириты, сотрудники лабораторий, гомосексуалисты с гвоздикой во рту, фольклористы, люди из книжных лавок, люди из игорных домов, люди науки в академических мантиях и шапочках — все шествовали, в радостном возбуждении восклицая: «Война окончилась!.. Война окончилась!..» Замелькали газетчики, выкликавшие специальные выпуски экстренных номеров с «шапками», набранными шрифтом в шестьдесят четыре пункта: «Война окончилась... Война окончилась...» Студенты разузнали, что полицией принято благоразумное решение по случаю такого торжества не придираться к ним, и шумной толпой высыпали на улицу; от университета Сан-Лукас они тащили на плечах деревянную платформу, на которой макет мула в остроконечной каске и с германским флагом на холке, приводимый в движение проволочками, взбрыкивал под ударами сабли марионетки в форме маршала Франции — червонной масти с трехцветной лентой. Кортеж пел:

Кайзер на дыбы встает,
Жоффр его нещадно бьет...

Несколько раз по Центральному парку пронесли веселую аллегорическую композицию с Жоффром в красных штанах. Останавливались лишь перед Президентским дворцом. Затем двинулись по бульвару Республики — к Верхнему городу. А священнослужители из храма святой Девы-путеводительницы вынесли паланкин со статуей Богоматери под широкой, переливающейся блестками, парчовой мантией — с победоносным видом Дева попирала ногами зеленого, извивающегося в агонии дракона, снятого с алтаря святого Георгия; на демонической морде дракона виднелась картонка с жирно выведенны-

ми тушью буквами: «ВОЙНА». Окружившие статую Пречистой с драконом женщины пели старинную деревенскую песню:

Пресвятая дева Мария,
Избавь нас от всякого зла
И упаси, Богоматерь,
От этого бесовского пса.

По улице Коммерции уже возвращались студенты со своим мулом и маршалом, дергавшимися на проволочках,— отстукивали такт мараки, выстреливали хлопушки:

Кайзер на дыбы встает,
Жоффр его нещадно бьет...

Тем временем прихожанки святой Девы-путеводительницы вступали на улицу Серебряных Дел Мастеров, чтобы, поднявшись по Градильяс, направиться на бульвар Огюста Конта.

Дева взяла мачете,
Чтобы демона покарать,
А бес четвероногий
В чашу успел ударить.

«Мы влипли!» — сказал Глава Нации, наблюдавший за всем происходившим без особого воодушевления, даже нахмурив брови. «Но, Президент, ведь это триумф Разума, триумф Декарта...»— «Вот увидишь, Перальта, для нас это будет означать падение цен и экспорта сахара бананов кофе чикле и сока балата. Кончились годы Жирных коров... И еще будут твердить, что мое правительство ничего не сделало ради процветания страны».

Кайзер на дыбы встает,
Жоффр его нещадно бьет...

«Распорядись устроить официальный банкет посолиднее, отпразднуем победу святой Женевьевы над гуннами, Жанны д'Арк над Клаузевицем, святой Девы-путеводительницы над Международным Коммунизмом. Теперь вернутся аисты Анси на крыши Кольмара и зазвучит прославленный горн Деруледа... Декарт выиграл войну, а мы... утерлись...»

Пресвятая дева Мария,
Избавь нас от всякого зла...

«...И все-таки еще не утрачена возможность отрезать последний кусочек от пирога во всей этой шумихе. Пока у народа еще есть деньжата, объявим массовый сбор средств на Восстановление пострадавших от войны районов Франции... Отправь телеграмму Офелии. Сообщи ей, чтобы она приезжала сюда как можно скорее. Пока что мы сможем воспользоваться ее платьем сестры милосердия французского Красного Креста ..»

И уже не слишком-то интересуясь уличными сценами, далекий от всеобщего ликования, охваченный ностальгией, преисполненный затаенной грусти Глава Нации завел граммофон с рупором, дремавший в углу его кабинета,— предпочел послушать пластинку Фортюжэ:

Lorsque la nuit tombe sur Paris
La belle église de Notre-Dââme
Semble monter au Paradis
Pour lui conter son état d'âââme. .[1]

[1] И лишь падет ночь на Париж,
Как бы взлетает к небеса а-а-а-ам,
Чтоб о душе поведать от души,
Прекраснейший собор Нотр Д-а-а-а-ам... *(франц.)*

13

Кампания по сбору средств для Восстановления пострадавших от войны районов Франции оказалась великолепнейшим по своей выгоде мероприятием, не только принесшим дополнительные доходы — насколько огромные, настолько бесконтрольные,— но и возродившим престиж страны и ее мудрого правительства в той Европе, которая была полностью поглощена собственными проблемами возвращения к мирной жизни и которой было не до того, чтобы еще помнить о ничтожных, чужих, сугубо местного значения событиях эпохи, канувшей уже в туманную даль, задолго до исторического месяца августа, что перевернул все на свете [1]. Офелия, одетая в платье сестры милосердия, перевозила из города в город, из музея в музей выставку гравюр, рисунков, плакатов и выразительных фотографий, запечатлевших опустошенные поля, вымершие деревни, воронки от мин, разрушенные соборы и простиравшиеся за горизонт ряды крестов. «Они просят у тебя школ для своих детей» — можно было прочесть под скорбной панорамой военного кладбища. «Верните мне обитель мою» — можно было прочесть у подножия распятого Христа, пронзенного пулями...

Между тем до умопомрачения расхваленное процветание, усердно разжигаемое необузданными устремлениями дельцов, сопровождалось все нараставшей волной спекуляций и мотовства, тогда как облагодетельствованные и пособлявшие им пренебрегали мрачными предсказаниями экономистов, пуританских ненавистников веселья, чьи одинокие голоса расчетливых сибилл дисгармонировали с хором самонадеянно воспевавших блага жизни. С каждым днем расцветавшей жизни-фикции. Фикцией тут жили. Долго не раздумывая, они с головой окунались в грандиозную ярмарку химерических надежд, где царили неразбериха ценностей, инверсия понятий, смена вероятностей, уклонения с пути, притворство и превращения — вечные иллюзии, неожиданные преобразования, где все было поставлено с ног на голову в силу головокружительных операций Денег, что с вечера до утра меняли свой лик, вес и стоимость, не покидая кармана, точнее сказать — сейфа своего владельца. Ночами напролет проигрывали и выигрывали сказочные богатства в залах для баскского мяча и на бегах английских борзых. Ужинали в ресторане итальянской кулинарии «Villa d'Este» или в «Тройке» (это кабаре недавно было открыто первыми русскими белогвардейцами, добравшимися сюда через Константинополь) — и только в китайских харчевнях еще подавали традиционные местные блюда, ныне презираемые, как и альпаргаты либо романсы в исполнении слепцов: кантонские поварята поэтому почетно титуловались хранителями национального кулинарного мастерства.

Вернувшись к собственной давней мечте, ныне ставшей осуществимой, Глава Нации подумывал о возможности открыть Оперный театр в Городе-Опере, Столице Фикции, предоставив своим соотечественникам зрелище, подобное тем, что показывали в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро — центрах, взор которых неизменно прикован к искусству, которые не упускают из виду все рафинированное в Старом Свете. Поставить на сцене Национального театра «самое изысканное, что есть в мире», поручалось Адольфо Бракале, импресарио гастрольных турне по Америке, питавшему такую страсть к лирической драме, что оперы «Симон Бокканегра», «Манон» и «Лючия де Ламмермур» он привозил на разработки селитры в Чили, на банановые

[1] Имеется в виду начало первой мировой войны.

асьенды, в порты Юга и на каучуковые плантации Манауса в Бразилии, пересекая безлюдные плоскогорья, поднимаясь по рекам, высаживаясь на Больших и Малых Антильских островах — и непременно со своими исполнителями, своим гардеробом, своими декорациями; он был человеком, способным взять дирижерскую палочку, если маэстро заболевал малярией; он мог поставить «Мадам Баттерфляй» в сопровождении оркестра, состоявшего лишь из рояля, семи скрипок, флейты, саксофона, корнета, двух виолончелей и одного контрабаса, если не находилось под рукой других инструментов... И, таким образом, в одно прекрасное утро железнодорожным составом из Пуэрто Арагуато, прибывшим в столицу, доставлены были древние храмы, реторты алхимика, шотландское кладбище, несколько японских чайных домиков, Эльсинорский замок, стеклянный кувшин из Сан-Анджело, монастыри, гроты и тюремные подземелья — все в свернутом виде, сложенном, в отдельных кусках, из которых можно составить целое,— джунгли в рулонах, галереи и своды, расписанные на ткани; столько ящиков, что и двух поездов, следовавших один за другим, едва хватило для перевозки груза. И, наконец, к вечеру, третий поезд — с ультрамодерным вагоном-рестораном и меню по-французски — остановился у пассажирского вокзала, засверкавшего прославленными звездами, которые спускались на перрон под вспышки магния фоторепортеров, попадая под лавину цветов, приветственных речей официальных лиц, аплодисментов — соответственно лаврам каждого, под бренчание мандолин музыкантов из местной итальянской колонии. Первым появился великий Энрико Карузо в застегнутом жилете и с бриллиантом в галстуке, в светло-серой шляпе «борсалино» и с платиновыми запонками; приветливый, говорливый, добродушный, он, похоже, смешался перед бурными проявлениями энтузиазма, извержениями славословия: встал не там, где надо, вместо генерала приветствовал младшего капрала, «вашим превосходительством» назвал старшего грузчика, не заметил настоящего министра, зато обнял какого-то меломана с физиономией министра, раздал дюжины автографов, целовал детишек и был счастлив в этой обстановке, которая, видимо, напоминала ему неаполитанскую площадь в день народного празднества. Затем вышел Титта Руффо, драматически нахмуренный, с зычным голосом и крепкой фигурой, одетый в костюм из легкой тропической ткани «палм-бич», и казалось совершенно невероятным столь атлетический внешний вид увязать с истерзанной хрупкостью изображенного на афишах Гамлета, в томный облик которого он должен был вдохнуть жизнь на сцене спустя несколько дней. Из других вагонов спускались Лукреция Бори, сверкающая зубками и косметикой, уже вошедшая в роль Розины — в испанской черной юбке и с лилией в руках; и Габриэлла Безандзони — контральто с острым язычком, ее пышные формы так резко контрастировали с хилостью бледных североамериканских балерин, которые, засунув свои туфельки в прорезиненные чехлы, следовали за ней из президентского вагона; и Рикардо Страччиари — в замшевых перчатках и в черном сюртуке, будто прибывший на торжественные похороны родственника,— отвечал он на вопросы репортеров каким-то срывающимся, наигранным тоном; и худущий Мансуэто, долговязый, как учитель латыни из плутовской комедии, которому взбрело в голову появиться со шляпой дона Базилио под мышкой; и Николетти-Корман, которого уже видели в сорочке нараспашку, богохульствовавшего и подражавшего Шаляпину в «Мефистофеле» Бойто... День и ночь трудились над фрачным сукном и пикейными жилетами столичные портные, не выпуская из рук ножниц, тогда как портнихи порхали от примерки к примерке, чтобы закончить одно или поправить другое,

удлинить юбку, углубить декольте, сузить платье для отощавшей от какой-нибудь душевной страсти, распороть швы для тучнеющей, расширить пояс для оказавшейся в положении, осовременивания, модернизируя — подгоняя вышедшее из моды к линии последних моделей. Из участников студенческих музыкальных кружков и орфеонов создали хоры; взялись за работу лучшие музыканты страны, наконец собранные в оркестр, под управлением болонца чудовищного характера, который, не прерывая исполнения того или иного пассажа, выкрикивал указания в таком роде: «Фа-диез, козлище!.. Семиминима с точкой, ничтожество!.. Dolce ma non pederasta!..[1] (это в прелюдии к «Травиате»), Allegro con coglioni!..»[2] (это в увертюре к «Кармен») — и всечасно утверждал — следуя в этом самому маэстро Тосканини,— что лучше обретаться среди шлюх и сутенеров, чем общаться с музыкантами, хотя как раз с ними — по завершении очередной репетиции — он, обернув шею махровым полотенцем, направлялся в таверну «Рим», всегда очень оживленную, чтобы перехватить там несколько стопок рома «Санта Инес», разбавив его аперитивом «Ферне бранка»... В ожидании открытия сезона каждый вечер устраивались празднества в честь артистов из Ла Скала и Метрополитен-опера, которые, вечно уверяя, что они «не в голосе», в конце концов исполняли какой-нибудь романс из репертуара Пьедригротты или «Vorrei morire...»[3] Тости. А тем временем — под перестук молотков, под ворчание, проклятия, невзирая на несчастные случаи, сломанные декорации, испорченные крышки люков, несмотря на потерю пик, поврежденный реквизит, отсутствие забытой еще в Италии прялки, неподходящие рефлекторы, не поднимавшийся вовремя дым из преисподней, несмотря на нашествие крыс в артистические уборные, дизентерию, майские колики, цветы, вызывавшие у сопрано аллергию, несмотря на схватку между Мансуэто и Николетти из-за местных мулаточек, несмотря на порванные и возобновленные контракты, пощечину, нанесенную скрипкой-концертино второму фаготу, вопреки бесконечным жалобам, потере голоса у разных певцов, двум фурункулам, вызванным климатом, москитам, запачканным платьям, тропическим ливням, грыжам, новой потере голоса, волдырям и сыпям — был поставлен «Фауст», да на таком впечатляющем, запомнившемся всем уровне, что многое, наиболее примечательное, тут же превратилось в любовные серенады местных трубадуров и стихотворцев — к удивлению тех, кто не знал, откуда это пошло. Затем прозвучала великолепная «Кармен» с участием Безандзони и Карузо, хотя в акте с контрабандистами, из-за нехватки мушкетов, потерянных где-то во время переезда, хористы были вооружены винчестерами — но это могли распознать лишь знатоки. Позднее был показан «Севильский цирюльник», в котором Мансуэто представил дона Базилио таким смехотворным и кровожадным, что исполнение его превзошло игру Титта Руффо в роли Фигаро — в трактовке и в бравадах. «Травиата» Марии Баррьентос вознесла публику до высот эстетического наслаждения: «Застольную» пришлось исполнять трижды — овация мешала продолжать по партитуре; волнующая сцена между старым Жермоном и Виолеттой вызвала с трудом сдерживаемые рыдания, и под конец столько цветов было брошено на подмостки, что исполнители, выходя отблагодарить зрителей, были вынуждены топтать розы, нарды и гвоздики...

Триумфально сезон продолжался «Фавориткой» Доницетти, «Мартой» Флотова (одно из выдающихся достижений Карузо), «Гамлетом»

---

[1] Нежнее, но не под педерастов! *(итал.)*
[2] Веселее, не будьте евнухами!
[3] «Хотел бы умереть» *(итал.)*.

Амбруаза Тома́, «Риголетто» Верди и «Сомнамбулой» Беллини... Глава Нации чувствовал себя на седьмом небе. Опера изменила облик столицы. После спектаклей фешенебельные кафе заполнялись публикой, блиставшей самыми дорогими и самыми искрящимися из драгоценностей, самыми роскошными платьями,— эту публику с улицы, через окна, рассматривал народ, пораженный тем, что лишь на расстоянии протянутой руки находился, как говорят, великосветский мир: до сих пор его можно было лишь воображать, читая бульварные романы, смотря кинофильмы из жизни миллионеров либо разглядывая обложки «Ярмарки тщеславия» Теккерея в газетных киосках,— да еще столько наших женщин, столь модно одетых, со столь утонченными манерами, вдруг перенесено в сферы знаменитых портретистов Джона Сингера Сарджента или Жана-Габриэля Домерга. «Мы людей формируем, Перальта, формируем людей»,— повторял Президент, окидывая взглядом элегантное общество в партере, где в антрактах слышались лишь музыкальные термины: racconto, portamenti, fiato, tessitura, arioso... И все шло гладко до премьеры «Тоски», когда случилось нечто совсем непредвиденное: к финалу второго акта Флория вонзала кинжал в грудь Скарпиа — и галерка вдруг разразилась бурной овацией, оглушительной, настойчивой, беспрерывной, заставившей даже замолкнуть оркестр. До этого мгновения никто и ничего не пел, что могло бы вызвать подобный взрыв восторга, и обескураженное сопрано Мария Иерица — тем вечером был ее дебют — не знала, что предпринять, машинально помахивала канделябром над трупом, над Титта Руффо, донельзя пораженным, как и она. Наконец раздавшийся сверху выкрик: «Смерть шпикам! Долой Вальверде!» — прояснил значение прогремевшей овации, вынудив Тоску покинуть сцену. Перед оркестром, смолкшим в полном замешательстве, быстро опустился занавес; полиция, ворвавшись на галерку, хватала тех, кто не успел удрать по лестницам. На следующий день «Андре Шенье» Джордано ставили в театре, окруженном войсками; зрительный зал оказался в условиях военной оккупации — офицеры и генералы в парадной форме были стратегически дислоцированы по креслам и рядам, в ложах. Но даже при всем этом — лишь перед зрителями открылся акт заседания революционного трибунала — неизвестно откуда донеслось восклицание: «Да здравствует Робеспьер!»... Весь оперный театр бушевал — овации, перешептывания, шикание, возгласы: это не имело никакого отношения к уровню музыкального исполнения, ни к степени артистического перевоплощения. Всякий раз аплодисментами встречались изгнанники, заговорщики, цареубийцы, мятежные певцы, все Эрнани; всякий раз освистывали предателей, стражников, клеветников, доносчиков, всех Сполетта. Глава Нации посчитал целесообразным отменить уже объявленную премьеру «Сибериа» Джордано — и теперь, раздраженный, охваченный беспокойством, ожидал закрытия сезона «Аидой». Для этого спектакля привлекались невиданные здесь сценические средства. В нью-йоркской фирме «Leady» заказали длинные трубы для триумфального шествия. Верблюды и слоны из недавно прибывшего цирка должны были участвовать в кортеже в сопровождении пятидесяти всадников из Третьего гусарского батальона, одетых на древнеегипетский лад и соответственно загримированных, если кто-то из них не был схож с нубийцем или эфиопом по цвету собственной кожи. Еще ни одно представление не предпринималось с подобным размахом в постановке; высокой оценки заслуживали и хор, и оркестр, который, повинуясь уверенной дирижерской палочке, в последние недели достиг особенной сыгранности. Похвал достойны были костюмы и декорации, на «бис», как и следовало ожидать, при-

шлось исполнить арию «Ritorna vincitor...»[1], и второй акт начался в атмосфере напряженного нетерпения, предвосхищения, всеобщего удовольствия; воодушевление ощущалось певцами на сцене, всеми участниками оперного спектакля по мере того, как драма приближалась к кульминации — возвращению Радамеса. Популярнейшую тему марша уже напевали всем залом. Действие подходило к захватывающей финальной сцене — двести исполнителей среди колонн и пальм. Гор и Анубис. На фоне Нила — расцвеченного электрическими лампочками Нила. И внезапный ужасный взрыв прогремел в яме оркестра, там, где сосредоточены ударные инструменты: в клубах белого дыма взлетали тарелки, барабаны, бубны, литавры. Вторая бомба взорвалась за контрабасами, обратив в бегство музыкантов — они карабкались на сцену, пытались спастись через партер, залезали в ложи, еще более усиливая панику, охватившую публику; зрители сгрудились в дверях, прыгали по креслам, толкались, кричали, били друг друга, топтали упавших, а на сцене — между обрушивавшимися декорациями — бежали, боролись, дрались, стараясь скорее достичь выхода на улицу, стражники фараона, жрецы, лучники, закованные в цепи пленные; среди падающих обелисков, сфинксов, обломков реквизита, бутафории метались солдаты Третьего гусарского батальона.

«Гимн! Гимн!» — взывал Глава Нации, обращаясь к болонскому маэстро, а тот, бледный, изрыгающий ругань, стоял на своем пьедестале, пытаясь задержать музыкантов, разбегавшихся во все стороны. В оркестровой яме еще задержалось семь или восемь исполнителей, и в ответ на взывания и выкрики. «Гимн! Presto![2] Гимн!» — прозвучало едва слышимое, жалкое мычание четырех скрипок, кларнета, гобоя и виолончели... Пока публика, скопившаяся на площади, приходила в себя, тогда как полиция выносила и выводила контуженных и потоптанных,— тяжелораненых, правда, не оказалось,— Глава Нации смог убедиться в том, что взорвались не бомбы, а большие шумовые и дымовые петарды. «Надо возобновить спектакль»,— приказал он Адольфо Бракале, который храбро сопровождал его во время обследования вместе с электриками. Но возобновить было невозможно: пороховой гарью пропитан весь зал, прорваны декорации, лопнула кожа на литаврах, расщеплены контрабасы. не опускался занавес; некоторые хористы в суматохе пострадали; кони, подготовленные для триумфального марша, лягались и кусались; и у Амонасро пропал голос. Жертва нервного приступа, Амнерис, закрывшись в уборной, кричала, что все стряслось из-за ее безумного согласия петь в этой стране кафров.

А Карузо—Радамес как сквозь землю провалился. Кто-то вспомнил, что видел его выходившим через заднюю дверь, и артиста стали искать возле театра, в ближайших кафе и барах — но тщетно. Он даже не вернулся в свой отель. Он мог быть ранен, избит, быть может потерял сознание в каком-нибудь темном уголке. С особым рвением его повсюду искал импресарио, и в самый разгар поисков короткое замыкание погрузило театр во мрак .. Глава Нации в сопровождении министров и военачальников возвратился во Дворец. Молчание его в тот момент было выражением особого гнева, перехлестнувшего все границы гнева. Гнев глубинный, замкнутый в самом себе, сжатый в кулак,— это читалось в пристальном, ужасающем, не замечающем окружаюших взгляде Президента, взгляде апокалипсическом, устремленном на нечто далекое, насыщенное бурями, воплями, карами. В подобном состоянии — нетерпимой напряженности — он пребы-

[1] «Вернись с победой к нам...» *(итал.).*
[2] Быстро *(итал.).*

вал, когда прозвучал телефон в зале заседаний Совета. Звонил его превосходительство господин посол Италии. Он сообщил, что Энрико Карузо, задержанный на улице охранником, находится под арестом в Пятом комиссариате полиции. В полицейском акте уточнялось, что при задержании певец был загримирован, хотя карнавалы в столице еще не начались, и загримирован, переодет женщиной, губы подкрашены, глаза подведены, лицо покрыто охрой — и все это подпадало под действие Закона о борьбе с нарушениями порядка и в защиту морали обывателей, статья 132-я которого предусматривала заключение на тридцать суток за покушение на добрые нравы и за неприличное поведение в общественных местах; наказание усиливалось, если поведение обвиняемого сопровождалось явным проявлением склонности к гомосексуализму как во внешности, так и в одежде указанного лица; в данном случае это подтверждалось его надвинутым на лоб головным украшением с горизонтальными полосками, узорчатыми подвесками в ушах, причудливыми браслетами, несколькими ожерельями на шее, украшенными какими-то жуками, амулетами, брелоками и разноцветными каменьями, что, согласно полицейскому протоколу, было бесспорным свидетельством пристрастия к гомосексуализму... «И это в цивилизованной стране!» — вскричал Глава Нации, гнев которого из драматического молчания перешел в словесный взрыв, тогда как руки Президента сбрасывали книги, пресс-папье, чернильницы прямо на ковер. Все необходимое было сделано. Доктор Перальта направился отпустить на свободу Энрико Карузо, и последний — в весьма веселом настроении духа, еще одетый Радамесом — появился и сказал, что все происшедшее не имеет никакого значения; посол и он привели полицейского, арестовавшего певца,— «славный мальчик, великолепный парень, выполнил свой долг...» — и попросили Президента простить его («ведь он ничего дурного не сделал, лишь следовал букве закона,— никогда не видывал древнего египтянина на столичных улицах»...). И на рассвете все завершилось бокалами шампанского и гаванскими сигарами — настоящими гаванскими сигарами с фирменной эмблемой на коробке — белокурым и голубоглазым Фонсекой; лишь эти сигары, толстые и длинные, были по вкусу певцу... Вулкан-Покровитель высвобождался из-под холодных туманных покровов, укутавших его. Мажордомша Эльмира принесла соки и сандвичи — и, перед тем как проститься, Адольфо Бракале объявил, что оперный сезон окончательно закроется этим вечером «Балом-маскарадом» Верди, поскольку об «Аиде» уже и подумать нельзя ввиду происшедшего несчастья. «Бал-маскарад» — это я дам тем, кто подкладывает петарды»,— сказал Глава Нации Доктору Перальте до того, как пойти спать.

И как-то незаметно над городом стало вырастать круглое здание — круглое, будто арена для боя быков, круглое, будто римский Колизей, круглое, будто цирк с клоунами и укротителями зверей,— здание Образцовой тюрьмы, отвечающее самым современным концепциям тюремной архитектуры, выдающимися мастерами которой считались американские зодчие. Привыкший к медленному процессу камнекладки — распилке камней, искусству обработки камня, к теоремам, доказываемым молотком и долотом, что требовало очень много времени, прежде чем здание приобретет свой корпус и свое лицо, Глава Нации открыл волшебство бетономешалок, вращения каменных гранул и песка в огромных серых железных коктейльницах, необыкновенное превращение цементной плиты, которая, приобретая мощность, затвердевает на арматуре металлических прутьев; чудо сооружения, что зарождается в жидком состоянии — в болтанке с гравием и булыжником, прежде чем подняться в поразительной от-

весности, воздвигая стены на стены, этажи на этажи, карнизы на карнизы, пока не застынет в небе — дело дней! — с флагштоком для знамени или увенчанным позолоченной статуей с крылышками на щиколотках. А поскольку Глава Нации влюбился в быстроту засыхания бетона, в податливость бетона, в прочность бетона, то бетону было вверено сомкнуть гигантский круг Образцовой тюрьмы — там, на Серро де ла Крус, выше купола Капитолия, еще выше шпиля Святого Сердца,— перед тем как с полным размахом начать полицейскую акцию. Днем и ночью, при свете прожекторов, если к этому вынуждала тьма или туман, шла работа на беспримерной стройке, концентрические стены которой приобретали эвклидову красоту системы орбит, все суживающихся кругов, один в другом, к оси центрального патио, откуда можно было вести наблюдение за всеми тюремными камерами и внутренними галереями. Когда работа завершалась и пока еще не хватало алюминиевых душей и кресел с пряжками и ремнями, предназначенных для разных подземных помещений (в планах фигурировали они как «технические службы»), фотографии восхитительного здания были разосланы в различные международные журналы по архитектуре, которые в самых восторженных выражениях отозвались об его функциональном предназначении, равно как о достижении сложной гармонии между тем, что в силу своего предназначения должно иметь суровый вид, и красотами окружающего пейзажа. В этом нашли бесспорную и, быть может, благородную цель гуманизировать — миссия архитектуры ведь заключается в том, чтобы помогать человеку жить,— концептуальный и органичный внешний облик тюремного учреждения; такое учреждение должно быть благотворным для преступника... В том, что касается тюрем, мы уже опередили Европу,— и это вполне логично, поскольку, находясь на континенте Будущего, мы должны в чем-то ее опережать...

Однако по мере того, как строительство Образцовой тюрьмы подходило к своему завершению, страну охватывал недуг — кризис... Глава Нации — как только окончился проклятый оперный сезон и уже можно было думать о нем ретроспективно в свете финансового календаря — пришел к выводу, что под оркестровые прелюдии и ферматы теноров сахар Республики потерпел потрясающий урон, и это отмечено на сводных таблицах бирж всего мира. По 23 сентаво за фунт платили за наш сахар, когда Николетти-Корман, великолепный Демон, восхвалял Золотого Тельца. При исполнении североамериканского гимна, который звучит в первом акте «Мадам Баттерфляй», цена на сахар упала до 17.20. До 11.35 сбавилась при постановке «Таис»: «Александрия, ужасный город»,— пел Титта Руффо. Роковым был день премьеры «Риголетто», а еще говорят, что горбуны приносят счастье,— цена на сахар снизилась до 8.40. Перемешанные колоды карт четвертого акта «Манон» ускорили падение цен, а с катастрофой «Аиды» цену сбили до 5.22. Наступила пора карнавалов, и сахар — прославленный герой всей и всяческой латиноамериканской буколики — потерпел полное поражение, склады заполнились непроданными мешками, и цена равнялась всего 2.15 сентаво за фунт... Однажды утром — внезапно, как всегда у скупых на слова,— недавно учрежденный Международный банк объявил, что приостанавливает выплаты до нового извещения. Испанский банк, Банк Мирамон, Коммерческий и сельскохозяйственный банк, Строительный банк молча, лишь с сухим треском, захлопнули свои окошечки, тогда как Национальный банк и Clearing house [1] наводнили страницы газет сообщениями и извещениями, обещаниями; советовали сохранять благоразумие и доверие,

[1] Расчетная палата *(англ.)*.

чтобы предупредить панику, которая, опустошив скромные сберегательные книжки, мизерные семейные текущие счета, уже добиралась до мира большого финансового бизнеса. Советом Министров положение расценивалось, по утверждению прессы, как «случайное и временное». Правительство призывало к спокойствию, к выдержке, напоминало о патриотизме. Никаких очередей, никакого беспорядка. Мораторий — слово, доселе неизвестное публике и воспринимавшееся некоторыми как нечто по звучанию близкое к мертвым, к завещаниям,— представлялся верным средством поправить все искореженное в какие-то недели и несколько успокаивал взволновавшиеся души.

Подошло время карнавалов, и в гаме и шуме уличных шествий — «компарс» и «гайюмбас», под звуки китайских труб и негритянских барабанов начался Праздник масок с конкурсами на маскарадные костюмы и колесницами поразительной выдумки, как, скажем, «Венецианский Буцентавр», получивший особую премию, хотя и было чрезвычайно трудно протащить эту колесницу до трибун жюри, поскольку еле-еле прошла она под телеграфными проводами, чуть не задевавшими ее носовую часть, где стояли догарессы, сверкавшие мишурой. Своевременно наступило шумное веселье...

С вечерней зари до утренней и с утренней до вечерней традиционные карнавальные братства возрождались — с пальмовыми ветвями, в перьях цапли, с ожерельями колдунов, в одеяниях дьяволов, с картонными акулами, пружинными змеями, в масках людей-соколов, людей-коней, людей-драконов, в уродливых одеждах, в древних играх, привезенных из Африки, либо в столь давних ритуалах, что изначальное предназначение терялось в тысячах и тысячах ночей, прошедших с того дня, когда их создали далекие предки.

И совершенно неожиданно — в водовороте бесшабашного разгула — некие арлекины, лица их были обтянуты черными чулками, начали стрелять по полицейским; некие цыгане, нанятые играть в «Кармен» и не вернувшие винчестеры, предоставленные им для выступления в акте с контрабандистами, вдобавок увезли винтовки и револьверы из казармы Санта Барбара, погрузив оружие в кареты «скорой помощи» Красного Креста; некие участники карнавальной группы «Помпадур», одетые в костюмы лососевого цвета, в надвинутых на глаза париках, бросили бомбу в полицейский комиссариат Пятого района столицы, освободив более сорока политических заключенных. Во Втором районе некие наши индейцы — похоже, батраки с плантаций хенекена, но переодетые под североамериканских краснокожих, совсем как в кинофильмах о «диком Западе», опустошили засекреченный арсенал ручных гранат и тотчас исчезли в толпе; трое анархистских вожаков были высвобождены из тюремных камер некими молодчиками, выдававшими себя за агентов службы безопасности; снежной метелью разлетались сброшенные со шпиля Святого Сердца и с купола Капитолия прокламации и манифесты, призывавшие к революционному восстанию.

Уже ставшее привычным потрескивание и шипение ракет-шутих и петард, сопровождавшее шествие «свиты» карнавального короля и бога Момо, вдруг заглушили резкие, отозвавшиеся громовым эхом взрывы. Вслед за безобидными ампулочками хлористого этила, что проказники наловчились запускать вместо сосульки льда за декольте женщин, полетели бомбы со слезоточивым газом — метко поражающее изобретение, запущенное в ход полицейскими силами; кавалерия, ни на что и ни на кого не обращая внимания, разметала аллегорические представления и хороводы; зерещание картонных пугал, пронзительный писк свистулек сменились криками пострадавших от сабельных ударов и конских копыт; и в панике, смешавшей все на свете —

и формы, и цвета,— военными мундирами были вытеснены карнавальные костюмы. Веселую пестроту красок смыла, вытравила сдвоенная гамма: песочно-синяя. Грозным приказом Президента карнавалы запрещались, а Образцовую тюрьму набили ряженые. И послышались стоны, предсмертные хрипы, и стискивались на горле гарроты, и бормашины дантистов сверлили здоровые зубы, и свистели плети, обрушивались дубинки, и глухо отдавались пинки в пах, и мужчин подвешивали за щиколотки и запястья, и людей заставляли дни напролет стоять босиком на остром ободе колеса, и голых женщин, подхлестывая бичом, гоняли по коридорам, бросали на пол расхристанных, изнасилованных, с обожженными грудями, с раскаленными докрасна гвоздями, вонзенными в плоть; и были расстрелы ложные и расстрелы настоящие; и в недавно воздвигнутые стены, еще отдававшие запахом свежей штукатурки, вкрапились капли крови и капли свинца пистолетных пуль; и выкидывали людей из окон верхнего этажа, и вздергивали их на дыбу, и распинали, и переводили на Большой Олимпийский стадион, где было просторнее и потому удобнее расстреливать сразу массу, не теряя времени на построение взвода или роты для казни; и были также те, кого втискивали в четырехугольные ящики и обливали цементным раствором, а затем блоки выстраивали в одну линию на тюремной стене под открытым небом, и столь многочисленными оказались они, что окрестным жителям пришла в голову мысль, власти-де собираются продолжать строительство здания... (Много лет прошло, пока стало известно, что в каждом из блоков находились останки человека в маске и карнавальном наряде; фигуру его бережно сохранило твердое покрытие — человеческий облик превосходно отлит был в камне.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

...Я есмь, существую, это достоверно. На сколько времени?

ДЕКАРТ

14

Эй... Би... Си... Ди... Эй... Странно, очень странно звучит алфавит теперь в аудиториях методистских колледжей, в североамериканских августинских лицеях, которые открылись в наших крупнейших городах, вызывая серьезные сомнения насчет эффективности и современности — прежде всего современности — обучения детей салезианскими падре, французскими падре-маристами, а также матушками доминиканками, урсулинками либо монашками из Тарба. This is a pencil, this is a dog, this is a girl [1] — слышалось там, где в прежние времена процветали Rosa — Rosae — Rosa — Rosam [2] классических склонений... Сид-Воитель, Роланд, Людовик Святой, Изабелла Кастильская Генрих IV эмигрировали со страниц учебников истории вместе с мечом, рогом из слоновой кости — олифантом, Столетним дубом из Герники, заложенными драгоценностями, курицей в похлебке и всем ос-

[1] Это карандаш, это собака, это девушка *(англ.)*.
[2] Роза, розы, роза, розу *(лат.)*.

тальным, относящимся к историческим временам Испании и Франции,— их успешно заменили именами и событиями прошлого Соединенных Штатов — Бенджамином Франклином с его громоотводом и «Альманахом Горемыки Ричарда»; Вашингтоном в своем имении Маунт-Вернон, окруженным добрыми неграми, к которым он относился так, как если бы они были членами его семьи; Джефферсоном и Холлом Независимости в Филадельфии; Линкольном и его посланием памяти павшим в Геттисберге; походом на Запад и эпической смертью генерала Кастера, сраженного в битве при Литтл Бэй Хорн варварскими ордами вождя племени краснокожих сиу по имени Сидящий Бык. Выпустив изо рта грудь своих кормилиц-индеанок в белых с вышивкой сорочках-уипилях, напевавших «Мальбрука» и, как Пифагор, поучавших, что не годится ворошить огонь ножом, малыши начинали познавать правду (горькую правду, очевидно, уже можно было высказывать без околичностей, История все-таки была Историей) о недавней войне. Если бы не «Over There» и не генерал Першинг [1], то Франция была бы потеряна. Англия воевала немощно, без какой-либо веры в успех: британские «томми» были лишь фольклорными кумирами, их воспевали наряду с Мраморной Аркой из Гайд-парка, чаепитием в траншеях, с тюрбанами сипаев и шотландскими волынками. Италия с петушиными перьями на головах никудышных солдат была страной одной битвы: Капоретто [2]. А что касается России, то прежде всего приходили на ум старец Распутин, царевич, гемофилия, мадам Вырубова, мистические оргии, вдохновенные безумцы, «Воскресение», Ясная Поляна, славянская душа, измученная и неустойчивая, вечно мятущаяся между кущами райских садов и преисподней. И, конечно, из бездны явился мечтательный преобразователь — так же человек из Кремля, как в свою эпоху был Иван Грозный,— но у этого эфемерного марксистского Утолителя остается уже считанное время, все сочтено и взвешено перед наступлением Деникина, Врангеля, Колчака и франко-британских войск с Балтики, а они скоро превратят в ничто ту систему, собственно обреченную на гибель, поскольку (как сказано в «Евангелии», в стихе, до того набившем оскомину, что даже трудно отыскать его на стольких страницах Библии, к тому же отпечатанных в две колонки на бумаге «библ») всегда на свете будут богатые и бедные. Европейцы — теперь это ясно — не способны жить в мире, и потому президенту Вильсону пришлось пересечь Атлантический океан, чтобы навести порядок в их делах [3]. Это уже в последний раз. Никогда больше не будем мы беспокоиться, предоставляя им наши молодые силы во имя защиты культуры, тем более что ось притяжения ее — пора об этом сказать открыто — переместилась к Америке, разумеется к Северной Америке, ожидающей, что мы, находящиеся на карте пониже, полностью и окончательно освободимся от проклятой традиции, заставлявшей нас жить в прошедшем времени.

Мир вступил в Эру Техники, но от Испании мы унаследовали только язык — и неподходящий, чтобы следовать эволюции технической лексики. Будущее принадлежит не Гуманистам, а Изобретателям. Однако испанцы на протяжении веков ничего не изобрели. Ни двигателя внутреннего сгорания, ни телефона, ни электрического света, ни фонографа, и, наоборот... Европа стала миром прошлого. Миром,

---

[1] Генерал Дж. Першинг командовал экспедиционными силами США во Франции в первую мировую войну.

[2] Имеется в виду разгром итальянской армии в районе города Капоретто в 1916 году.

[3] Вудро Вильсон возглавлял делегацию США на Парижской мирной конференции 1919—1920 гг., где старался закрепить передел мира между империалистическими державами, разработать планы сокрушения Советского государства.

пригодным для того, чтобы прогуляться на гондоле, помечтать среди римских развалин, посозерцать витражи, обойти музеи, провести приятный и полезный отпуск. Миром, упадок которого усугубляла возрастающая аморальность, особо проявившаяся в области секса — там женщины ложились с любым мужчиной, оттуда молодые североамериканские солдаты вывезли horrid french customs [1], на что порой намекали, понизив голос и с таинственным выражением лица (как бы то ни было, мать семейства должна знать все), непорочные Daughters of the Revolution [2]. Триумф «Латинидада» продолжали провозглашать латиноамериканские газеты, однако Европейская война вызвала тяжелейшие последствия для «Латинидада» на наших землях Латинской Америки: разожгла новые распри из-за владений, за господство. Книжные магазины, ранее предлагавшие произведения Анатоля Франса и Ромена Роллана, не забывая «Огонь» Барбюса — книги чуть не легендарного успеха,— ныне выставляли для продажи «Пленника Зенды», «Скарамуша», «Бен-Гура», «Мосье Бокэра» и романы англичанки Элинор Глинн в зазывных — ярких, многоцветных — обложках, привлекали читателей, старавшихся «не отстать» от модной литературы. И перед жалким европейским кинематографом, без звезд первой величины — все они, похоже, закатились после какой-то бомбежки,— утверждалось ослепительное искусство голливудского чудотворца Дэвида Гриффита, потрясшего людские массы, исследователя Времени, способного показать нам в невиданных ранее образах — более впечатляющих, чем любое воспоминание эрудита,— рождение наций, трагедии Голгофы, Варфоломеевской ночи и даже мир Вавилонии.

Франция, отдавая себе отчет в том, что у нас она теряет почву, вдруг прислала к нам на кратковременные гастроли не то с официальным визитом — это были три дня холодной схватки с конкурентами (пока Глава Нации, излечиваясь от огорчений после оперной операции, отдыхал в Бельямаре) — некую Сару Бернар, заштукатуренную и перекрашенную; покачиваясь на оси своей единственной ноги, под париком, точно клоунша с картины Тулуз-Лотрека, даже волнующая своим отчаянным стремлением подняться над развалинами собственного былого, поддерживаемая чьими-то руками, опирающаяся на что-то, вознесенная на трон, покоящаяся в кресле либо принесенная на носилках средневекового короля Титуреля,— она декламировала вещающим и неуверенным голосом патетичнейшие александрийские строфы из «Федры» или агонизирующие тирады Орленка, почти восьмидесятилетнего [3]. Потом к нам прибыла из Италии — представ перед любезным безразличием публики, уже покоренной молодыми и блистательными актрисами Голливуда,— некая Элеонора Дузе, диковинно одетая в обшитый бахромой доломан, с водруженным на голову высоким черным шишаком, фантасмагоричная, как гренадеры Гейне, обрушивая руины и осколки колонн из «La città morta»[4] Д'Аннунцио, которого молодые резко отвергли, хотя в течение многих лет люди восторгались его «Дочерью Йорио». Все это — дела прошлого и, как дела прошлого, пахнут погребальными цветами. И быть может, потому возросла продажа североамериканских журналов или газет, которые, как «Нью-Йорк таймс», предлагали в воскресных приложениях информацию о новой музыке, о новой живописи, об оригинальных

---

[1] Ужасные французские обычаи *(англ.)*.

[2] Имеется в виду реакционная женская организация в США — «Дочери американской революции».

[3] В драме Эдмона Ростана «Орленок» выведен, как известно, юноша — сын Наполеона I.

[4] «Мертвый город» *(итал.)*.

литературных течениях, возникавших в Париже (там, вопреки всему, что пророчили, как будто возрождался некий, пусть еще незначительный, прогресс духовной жизни), хотя «Иллюстрасьон» и «Лектюр пур тус», казалось, не замечали этих явлений, а если и упоминали, то для того, чтобы все стереть в порошок во имя «чувства порядка, пропорции и умеренности»; кто хотел разузнать о кое каких поразительных событиях — скажем, о поэзии некоего Аполлинера, умершего в день Перемирия [1],— должен был обращаться к нью-йоркским изданиям. «Молодые люди всегда охотятся за новинками»,— говаривал Глава Нации. Однако он не представлял себе, что вслед за стихом без рифмы и пунктуации, за диссонирующей сонатой следовали — интересное открытие! — достаточно зловещие комментарии о положении в нашей стране.

Однажды утром из уст в уста пробежала весть: в обширной редакционной статье в «Нью-Йорк таймс» обозреватель по латиноамериканским делам сделал беспощадный анализ нашего банкротства, писал о полицейских репрессиях и пытках, раскрывал тайны некоторых исчезновений, разоблачал убийства, о которых здесь еще никто не знал, напоминая, что Глава Нации, заняв место рядом с аргентинским тираном Росасом, с доктором Франсиа, который был пожизненным диктатором Парагвая, с мексиканским диктатором Порфирио Диасом, с другими деспотами, как Эстрада Кабрера из Гватемалы и Хуан Висенте Гомес из Венесуэлы — будто речь шла о французских Людовиках или российских Екатеринах,— уже около двадцати лет находился у власти... Был отдан приказ немедля конфисковать все поступившие в страну экземпляры газеты, но их уже расхватали до последнего в киосках и у газетчиков; Доктору Перальте, правда, удалось заполучить три экземпляра в овощной лавке, владелец которой регулярно покупал газету — номер в сто двадцать страниц,— удобно заворачивать капусту, разную зелень и бататы. «Надо запретить ввоз этого издания в страну»,— сказал секретарь, наблюдая, как краска гнева заливала лицо Главы Нации, читавшего статью. «Но ведь это газета янки! Скандал еще больше разгорится! На нас налетят все издания Рандолфа Хэрста!» Воцарилась пауза. «Кроме того, печатное слово приклеивается ко всему и повсюду. Ты можешь бросить в тюрьму политического противника, но не сумеешь запретить распространение иностранной газеты, хотя бы в ней оклеветали твою мать. И одного экземпляра хватит. Он прилетает по воздуху, скрывается в карманах путников, в дипломатической почте, под женскими нижними юбками, передается из рук в руки, через границы, реки, горы...» Наступила новая пауза, несколько более длительная, чем первая. «В проклятый час подписал я декрет об изучении английского языка в колледжах. Теперь здесь все умеют говорить: Son of a bitch [2]...» Настала третья пауза, еще более продолжительная, чем вторая,— ее прервал голос Перальты, который снова просмотрел газетный текст: «А ведь здесь имеется в виду статья 39-я конституции 1910 года». И он процитировал на память, точно святое послание при обручении: «К президентским выборам приступать не менее чем за три месяца до истечения шестилетнего периода пребывания на этом посту ранее избранного президента». Возникла четвертая пауза, еще более затянувшаяся, чем третья. «Однако... какая сволочь сказала им, этим, что здесь не будут проводиться выборы?» — воскликнул Глава Нации. «Хорошо, но... конституция 1910 года в статье 39-й гласит...» — «...гла-

[1] Известный французский поэт Гийом Аполлинер умер 9 ноября 1918 года, а 11 ноября был подписан акт перемирия Германии со странами Антанты — победительницами в первой мировой войне.

[2] Сукин сын *(англ.)*.

сит то, что выборы не проводят, если страна находится в состоянии вооруженного конфликта или войны с какой-либо иностранной державой».— «Точно. Однако... с кем мы воюем сейчас, кроме прохвостов внутри страны?» Глава Нации взглянул на своего собеседника торжественно и не без хитринки: «Мы все еще находимся в войне с Австро-Венгрией».— «Конечно!» — «Я не подписывал мира с Австро-Венгрией и не собираюсь его подписывать, поскольку... там царит хаос. Их посол уже который месяц не получает жалованья и вынужден закладывать белье своей жены. Если его страна будет и далее находиться в таком же положении, как сейчас, то скоро мы увидим его играющим на скрипке в каком-нибудь цыганском кабаре... И, черт побери... Дело выиграно! Мы находимся в состоянии войны с Австро-Венгрией. А раз идет война — выборы не проводятся. Провести выборы теперь — значит нарушить конституцию. Проще простого».— «Ах, мой президент! Такого, как вы, нет другого!» — провозгласил Доктор Перальта, доставая дорожный чемоданчик, чтобы ознаменовать неожиданное продление мирового конфликта. Все, что касалось войны с Австро-Венгрией, представлялось ему великолепным коктейлем из танцев, как кумбия и чардаш, бамба и фришка, и креольской серенады и рапсодии Листа, и надо всем разливалось мечтательное сопрано, отражавшееся эхом в зеркалах «Замка в Карпатах» Жюля Верна, как в зеркалах Салона аудиенций отражалась сейчас Мажордомша Эльмира, деятельно отыскивавшая бокалы.

Еще три статьи опубликовала «Нью-Йорк таймс» об экономическом и политическом положении страны — статьи, содержание которых стало известно повсюду, несмотря на то что бдительный Перальта приказал скупать все экземпляры газеты, как только они поступят в киоски и книжные магазины, а также в American Book Shops [1]. А на самом деле некая контора — настолько подпольная, насколько активно действующая и вдохновляемая, несомненно, сторонниками Доктора Луиса Леонсио Мартинеса — тихонечко, в тени занялась переводом текстов, перепечаткой в сотнях экземпляров на пишущей машинке и распространением их по почте в конвертах разного размера, зачастую используя обманным образом названия, фирменные знаки и эмблемы известных промышленных и коммерческих предприятий — под видом невинных рекламных материалов. Местная пресса, подвергаемая цензуре, вынужденная подчиняться запрету затрагивать многие вопросы,— которые, по мнению властей, необходимо замалчивать,— предоставляла больше и больше места уголовной хронике, освещая ее со все возрастающим мастерством, следуя примеру давних приложений к «Ле пти журналь» и нью-йоркским таблоидам, эксплуатируя сенсационность «мокрых дел» и прочих сногсшибательных происшествий. И все это перемешано со всегда возбуждающей читательский интерес информацией исторического или просто обывательского характера — «Ожерелье королевы», «Смерть Наполеона IV от рук зулусов», «Атлантида — утонувший в бездне континент» либо история любви Абеляра и Элоизы, в изложении которой прибегали к необходимым эвфемизмам, когда речь шла о действиях каноника Фюльберта, а последнего некие прохвосты поспешили отождествить — они не упускали случая! — с Шефом сыскной полиции...

Поток хроники убийств, любовных драм и всяких прочих неслыханных казусов не прекращался до наступления Рождества, и самое Рождество, по правде говоря, было из ряда вон выходящим, даже перекрестили его в Christmas [2]. Прекрасную традицию домашних рож-

[1] Американские книжные магазины *(англ.)*.
[2] Рождество *(англ.)*.

дественских представлений тотчас же забыли; не устраивали «вифлеемы» из склеенных тряпок, с яслями, с богоматерью, святым Иосифом, ослом и быком и кортежем пастырей — чем богаче жилище, тем больше выставлялось человеческих фигур, пришедших поклониться Младенцу, толстощекому, как херувим, возлежавшему на ложе из благоухавших свежих листьев гуайябо. Семьи не позаботились подновить — подкрасить и подлакировать — прошлогодних святых, подклеить сломанные фигурки, подвесить ангела благовещения на позолоченном шнурке под серебряной звездой, прибитой к потолку. Странный был тот год: сельва в наступлении — подобная тому лесу, что наступал на Дунсинан [1],— продвинулась к столице. В атлантические порты прибыли тысячи елок из Канады и Соединенных Штатов, принесшие чужие запахи в эту столицу, чтобы в богатых кварталах возвыситься в праздничном убранстве — стеклянные шары, золотистые гирлянды, искусственные побеги виноградной лозы, закрученные штопором свечки, бумажные колокола, ватный снег. Появились какие-то удивительные косули с ветвистыми рогами, никогда не виданные в стране, их называли северными оленями; они тащили санки, нагруженные подарками. А в дверях магазинов игрушек встали бородатые старики, одетые во все красное, которые именовались Санта-Клаусами — люди их прозвали Сантиклозами. Национальные рождественские праздники — праздники колониальных времен, вчерашние и всегдашние — в один день были заменены рождественскими праздниками заграничного Севера. И монотонные напевы былого в домах добропорядочных были заменены музыкальными ящиками, наигрывавшими мелодии «Silent night, holy night» или «Twinkle, twinkle, little star...»[2]. Встревоженные этим неожиданным преобразованием рождественских праздников, священники в своих проповедях на заутрене, которые прихожанами с грехом пополам прослушивались, клеймили Санта-Клауса как еретическое порождение, изобличали внедрение у нас саксонских обычаев; убранством Ели, по утверждению проповедников, преследовалась цель насадить у нас языческие нравы германских племен, господствовавших тогда, когда мы уже слышали божественные голоса амвросианского пения в расцвет евхаристических торжеств, а германцы еще бродили по своей сельве, дикие, лохматые варвары, коих видел Юлий Цезарь,— в рогатых шлемах, пивших медовуху и поклонявшихся Омеле и Остролисту. К тому же ни в одном из христианских святцев нет такого Сантикло, приносящего детям игрушки за тринадцать дней до того, как волхвы, согласно принятым у нас обычаям, занялись бы этим делом. Испанские лавочники, не успевшие выгрузить валенсианских и галисийских кукол, глиняную кухонную утварь и качающихся лошадок в Пуэрто Арагуато, протестовали против предательства конкурентов, которые, начиная с двадцатого декабря, заполонили витрины механическими машинами, головными уборами индейцев-команчей из перьев, вращающимися столиками для спиритических сеансов — представляете! — и ковбойскими доспехами: техасская широкополая шляпа, шерифская звезда, отделанный бляшками пояс и пара пистолетов в кобуре с бахромой... Кто-то сказал, что Сантикло — не кто иной, как святой Николас. Однако знатоки жития святых утверждали: ни святой Николай Мирликийский, покровитель России, ни святой Николай Великий, первый папа этого имени, никогда и ничего общего не имели с торговлей игрушками. И, наконец, кто-то даже задался ироническим

---

[1] Имеется в виду Бирнамский лес, «двинувшийся» на холм и замок Дунсинан (см. В. Шекспир. «Макбет», акты IV и V).

[2] «Тихая ночь, святая ночь», «Гори, гори, звездочка...» *(англ.)*

вопросом в статье, не замеченной цензурой: а этот Сантикло в колпаке, чем-то напоминающем фригийский, несмотря на белую оторочку, и одетый во все красное, не является ли неким «Красным» в самом опасном смысле слова? Однако боком вышла журналисту его двусмысленная острота: началась уже Страстная неделя, а он все еще сидел в компании сводников и гомосексуалистов на Тринадцатой галерее Образцовой тюрьмы. И если странными были последние рождественские праздники, то еще более странной тогда была Страстная неделя, потому что во время ее, вместо того чтобы третьего мая отмечать день Святого креста, по всей стране была объявлена Забастовка.

Все разгорелось в Страстную, «зольную» среду — никто и не предполагал такого — с небывалой стачки батраков на сахарных плантациях и сахарном заводе «Америка»; рабочие отказались в оплату за свой труд принимать чеки, обмениваемые на товары. Вскоре движение распространилось по всем сахарным заводам. Были мобилизованы сельская жандармерия, конная гвардия, провинциальные гарнизоны, но и они ничего не могли предпринять против людей, которые не устраивали демонстраций, не буянили, «не нарушали общественного порядка», лишь на работу не шли и продолжали спокойно отдыхать у дверей своих жилищ, под аккомпанемент народных инструментов — бандурий, куатро или гитар — напевая:

Тростник я не рублю,
пусть ветер его рубит
иль женщины пусть рубят,
сминая на ходу...

Эту стачку мачетерос и рабочие сахарных заводов выиграли. А в Святую субботу началась забастовка шахтеров из Нуэва Кордобы, протестовавших против незаконных увольнений; за шахтерами поднялись стивидоры Пуэрто Арагуато и грузчики Пуэрто-Негро... Совсем как при тропических заболеваниях то возникающие, то исчезающие волдыри — попеременно и самым непредвиденным образом — покрывают краснотой плечо и, перед тем как перейти на правую ляжку, поражают левое бедро, вызывая сыпь в тех уголках человеческого тела, где, по учению древних мистиков-каббалистов, таилось местоположение «Венца», «Разумения» «Сострадания», «Милости», «Основы»,— так и на карте Республики красная сыпь высыпала внезапно, без каких-либо предвозвестий, там и тут, на Севере и на Юге, где наливались золотые плоды какао, дымились ямы угольщиков, зрели бананы, раскрывались листья табака, где динамитом взрывали скалы. Ничто не могло сдержать эпидемии: ни к чему не приводили предупреждения о репрессиях, запугивающие эдикты, приказы, мачете в руках солдат, сверканье примкнутых к винтовкам штыков. Люди оценили грозную силу инертности, скрещенных рук, молчаливого сопротивления. Когда же под ударами прикладов их заставляли пойти на поля или на фабрики, они шли туда, преисполненные решимости работать плохо, выдавать продукции мало, прибегая к всевозможным уловкам, чтобы привести в негодность механизмы, остановить краны, подпилить звенья в цепи, а то подбросить пригоршню песка в ось ведущего колеса или в ствол поршня. Поговаривали, что Студент — этот «студент», слух о котором распространялся более того, чем он заслуживал,— всегда активный, хотя и невидимый, непоседливый и вездесущий, скрывающийся неизвестно где и, однако, открыто дающий о себе знать, перемещающийся из Долины в Горы, из рыбачьих портов на лесопилки Жарких земель, был подстрекателем, застрельщиком всего происходящего. А сейчас становилось понятно, что не он один зани-

мался насколько разнообразной и вместе с тем настолько строго продуманной деятельностью: многие — их было значительно больше, чем это, видимо, предполагалось,— применяли его тактику, пользуясь теми же приемами, взяв на вооружение те же методы. «Они действуют в я ч е й к а х,— говорил Доктор Перальта, желая растолковать все термином, значение которого Глава Нации не сразу уяснил.— И для ячеек, тех, что в Образцовой тюрьме»,— добавил он. «Ячеек там действительно уже не хватает для всех... (Тот даже попытался рассмеяться.) Да, я превратился в главного владельца отелей в Республике». И, нетерпеливо полистав «Анти-Дюринг», «Святое семейство», «Критику Готской и Эрфуртской программ», все еще разложенные в беспорядке на его столе, он сказал: «Здесь ничего не говорится о ячейках. Ничего не упоминается о них и в «Манифесте». Единственно, что совершенно ясно, так это на предпоследней странице: *«Коммунисты поддерживают любое революционное движение, направленное против существующего социального и политического порядка...»*

В те дни Доктор Перальта доставил Президенту редкое издание, поступившее среди корреспонденции: речь шла о газете. Но о газете необыкновенной, какой еще не видывали в этой стране: она была напечатана на тончайшей бумаге, на восьми страницах, формата 1/16, с виду похожа на брошюрку, очень легкая, по весу не тяжелее обычного письма. Название простое: «Л и б е р а с ь о н» — «О с в о б о ж д е н и е». Великолепно набранная, сверстанная по четыре колонки на полосе и столь же понятно читаемая, как словарь. Первый номер нового издания открывался редакционной статьей, направленной против режима,— в суровом тоне, без лишних эпитетов, ясным и метким слогом, сухим, как удар бича. «Это нечто новое»,— пробурчал Глава Нации, выслушивая кое-что более болезненное, чем та сверхругань, с которой обрушивались по его адресу сторонники Луиса Леонсио Мартинеса. Далее следовала подробная информация о недавних актах насилия, совершенных полицией, с указанием имен жертв, а также имен полицейских агентов. Затем — серьезный анализ последних забастовок, оценка успехов и промахов, практические выводы. А на развороте — и это было наихудшим! — перечисление, столь подробное и точное, с датами, цифрами, что, несомненно, могло быть сделано лишь при ознакомлении с документами, хранимыми в глубокой тайне: темные делишки самого Президента, его министров, генералов и других приближенных в течение последних месяцев. «Иуда среди нас! — с возмущением закричал Глава Нации, всплеснув руками.— Иначе кто мог предоставить им такие данные?» — «Но... кто они, опубликовавшие все это?» — задался вопросом Доктор Перальта в полном недоумении. «Нечего и спрашивать. Читай над заголовком: *«Пролетарии всех стран, соединяйтесь»!* — «Дьявольство! Ведь это слова из «Манифеста»! — «И значит, что газетенка без подписей — подписана!..» Еще до десяти утра стало известно, что тысячи лиц получили с утренней почтой нелегальную газету. Эксперты-полиграфисты, вызванные в Совет Министров для изучения издания, пришли к выводу, что такого качества работа могла быть выполнена лишь за пределами страны, если судить по шрифтам, по стилю верстки, а также по бумаге «библ», видимо, немецкого производства, которую нынче ни за какие деньги не достать. А если типография находится в каком-нибудь пограничном городе? По этой причине ввели цензуру на всю корреспонденцию из соседних стран. Однако в следующий вторник, едва очнувшись от сна, Глава Нации прежде всего увидел второй номер «Либерасьон» на подносе с завтраком, принесенным Мажордомшей Эльмирой. Установили внутреннюю цензуру на почте. Но и это не помешало появлению третьего номера, который, минуя почтовые конторы,

каким-то чудом оказался — запечатанным в бандероли, однако без штемпелей — в абонентских ящиках министерств, общественных учреждений, коммерческих предприятий и в частных домах, уже не говоря о тех экземплярах, которые теперь перекладывались из кармана в карман, переходили из одного ящика стола в другой ящик стола, либо чьими-то руками подсовывались под дверь, сбрасывались с балкона, оставлялись на подоконниках и в подъездах. Все типографии Республики были взяты под военный контроль. За каждой ротационной машиной, за каждой наборной доской, за каждым линотипом и роликом стоял детектив. И все же ничто не воспрепятствовало появлению четвертого, и пятого, и шестого, и седьмого номеров «Либерасьон». Подпольная типография — типография-призрак, невидимая, молчаливая — продолжала работать поразительно активно. Будто какая-то засекреченная лаборатория или какая-то кузница гномов действовала тут, возможно, даже в этом квартале, возможно, в том, подальше, чтобы сверстать и оттиснуть — без шума и суеты — проклятые страницы формата 1/16, которые каждую неделю вызывали бессонницу у Главы Нации... И, наконец, на заседании Совета Министров Министр внутренних дел произнес два новых слова, прозвучавших как колдовское заклинание и как зловещая угроза: «Московское золото».— «Какое там московское золото, какое еще московское золото! — прорычал Президент.— У большевиков ничего нет, совсем ничего, откуда у них золото для... (Он встал, чтобы взять последний номер парижского журнала «Иллюстрасьон») ...Вот, взгляните... посмотрите на эти фото... Горы трупов на берегах Днепра и Волги... Дети, от которых остались кости да кожа... Страшнейший голод какого-то Тысячного года... Холера... Тиф... Великие герцогини просят подаяние на улицах... Нищета безнадежная, беспредельная...» Министр все же настаивал на своем: так, конечно, так, но большевики распродают сокровища Потемкина и Екатерины Великой, короны Кремля, драгоценности, конфискованные у принцев и бояр, картины Эрмитажа, чтобы субсидировать международный заговор,— и это единственное, что может спасти коммунизм от катастрофы. «Читайте, читайте статьи, которые Керенский публикует в североамериканской прессе». Московское золото — не выдумка. Лишь наличием московского золота можно объяснить появление в стране такой газетенки, как «Либерасьон» (ему только что доставили восьмой номер), да еще отпечатанной на дорогой бумаге. Ее типографские машины упрятаны, очевидно, в какой-нибудь пещере, быть может, в одной из забытых галерей, которые, по утверждению некоторых историков, были устроены еще испанскими конкистадорами там, где ныне расположена столица Республики; этими галереями давным-давно сообщались между собой три крепости, превратившиеся уже в развалины...

И когда спустя несколько ночей во Дворце взорвалась новая петарда, хотя и не причинившая сколько-нибудь значительного ущерба— заложена она была в мебельном складе, набитом всякой ненужной всячиной,— реальное существование московского золота прочно утвердилось в мозгу Главы Нации. Нет, не плодом пустой фантазии юмористов были напечатанные во французском еженедельнике «Ле рир» карикатуры: на одной из них изображен Медведь, швыряющий бомбы с зажженным фитилем на карту Европы, а на другой — Красный спрут с куполов Василия Блаженного протягивал свои щупальца ко всем уголкам земного шара. Одно из щупалец уже пролезло и в нашу страну. «Срочные меры. Надо принимать срочные меры»,— прошептал Перальта. «А что еще можем мы сделать?» — произнес Глава Нации, внезапно ощутив отчаянную усталость — так не хватало ему Триумфальной арки, которая, водрузившись здесь вместо бесполез-

ного Вулкана, предоставила бы возможность под своим высоким сводом пройти, чтобы насладиться покоем в «Буа-Шарбон» мосье Мюзара, насыщенном ароматом вин и запахом дров в камине... В дни треволнений и забот особенно остро тосковал он по Стране Разума — там даже в метро сможешь прочесть александрийский стих, достойный самого Расина:

Le train ne peut partir que les portes fermées...[1]

на что — как однажды заметил Именитый Академик, столь далекий ныне,— ответить мог бы царь Азариа из «Гофолии», перевоплотившийся в начальника станции метро Пигаль, который «en un lieu souterrain par nos pères creusé» [2] (в пятом акте) разрешает отход поезду, отправляющемуся к площади Этуаль:

J'en ai fait devant moi fermer toutes les portes[3].

15

Что касается страха или ужаса, то я не вижу, чтобы он мог когда-нибудь считаться похвальным или полезным...

ДЕКАРТ

Как-то ранним утром разнеслась весть, что в главном столичном коллекторе питьевой воды обнаружена дохлая лошадь, полуразложившаяся, со вздутым брюхом, и потому всем, кто пил воду, взятую из муниципального водопровода — а к тому времени часы показывали уже одиннадцать,— угрожает тиф. Министр здравоохранения поспешил лично расследовать это сообщение и убедился, что в прославленной Миндальной чаше, гордости национального гидравлического искусства, плавал... деревянный конь, черный, с посеребренными копытами, знаменитый рекламный манекен «Андалусского жеребца» — лавки-мастерской кожевенных изделий, откуда какие-то злые шутники ночью утащили его и сбросили в воду. Не успели встревоженные души успокоиться, как в табачном складе на окраине города вспыхнул грандиозный пожар, и языки пламени были красными, ослепляюще ярко-красными. Прибывшие на завывавших пожарных машинах пожарники очутились перед морем бенгальских огней, разожженных непонятным образом, и праздник огня завершился веселой перестрелкой взрывавшихся шутих. На следующий день в некоторых газетах, явно обманутых в своем желании воздать должное усопшему, появились траурные объявления с подобающей сентенцией — Requiescat in pace[4] — по поводу кончины официальных лиц, которые, однако, благополучным образом продолжали здравствовать. Так начались времена мистификаций, злостных шуток, злоязычных слухов, преследовавших цель создать атмосферу замешательства, беспокойства, недоверия и недовольства по всей стране. Кое-кому по почте присылали черепа; траурные венки поступали туда, где не было покойника; в полночь звонил телефон, уведомляя, что отсутствующий хозяин дома умер от инфаркта в борделе. Были и анонимные письма-послания, составленные из вырезанных печатных букв,— с угрозами похищения

---

[1] Поезд отправляется только при закрытых дверях *(франц.)*.

[2] «В подземелье, нашими отцами вырытом» *(франц.)* — из трагедии Жана Расина «Гофолия».

[3] «Перед собой закрыл я двери все» *(франц.)* — («Гофолия» Ж. Расина).

[4] Покойся с миром *(лат.)*.

или покушения; были и сигналы — почти всякий раз достоверные — о факте гомосексуализма или адюльтера, были и ложные известия о мятежах в провинциях, о разногласиях в Высшем военном командовании, о неминуемых банкротствах, о закрытии страховых компаний и о предстоящем вскоре введении рационирования продуктов первой необходимости. Распространялись—правда, в меньшей степени — слушки, вызывавшие скопления публики, очереди, протесты, столкновения с полицией, а также фальшивые извещения о выгодном обмене—швейные машинки за прохудившиеся кастрюли, швейцарские часы за старые инструменты, велосипеды за ручные тележки—в магазинах богатой клиентуры или в только что открывшейся American Grocery [1]. Не то приглашались рабочие с обещанием выплаты приличного жалованья на давно закрытые фабрики. «Не потребляйте мяса скота, зараженного ящуром», — предупреждала листовка, кем-то пущенная в ход в полдень. «Национальный банк приостанавливает операции», — гласила другая листовка, обнародованная под вечер, с тем чтобы назавтра с утра собрать людские толпы у кассовых окошек. Взбудораженной стала жизнь в городе — лихорадили выдуманные новости, перепутанные адреса, переключенные провода, и телефон морга почему-то соединялся с телефоном кабинета премьер-министра, а звонок по телефону из дома терпимости будил на рассвете нунция Ватикана. Тот, кто заказывал в Нью-Йорке рояль «Стейнвей», обнаруживал внутри инструмента обезглавленного осла; тому, кто покупал пластинку Тито Скипы — тенора, которым здесь восхищались, ведь он пел и по-испански,— приходилось выслушивать поток отборной ругани в адрес правительства, для этого надо было только поставить иглу на диск с эмблемой американской граммофонной компании «Голос его хозяина». И на этом еще не кончалось — случались и более активные действия.

Некие возмутители спокойствия, с каждым днем все более удалые, вспышками магния вызывали переполох в кинотеатрах, разбирали трамвайные рельсы, перерезали электропровода, оставляя полгорода без света, чтобы спокойнее разбивать камнями магазинные витрины... Это было поистине загадочное войско — подвижное, осведомленное, инициативное и коварное, которое теперь действовало повсюду, чтобы дезорганизовать организованное, подорвать административный аппарат, держать власти в постоянном напряжении и прежде всего нагнетать состояние тревоги. Уже никто никому не верил. И полиция, бессильная, несмотря на приумножение числа агентов, детективов, доносчиков, провокаторов, шпиков, секретных наблюдателей, всегда попадала мимо цели, ни разу не могла установить подлинных зачинщиков этих беспорядков. Еще две бомбы взорвались во Дворце, хотя при входе в здание посетителей тщательно досматривали и каждый пакет, поступавший извне, проверяли. А поскольку кого-то нужно было обвинить — тем более что никто из официальных лиц не хотел признаться в собственной несостоятельности,— то подыскивали более или менее серьезные обоснования, чтобы утверждать: инициатором всего, мастером адских выдумок, хозяином тайных механизмов был не кто иной, как пресловутый Студент. Однако передовицы «Либерасьон» — никем, естественно, не подписанные, свидетельствовали, что необычные происшествия, сеявшие панику среди обывателей, не имели ничего общего с деятельностью коммунистов: «Мы не прибегаем ни к розыгрышам, ни к мистификации, чтобы вести далее нашу борьбу». И в более креольских выражениях продолжали: «К подлинным революционерам не относятся завсегдатаи притонов, скандалисты или

[1] Американской бакалее *(англ.)*.

гомосексуалисты». А рядом с этим в рамке помещалась цитата из неизменно строгой антологии марксистских концепций: «*...человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо...*» («К критике политической экономии. Предисловие»).

«Я начинаю думать, что...— бормотал Президент в замешательстве,— что этот прохвост говорит правду. Он преследует иные цели. Он — фантазер. Но искренний. Не будет терять время, чтобы по телефону болтать, будто вчера вечером я умер, как Феликс Фор».— «Но бомбы...» — подал реплику Перальта. «Да, бомбы...— откликнулся Глава Нации, которого вновь охватили сомнения.— Коммунисты, как и анархисты, подкладывают бомбы, где только могут. Стоит лишь посмотреть рисунки, иллюстрирующие международную прессу. И все же...» — «Самое плохое заключается в том, что народ приписывает Студенту все происходящее у нас,—заметил секретарь.—А потому он превращается в живой миф: нечто вроде Робин Гуда, владевшего кольцом Гигеса [1]. А нашим людям-альпаргатникам так по вкусу подобные истории...» В этом, конечно, он был прав, поскольку много, очень много на дорогах страны встречалось любителей романов Понсон дю Террайля — и также «Отверженных» Гюго,— и персонажи их изменяли свои имена, возраст и внешний вид, всегда обманывая своих преследователей. И на фоне классических образов мятежников, исторических outlaws[2], непреклонных и неуловимых, имя «Студент» не сходило с языка — в казармах, на вечеринках в городских домах, в безыскусных песенках, зазвучавших в деревнях, хотя там, по сути дела, еще плохо представляли себе, что такое коммунизм,— и Студента воспринимали как борца-реформатора, защитника бедных, врага богачей, бич лихоимцев, патриота, возрождающего подавленный капитализмом дух нации; люди видели в нем преемника народных вождей эпохи наших войн за независимость, продолжающих жить в памяти народа благодаря своим благородным и справедливым выступлениям. Он вездесущ — и слава об этом растет день ото дня: он, одаренный талантом находить неведомые тропы, издеваясь над полицейскими патрулями, заставами и дорожной охраной, переносится из шахт Севера на Пристань Вероники, из края лесорубов на необитаемые плоскогорья, где лишь цветет фрайлехон. Легенда о Студенте обогащалась восхваляющими его повествованиями, романсами о его подвигах, что переходили из уст в уста: он мог проскользнуть, казалось, через самые узкие и непролазные для человека щели; он легко перепрыгивал с крыши на крышу, переодевался протестантским пастором, францисканским капуцином, один раз прикидывался слепым, другой раз — лжеполицейским, а то был пахарем, шахтером, погонщиком каравана вьючных животных, врачом с докторским саквояжем, английским туристом, бродячим арфистом, носильщиком больших плетеных корзин — и пока службы государственной безопасности его разыскивали под невероятный грохот мотоциклов, прочесывая кварталы столицы, вполне вероятно, что он преспокойным образом отдыхал на скамье Центрального парка — в парике старика, седобородый, в черных очках, уткнув нос в сегодняшнюю газету; некоторые его сторонники — а вообще-то кто знал, были у него сторонники или нет,— там, вдали, где среди камней растут агавы и кактусы, на побе-

---

[1] У лидийского царя Гигеса (689—653 гг. до н. э.), по преданию, было волшебное кольцо, делавшее его невидимым.

[2] Изгнанников, находящихся вне закона *(англ.)*.

режье, где царят водоросли и рыбачьи сети, на полях спеющей пшеницы и на гумне среди снегов, пели ту песенку, что многие годы назад частенько можно было слышать в Мексике:

Нас, аграристов, обзывают
голытьбою и ворами,
а мы просто не желаем
у хозяев быть быками.

«Хватит с меня мифов,— говорил Глава Нации, размышляя о растущей популярности Студента, мысленный—и неизвестный — профиль которого каждое утро возникал перед его взором за высоким окном кабинета и перед ощутимым присутствием Вулкана-Покровителя.— Хватит с меня мифов. Ничто так не разносится по этому континенту, как мифы».— «Правильно, очень правильно,— высказывал свою оценку учитель лицея, зачастую просыпавшийся в Перальте.— И теперь здесь создают миф о Студенте, обновителе, пуританине спартанце, о вездесущем. Надо выпустить воздух из этого шара — мифа о Студенте... А полиция наша, дьявольство, натренированная в Соединенных Штатах, ни к черту не годится, разве только лишь умеет избивать связанных людей, пытать их электротоком и погружать с головой в ванну...» Перальта уже начал было открывать свой дорожный чемоданчик, чтобы успокоить разволновавшегося хозяина, когда поступила неожиданная, поразительная, чудесная весть о том, что Студент, обнаруженный там, где менее всего его ожидали, был схвачен — нелепейшим образом, бесславно,— не оказав сопротивления: в контрольно-пропускном пункте Юга два простых, хоть и не столь наивных, патрульных заметили, что на арбе, груженной сахарным тростником, ехал мачетеро, и у этого мачетеро руки оказались без мозолей. Фотография субъекта, только что снятая, совпадала со снимком, находящимся в его деле, заведенном при поступлении в университет и теперь тщательно изученном полицией. И все-таки этот субъект уже на протяжении двух часов отрицает что он — это Он. находясь в камере—или, быть может, в я ч е й к е? — Образцовой тюрьмы. «Ради бога, не причинять ему никакого вреда!—воскликнул Глава Нации.— Пусть дадут ему хорошо позавтракать — булочки, масло, сыр, черную фасоль, яичницу — и даже глотнуть чего-нибудь, по-крестьянски, если захочет. А потом доставить его в мой кабинет. Поговорим как мужчина с мужчиной. Передай ему мое обещание, что я не собираюсь применять против него силу. Так он будет меньше упорствовать».

Глава Нации весьма обстоятельно подготовил все декорации, необходимые для спектакля. Одетый в строгий сюртук, отделанный шелком, с розово-серым галстуком, орденская ленточка в петличке лацкана — он сел за свой рабочий стол спиной к огромному окну с матовыми стеклами, выходящему на центральное патио Дворца, так что свет падал прямо на лицо посетителя. Посреди стола — классический бювар, с серой промокательной бумагой, обрамленный тисненым сафьяном; чернильница с наполеоновским орлом на зеленой мраморной подставке, непременный кожаный цилиндрик, набитый остро заточенными карандашами, пресс-папье — сувенир Ватерлоо, золотой нож для вскрытия писем с выгравированным на рукоятке гербом Республики и папки, многочисленные папки, разбросанные в беспорядке, разворошенные бумаги — там и тут, словно хозяин кабинета погружен в усердное изучение документов. А несколько поодаль, справа от бювара, словно ничего не означая, лежала книжка в желтой обложке — руководство по разведению кур породы красных род-айлендов...

Доктор Перальта ввел Студента в кабинет, проявив утонченную любезность, тогда как Глава Нации не прерывал своей игры в сопоставление цифр, поочередно отмечая их вечным пером. Наконец, приподняв натруженную руку, он указал посетителю на кресло. И затем собранные в одну пачку бумаги вручил секретарю: «В смете на виадук допущена ошибка на триста двадцать песо. Это недопустимо. Пусть господа примут к сведению, что сейчас есть возможность заказать в Соединенных Штатах специальные аппараты, они называются вычислительными машинами...» Перальта вышел. И воцарилось глубокое молчание. Крупного сложения, широкоплечий — корпус его как будто еще более разбухал в величии президентского кресла,— Глава Нации обозревал противника не без некоторого удивления. Он предполагал встретить юношу-атлета с мускулами, развитыми университетским гандболом, с энергичным и вызывающим лицом человека, готового в любой момент вступить в бой, а сейчас видел перед собой худого, хилого, бледнолицего юнца — на полпути от отрочества до зрелости,— с несколько растрепанной прической, и юноша — это да!—смотрел открыто, пристально, в упор, почти не мигая, глаза его очень ясные, не то серо-зеленые, не то зелено-голубые, хотя чуть ли не по-женски эмоциональные, отражали силу характера и решимость того, кто может, в случае необходимости, действовать непоколебимо с верой и убежденностью в своей правоте... Всматривались друг в друга—с одной стороны Хозяин, Властью Облеченный, Несменяемый, с другой — Слабый, Скрывающийся, Утопист. Воочию они друг друга видели впервые — над пропастью, разделяющей два поколения. И каждый, созерцая другого, посчитал своего соперника жалким. Тот, кто Наверху, тому, кто Внизу, представлялся неким прототипом, неким экспонатом из исторической коллекции, фигурой, часто встречающейся на плакатах и в карикатурах, воплощением триединства Властелин-Капиталист-Патрон, отображенного в недавно родившемся фольклоре,— непременный образ, уже примелькавшийся в ретине, как века назад расхожими были образы лжеученого Болонского Доктора, тупого остряка Турлупина или бахвала Матамороса из итальянской la commedia dell'arte. Да это же непременный персонаж революционных аллегорий — Студенту вспомнились рисунки Георга Гросса, гравюры Мазереля — находился перед ним: в сюртуке и брюках в полоску, с жемчужиной в галстуке, надушенный дорогими духами; не хватало лишь традиционного отблескивающего цилиндра и гаванской сигары, прикушенной клыками, чтобы полностью символизировать Дух Буржуазии, восседающий на мешках с долларами, которые хранились, конечно, в подвалах некоего швейцарского банка... А для того, кто Наверху, тот, кто Внизу, был иным фольклорным героем, и первый оценивал второго, измерял, раскладывал по кусочкам, в душе удивляясь собственной потребности обращать какое-то внимание на столь ничтожную персону. Другой, кто сидел перед первым, скорее был — по нашей версии — чем-то вроде классического студента из русского романа, мечтателя и доктринера, более нигилиста, чем политика, пролетарием по долгу, обитателем мансард, голодающим, скверно одетым, засыпающим от безмерной усталости среди книг, преисполненным зависти и злопамятства, разжигаемый крушением надежд в невзрачной жизни. Оба они родились одинаково, на одной земле. Однако тот, кто Наверху, прагматик по-своему, прекрасно разбирающийся в обстановке, без промедления избрал восходящий путь, ныне отмеченный — словно вехами — его бюстами и статуями; тот же, кто Внизу, угодил в западню мессианизма нового толка, что на всем континенте роковым путем приводил увлеченного им прямо в Сибирь тропиков, к сомнительной славе отождествленного по Бер-

тильону[1], а то и к развязке (это станет темой статей журналистов далекого будущего): к бесследному исчезновению (в последнем случае семье исчезнувшего либо испарившегося не оставалось ничего другого, как в день предполагаемой траурной годовщины принести цветы на безвестную могилу, имя и фамилия обитателя которой запечатлены лишь в неизбывной тоске, в горе, куда более горшими, чем тоска и горе у гроба, около разверстой могильной ямы)... Оба продолжали смотреть друг на друга. И в молчании, нарушаемом только посвистыванием какой-то птички, шаловливо резвящейся на ветвях пальмы в дворцовом патио, возник контрапункт голосов, звуки которых не срывались с губ:

— Даже не представляет, до какой степени вошел в свою роль / скорее смахивает на провинциального поэта, чем на кого-либо другого / именно выдерживает «позу» / из тех, кого премируют на «конкурсах цветов» / великолепно сверкает в своей мишуре / костюмчик-то приличный, похоже, из модного магазина «The Quality Shop» / морда, как куриная гузка / девичьи щечки / на фотоснимках выглядел более светлокожим — с годами заметнее происхождение / непричесан, галстук еле завязан, конечно, ради стиля / столько одеколона, что разит, как от проститутки / не хватает ему масштаба, силы, чтобы разыгрывать из себя что-то значительное / есть что-то отталкивающее в выражении его лица / себя, видимо, считает за Мазаньелло[2] / я считал его более старым / любопытно, на меня смотрит с ненавистью или со страхом? / руки его дрожат: алкоголь / у него руки пианиста, но за ногтями не следит / классический тиран / архангел, каким в юности казались и мы все / порочный человек, способный на любое свинство: это написано на его лице / лицо юнца, еще не познавшего многих женщин: соломенный интеллигентик / даже не чудовище: надутый индейский касик[3] / такие хиляги хуже всего / ну и спектакль: манера принимать, свет на лицо, эта книжка на столе / способен на любое: терять ему нечего / нечего так вглядываться, глаз не опущу / хотя и храбрец, но пытки не выдержит / задаю себе вопрос, выдержу ли пытку; бывают и такие, что не могут... / думаю, что ему страшно / ...пытку... / если его прижать слегка / будут выпытывать у меня имена / чего еще ждать — вначале надо припугнуть / руку подносит к звонку: сейчас вызовет / нет, я дал себе слово / не знаю, смогу ли выдержать / заговорить первым / ужасно подумать об этом, об этом, об этом... / незачем делать из таких людей мучеников, незачем делать мучеников — надо стараться не делать этого / он дал мне слово, но слово его ничего не значит / все знают, что в эти часы Он здесь; и что я дал себе слово / сейчас позвонит: я уже вижу себя в наручниках / других, более крепких, чем этот, и то удавалось переубедить / когда же он решит заговорить? / выпустить его, и пусть за ним следят: куда-то должен он пойти / почему он ничего не говорит, эта сволочь? Почему не открывает рта? / начал потеть / вот еще пот выступил, а платка у меня нет, платка нет, и в этом кармане тоже нет... / ему страшно / улыбается / хочет, видимо, что-то мне предложить, какое-нибудь свинство / а что, если угостить его глотком / уверен, предложит мне выпить / ведь не примет, прикинется чистеньким / хорошо бы предложил глоток: было бы легче / не хочу нарываться на отказ / ну, давай, давай, наберись храбрости, бутылочку из этого чемоданчика, все же знают, что в нем / однако, да... хочу сказать

[1] Альфонс Бертильон (1853—1914) — французский криминалист, автор антропометрического метода установления личности преступника.

[2] Вождь восстания неаполитанцев в 1647 году против испанского господства.

[3] Глава племени индейцев.

вам... хочу сказать... / *похоже меня он не понял... шум грузовика / кажется, что он мне сказал, предложил выпить, но не расслышал: этот грузовик / теперь трамвай / трамвай / не ясен жест / вероятно, он не разгадал мой жест / ну, мы поглядели друг на друга уже достаточно; сейчас — книжку, чтобы видел, что...*

Глава Нации взял в руки брошюру по разведению красноперых кур породы род-айлендской; открыл ее и, натянув на нос очки, начал читать с подчеркнутым ехидством: «*Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма*». И с более подчеркнутым лукавством вмешался Студент: «*Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака...*» Папа и Вильсон, Клемансо и Ллойд-Джордж...» — «*...Меттерних и Гизо*»,— поправил его Глава Нации. «Вижу, что классиков вы знаете»,— сказал Студент. «Лучше знаю насчет разведения кур. Не забывай, я — сын земли... Может, поэтому...» И смолк в замешательстве, какой манеры лучше придерживаться в этом диалоге? Не нажимать же на развесистое многословие, как в «Молении на Акрополе»? Это юнец, принадлежащий новому поколению, нашел бы смешным, а вместе с тем нельзя впадать в прямую противоположность, нельзя прибегать к жаргону, к словарю предместий, невежественной черни: так можно легко уронить собственное достоинство, хотя с некоторым кокетством он пользовался жаргонными словечками в беседах с Доктором Перальтой и Мажордомшей Эльмирой. В конце концов предпочел тон более гуманный, раздумчивый, ничего общего не имеющий с обычным панибратством, принятым между нами, что своей экзотичностью в этом суетном мире привело бы к отдалению бóльшему, чем ширина стола, разделявшего их. Отлично владея своими жестами, цедя слова сквозь зубы по-актерски — совсем как Люсьен Гитри,— он спросил находившегося перед ним юношу, подражая трагедийному персонажу, которому наскучили смутные предназначения рока: «Почему в ы так меня ненавидите?» Студент, прекрасно понявший значение «вы» в словесной стратегии другого (пытается применить стиль Вольтера, у которого было сказано: «имел честь беседовать» с некоей индеанкой, носившей лишь набедренную повязку...), отвечал самым кротким и примирительным тоном, какой только мог передать его голос: «У меня нет чувства ненависти к в а м, сеньор».— «Однако любовь—не слова, а дела,—произнес Всемогущий, не подчеркивая сказанное.— И бомбы тут бросали не в дворцовую прислугу. Следовательно, ненависть, ярость бушуют в в а с».— «Ничего против в а с, сеньор».— «Но... а эти бомбы?» — «Их я не подкладывал, сеньор. К тому же я ничего не понимаю во взрывчатке».— «Ладно, т ы... нет (поправился), в ы — нет. Но их подкладывают ваши сторонники, ваши друзья, ваши соучастники... (тут же ему показалось, что слово «соучастники» чересчур вульгарно, пригодно лишь для языка полицейских донесений) ...ваши единомышленники, ваши помощники, ваши компаньоны...» (стоп, что-то слишком цветисто).— «Мы не подкладываем бомбы, сеньор». Глава Нации начал выказывать беспокойство. Не походило ли все это на театрализацию басни о Волке и Ягненке. «Но... кто тогда их подкладывает? Кто? Не хотите ли вы мне сказать?» — «Другие, но не мы. Мы слишком много раз убеждались в том, что покушения анархистов ничего на свете не изменяют. Анархисты Равашоль и Казерио со своим самопожертвованием столь же абсурдны, как Бакунин и Кропоткин — со своими доктринами».— «Нечего меня убеждать хитроумным словоблудием в духе византинизма, уловками, как будто мы заседаем на Никейском церковном соборе — впрочем, все вдобавок одно и то же... Даже предположим, это были не вы, когда бомба взорвалась в моей ванной комнате, но ведь вы аплодировали».— «Совсем наоборот, сеньор. Самое

худшее, что может случиться с нами сейчас, так это, если в а с убьют. У меня есть один соратник, католик, фанатик — ничего с ним не поделаешь,— и вот он молится, взывает к Богоматери, чтобы продлила она для нас ваше драгоценное существование». Глава Нации, пораженный и вместе с тем возмущенный, вскочил с места: «Мое драгоценное существование? Т ы — вот именно — т ы скор на... выдумку! Выдумка, как понимаешь, это — эвфемизм...» (Ага, перешел на «ты».) — «Именно в в а с мы нуждаемся, сеньор». Другой — Всемогущий, Великий — разразился хохотом: «Вот это действительно здорово, теперь выходит, что я — марксист, коммунист, меньшевик, революционер — и мать, что их всех породила, и все это одно и то же, и все ищут лишь одного и того же: устроиться в Кремле, устроиться в Елисейском дворце, устроиться в Букингемском дворце или сесть в это кресло (он ударил по спинке президентского кресла), чтобы околпачивать всех вокруг, наслаждаться жизнью и набивать карманы деньгами. Царский посол, который остался у нас, поджидая, когда все тамошнее лопнет, и скоро лопнет, мне рассказывал, что жена Ленина носит драгоценности, ожерелья и короны императрицы Александры...» — «Великолепно, что вы думаете так и сочиняете подобные вымыслы, сеньор. Лучше, когда нас не понимают, чем недопонимают. Те, кто нас недопонимает, воюют против нас злее, чем те, кто принимает нас за фантастов».— «Однако, в конце концов, если завтра я умру...» — «Нам будет очень жаль, сеньор... Тогда власть захватит военная хунта и все будет продолжаться так же или хуже, чем при правительстве какого-нибудь Вальтера Гофмана, царство ему небесное».— «Но... чего тогда вы хотите?» И другой, несколько повысив голос, но неторопливо произнес: «Чтобы вы были свергнуты на-родным вос-ста-ни-ем».— «А потом? Ты займешь мое место, не так ли?» — «Никогда не желал я чего-либо подобного».— «Стало быть, у вас уже есть кандидат?» — «Слова «кандидат» нет в нашем словаре, сеньор». Глава Нации пожал плечами: «Чепуха! В конце концов кто-то, все-таки кто-то должен взять в свои руки власть? Всегда нужен человек, всегда человек — во главе любого правительства. Вот смотри, Ленин в России... Ах, да! Уже вижу!.. Луис Леонсио Мартинес, твой профессор в университете...» — «Он — кретин. Может отправляться куда угодно со своими древнеиндийскими пуранами, с Камилем Фламмарионом и учением Льва Толстого (он даже рассмеялся). Его возвращение на землю! Чью землю? На земли монополии «Юнайтед фрут»?..» Главу Нации уже начал серьезно раздражать поворот беседы, и он с нетерпением пытался перевести разговор на другую тему: «В таком случае вы, значит, замыслили насадить здесь социализм?» — «Ищем путь».— «Русский путь?» — «Быть может, он будет не таким. Мы живем на другом меридиане. С одной стороны, это проще, с другой — сложнее». Президент стал расхаживать по кабинету, рассуждая будто с самим собой: «Ай, ребятишки, ребятишки, ребятишки! Если вы будете насаждать здесь социализм, то через сорок восемь часов увидите североамериканскую морскую пехоту в Пуэрто Арагуато».— «Всего вероятнее, сеньор».— «В таком случае... (покровительственным и дружественным тоном)... в таком случае, я завидую т е б е. В твои годы я тоже подумывал о подобных вещах. Но... сейчас? Смотри, Жанну д'Арк сожгли девятнадцати лет от роду, потому как если бы она достигла тридцати, то спала бы с королем Франции и заполучила все то, что заполучила, вступив в сделку с англичанами, но не погибла бы на костре... У тебя — свои кумиры. Хорошо. Уважаю их. Но не забудь, что гринго — римляне Америки. А против Рима не попрешь. А тем более с людьми в альпаргатах... (продолжая в интимном тоне). Можешь говорить со мной с полным доверием, как со старшим бра-

том. У меня есть политический опыт, чего вы не имеете. Я мог бы объяснить тебе, почему то или иное возможно, а другое — нет. Все, чего я хочу, это понять... чтобы мы поняли друг друга... Доверься мне... Скажи мне...» — «Я еще не рехнулся!» — ответил другой с внезапно прозвучавшим смешком; он начал также расхаживать по кабинету, но в противоположном собеседнику направлении — пока один прислонялся к камину с имитацией дров, другой останавливался у консоли, зеркало которой, висящее в простенке между дверьми, увеличивало размеры помещения. Вскоре Глава государства чисто по-актерски, в полной безнадежности махнул рукой: «Так ничему и не научились, не извлекли уроков из этой жизни. А я... сегодня, слушая тебя, я неожиданно пришел к выводу, что являюсь Первым заключенным Нации. Да. Не смейся. Я живу тут, окруженный министрами, чиновниками, генералами и докторами, каждый из них двуличен в своей лести и в раболепии, каждый от меня скрывает действительное положение вещей. Мне только и показывают видимость, декорации. Я живу как бы в пещере Платона... Ты знаешь об этом... о пещере... Платоновой? Ну, конечно! Глупо спрашивать тебя об этом... И вдруг ко мне приходишь ты, полный веры, порыва, свежей крови, и передо мною чем-то осязаемым стала фраза французского поэта: «Я большему учусь у молодого друга, чем у наставника преклонных лет». Ах, если б я мог рассчитывать на искренность таких людей, как ты! Меньше ошибок совершил бы! Более того, ты видишь, я готов провести диалог в иной плоскости. Например, смотри: я понимаю, что мы были слишком, скажем, жестки в том, что касается университетской проблемы. Хочешь, мы тотчас же ее быстро обсудим, и ты через час отправишься отсюда с таким решением, которое может удовлетворить твоих людей? Зависит от тебя... говори...» Другой, переходя от камина к зеркалу, проронил по-итальянски: «Commediante». Глава Нации, все более распаляясь, огромными шагами вышагивал от зеркала к камину, потеряв прежнюю выдержку: «Слышишь! Если ты читал Альфреда де Виньи, то я тоже его читал. И нечего разыгрывать роль Пия VII перед Наполеоном [1]. И до того, как ты скажешь «Tragediante», узнаешь, как прозвучит это...» Из внутреннего левого кармана сюртука он вынул браунинг и положил его на стол, направив ствол на собеседника. «Так что война продолжается?» — «Продолжится, со мной... или без меня».— «Настаиваешь на своих утопиях, на своих социализмах, которые обанкротились повсюду?» — «Это дело мое... И многих других».— «Мексиканская революция потерпела крах».— «Этим она научила нас многому».— «Русская уже провалилась».— «Это еще не доказано». Теперь Глава Нации стал играть с пистолетом, демонстративно вынимая и закладывая обойму с пятью патронами. «Убейте меня сразу»,— сказал Студент. «Нет,— ответил Президент, пряча оружие,— здесь, во Дворце, нет. Запачкается ковер...» Снова наступило молчание. Снова послышалось пересвистывание птичек-томегинов в патио. Два взгляда, избегая встречи, уставились в стены. (Сколько будет продолжаться?.. Надо бы поправить ту картину... Положение безвыходно...) Наконец, как бы превозмогая себя, Президент заговорил: «Хорошо. Поскольку ты не хочешь договориться со мной, даю тебе срок — трое суток, чтобы покинуть страну. Попроси у Перальты, что тебе нужно. Можешь отправляться, куда желаешь. В Париж, например. Я мог бы отдать распоряжение, чтобы тебе выплачивали помесячно — более чем прилично и в полной тайне. Тебе не потребуется появляться в нашем посольстве. Твои

[1] Римский папа Пий VII в 1804 году короновал Наполеона I императором Франции.

друзья не удивятся, узнав, что ты уехал,— они поймут: здесь ты как революционер «сожжен»... Нет! Подожди! Без всяких мелодраматических жестов! Я не собираюсь подкупать тебя — лишь предлагаю простую дилемму...— Резко сменив тон, он продолжал: — Я не предлагаю тебе Париж веселых девочек и ресторана «У Максима», что сделал бы для любого нашего прожигателя жизни. Предлагаю тебе Париж Сорбонны, философа Бергсона и антрополога Поля Риве, а Риве, похоже, многое знает о наших делах и, кстати, недавно опубликовал великолепное исследование Мумии, которую несколько лет назад я подарил музею Трокадеро. Все остальное — дело твое. В Сент-Этьенн-дю-Мон передашь привет от меня Расину, в Пантеоне — Вольтеру и Руссо. Либо, если хочешь создать свое «Моление на Акрополе», разумеется, на большевистский манер, то на кладбище Пер-Лашез найдешь Стену коммунаров. Есть на любой вкус... Ты сам выберешь». И несколько раз он повторил: «Ты сам выберешь» — и с каждым разом слова эти звучали все двусмысленнее, туманнее.) «Мне нечего делать в Париже»,— сказал Студент после многозначительной паузы. «Как хочешь. Оставайся. Но со вторника — это будет послезавтра — войдет в силу приказ убить тебя, без всяких проволочек, где бы тебя ни обнаружили».— «Моя смерть будет наихудшей рекламой для вас».— «Сынок, закон о мерах при «попытке к бегству» — ложь, но общепринятая. Как и самоубийство беглеца или того, кто повесился в своей камере, поскольку забыли отобрать у него шнурки от ботинок. И это случается в странах более цивилизованных, пусть имеют они распрекрасные лиги защиты прав человека и всяческие другие учреждения, в равной степени почитаемые, чтобы спасать свободу и достоинство личности... Ах!.. И предупреждаю тебя, что вместе с тобой погибнут и те, кто предоставит тебе убежище — вместе со всей семьей, со всеми. Согласен?» — «Могу идти?» — «Убирайся к дьяволу! И подготовь себе эпитафию: «Здесь покоится тот, кто умер, будучи обалдуем». Студент встал. Глава Нации взмахнул рукой в знак прощания, не рискнув протянуть руку и встретить отпор: «Вообразить себе не можешь, сколь мне жаль. Такой ценный юноша, как ты... Хуже всего то, что я тебе завидую: мне бы твои годы, я был бы с вами. Ты еще не знаешь, что такое — управлять этими странами. Не знаешь, что значит переделывать человеческий материал, что...»

Фигура Главы Нации исчезла в каскаде разбитых стекол. Зеркало, в котором только что мелькало его отражение, этажерки, книжные шкафы, картины, камин — все рухнуло под лавиной штукатурки и алебастра, изломанных реек, позолоченных рамок и рам, щепок, обоев; лавина сорвалась вслед за оглушительным грохотом, вызвавшим острую боль в ушах и будто отдавшимся в груди и животе. Президент, смертельно бледный, счищая рукой гипсовую пыль, от которой побелевший сюртук скорее выглядел курткой хлебопека, со страхом озирался вокруг. Студент лежал на полу. Президент уже ощупывал себя, желая убедиться, не замажутся ли где кровью руки. И прежде всего не пострадало ли лицо: женщины играли в жизни Главы Нации особую роль. «Ничего... сегодня заново родились...» — промолвил Президент. «И вы все еще верите, будто я такой идиот, способен бросать бомбы в самого себя?» — спросил юноша, поднимаясь. «Теперь, да, теперь тебе верю. Но это ничего не меняет. Я уже сказал тебе все — больше нечего».

В помещение вбегали люди: прислуга, чиновники, охранники, Мажордомша Эльмира, секретарши.

«Выходи здесь»,— сказал Глава Нации, провожая Студента в соседний салончик — весь в розовом, украшенный изящно выполненными фривольными гравюрами, с широкой софой, на которой лежали по-

душечки; отсюда на улицу спускалась узкая винтовая лестница, давно ставшая притчей во языцех. «Это сюда вам приводят девочек?»—«В мои годы я все еще в порядке. Только что мог в этом убедиться.— И, положив руку на плечо Студента, он сказал: — Для тебя я, должно быть, смахиваю на Калигулу... не так ли?» — «Пожалуй, на коня Калигулы»,— охваченный неодолимым желанием дерзить, ответил тот, прежде чем — с быстротой белки — спуститься по ступенькам... Глава Нации был настолько ошеломлен, что при появлении Доктора Перальты смог лишь произнести: «Открой ему внизу... И пусть отпустят его на свободу».— «Там принесли аптечку первой помощи, сеньор».— «Не думаю, что пригодится... У меня ничего.. ничего... ничего...» И, еще раз проведя руками от груди до колен, не обнаружил ни боли, ни крови.

16

...Всегда гораздо безопаснее защищаться, чем бежать...

ДЕКАРТ

В марте того года потребовалось продлить мораторий — так или иначе, если бы не было официального объявления об отсрочке выплат по финансовым обязательствам и долгам, то мораторий продлили бы, затянули бы, оттянули бы, довели бы до последней календарной даты те, кто привыкли действовать по собственной прихоти. Коварные интриги, вероломство, ловушки, плутовство и, к тому же вкупе с неплатежеспособностью — все прикрывалось магическим, заговорным, даже несколько крематорно звучавшим словом м о р а т о р и й.

Никто ничего не оплачивал. Обитатели доходных домов и трущоб встречали камнями и кольями домовладельцев и их управляющих, пытавшихся взыскать квартирную плату, а для пущей убедительности на последних спускали собак. Коммерсантов с Канарских островов и сирийцев, торговавших с лотка всякой всячиной, лавочников, отпускавших товар в кредит, домашние хозяйки теперь обзывали анархистами — и женщины были убеждены, что поблизости окажется полицейский, ежели кредиторы будут чрезмерно настаивать на оплате более чем просроченных счетов за кружева и белье. Вещи покупались в рассрочку и в тот же день закладывались; люди раздобывали тут, чтобы подправить там. В непрекращавшемся коловращении ценных бумаг, векселей, мошеннических — на грани разоблачения — сделок люди прибегали к заимодавцам, ростовщикам, жили в надежде на судебную волокиту, в ожидании чудес...

И в конце концов все это привело к тому, что новый город стал свертываться — именно с в е р т ы в а т ь с я — с такой же стремительностью, с какой ранее развертывался Высокое укорачивалось, сжималось, сплюшивалось, как бы возвращаясь к фундаменту, к грязи котлована Покрываясь сыпью нежданной нищеты, честолюбивые небоскребы города — теперь скорее туманоскребы, чем небоскребы,— выглядели приниженными, их верхние этажи, покинутые компаниями, потерпевшими крах, обезлюдели, помрачнели, былой лоск пропал под пятнами сырости, утонул в тоске грязных оконных стекол; осиротели статуи, на которых в течение каких-то недель выявилась проказа...

В портале биржи, почти совсем опустевшей и сонной, разместился рынок певчих птиц, попугаев и черепах; здесь продавали также сласти освежающие напитки и початки вареного маиса; здесь расположились и холодные сапожники, точильщики ножей и ножниц; здесь сбывали молитвы, напечатанные на отдельных листках бумаги, и разные

амулеты; здесь же пристроились и знахари, врачевавшие дикими травами. «Торгаши в храме»,— по-библейски изрекал, вздыхая, Глава Нации. «Несмотря на Версальский договор, и Европе очень нездоровится,— как бы в утешение поговаривал доктор Перальта, мечтая о новой войне, длительной, отменной, сулящей барыши и, быть может, более близкой, чем иным думалось.— Вильсон своими четырнадцатью пунктами[1] запутал все на свете». Тысячи объявлений о распродаже по дешевке и о ликвидации торговых фирм воспринимались как реквием по отцветшей коммерции. Брошенные на произвол судьбы здания, которым даже не довелось показать свои молочные зубы — начатые строителями стены не достигли и роста человека,— повсюду торчали останками мертворожденного, свидетельством того, что не могло появиться на свет, памятником возвращения к прошлому, к начатому — помещения без крыш, лестницы, идущие в никуда, колонны, невольно напоминающие колонны Помпеи, а обширные участки для городских застроек, градостроительные площадки, пригородные наделы были опять завоеваны сорняками, спустившимися с гор...

Между тем косогоры, окружавшие город, обрастали лачугами из жести, просмоленного брезента, дощечек от тары, из склеенных клеем или самодельным клейстером газет и картона — сооружения поддерживались подпорками и рогатками на откосах, сохраняли свое уму непостижимое равновесие, пока не нарушалось оно под ранними весенними ливнями, и тогда проваливались полы, разваливались лачуги, целые семьи оказывались на дне оврагов.

В том году сахарные заводы до истечения обычного срока прекратили помол сахарного тростника. Предоставленные судьбе, деревья-каучуконосы заживляли свои раны в зарослях тропической сельвы. Вновь вспыхивали забастовки на Севере, мятежи на лесопилках города Уррутиа, кровавые столкновения между горняками и армией в Нуэва Кордобе. Какие-то вооруженные отряды, предводимые главарями, еще вчера никому не известными, бродили по горам Юга, поджигая асьенды, грабя лавки, нападая на казармы — и в течение двух, а то трех дней господствовали в селениях, заставляли отплясывать алькальда, коммерсантов и других лиц из местной знати под пистолетную пальбу прямо им под ноги, чтобы чечетка была более резвой. Власти некоторых провинций уже ничего не могли поделать против людей, которых кто-то подстрекал и которые — а сколько раз в истории страны наблюдались подобные случаи! — пробуждались от покорности, от спячки, от тридцатилетнего смирения и внезапно — когда это меньше всего ожидалось — применяли насилие, хотя насилие здешние социологи считали явлением, чуждым врожденному добродушию, столь характерному для национального темперамента.

Последние события заставили Главу Нации уединиться на острове со сторожевыми вышками, с наблюдательными пунктами, со многими решетками, симметрично обсаженном пальмами. Таким островом стал Президентский Дворец, куда стекалось столько известий — запутанных, противоречивых, ложных или правдивых, оптимистичных либо донельзя мрачных,— так что нельзя было прийти к ясной, общей и хронологически точной оценке происшедшего. Тот, кто хотел приуменьшить размеры понесенного поражения, не придавая никакого значения случившемуся, докладывал о столкновении с беглыми и скотокрадами, хотя на самом деле развернулось настоящее сражение с крупными народными силами. Тот, кто хотел оправдать свое малодушие, преувеличивал до гигантских цифр численность противника. Тот,

[1] Имеется в виду империалистическая программа мира, провозглашенная президентом США Вудро Вильсоном в январе 1918 г.

кто хотел скрыть отсутствие информации, старательно избегал говорить о подлинном положении в стране. «Вы заставляете меня...— кричал Глава Нации вне себя от гнева,— заставляете вспомнить тех европейских генералов, которые, проиграв битву, ссылаются на «стратегический отход», на «выравнивание линии фронта»,— резонно, это элегантный способ признать, что крепко им дали по затылку...» И со своих постов слетали губернаторы, и слетали начальники гарнизонов, и слетали правительственные чиновники в мундирах или в шляпах-панамах. И Дворец-остров превращался все более в остров, день ото дня, и все возрастала и крепла сплоченность прислужников правительства, которые за стенами доброй каменной кладки колониальных времен чувствовали себя сбереженными, защищенными от враждебных сил, что словно прибой, вызванный далекими ураганами еще непредвиденной траектории, били по их сторожевым башням, амбразурам и брустверам, где всечасно сверкало голубоватым металлом холодное оружие. Уже подготовили мешки с песком — предусмотрительность никогда не мешает — на плоской крыше здания Дворца. В воздухе пахло покушениями. Внезапно хлопнувшая под порывом ветра дверь, резкий рывок с места мотоцикла, молния, прорезавшая небо без грозовых туч — частенько такое бывает в эти месяцы,— вызывали у всех столь глубокие потрясения, что слова Мажордомши Эльмиры — «Не будьте трусами!» — будто повторы лейтмотива в вагнеровской опере, то и дело раздавались по коридорам и галереям, находившимся под усиленной охраной. «Нажмите, Президент, нажмите. Надо нажать сильнее»,— говорил Перальта, когда какой-нибудь неприятный случай вторгался в распорядок наступившего дня. Однако самое главное заключалось в том, что ныне Глава Нации уже не мог «нажать» там, где это следовало бы сделать, потому что поблизости от Дворца-острова в городе появился другой остров, хотя совсем рядом расположенный, но все же неприкосновенный: остров желтых зданий, отделанных обтесанным камнем, изобиловавших лепными украшениями — прямо-таки стиль «платереско» [1], лишь переиначенный в Калифорнии... Центром другого острова стал American Club, где — а это известно из достоверных источников — проблемы кризиса в стране, банкротств, беспорядков серьезнейшим образом обсуждались между партиями в покер, собраниями «Дочерей революции», заседаниями масонов в турецких фесках, проведением своих праздников: 4 июля — Independence Day, Thanksgiving, Halloween [2] под звездно-полосатыми флажками и с ребятишками, напялившими маски из выдолбленных тыкв. И обсуждавшие приходили к ошеломляющему, к невероятному заключению, что в данный момент, ввиду отсутствия более достойного, Человеком Провидения — можно сказать, последней ставкой, пусть рискованной, но спасительной — мог бы стать Луис Леонсио Мартинес, побежденный в Нуэва Кордобе, неожиданно и поразительно снискавший благорасположение государственного департамента Соединенных Штатов. «Хотя все сохранялось в глубокой тайне, Ариэль знал, что тот в течение нескольких дней находился в Вашингтоне,— уточнил Перальта.— Еще раз подтверждено, что в политике нет мертвого врага».

Глава Нации размышлял вслух: «Они, э т и, чьи интересы я защищал, как никто... э т и, заполучившие от меня все, что хотели, теперь они сваливают на меня вину за происходящее в стране. И не хотят признать, что кризис порожден не нами, он — всеобщий, универсаль-

---

[1] Характерный для испанской архитектуры XVI века «ювелирный» стиль, с обильной декорировкой зданий.

[2] День независимости, День благодарения, День всех святых *(англ.)*.

ный. Пусть посмотрят на Европу, где они черт знает что натворили, перекроили географическую карту, подорвали финансы, создали искусственные нации — хаос, скажу я, настоящий хаос. А теперь еще пытаются у нас навести порядок, используя идиота-профессоришку».— «Они считают, что со сменой власти — с этим вечным мифом о благотворности перемен — можно выпрямить кривую... Быть может, они думают, что нас уже побила моль, что мы в какой-то степени «vieux-jeu» [1],— стонал Перальта, тогда как Глава Государства вернулся к навязчивой идее, которая на протяжении нескольких последних дней не давала ему покоя: «Дурак я был, что не прикончил Студента, ведь здесь он находился передо мной, как вот сейчас тебя вижу. И браунинг на столе. Только одно движение. А для публики: «Пытался совершить покушение на меня, я был вынужден защищаться». Мажордомша Эльмира после могла прострелить правое плечо моего сюртука, подвешенного на вешалку, а уж потом сюртук я бы надел. И еще опубликовать хорошенькое фото того, другого, растянувшегося на ковре,— несчастная жертва моего законного инстинкта самосохранения. Все очевидно. Все подтверждено. И первые аплодисменты прозвучали бы в American Club».— «Это ничему бы не помогло».— «Но Студент продолжает шататься тут, он никуда не уехал. Наша полиция сегодня, как и вчера, не может схватить его. И он преспокойно продолжает публиковать свой пасквильный листок на бумаге «библ»...— «Эту газетенку прежде всего читают члены American Club. А публика, для которой пасквиль предназначается, едва-едва умеет читать. Кроме того, идеи, излагаемые в листке, чересчур сложны для наших людей в рабочих комбинезонах и уарачес».— «Понять, конечно, не поймут идейки этого человечишки, но ведь слепо верят в него».— «Ба! Только абстрактно. Для них он Некий-кто-может-чем-то-помочь. Опять же Миф о переменах! Но юнцу не хватает плоти, не хватает образа, не хватает ощутимости. Его реальность ближе нашим крестьянам, для них он — Святой избавитель, имя которого не числится в святцах, но к могуществу которого прибегают, когда чего-то хотят и поскорее; они молятся перед гравюрой — напечатанной, кстати, в Париже,— на которой они видят неизвестного церкви Чудотворца, потрясающего саблей со словом «Hodie», стало быть — «сегодня», однако наши люди, не знающие латыни, утверждают, будто на стали выгравировано соленое словечко, не то «Уходи!» «И ты полагаешь, что Леонсио более популярен в народе, чем Студент?» — «Никоим образом. Но поскольку гринго боятся Студента — и особенно опасаются тех идей, которые он проповедует,— то предпочитают поддерживать человека из Нуэва Кордобы. Личность им не столь важна. Но она может олицетворять образ «Демократии», чем всякий раз они жонглируют, как только пытаются изменить что-то в нашей Латинской Америке».— «Это вопрос лексики».— «Каждый истолковывает слово по-своему: они говорят о «Защите демократии», мы — о «Защите установленного порядка»... Глава Нации опять начал размышлять вслух: «Быть может, нам следовало бы затронуть струну национального достоинства: недопустимое вмешательство янки во внутренние дела страны... Наш народ ненавидит этих гринго».— «Наш народ — да, однако наша буржуазия всегда подлаживалась и подлаживается к ним. Для наших денежных людей слово «гринго» — синоним Порядка, Техники, Прогресса. Дети из богатых семейств, если не обучаются у иезуитов в Белеме, в Бразилии, то проходят курс наук в Соединенных Штатах — в Корнелле, в городе Трое либо в Вест-Пойнтской военной академии. Нашу страну наводнили — и вы это зна-

[1] Устарели *(франц.)*.

ете — методисты, баптисты, «свидетели Иеговы», не говоря уж о газете «Крисчен сайенс». Североамериканские библии вошли в меблировку наших богатых домов, как и портрет Мэри Пикфорд в серебряной рамке и с непременным отштампованным автографом — Sincerely yours [1]... Мы теряем все искони наше, чересчур отдалились от Испании-матери».— «Слезами горю не поможешь. Вам храбрости не занимать, вы и в худшее ненастье умели пользоваться плащом тореро. Более опасными были генералы Атаульфо Гальван и Вальтер Гофман, увлекшие за собой часть армии. Военный заговор, по крайней мере, нам не угрожает».— «Это точно, на армию я могу положиться. Несомненно».— «И это знают янки, Президент, янки знают...»

В эту минуту до кабинета донеслась струнная музыка — медленная, нежная, печальная,— многократно отраженная сводами арок за цветущими фламбойянами Центрального парка. «А, уже начали! — воскликнул Глава Нации.— Эльмирита говорит, что такое приносит несчастье... Закрой окно, Перальта»... Поспешно захлопнул окно секретарь, неожиданно столкнувшись с повседневностью Сделок со Смертью — единственного процветавшего в кризисные времена бизнеса, чем занялись ловкие люди, знающие, как вести дело со всегда гарантированной клиентурой, побуждаемой атавистической тоской по Беспробудному сну в потустороннем мире. Во всей стране в процессе слияния традиций эстремадурское — все-таки наш первый конкистадор родом был из Касереса, как и Писарро,— смешалось с индейским и похоронный ритуал был весьма сложным, пышным и долгим. И традиция заботливо сохранялась в столице, хотя сцена кое в чем изменилась. Покойники пребывали и отпевались уже не в собственных домах, а в похоронных конторах, число которых беспрерывно увеличивалось — население росло, прибавлялось и количество усопших,— конторы эти соперничали между собой в нововведениях, в роскоши обслуживания опекаемых. Мало-помалу похоронные фирмы стали скапливаться и в центре города, сжимая круг зловещей тени вокруг Президентского Дворца. Из всех контор, конечно, выделялась одна, только что открытая и совсем близко, рядом с министерством внутренних дел,— в ее пристройке даже была размешена гримерная наподобие «Deuil en vingt-quatre heurs» [2], что находилась в Париже, за собором Мадлэн, на углу рю Тронше. В похоронной фирме «Вечность» самым примечательным было то, что родственники — для принятия у катафалка соболезнований, выражений сочувствия — могли избрать по своему вкусу мебель, декорации и общий стиль. И если таково было желание клиентов, то в качестве последней новинки в обслуживании, позаимствованной в Соединенных Штатах, траурное бдение сопровождалось тихой, мелодичной музыкой, без каких-либо контрастных по тембру и темпу звучаний, пусть не подчеркнуто похоронной, в ладанной дымке исполняемой квартетами или небольшими ансамблями струнных инструментов с гармоникой, скрытыми за решеткой с бессмертниками либо за венками на подставках; и из репертуара этих музыкантов чаще всего можно было слышать «Размышления» из «Таис», «Лебедя» Сен-Санса, «Элегию» Массне, «Ave Maria» Шуберта или Гуно, исполняемые вновь и вновь, без перерыва, с момента прибытия урны и до ее отправки на кладбище. Эти мелодии с самого рассвета докучали Главе Нации во Дворце, и он, крайне раздраженный необходимостью выслушивать одно и то же, повторенное сотни раз — громче в те часы, пока не начиналось движение автомашин по Центральному парку,— приказывал наглухо закрывать окна, и все же

[1] Искренне ваша *(англ.)*.

[2] «Траур в двадцать четыре часа» *(франц.)*.

мелодии эти неотступно его преследовали, продолжая сверлить мозг. Снова заснуть он мог, лишь обратившись к помощи «Санта Инес» из чемоданчика-«гермеса», всегда наготове стоявшего у изголовья его гамака... И как раз потому, что навязчивые звуки доносились из недели в неделю, в одно прекрасное утро он почувствовал себя оглохшим, да, оглохшим от... тишины — от небывалой тишины. Окна были открыты Мажордомшей Эльмирой еще на заре, но в опочивальню Президента врывался лишь бриз, легкий, пахнущий утренней зеленью, и не раздавалось ни одной ноты «Элегии», «Лебедя», «Раздумий», ни «Ave Maria»... «Что-то чудно́е случилось»,— сказал он себе.

В самом деле чудно́е, поразительное случилось — еще неслыханное, не припоминаемое никем, даже стариками, которые дольше других помнят. Свой день — тот день — столица встречала в молчании, в тишине, которая была не только погребальной, которая была тишиной других эпох, тишиной давних зорь, тишиной тех времен, когда на главных улицах города паслись козы; и эта тишина сегодня лишь порой прерывалась отдаленным ревом осла, коклюшным кашлем, плачем ребенка. Не сигналили автобусы. Не тренькали трамваи. Не звонили повозки молочников. И — что было еще более странно — булочные и кафе, открывавшиеся спозаранку, держали двери на замке, не поднимались и металлические жалюзи магазинов. На улицах не было бродячих торговцев с горяченькими кренделями-чуррос, с плодами тамаринда «для печени», со свежими устрицами из Чичиривиче, с пирогами-тамалес из доброй маисовой массы, не слышно и рожка продавца сладких хлебцев... все это предвещало события исключительной важности, предвещало той тревожной озабоченностью, тем боязливым ожиданием, скрытым и неопределенным, что можно наблюдать — пусть предупреждение до поры до времени остается непонятным — накануне сильного землетрясения или вулканического извержения. (Деревья в районе Парикутина [1] «испытывали страх», выглядели серыми от немого ужаса за многие недели перед тем, как к ним неспешно и неумолимо стала по земле подползать лава, задолго до того глухо бурлившая под корнями, в земных глубинах...) «Однако... что случилось? Что такое?» — спросил Глава Нации, увидев входившего в его кабинет Доктора Перальту, за которым следовали министры и военачальники, грубо нарушая обособленность помещения, попирая протокольные нормы. «Всеобщая забастовка, сеньор Президент!» — «Всеобщая забастовка? Всеобщая забастовка?» — переспросил он (спрашивая в то же время самого себя), будто одуревший, не понимая остальных, не понимая ничего. «Всеобщая забастовка. Или, если хотите — в с е о б щ а я с т а ч к а. Все закрыто. Никто не вышел на работу».— «И муниципальные служащие?» — «Нет автобусов, нет трамваев, нет поездов...» — «И ни одной души на улицах»,— подала голос Мажордомша Эльмира, пробираясь меж тонкошерстных костюмов и мундиров. Глава Нации выглянул на балкон. Дворцовые псы, приведенные капралом из охраны Дворца, справляли свои нужды вокруг фонтана парка. У собак ведь нет души. «Д у ш а м и» они не были. И похоронная контора без музыки?.. С самым мрачным видом он обернулся к присутствующим: «Всеобщая забастовка, не так ли? И вы ничего не знали?» Все сразу заговорили, перебивая друг друга, забурлил мутный поток путаных слов, рассчитанных на то, чтобы дать объяснения, разъяснения, самооправдания: «вспомните, я говорил», «не забыли, я предупреждал», «помните, на последнем заседании Совета Министров я...» — однако убедительно, убеждающе это не звучало. До сих пор

[1] Вулкан Парикутин в Мексике появился неожиданно в феврале 1943 года среди поля, засеянного фасолью.

лишь в провинции — в Нуэва Кордобе, в портах...— вспыхивали настоящие забастовки, здесь же стачки, называвшиеся забастовками, не имели сколь-нибудь серьезных последствий; на днях действительно распространялись какие-то бумажки, листовки, подпольные листки; кроме того, еще Студент предсказывал забастовки пеонов, грузчиков, шоферов грузовых машин и т. д., и все мы были убеждены, что торговцы, служащие магазинов, люди, принадлежащие к средним классам, никогда не обратят внимания на призывы и лозунги Студента: люди порядка и служебного долга не считали себя входящими в пресловутую категорию «Пролетарии всех стран», поскольку никто не мыслил себя пролетарием; а я отсутствовал в столице; а я должен был увозить семью в Бельямар, а я не мог представить себе, и все же мне рассказывала моя дочь (к черту, кому важно, что тебе рассказывала твоя дочь!..); кроме того, никогда, никогда, никогда в истории континента не видывали забастовку белых воротничков с галстуками; все бесчинства — дело злоумышленников, и не будем поддаваться разным слухам; моя дочь мне сказала, что монахини Тарба... (да иди ты ко всем чертям с твоей дочерью!..); я всегда говорил, что кампания слухов насчет якобы возникших эпидемий, насчет деревянного коня в воде, все эти угрозы смерти, посланные по почте черепа, в общем, я всегда говорил, что... «А поскольку речь зашла об умерших...— вмешался Перальта, перекрывая гул голосов, пытавшихся перекричать друг друга,— то самым неожиданным, самым удивительным считаю сообщение Мажордомши — весь персонал похоронных контор присоединился к забастовочному движению! И не только музыканты из «Вечности», но также и носильщики, кучера и шоферы похоронных процессий, погребальщики, могильщики, факельщики. Семьям придется устраивать дома бдение у гробов тех, кто умер вчера вечером, заниматься покойниками некому».— «По крайней мере те, кто умер вчера вечером, к забастовке не присоединятся,— заметил Глава Нации более спокойным тоном.— А для того, чтобы Там, в Потустороннем мире, им не было скучно, позаботимся придать коекого для компании. Они заслуживают компенсации.— Воцарилось выжидательное молчание.— Будем говорить коротко и четко... Эльмира, пусть принесут кофе».

В десять утра по улицам на большой скорости промчались автомобили, связные автомашины пожарной службы, мотоциклы с колясками. Сидевшие в них полицейские, завывая в мегафоны и в алюминиевые рупоры, обычно используемые на спортивных состязаниях, оповестили коммерсантов, у кого есть уши, чтобы слышать, что те, кто не откроет свои лавки до двух часов пополудни — со служащими или без них,— будет лишен патентов, оштрафован или заключен в тюрьму; лица иностранного происхождения, пусть даже давно принявшие наше гражданство, будут высланы из страны. Угрожающие оповещения повторялись и повторялись до тех пор, пока на кафедральном соборе не пробило двенадцать. «По крайней мере, звонарь не бастует»,— заметил Президент. «Дело в том, что там установлен электрический механизм»,— пояснил Перальта, тут же раскаявшись в сказанном: еще, чего доброго, истолкуют как злую шутку. «Подождем». Мажордомша уже принесла бутылки с коньяком и голландским джином в керамических фляжках, гаванские сигары «Ромео и Джульетта», жевательный табак «Генри Клей»... Глава Нации через каждые тридцать минут вытаскивал из кармана часы: не подошло ли время. Час. Два. Из «Вечности» люди в трауре — очевидно родственники — на плечах вынесли гроб и пешком направились к кладбищу. И в три часа пополудни во всей столице царила та же тишина. Лишь несколько кантонских торговцев открыли свои лавчонки с веерами, ширмами и поделками из

слоновой кости, явно опасаясь, что иначе их вышлют в Китай, в котором уже господствовали гоминдан и военные... Прерывая долгое ожидание, Президент вдруг обратился к Командующему сухопутными войсками и решительно приказал: «Обстрелять закрытые лавки». Честь отдана, щелкнули каблуки... Пятнадцать минут спустя грянули первые очереди по металлическим жалюзи, волнообразным железным завесам, вывескам, витринам, рекламным щитам. Никогда еще не велась более легкая война. Никогда так не развлекались пехотинцы, как в этом стрелковом тире: не целясь, стреляя напропалую с мчащейся машины, обязательно попадешь в мишень — великолепная битва, в которой не рискуешь в ответ услышать голос свинца. Это была бойня людей из воска: восковых невест с восковым флердоранжем, восковых кабальеро во фраках и париках, натянутых на восковые головы; жертвами пали восковые амазонки, игроки в гольф и теннис — из очень светлого воска, горничная из менее светлого воска, одетая на французский манер, лакей, похожий на нашего Сильвестра в Париже — из воска несколько более темного, чем воск горничной, церковный служка, причетник, жокей — для пущего правдоподобия все имели оттенок воска, самый подходящий его положению и занятию... Не забыли и пресвятых дев и прочих святых — привезенные из квартала Сен-Сюльпис, они в многоцветных гипсовых мантиях, с нимбами и остальными атрибутами торчали в лавках, торговавших церковной утварью. И в Великой-битве-против-вещей рассыпались стеклянные и хрустальные изделия, взлетала столовая посуда, предназначенная для свадебного подарка, лопались флаконы с духами, большие цветочные вазоны, фарфор из Саксонии или с острова Мурано, глиняные горшки, сосуды и кувшины, а пенистые вина, взрываясь, своей высвобожденной энергией били соседние бутылки. Несколько часов длился штурм магазинов с игрушками... Несмотря на столь тяжкий труд стрелков, такие хлопоты воинских подразделений, на столицу опустилась ночь без городского освещения, без фонарей в парках, без световой рекламы, без зажженных ламповых горелок — правда, кое-где, в бедных кварталах, еще мигали светильники да фонарики ночных сторожей,— даже без луны, поскольку она находилась в последней четверти, на ущербе, и небо покрывали облака. И была та ночь долгой, нескончаемой, беспросветной, опустившейся на замерший, замолкший город, будто опустевший, покинутый под пулями — откуда-то еще долетали редкие, перемежающиеся залпы то там, то тут. В эти часы ожидания — Не-знаем-что-принесет-наступающий-день — с невообразимой силой обнаружилось, что молчание, тишина, перед тем как зазвучит чей-то голос, будет произнесено какое-то слово, может быть более тягостной, чем взывания пророка, чем вещий бред ясновидца... И все же во многих домах, онемевших домах, домах с задернутыми занавесями, с опущенными жалюзи, в домах министров, генералов, в домах лиц власть имущих, в подвалах, на чердаках, в дворовых помещениях под тусклым светом фонаря, старинных ламп, поднятых повыше свечей начали прятать вещи, вытаскивать драгоценности из сундуков, запирать сейфы, выбивать пыль из чемоданов, зашивать банкноты — прежде всего доллары — в подкладки, в борта, в полы костюмов, пальто, плащей — в предвидении возможного бегства... Завтра дети будут отправлены на пляжи Атлантического океана (по предписанию докторов: анемия); многие семейства будут рассеяны по провинциям и городам внутри страны (бабушка больна; дедушке исполняется девяносто семь лет), возвращены в родовые поместья, на места рождения (моя сестра перенесла тяжелые роды; у другой что-то с головой плохо) — в ожидании грядущих событий. Тем временем на кухнях без иного освещения,

кроме мерцания сигар, от чего при каждой затяжке вырисовывалось лицо, люди — чем больше сообщников, тем больше курильщиков, собравшихся вокруг бутылок рома или виски, отыскиваемых на ощупь, чтобы налить в отысканные на ощупь стопки,— обсуждали положение. Глухая, заражающая, все возрастающая паника, охватившая всех, заполняла сумерки, вызывая от страха пот на висках, на шее... В сером предутреннем небе уже исчезали Большая и Малая Медведицы и другие созвездия, а столицу по-прежнему окутывало молчание. Вся страна продолжала хранить молчание. Пули оказались бесполезными. Солнце медленно заливало улицы, отблескивая в осколках стекла, усеявших тротуары.

И сейчас — этого еще не хватало! — Начальник полиции убедился в том, что даже его людей стал охватывать страх. Они уже не казались такими хладнокровными, такими бесстрастными после битвы на улицах и штурма баррикад, уже не представлялись единой спайкой пехотинцев и кавалеристов, вместе атакующих, плечом к плечу выступающих против толпы, вооруженной палками, металлическими прутьями, железными трубами и даже кое-каким огнестрельным оружием — преимущественно старыми пистолетами, охотничьими ружьями, двустволками давних времен. Подчиненных Начальника полиции пугало молчание, одиночество, в котором они оказались, пустота поднимающихся на склоны окрестных гор улиц, на которых не видно было ни одного прохожего. Их не так страшила атака разъяренных людей, как одинокий, единичный выстрел; отдельный, сиротливый выстрел, тщательно продуманный, метко нацеленный, мог раздаться с любой крыши, с любой террасы... Войска находились в своих казармах; пехотинцы расположились на биваке; часовые покуривали на караульных вышках. И ничего более. Тишина. Молчание порой — чаще поздно вечером — прерывалось треском мчавшейся мотоциклетки, которую подгонял страх восседавшего на ней и везшего очередное неприятное, лаконичное и конфиденциальное послание во Дворец. А во Дворце кое-кто, сраженный сном, разлегся на диване или в кресле, а кое-кто пытался поддержать свои силы табаком и кофе, тем более что внутри горело от спиртного; у всех восковые лица, грязные воротнички, сняты пиджаки, спущены подтяжки — такими выглядели высокопоставленные сановники, облеченные властью в Государстве. Сосредоточенный, неподвижный, однако сохраняя достоинство и даже грозный вид — в болоте отчаяния остальных,— Глава Нации напряженно ждал, он поджидал Мажордомшу Эльмиру, которая, закутавшись в кружевную шаль, отправилась на поиски свежих новостей: бродила по улицам, прижимая ухо к дверям, заглядывая в неплотно прикрытые окна, стремясь заговорить со случайным прохожим, хотя мало надежд такого встретить, с подвыпившей кумушкой, с мелким воришкой, с трясущимся невольником спиртного, если попадутся на пути. Но вот и она возвратилась, наскитавшись по улицам, отчаянно устав, но не обнаружив ничего интересного. Однако, пожалуй, так не скажешь, кое-что она обнаружила: лишь одно. На всех стенах домов, на оградах, на заборах города тысячи таинственных рук вывели светлым мелом — белым, голубым, розовым — одну фразу, всякий раз одну и ту же: «П у с т ь у х о д и т!..» После короткой паузы Глава Государства позвонил в колокольчик, как на парламентском заседании. Остальные поднялись со своих мест, где расположились было, спеша привести себя в порядок — подтягивая галстуки, застегивая пуговицы, приглаживая поднятыми руками волосы. «Прошу извинить меня, но... ширинку...» — заметила Эльмира Министру коммуникаций, углядев, что та у него расстегнута. «Сеньоры!..» — провозгласил Глава Нации... Он произнес отменную речь, драматичную, но без подчеркнутой эмоцио-

нальности, не витийствуя, а лишь просто комментируя сообщенное Мажордомшей. Если соотечественники считают его отставку необходимой, если его наиболее преданные сотрудники (он просил отвечать открыто, искренне, нелицеприятно...) разделяют подобную точку зрения, то он готов передать президентскую власть — и немедля — тому, кого сочтут наиболее подходящим. «Я ожидаю вашего ответа, сеньоры». Но сеньоры не отвечали. После нескольких минут оцепенения, мучительного анализа создавшейся ситуации подступил Страх, Великий страх — Синий страх, неодолимый, как в старой народной сказке. Сразу же все подумали, переглядываясь друг с другом, что непрерывность президентской власти, дальнейшее пребывание Главы Нации на посту, его твердость — и прежде всего полное принятие на себя ответственности, полное принятие на себя всей вины перед страной тем, кто теперь нетерпеливо ожидал услышать хотя бы один голос,— это было единственным, что могло спасти их от всего, что уже подступало к их домам, уже окружало их дома. Если народное возмущение разбушуется, если массы ринутся на улицы, то ведь сначала они будут искать причину всех зол, искать цель, по которой нанести удар, искать козла отпущения, самую Высокую голову, чтобы водрузить ее на острие пики, тогда как остальным, быть может, удастся броситься врассыпную и как-то избежать народного гнева. В противном случае народная ярость застигнет каждого из присутствующих здесь — и их тела, ввиду отсутствия той Персоны, что сейчас находится перед ними, поволокут, разорвут на куски, лица изуродуют до неузнаваемости, всех потащат к городским клоакам, а то повесят на телеграфном столбе с позорной надписью на груди... Председатель Сената, наконец, взял слово, сказав то, что все они хотели бы сказать: после актов благородного самопожертвования, совершенных во имя блага страны (далее следовало перечисление чего-то...), и в тот момент, когда наша Нация находится под угрозой разрушительных сил (далее следовали проклятия в адрес социалистов, коммунистов, международных бедуинов (?), в адрес Студента и его газеты, в адрес профессора из Нуэва Кордобы и созданной им вчера партии, носящей, как говорят, академическое название «А л ь ф а - О м е г а». «Вот в этом и заключено самое мерзкое»,— отозвался Перальта, которого тут же заставил замолкнуть недовольный жест Высокого Слушателя), в эти критические часы Главу Нации упрашивают еще раз явить высший образец самоотверженности и т. д. и т. п., потому что если в столь ответственный момент он покинет нас, оставив нас без поддержки своего разума, своей политической мудрости (далее следовало упоминание о других его качествах и достоинствах), то Родине, беззащитной, придется лишь стенать, как нашему Господу на кресте: «Eloi, Eloi, lama sabachtani...» [1] Президент, слушавший с опущенной головой, уперев подбородок в манишку, энергично выпрямился и распростер руки: «Сеньоры, будем работать... Заседание Совета Министров открыто». Вспыхнули продолжительные аплодисменты, и каждый из присутствующих занял свое место за длинным столом в центре соседнего зала, украшенного подлинными гобеленами.

В тот день, примерно в три часа пополудни, зазвонили многие телефоны. Одни звонки вначале были прерывистыми, беспорядочными. Затем последовали более частые, более настойчивые, более нетерпеливые и длительные. Множество телефонных звонков. Целый хор телефонов. Целый мир телефонов. Вызовы из патио в патио, голоса, раздававшиеся с крыш и балконов, переносившиеся от ограды к ограде, летевшие от угла до угла. И окна стали распахиваться. И двери стали

[1] «Боже мой, Боже мой, для чего Ты Меня оставил!» (Евангелие от Матфея).

открываться. И вот какой-то один вылез, жестикулирует. И вот десяток каких-то лиц вылезли, жестикулируют. И люди бросились на улицы, и обнимались, и смеялись, и бежали, собирались, скапливались, разрастались, формировали колонну и еще колонну, и следующие колонны выходили на перекрестки других улиц, спускались с холмов, поднимались из низин долины, сплавлялись в одну массу, в огромную массу, и кричали: «Да здравствует Свобода!..» О новости уже знали все, и все повторяли: «Глава Нации только что умер». От инфаркта сердца, говорили одни. Нет, нет, уже известно, что он убит заговорщиками. Нет, не так: тот, кто стрелял, был сержантом, бойцом «Альфы-Омеги». Да, нет же, вовсе не так было: знать-то я знаю, что его прихлопнул Студент, вот именно, тем же бельгийским пистолетом, который Могущественный всегда держал на столе, и Студент опустошил всю обойму; одни утверждают, что в обойме было шесть пуль, другие — что восемь, так или иначе, все пули попали в него. Один слуга из Дворца, он видел все, и он говорит... Однако умер. Умер. Вот это — самое великое, самое прекрасное торжество, большой праздник. И похоже, что Труп — огромный Труп — волокут по улицам. Его видели те, кто живет в квартале Сан-Хосе: сдернули с грузовика, еще череп его стукнулся о брусчатку. Сию же минуту, скорее идти к центру и петь Национальный гимн. Гимн Освободителей, «Марсельезу». И вдруг совсем нежданно — при свете дня — раздаются строфы «Интернационала», поют все... И в этот момент появились броневики Четвертой моторизованной бригады и сразу же открыли огонь по толпе. Начал стрелять и гарнизон Дворца, солдаты скрывались за широкой балюстрадой верхней террасы и мешками с песком, притащенными несколько дней назад. С Телефонной башни полетели гранаты, разверзая кричащие, стонущие бреши в толпе, собравшейся внизу на митинг. Из-за углов высунули стволы дюжины пулеметов. Перекрывая авениды, уже неторопливо, неспешно наступают полицейские и солдаты, построенные в тесные ряды, и через каждые три шага раздается залп из винтовок. Обезумевшие люди побежали, помчались, оставляя тела и еще тела, много тел на мостовой, бросая флажки и транспаранты, стремясь спрятаться во дворах, подъездах, пытаясь взламывать закрытые двери, перепрыгнуть в задние дворы, поднять решетки клоак. А войска наступают медленно, очень медленно, не прекращая стрельбы, топча раненых, лежащих на земле, или добивая их ударом приклада не то штыка — всех, кто цепляется за армейские сапоги или ботинки с крагами. И в конце концов после разгона толпы, после того, как она была рассеяна, улицы опять остаются пустынными. Выезжают пожарные машины, чтобы потушить возникшие кое-где пожары. Там и тут — душераздирающе, долго, настойчиво — воют сирены «скорой помощи». С наступлением ночи улицы патрулируются армией. И всем — всем тем, кто столько пел гимнов и провозглашал здравиц тому и другому,— пришлось отдать себе отчет, насколько жестока действительность. Глава Нации убил самого себя, приказал распространить сообщение о собственной смерти для того, чтобы массы вышли на улицы, где их можно было расстреливать из пулеметов с безошибочной меткостью... А теперь, восседая на президентском кресле, окруженный своими людьми, он праздновал победу: «Вот увидите, как завтра откроются все магазины и придет конец всякому свинству и прочей мерзости». Откуда-то доносилось завывание сирен. «Принеси шампанского, Эльмира. Хорошего, того, что находится там, в шкафу, который ты знаешь...» Поздно-поздно вечером прозвучал ружейный выстрел, одиночный, далекий — звук более слабый, чем от армейской винтовки. «Еще жив какой-то сукин сын,— заметил Глава государства.— Сеньоры, еще раз, мы этого заслужили...» И столько событий произошло в

течение дня, настолько безлюдны были общественные здания, оставленные на произвол судьбы, что никто не обнаружил чрезвычайнейшего происшествия: внезапного исчезновения — бесспорно кражи — Бриллианта из Капитолия; да, того самого, огромного бриллианта Тиффани, вставленного в сердце звезды, которая у подножия гигантской статуи Республики отмечала Пункт Ноль — схождения и расхождения всех больших дорог страны.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

...Если стороны в схватке совсем неравны, то лучше предпочесть достойное отступление либо оставить игру, нежели подвергать себя несомненной гибели.

ДЕКАРТ

17

Когда вспоминаю тот день, мне кажется, что в те часы, более насыщенные, более наполненные событиями, чем целые годы моей жизни, я был очевидцем какого-то невероятного карнавала: мельтешение образов, падение в преисподнюю, беспорядочные толпы, сумбурный гул голосов, круговорот форм, маски, превращения, изменения, дикий грохот, перемена фона, все вверх дном, филин в полдень, сумерки под солнцем, прилет гарпий, зубовный лязг ягнят, рычание кроткого, ярость хилого; громы там, откуда вчера слышалось лишь шушукание; и эти лица, что избегают смотреть, и эти спины, что отдаляются, и эти декорации, что неожиданно сменяются машинистами сцены в трагедиях, задуманных тайно, подготовленных в тени, поставленных повсюду, куда ни взглянешь; оглушенный иными хорами, хорами подпевал, я не мог уловить пение хоров из немногих хористов — тех, кто на самом деле обладает Могучими Поющими Голосами... Вот так-то и у тебя той ночью разгулялся аппетит, как говорят здесь, с бокалом вина праздновал победу; на рассвете, когда люди ушли, ты еще осушил бутылку «арманьяка», вот так, наедине, поглядывая, как голубели при наступлении утренней зари вершины Вулкана-Покровителя... раза два качнулся в гамаке, и было уже три часа пополудни; вот так, подростком, так ты открыл глаза в операционном зале, освободившись от аппендикса.

Так ты пробудился от сна, вызванного хлороформом, и увидел фельдшера в белой шапочке и со стетоскопом, свисающим с шеи,— он наклонился над тобой,— «*у меня уже удалили это?*» — но на этот раз фельдшером оказался Перальта, переодетый в фельдшера — «а почему?» — и за ним, что заставило меня вздрогнуть, появился мистер Энох Краудер [1], с лицом старого пуританина, очки в металлической оправе, теперь он был без сюртука, пришел после партии в теннис— «сюда, во Дворец?» — в брюках из полосатой фланели, на свитере красные буквы YALE [2], ракетка в руке; посол Соединенных Штатов, вот так, в твоей комнате, не попросив аудиенции, без ци-

[1] Энох Краудер (1859—1932) — американский генерал, посол на Кубе (1923—1927), фактически заправлял экономикой и финансами страны.

[2] Йельский университет в США.

линдра, без накрахмаленного воротничка; «не фордыбачь, сукин сын, смотри, во мне все еще агуардьенте кипит»; полуповорот, еще раз качнуться в гамаке, и — дайте мне поспать; однако сейчас какие-то слова, словно принесенные издалека, вздуваются, увеличиваются, приближаясь ко мне, слова о некоем военном корабле; да, «Миннесота» находится в Пуэрто Арагуато; судно это, чудовище это, со своей металлической, как бы сплетенной башней, со своими орудиями, что, повинуясь электричеству, поворачиваются по оси и нацеливаются, как это судно плавает — по странной случайности — лишь в шести милях от нашего побережья уже в течение нескольких недель; мне говорят (я понимаю все лучше и лучше), что должна высадиться морская пехота, что она уже высаживается; «Кофе, дьявольство, кофе! Где Мажордомша?» — моряки уже здесь, совсем как многие годы назад в Веракрусе, как на Гаити, охотясь за неграми, как в Никарагуа, как в разных других местах, орудуя острым штыком против метисов и креолов; интервенция, быть может, совсем как на Кубе, с тем американским генералом Вудом, куда более вором, чем его собственная мать; десант, интервенция, «карательная экспедиция» генерала Першинга, человека «Over There», «Star Spangled Banner» в измученной Европе 1917 года, но над которым немало посмеялись, когда его изрядно шлепнули партизаны с перекрещенными пулеметными лентами на груди там, в штате Сонора, на севере Мексики; мне смешно, а ведь все это не шутка, нет; мистер Энох Краудер прибыл сюда под видом теннисиста с ракеткой и со всем прочим и уже двое суток не выходит из Country Club[1], совещаясь, заседая с «живыми силами» Банка, Коммерции, Промышленности; именно эти сукины сыны попросили, чтобы сюда прибыла «Миннесота» со своей сволочной морской пехотой; нет, Армия, наша Армия, не позволит такого оскорбления национальной чести; однако сейчас стало ясно, что Армия изменила курс: солдаты покинули свои позиции, дезертировали из блиндажей, оставили пулеметные гнезда, заявляя, что они не несут ответственности за вчерашнее; и, если кто-то стрелял, так это по приказу сержантов и лейтенантов; а сержанты и лейтенанты взбунтовались против своих капитанов и генералов, которые теперь засели в траншеях высочайшего здания «Уолдорф-отеля», переходя из бара на крышу, с крыши в бар, выжидая, когда, по прибытии морских пехотинцев, будет прорвана осада — их осаждает толпа, огромная толпа, кричит, окружив здание, требуя выдачи их голов; гарнизон Дворца испарился; не осталось ни одного швейцара, ни одного слуги, ни одного камердинера; уж лучше и не спрашивай о твоих министрах; никто не знает, где твои министры; *«телефон»* — телефоны отключены; *«не проси кофе, пропусти лучше глоток агуардьенте,* — говорит Перальта (да, но... какого дьявола, он переоделся в фельдшера со стетоскопом, с градусником в кармане халата?), — *не проси кофе, Мажордомша занята другими делами»*; да, все это так, — подумав обстоятельней, я согласился с капитанами и генералами: пусть высаживаются с корабля морские пехотинцы, пусть высаживаются; это уладим позже, обсудим, обговорим, но, как можно скорее — порядок, порядок... *«Не валяй дурака,* — говорит фельдшер. — *Чего они хотят, вот те, из Банка и Коммерции, а также господин, присутствующий здесь, так это лишь того, чтобы ты убирался ко всем чертям, уже хватит; уже более двадцати лет ты испытываешь их терпение, тебя уже не хотят, тебя никто не любит — и если до сих пор ты еще жив, так потому, что все думают, что ты с теми, из отеля «Waldorf»; они не могут предположить, что ты еще остаешься тут, один, как идиот, без охраны, без эскорта; такое нико-*

[1] Загородный клуб *(англ.)*.

му не приходит в голову, однако, когда узнают... я даже подумать об этом не могу!.. Так что давай поторопимся... Ну... готов?..» Начинаю понимать. Я встаю. Отыскиваю туфли. *«Однако, дьявольство, я же не подал в отставку. Я — Президент!» — «И ты еще в это веришь?»* — говорит фельдшер. *«Луис Леонсио уже находится в Нуэва Кордобе. Множество автомашин отправилось разыскивать его».— «Того кретина, с его «Альфой-Омегой»?» — «Лишь он может найти выход из положения»,* — говорит теннисист.— *«Но...» — «По крайней мере, он пользуется нашей поддержкой».— «Итак, вы допустите, чтобы меня свергли»? — «Наш государственный департамент знает, что делает».— «Как вы можете принимать всерьез этого профессоришку, этого, который...»* Теннисист стал проявлять признаки нетерпения: *«Я прибыл сюда не для того, чтобы вести дискуссии, а лишь затем, чтобы поставить вас перед фактом. Доктор Луис Леонсио пользуется поддержкой живых сил страны. За ним следуют многие молодые люди благородных и демократических идей».— «Я уже вижу их — Вифлеемский колледж, методистские школы и Статуя Свободы...» — «Не теряй времени, сукин сын, быстрей одевайся!» — «У доктора Луиса Леонсио — идеи, планы»,* — говорит теннисист. *«Так они есть и у Студента»,* — говорю я. *«То совсем другое дело»,* — говорит теннисист, перекладывая ракетку из руки в руку. *«Ты должен знать, что именно Студент тебя сверг»,* — говорит фельдшер. *«Бомбочки, мрачные шуточки, фальшивые слухи — это было делом «Альфы-Омеги». Но всеобщую забастовку организовал Студент. Великолепная работа — ничего не скажешь. Я не считал его способным на это».— «И еще будешь утверждать, что торговцы, не открывшие свои лавки, все были большевиками?» — «Они не открывали лавки из-за страха перед большевиками, как раз поэтому. Присоединившись к забастовке, они защищали собственные товары. А теперь свои товары они положат к ногам каудильо из Нуэва Кордобы, поборника порядка и благополучия, который попытается утихомирить Студента — еще не знаю как, но, по-моему, предоставив известную степень легализации его партии. Отныне будут действовать в стране политические партии».— «Коммерсанты действовали благоразумно,* — заметил теннисист.— *Wise men*[1]*...»* Придя в себя, я тут же взываю к ним — еще есть время что-то предпринять: подписать мир с Венгрией — там теперь стабильное правительство, восстановить конституционные гарантии, учредить министерство труда, аннулировать цензуру печати, создать коалиционный кабинет в преддверии предстоящих выборов, которые будут проведены под контролем, если это посчитается целесообразным, смешанной комиссии... *«Нечего болтать чепуху,* — сказал фельдшер.— *Власть мачете уже окончилась. Если мы быстро не удерем, то нагрянет чернь — все остальное ты можешь вообразить. А ей так хочется расправиться с тобой!..»* В этот момент какая-то странная фигура возникла на галерее, выходящей в патио: Aunt Jemima, бабушка Вальтера Гофмана, спокойно направлялась к лестнице Почета, держа над головой, будто гроб, высокие Вестминстерские часы из столовой. «Уже давно влюблена в эти часы»,— произнесла она, проходя мимо. А за ней следовали разные жулики — конечно, ее правнуки,— уносили серебряные подносы, графины, сервировку, вытащенные из буфета. Все это для меня явилось как бы решительным предупреждением: *«Я найду кров в посольстве Соединенных Штатов!» — «И не думай об этом!* — сказал теннисист.— *Перед зданием посольства в таком случае вспыхнут беспорядки. Манифестации. Мятежи. Положение станет нестерпимым. Что я могу сделать, так это предложить убежище в нашем консульстве в Пуэрто Арагуа-*

[1] Мудрые люди *(англ.)*.

то. Там вы будете находиться под защитой наших морских пехотинцев. Мое правительство согласно на это».— «Вы увезете меня на своей машине?..» — «Сожалею, но не могу подставить себя под пули по дороге. Лесорубы Морехона не разбираются, есть ли дипломатический номер на автомобиле. И говорят, что в Бахио действуют вооруженные отряды».— «И еще нет поездов... Забастовка...» — произнес я голосом, прерывающимся от спазм, поперхнувшись слюной. *«Это не моя вина»,—* сказал теннисист. Перальта мне показывает на свой костюм, свою шапочку и стетоскоп: *«Внизу стоит машина «скорой помощи». По пути на Колонию Ольмедо нет застав, контрольных пунктов. А тем немцам начхать на нашу внутреннюю политику».— «Good luck* [1]*, господин Президент»,—* сказал теннисист. *«Son of a bitch»,—* буркнул я едва слышно. Но тот уловил и мне сказал тоном не то clergymen [2], не то шутника: *«Раав* [3]*, та, из Иерихона, действительно была bitch. А теперь мы почитаем ее праматерью, она — среди бабушек нашего господа бога. Посмотрите Библию, сеньор. Книгу великих утешений и глубоких поучений. Кстати, там также упоминается о многих поверженных тронах...»* И берет свою ракетку — хорошо помню, трапециевидную, с деревянной рамой и четырьмя штифтами, закрепляющими обруч — и уходит просто так, ни больше ни меньше («So long»[4],— похоже, еще сказал), уходит легким спортивным шагом того, кто возвращается в свой American Club с глубокими креслами, виски «Бурбон» со льдом, с телеграфными известиями и гневным пылом моих врагов. «Son of a bitch»,— говорю, говорю и вновь повторяю, не находя более крепких ругательств в моем скудном словаре английского языка. Гляжу сейчас на сверкающую вершину Вулкана-Покровителя, уже не белоснежную, а слегка оранжевую, окрашенную закатом перед наступающими сумерками. И глаза мои грустнеют, несмотря на все усилия сдержаться,— меланхоличная нежность прощания.

Приходит Мажордомша, чудно́ одетая, как выполняющая обет, данный Назареянину: лиловая туника, перевязанная желтым шнурком, сандалии, шаль цвета туники — и приносит кипу одежды. «Она поедет с нами»,— говорит Перальта. Торопясь, желая сэкономить время и вместе с тем стараясь высказать больше, она поясняет присущей ей смесью мимики и звукоподражания: «Все знают, что когда я была... (жестом поднимает груди, округляет бедра)... ты меня... (с легким присвистом перекрещивает указательные пальцы)... и хотя теперь я уже не та... (руками разглаживает лицо, несколько пополневшее)... мы продолжаем, ты и я... (соединяет оба указательных пальца и потирает один о другой)... А с той ненавистью, которую питают ко мне здешние, если меня поймают... (с присвистом ударяет себя по виску, роняет голову с полуоткрытым ртом на левое плечо)... Так что я...» (Громко свистит, взмахивая руками, как бегущий человек.) «Не считая назареянского одеяния, идея ее прекрасна»,— говорит Перальта. И тотчас же, оценив наше положение, я вспоминаю о самом важном: «Деньги, дьявольство! Деньги!» Мажордомша показывает мне на кипу одежды. «Г в а с и н т о н ы [5] — тут». Развертываю, желая убедиться. Да. Между юбками и блузками рассованы двести тысяч долларов из моих личных средств — в четырех пачках по пятьдесят банкнот, и, конечно, в каждой пачке сверху лежит банкнота с портретом Вашингтона... И тотчас как будто все закрутилось. Бегает Перальта,

---

[1] Счастливо *(англ.)*.

[2] Священник *(англ.)*.

[3] Блудница, упоминаемая в библейской «Книге Иисуса Навина».

[4] До свидания *(англ.)*.

[5] Искаженное от «Вашингтоны» (портрет Джорджа Вашингтона — на однодолларовой банкноте США).

суетится Мажордомша. Появляется чемодан. Не раздумывая над тем, что делаю, начинаю засовывать в чемодан вещи. Много вещей. Пресспапье с письменного стола, разные медали, ордена, том с одиннадцатью нашими конституциями, фотографию Офелии с Габриеле Д'Аннунцио, и игрушку — заводного крокодила, что мне подарила моя мать, и чудесное издание «Les femmes savantes» [1] со стихами, которые в столь напряженный миг абсурдно всплывают в памяти, разбуженной стопкой рома: «Cuenille si l'on veut, ma guenille m'est chère» [2]. «Не бросай больше в чемодан всякую дрянь!» — кричит Мажордомша.— «Две рубашки, штаны — и хватит!» — кричит Перальта.— «Два галстука, три фланелевые рубашки!» — кричит Мажордомша. «А теперь набрось сверху прорезиненный плащ. Как у бедных больных, которых доставляют в госпиталь»,— советует Перальта. «Но скорей, черт возьми, скорей!» — взвизгивает Мажордомша, и эхо ее голоса разносится по опустевшим залам и коридорам брошенного всеми Дворца. Мою голову обкручивают хирургическими бинтами «вельпо», закрепляют лентами липкого пластыря. И обрызгивают кетчупом, чтобы казалось, будто сквозь бинты проступает кровь. Спускаюсь по лестницам. Впервые — более чем за двадцать лет — не слышно команды «Смирно!», впервые не отдают тебе чести: «На караул!» Паломо, пес швейцара, облизывает твои вспотевшие руки. Хочешь взять его с собой. «Ни в коем случае. Никто и никогда не видал собаку в карете «скорой помощи». Ты укладываешься на носилках, под удушливым плащом, замаскированный под раненого — продолжается карнавал, жуткий карнавал, апокалипсическое мельтешение видений — и переживаешь, по мере того как катится карета, все эпизоды поездки, прослеживаешь маршрут. При мысли, что привлекаем к себе внимание, мне становится страшно — но нет, как раз нет. Никто не всматривается в лицо водителя завывающей кареты «скорой помощи». Оглядываются на звук сирены, к тому же каждый, кто чем-то может помочь, помогает, освобождает путь... Фельдшер со стетоскопом и дымчатыми очками, натянув на брови белую шапочку, тормозит. Наступает молчание, а у меня разрывается мочевой пузырь, не могу сдержаться. «Прошу разрешить, со мной тяжелораненый». Опять молчание, хуже прежнего. И голос Мажордомши: «Прошу разрешеньица, начальничек. Ради вашей матушки, не задерживайте нас... Мой братец... Пуля... перед Дворцом...» Голос солдата: «Уже громыхнули, так их мать?» — «Да, да, стреляли... (с присвистом)... р-раз!.. С балкона... Только что... (свист долгий, все более глухой, наводящий ужас)... потащили... Мозги разлетелись... (крепкий удар ладонью)... на каждом углу». Солдат: «Благодари господа бога, черт бы их побрал!» Перальта: «Разрешеньице даешь, начальник?» — «Двигай!..» А теперь вот и улицы с утрамбованной землей. Я ощущаю, как колеса автомашины кренятся, плюхаются в колдобины, взлезают на пригорки, огибают лужи с гнилой водой, зловонье от которой проникает в мою движущуюся тюремную камеру, заглушая запахи операционной, царящие тут. «Я должен был и об этом подумать». Неподалеку от итальянских вилл с перламутровыми куполами, с рогами изобилия, с буксовыми насаждениями и виноградными беседками — садики в стиле парков испанского города Аранхуэса, миниатюрные копии французского замка Шантильи — расположены эти кварталы Лос Сер-

[1] «Ученые женщины» *(франц.)* — комедия Ж. Б. Мольера.

[2] Пусть ветошь, все равно — ценна мне эта ветошь *(франц.)* — Ж. Б. Мольер, «Ученые женщины» *(перевод М. Тумповской)*.

рос, Лас Ягуас, Фавелы — трущобные поселки из картона, из глины с примесью навоза и соломы, из располосованных канистр, бумажные стены, ржавые, разрезанные ножницами большие консервные коробки, заменяющие крыши,— жилища, если еще можно их так назвать, которые каждый год разрушаются, разваливаются под ливнями, заставляющими детей, наподобие поросят, шлепать и ползать в грязи, в лужах. «Мне нужно было бы и об этом подумать. О плане строительства жилищ для бедных. Еще было время...» Голос Мажордомши: «Путь свободен». И карета «скорой помощи» начинает подниматься, скрежеща, ударяясь, подпрыгивая, объезжая, кружась и упорно карабкаясь все выше.

...Так велик страх, что, устав сопротивляться ему, я было заснул... И открываю глаза. Мы миновали лютеранскую церковь немцев. Сдергиваю с себя бинты и липкий пластырь. Распахиваются дверцы кареты «скорой помощи». Я выхожу на площадь — спокойный, сохраняя достоинство. Однако, хотя тут и есть люди, никто на меня не посмотрел. Всякие фрау Воглинде, Вельгунде, Флоссхильде продолжают заниматься дойкой коров. На окнах задернуты занавески. Надеюсь увидеть улыбки мужчин, а встречаю только подтяжки, натянувшиеся на широких спинах, толстые зады в кожаных коротких штанишках. Перальта беседует с пастором... «Механики объявили забастовку. Так что делайте, как хотите. Мы ни во что не вмешиваемся». В сопровождении Мажордомши, которая только что перевязала лентой мой еле-еле закрывавшийся чемодан, мы подошли к небольшой кирпичной станции с петухом на флюгере и искусственным гнездом сделанного из грубого пористого мрамора аиста, поджавшего под себя красную, как у лангуста, лапу. Крошечный поездной состав стоит в небольшом депо. Угля в тендере достаточно. Скоро начнет выбрасывать дым паровозик — начищенный до блеска, сверкающий, лакированный, точно элегантная туфля, только что полученная из шикарного обувного магазина. Через рычаги управления, подрагивающие в моих руках, я ощущаю его живым, нетерпеливым, рвущимся с места. Все дома Колонии Ольмедо растаяли в сумерках — так и не хотят признавать меня. Даю пар — начали размахивать шатуны. Отправился поезд немцев петлять по поворотам, по кривым путям, опоясывающим горные склоны. Наконец достигаем песчаных равнин; тут едем прямиком, с максимальной скоростью, насколько это возможно — вот так, без сигналов, без семафоров, без огней, без путевых сторожей,— и резко останавливаемся уже в Пуэрто Арагуато, однако не успели затормозить, налетел паровоз на шлагбаум... Несколько солдат морской пехоты — белые гетры, мокрые от пота рубашки, осоловевшие от рома глаза — торчат на обоих перронах. Оказывается, они заняли электростанцию и другие жизненно важные пункты города, а также бары и бордели, после того как мимоходом помочились на монумент героев борьбы за независимость.

Ко мне подошел североамериканский консул в измятых штанах и cow-boy shirt — из тех ковбойских рубашек, у которых под мышками дырки для вентиляции. «Поскорее там, недалеко у меня машина». И на своем «path-finder», скрежетавшем при движении всеми металлическими деталями, он довез нас до здания дипломатического представительства: деревянный дом с колоннами и с фронтоном строго джефферсоновского стиля, на балконе которого красовался североамериканский орел с гербом на груди... «Задали мне задачку — ни дна ни покрышки,— пробормотал консул, провожая нас в кухню.— Мною получены инструкции — отправить вас отсюда на нашем сухогрузе, который прибудет завтра, увезет в Нассау... Если голодны, то вот тут есть несколько пакетов с кукурузными хлопьями, суповые консервы

«Кэмпбелл» и банки с консервированной свининой и бобами. Виски — в том шкафчике. Наливайте по своему вкусу, мистер Президент, нам-то известно, что если вы не перехватите глоточек, так, запросто, у вас еще, чего доброго, появится белая горячка».— «Побольше почтения, пожалуйста»,— подчеркнул я суровым тоном. «Здесь же все об этом знают»,— бросил тот, направляясь в свой кабинетик, заваленный фактурами, какими-то другими бумагами. «Чемоданчик, Перальта! Предпочитаю наше». Мы кое-как перекусили и собрались в гостиной-зале-ожидания-жилой-комнате. Перальта, Мажордомша и я. После напряженности последних дней, пароксизмов душевного волнения последних часов я почувствовал себя почти что успокоившимся. Мускулы мои расслабли. Обмахиваюсь пальмовым веером, покачиваясь в кресле-качалке. Смотрю на моего секретаря: «Есть шанс спасти шкуру. Guenille si l'on veut, ma guenille m'est chère. А теперь — по морю. На Бермуды. И затем — в Париж. Наконец-то передохнем немного».— «Да»,— отвечает Перальта. «Возобновим наши утренние прогулки. «Буа-Шарбон» мосье Мюзара. «Под зеркалами», рю Сент-Аполлин, бордель «Шабанэ»...» — «Да»,— отвечает Перальта. «Представляю себе, какое там царит веселье»,— говорю я. «Да»,— отвечает Перальта, не скрывая досады и раздражения. «Когда кто-то в плохом настроении, то и собаки на него поливают»,— замечает Мажордомша с обычной своей философией поговорок и пословиц. И тут же укладывается спать на оттоманке из пальмы рафия. Рядом с рупором граммофона, на старинном угловом столике, покоилась засаленная Библия — своим видом свидетельствуя, как часто она употреблялась консульским агентом: тот или иной моряк, потеряв в пьянке все свои документы, здесь должен был, положив руку на Священное писание, поклясться, что он родился в Балтиморе либо в Чарлстоне. Зная, как практикуют верующие некоторых североамериканских сект в трудную минуту, я зажмурил глаза, открыл наугад том и, трижды покрутив указательным пальцем правой руки, ткнул им на строки страницы: «Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод... Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего» (псалом 68). Я повторил опыт: «Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня... Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собой» (псалом 70). И в третий раз (Иеремия, 12): «Я оставил дом Мой; покинул удел Мой». «Паскудная книжонка!» — воскликнул я, захлопнув ее так сильно, что из переплета вылетела пыль. И, развалившись в венском кресле с синей лентой, продернутой через плетенку ивняка, я задремал, едва не заснул... Какой-то глухой, смутный шум. Действительность дробится, теряет свои очертания, превращаясь в нелепые образы. Я сплю... Но, должно быть, отдых мой длился недолго — вскоре, думаю, чья-то рука резко толкнула качалку, чтобы разбудить меня. «Перальта! — окликнул я.— Перальта...» — «Не зовите его,— ответил мне консульский агент.— Он только что уехал».— «Вот так, как ты слышишь»,— сказала Мажордомша. И я узнал — правда, настолько остолбенел, что смысл не сразу дошел до меня: по городу разъезжают десятки автомашин с бело-зелеными флажками «Альфы-Омеги», и одна из них, кажется серый «шевроле», приехала за моим секретарем. «Да ведь его убьют!» — выкрикнул я. «Не похоже».— «Но... ведь это абсурдно! И он не пытался сопротивляться? Он был вооружен!» Консульский агент посмотрел на меня ехидно: «Это были очень симпатичные юноши с бело-зелеными повязками на рукавах, а в петлице значок — буква альфа из посеребренного металла. Они обнялись с Доктором Пе-

ральтой, он выглядел очень довольным, и все, смеясь и подшучивая, укатили в город».— «И Перальта ничего не пояснил? Не оставил и записки?» — «Да, просил передать... Он очень сожалеет, но Родина — прежде всего».— «Вот так, как ты слышишь!» — Мажордомша теперь закричала перед самым моим носом, перед застывшей моей физиономией, как будто нужно было кричать, чтобы я что-то понял. «Tu quoque, fili mi...»[1]— «Какое еще там quoque, какая еще там фил... антропия,— сказал гринго,— вас грязно разыграли — вот и все. И нечего обращаться к латыни, и так ясно. Политические козни, как и повсюду».— «Я уже давненько подозревала, что этот козлище — предатель,— ворчала Мажордомша,— моя тетка Канделярия, а она-то знает многое, видела его сквозь раковины, а потом и в тарелке с мукой он проглядывал. А сейчас я начинаю верить, что и эти бомбочки, взорвавшиеся во Дворце, не кто иной, как он, принес во французском пузатом чемоданчике. Ведь только его не обыскивали при входе...» Да, там был чемоданчик-«гермес», раскрытый, с десятью фляжками, в два ряда по пять горлышек. Мы из него вытащили фляжки, каждая в чехле из свиной кожи. И в чемоданчике пахло — так мне показалось, хотя в этом не уверен,— горьким миндалем: тот же самый запах, какой ощущался после взрыва. «Быть может, да, быть может, и нет,— сказал консульский агент.— Это может быть запах от старой кожи, на которую часто проливали ром».— «Но раковины не обманывают»,— ворчала Мажордомша. «Maybe yes, or maybe not»[2],— твердил янки... Подавленный безмерной печалью оплеванного отца, избитого палками рогоносца, изгнанного собственными дочерьми короля Лира, я обнял Эльмириту: «Ты — последнее, что у меня осталось».— «Лучше посмотрите на улицу,— сказал консульский агент: — но только поосторожнее, не то вас заметят».

18

...Может даже случиться, что, услышав речь, смысл которой мы хорошо поняли, мы не сможем сказать, на каком языке она произнесена.

ДЕКАРТ. *«Трактат о свете»*

На улице — за охраной из восьми моряков с винтовками, свисавшими с плеч,— молчаливо, медленно проходили колонны людей, проходили и вновь возвращались, не отрывая глаз от здания. Они знали, что я здесь, и кружили, кружили, точно на воскресной прогулке по бульвару, выжидая, когда покажусь в окне или промелькну в полуоткрытой двери. «В столице грабят дома ваших министров, охотятся за полицейскими и шпиками, вылавливают провокаторов, сжигают архивы секретной полиции. Народ открыл тюрьмы, освободил всех политических заключенных». «Конец света»,— тревожно пробормотала Мажордомша. «А мой, когда мой конец наступит?» — спросил я, с трудом выдавив улыбку. «Не думаю, чтобы они перелезли через ограду,— сказал янки,— и на это, пожалуй, не пойду. Студент — тот, который организовал забастовку,— обратился с трезво продуманным манифестом к народу. Читайте...» Однако руки мои сильно дрожали, а стекла очков помутнели: «Перескажите мне, так лучше».— «Резюмирую. Манифест гласит, что нельзя провоцировать наших, амери-

[1] И ты тоже, сын мой!.. *(лат.)*

[2] Может, да, а может, и нет *(англ.)*.

канских, солдат (не бросать в них ни камни, ни бутылки, даже не оскорблять их...); нельзя атаковать наши дипломатические представительства, нельзя нападать на наших соотечественников,— в общем, не должны предпринимать что-либо, что могло бы оправдать более сильную военную акцию с нашей стороны. До сих пор не было интервенции, был лишь простой десант. Проблема оттенков—nuances[1], как сказал бы француз. А Студент понимает толк в оттенках. Он утверждает, что удовольствие повесить вас на телеграфном столбе не оправдывает риска интервенции, которая могла бы перейти в оккупацию».— «Как на Гаити»,— сказал я. «Точно. Вот этого и не хочет Студент. Интеллигентный парень!» Я подумал о головокружительной смене ролей, происшедшей за какие-то часы на фоне беспорядков. Теперь Студент внезапно превратился в моего защитника перед лицом опасности. До сих пор он был в подполье, не отвечая на призывы тех, из «Альфы-Омеги», которые предлагали ему гарантии, приглашали его сотрудничать в правительстве Национальной коалиции, составляемом — уже во Дворце — Луисом Леонсио Мартинесом по совету Эноха Краудера в присутствии военачальников, не замешанных во вчерашних расстрелах из пулеметов, а также одного-двух сержантов, произведенных в полковники. До сих пор он был поглощен своим тайным трудом Человека-Невидимки, прибегая по-прежнему к слову, способному сдержать всех, скопившихся перед Орлом-с-Гербом-на-Груди, всех тех, кто по счету «раз-два-три» начинал хором выкрикивать оскорбления по моему адресу. «Пока они не перейдут от криков...» — сказал консульский агент. Но я начинаю бояться, им ничего не стоит перейти от криков к действию. Вдруг я увидел себя в засиженном мухами зеркале, установленном на хромом кронштейне и закрывающем одну из стен; облик мой был весьма плачевен: халат, в котором я выбрался из Дворца, весь в грязи; замызгана и лондонская рубашка «halborow», пострадавшая в наших странствиях, накрахмаленный воротничок ее раскис от пота; серо-жемчужный галстук, такой президентский, был теперь весь в пятнах от слюны, слетевшей с губ во время моего недавнего сна. И еще брюки в полоску, спустившись со впавшего за какие-то часы живота, сползали на бедра, придавая мне вид эксцентрика из английского мюзик-холла. Этим людям, кричащим внизу, там, на улице, отвечает крайне циничными жестами Мажордомша — они ее, конечно, не видят, а она — сама иллюстрация к обширному репертуару своей отборнейшей и невысказанной ругани. Меня охватывает ужас. «Почему вы не переведете меня на борт «Миннесоты»?» — взываю я. «Крики были бы громче,— отвечает мне янки, переходя на удивительно шутовской тон, по правде говоря, совсем не подходящий для дипломатического чиновника.— Видите ли, здесь я всего лишь консульский агент, который, считая, что он действует корректно, предоставил вам убежище. А если завтра моим людям придет в голову, что я ошибся, я должен буду согласиться, что я ошибся, и заявлю в печати, что я ошибся, скажу, что я сожалею, что ошибся, и тогда меня пошлют куда-нибудь еще, и все останется в узком, семейном кругу. А на борту «Миннесоты», наоборот, вы будете являться официально защищенным нашей Великой Американской Демократией (и озорным жестом он отдал воинскую честь), которая в данный момент не может выступать в качестве крестной матери некоего «Мясника из Нуэва Кордобы», как вы уже фигурировали на фотографиях мосье Гарсена и со всем прочим, coast to coast[2], во всех газетах Рандолфа Хэрста,— и ведь вы

[1] Нюансы *(франц.)*.

[2] От берега до берега *(англ.)*.

уже в достаточной степени отведали всего этого, когда вас прославляли так в Париже. Вдобавок мы не знаем, сколько времени «Миннесота» будет находиться в этих водах. Быть может, восемь дней, быть может, месяц, быть может, годы. Посмотрите на Гаити, где шло от д е с а н т а к и н т е р в е н ц и и, а от и н т е р в е н ц и и к о к к у п а ц и и — des nuances, des nuances, des nuances toujours [1] — и это продолжается, продолжается и продолжается. Не нервничайте. Успокойтесь. Завтра вы уже будете вне опасности. Кроме того, я не могу действовать иначе — я выполняю инструкции». Я почувствовал себя обманутым, жертвой насмешек, издевательств: «По отношению к вам я всегда был благожелателен... Вы столь многими льготами мне обязаны!» Тот, поглядывая на меня сквозь очки в черепаховой оправе, улыбался: «А без этого... как бы вы продержались столько времени у власти? Льготы? Что ж, теперь мы получим их от профессора-теософа...» — «А почему не от Студента, раз уж попали в такое положение?» — спросил я, стремясь уколоть его. «Этого господина очень трудно найти. Он — человек нового поколения в своем племени. Таких уже много появляется на континенте, хотя ваши генералы и доктора стараются их игнорировать».— «Но ведь он и его люди так ненавидят вас».— «Не может быть иначе — существует неизлечимая несовместимость между нашей Библией и ихним «Капиталом»...»

Выкрики с улицы усиливались. Мажордомша приумножала свои мимические жесты в ответ тем, кто обливал меня оскорблениями. А им так легко было прорвать охрану из моряков, легко преодолеть ограду... «Как бы то ни было, для меня приятнее находиться на борту «Миннесоты»,— настаивал я. «Не думаю»,— отвечал янки. И, чуть не икая от еле сдерживаемого смеха, он произнес: «Вы забыли о Восемнадцатой поправке к Конституции Соединенных Штатов. С 1919 года — я цитирую по памяти — «запрещается производство и потребление (я сказал: п о т р е б л е н и е) любого алкоголизированного напитка на всей территории Соединенных Штатов». А «Миннесота» — это составная часть, юридическая и военная, территории Соединенных Штатов. Таким образом, если бы вы были сторонником джинджер-эля и кока-колы... И если после таких напитков при пробуждении у вас не дрожали бы руки...» — «Однако разве здесь мы не на территории Соединенных Штатов?» — сказал я ему, показывая на чемоданчик, поставленный Перальтой как раз под гидрографической и орографической картой страны. «Я не могу воспрепятствовать больному захватить с собой свои лекарства. А поскольку я — во всем этом деле — являюсь о ш и б а ю щ и м с я, то также могу поверить, что речь идет о грудном настое, об эмульсии Скотта или о бальзаме Гримо. На «Миннесоте» э т о вылили бы в воду, строго придерживаясь Восемнадцатой поправки к нашей Конституции, хотя командир, оставшись наедине с собой, был бы пьянее матери, которая его породила».— «Похоже, они уходят»,— сказала Мажордомша, расплющив нос о жалюзи. Я посмотрел на улицу: группы людей, будто привлеченные каким-то происшествием, удалялись к зданию таможни, где можно было заметить движение грузовиков и прицепов. «З а б а с т о в к а о к о н ч и л а с ь,— заявил я, не задумываясь, торжественным тоном.— П о л о ж е н и е н о р м а л и з у е т с я».— «В стране царит порядок»,— сказал янки, комично передразнивая меня. И снова он пришел в хорошее расположение духа: «Заходите в рубку капитана Немо. Там лучше».

Через задний коридор он вывел меня из дома под широкий навес с дверями, подвешенными под притолокой; навес прикрывал возвышавшуюся над водой бухточки платформу из деревянных досок, ко-

[1] Нюансы, нюансы, нюансы всегда *(франц.)*.

торые пахли моллюсками — зеленоватыми бигарро, и темно-бурыми альмехас, и выброшенными на берег медузами, и заплесневевшими водорослями. Здесь был ангар, в котором еще недавно хранили свои изящные, стройные, легкие каноэ гребцы яхт-клуба, обанкротившегося после девальвации. Лодки уже вывезли из ангара, и все находившееся тут, как и предупреждал консульский агент, своим видом до какой-то степени напоминало викторианскую эпоху и гравюру на меди, кинематограф Люмьера и лавку древностей, воскрешая в памяти иллюстрации к «Двадцати тысячам лье под водой». Старые, но своей ковровой тканью на спинках подчеркивавшие чопорность кресла; офорты, настолько пострадавшие от грибка и селитры, что их сюжеты, исчезнувшие под грибком и селитрой, уже были лишь сюжетами грибка и селитры. И, разглядывая диковины, заполнявшие помещение,— успокоенный неожиданным отдалением от людей, мгновения назад проклинавших меня, несколько придя в себя, а после пропущенных стопок даже держась увереннее на ногах,— я поразился тому, что как-то внезапно обрел мужество среди всего окружавшего теперь меня, и перед моими глазами вещи приобретали иное значение, иной масштаб. И вместе с тем поразительна способность повышенного, горячего восприятия того, что появляется, раскрывается, увеличивается, не изменяя своей формы, словно его созерцание может означать попытку уцепиться за что-то и сказать: «В и ж у — значит существую». И поскольку в и ж у, значит — я буду существовать тем дольше, чем больше буду видеть, утверждаясь в пребывании в себе и вне себя... Теперь консульский агент мне показывает редкую коллекцию корней-скульптур, скульптур-корней, корней-форм, корней-вещей, корней в стиле барокко либо строгого очертания; переплетенные, запутанные либо благородной геометрии; то танцующие, то статичные, или тотемичные, или сексуальные, нечто среднее между живым существом и теоремой, игра узлов, игра асимметрии, то живые, то ископаемые — все, что, по словам янки, он насобирал во время частых блужданий по берегам континента. Корни, выдернутые из своей далекой родной земли, вырванные, вытащенные, поднятые, принесенные реками во время половодья; корни, обработанные водой, перевороченные, завороченные, полированные, обкатанные, посеребренные, обесцвеченные, которые после стольких-то странствий, падений, ударов о скалы, сражений с бревнами во время сплава в конце концов потеряли свою растительную морфологию, разлучившись с деревом-матерью, генеалогическим древом, чтобы приобрести округлость женской груди, вид ребра многогранника, морды кабана или рожи идола, челюсти, когтя, щупальца, мужского члена или короны либо совокупиться в непристойных черепицевидных наслоениях перед тем, как — в завершение многовекового пути—бросить якорь на каком-нибудь берегу, забытом и не упомянутом на картах. Вот эту огромную мандрагору с острыми шипами консульский агент подобрал в устье чилийской реки Био-Био, неподалеку от суровой скалы Кон-Кон — усыпленной покачиванием на черных водах. А вот эту, другую мандрагору, скрученную и похожую на акробата со шляпой-грибом и выпученными глазами, подобную «корню жизни» — женьшеню, что некоторые азиатские народы вкладывают в бутылки со спиртным, он нашел близ Тукупиты, в устье реки Ориноко. Остальные поступили с Невиса из Подветренных островов, с антильского острова Аруба, с гордо высящихся одиноких скал, похожих на базальтовые столбы, что вздымаются близ Вальпараисо в пене прибоя, с грохотом врывающегося в каменные теснины. Достаточно было упомянуть название какого-нибудь порта, как коллекционер показывал корень, и речь тотчас же обогащалась ссылками, воспоминаниями, восстанавливались эпизоды, будто слоги, составля-

ющие название того или иного места, сами по себе образовывали все остальное... С этим другим корнем, напоминающим охваченного ужасом павиана, пытающегося в панике бежать и бегущего, не трогаясь с места, связано Рио-де-Жанейро: в квартале Итамарати среди муниципальных зданий расположены лавки, где выставлены набальзамированные животные — боа, смотрящие на свет сквозь разноцветные стеклянные шарики, броненосцы, ягуары, цапли, мартышки, и там же лошади, оседланные и уже покрытые пылью, стоят на зеленых деревянных пьедесталах, будто в ожидании всадника, который никогда не придет — быть может, уже давно погиб и покоится в португальском пантеоне под сенью бразильских фламбойянов. А этот корень, похожий на гнома с головой-брюшком, покачивающегося на тонких ножках,— из гаитянской столицы Порт-о-Пренс; там, в предместье Ля Фронтьер, среди таверн с местной настойкой «тассо» и многолетней выдержки ромом из горного района Дондон, голые негритянки разлеглись в плетеных гамаках; поджидая очередного клиента, они сохраняют королевское высокомерие, как бы замкнувшись в себе и чуждаясь всего — рукой слегка прикрыли вьющиеся жесткие волоски, повторяя жест Олимпии Манэ, хотя и не имеют о ней понятия. А консульский агент мне уже показывает «Эразма Роттердамского» — корень из мексиканского порта Веракрус, поразительно схожий видом своим с погруженным в размышления гольбейновским гуманистом; и «Пикрошоля с Мердайлем» — бамбуковые корни, точно раблезианские задиристые вояки, нацелившиеся копьями; и химерическое «Коксигрю» с длинным клювом и зубчатым гребнем — не то журавля, не то петуха; и «Кикимору» с растрепанными волосами и шпорами... и немного поодаль романтически перепутанный клубок из кубинских мангровых зарослей, названный «Присцилианской ересью», и там же лиана-танцовщица «Анна Павлова», и «Циклоп», красным камнем, инкрустированным во лбу, как бы наблюдавший за сумасбродным миром, взгромоздившись на консоли с другими корнями-монстрами — с «Лернейской гидрой», с шестифутовой «Великой Молчальницей», словно выточенной из растительного базальта,— правда, у нее не было прямых намеков на женские формы, однако расположение частей ее корпуса, пластичность и упругость линий, наслоенные округлости, выпуклости и вогнутости вызывают безошибочную реакцию руки, поднимающейся, чтобы прикоснуться к ним...

По правде говоря, консульский агент с редкостными познаниями в области культуры, своим владением иностранными языками — совершенно необычным для североамериканца — стал восприниматься как некто, предугадывающий будущее в дневном кошмаре, реальном, с глазами, пристально вглядывающимися в переживаемое настоящее. Под воздействием алкоголя я скатывался под откос ужаса, и как только освобождался от воздействия винных паров, меня вновь прошибал пот душевной тоски; в затылке, на лбу и в висках следовали удары молоточка предчувствий, рождавшиеся где-то в глубине и настолько сильные, что, по-моему, отдавались они и в кресле, в котором я сидел. А теперь янки уселся перед приткнутой в угол фисгармонией, протянул три регистра, нажал на педали и начал наигрывать что-то родственное той музыке, которая наводняла мою страну еще много лет назад, однако эта мелодия звучала более резко, более контрастно, более подчеркнуто, во всяком случае, чем «Whispering», «Three o'clock in the morning»[1], еще недавно набивавшие всем оскомину в столице. И не переставая — с беззаботным автоматизмом сельского музыканта — барабанить пальцами по клавишам, покачивая в такт головой,

[1] «Шепотом», «В три часа утра» *(англ.)*

он затянул: «Южанин — я. Из Нового Орлеана я. Достаточно я бел, чтобы за белого сойти, хотя мои волосы, ладно, волосы, если бы не было подходящей помады, завивались бы больше у меня (si bemol, черт побери!). Я «пересек линию», как говорим мы там, однако, честно говоря, в сентиментальной области, например, я лучше разбираюсь только с темненькими. В этом я схожусь с моим двоюродным дедушкой Готтшалком [1], которого — вы это, конечно, не знаете — Теофиль Готье предпочитал Шопену, возлюбленным самими ламартинианскими и филармоническими нимфами, проводившими ночи с Ференцем Листом. Прославленный в Европе, он был фаворитом монархов, другом королевы Испании, десятикратно награжденным, а в один прекрасный день, бросив все — публику, дворцы, кареты, лакеев,— решил ответить на императивный, неотложный призыв негритянок и мулаток, которые поджидали его в тропиках, желая заполучить принадлежавшее им по праву раннего завоевания. И, следуя за ними, он бродяжничал по Кубе и Пуэрто-Рико, по всем Антильским островам, помолодевший, искатель приключений, свободный от протокольных обязанностей и почестей, вернувшийся к первым колыбельным песням, к своим юношеским мечтам, чтобы умереть в Бразилии, где также было полным-полно — да еще каких! — Святых мест его паломничества — «et les servantes de ta mère, grandes filles luisantes, remuaient leurs jambes chaudes près de toi qui tremblait... sa bouche avait le goût des pommes-roses, dans la rivière, avant midi...»[2] (Не знаю, кому принадлежат эти слова, процитированные им, но во всяком случае вспоминаю, да, вспоминаю, что моя дочь Офелия, учась играть на рояле, исполняла приятные креольские танцы этого Моро Готтшалка, который, как мне передавали, однажды в Гаване включил рокот африканских барабанов в свою симфонию). А янки продолжал нанизывать: «Был другом, близким другом дивного Кристофера Энди, автора «Мемфис-блюза», что теперь вам играю». И сразу перешел на «Сент-Луис блюз», того же Энди, чем взволновал Мажордомшу, заставив ее пуститься в пляс — и, видимо, в лад, поскольку ее па и покачивания великолепно подходили к ритму доселе неведомой ей музыки. «Это у них в крови»,— сказал южанин. Я смотрю на его руки, летающие по клавишам: это своего рода диалог — временами схватка, возражение и согласие руки-самки, правой, и руки-самца, левой, которые сочетаются, дополняют друг друга, отвечают друг другу, однако строго соблюдая синхронность, достигаемую одновременно вне и внутри ритма. Мажордомша, словно завороженная чем-то для нее новым, проникающим во все поры кожи, внезапно присаживается на скамейку перед фисгармонией, чувственно поводя плечами, манящая и дерзкая, одна ягодица на весу, поскольку для обеих не хватало места, уступленного консульским агентом. А тот, забывая о клавишах, наклоняется к шее Эльмириты, принимающей его ласки со смешком, будто от щекотки, позволяя ему обнюхивать себя, что он и делает с наслаждением христианина, проникшего туда, где хранятся кадила с ладаном. И продолжает: «. . .Guidé par ton odeur vers de charmants climats. / Je vois un port rempli de voilures et de mâts...»[3] «Не суйся с Бодлером!» — закричал я, ревниво откликаясь на вторжение на мою землю, целину которой я поднял, вспахал впервые более двадцати лет

---

[1] Луис Моро Готтшалк (1829—1869) — популярный в XIX веке американский композитор и пианист.

[2] И служанки твоей матери, рослые глянцевитые девушки, покачивали своими горячими бедрами рядом с тобой, а ты трепетал... ее губы обладали привкусом свежих яблок, на реке, до полудня.... *(франц.)*

[3] ...Твой аромат привел меня в прелестные края, где в гавани на мачтах я вижу паруса... *(франц.)*

назад и которая, неизменно покорная моей воле, теперь, когда я потерял все, оставалась единственной частицей, последней находящейся под моим правлением полоской той страны, что еще вчера была моей; моей — от севера до юга, от океана до океана, а ныне сузилась до нищенского колоска, до жалкого сарая из прогнивших досок, набитого мертвыми корнями, где я вынужден был ожидать суденышка, обещанного лишь на утро, на завтра — такое далекое, неправдоподобное, почти недосягаемое з а в т р а! Суденышку предназначено вывезти меня отсюда, точно контрабандный товар, точно гроб с останками умершего в клинике для богачей — отсюда, где я был властелином человеческих судеб и асьенд. Поднимаю за руку Мажордомшу со скамейки, когда она начала было ласкаться к гринго — более дозволенного, и рывком отталкиваю ее на соседнее кресло. «Так лучше,— говорит, посмеиваясь гринго,— потому как э т о и погубило мою к а р ь е р у». (Слово «к а р ь е р а» — дипломатическая, надо думать,— из уст другого, о коем известно, кто он и где он, ассоциируется в моей памяти с определением «величайшая глупость», высказанным Дон Кихотом по поводу одного рыцарского романа, скверно представленного в театре марионеток. Для каждого латиноамериканца моего поколения «к а р ь е р а» — это синекура с минимальной работой и максимальным наслаждением, пребывание в посольствах с декорациями большого оперного театра, среди итальянского мрамора и версальских люстр; со скрипками на эстраде, с вальсами бутоньерок и декольте, торжественными швейцарами, камергерами в коротких панталонах, с интригами, с вечерними коктейлями, альковными романами, с комплиментами à la валье-инклановский маркиз де Брадомин [1] и фразами à la Талейран, с чудесами такта и «savoir vivre»[2]— совершенно чуждых понятиям наших людей, которые никогда не привыкнут к нормам протокола и которые, не разузнав вначале, не посоветовавшись, допускают промахи—это бывало и в моем Дворце,— как, скажем, начать играть «Турецкий марш» Моцарта при акте вручения верительных грамот послом турецкого султана Абдул-Хамида либо исполнять республиканский «Гимн Риего» при вручении верительных грамот посланником испанского короля Альфонса XIII...) «Все у меня шло гладко,— продолжал южанин,— пока не обратили внимание, что в Париже я слишком увлекался мартиникскими танцами на рю Бломе. С тех пор где я только не выполнял умопомрачительные миссии североамериканской дипломатии. А сейчас вот здесь — в этой мусорной яме, если можно так выразиться. И потому... знают, что я... (он посмотрел на Мажордомшу)... ладно, мы, ты и я, друг друга понимаем». Он проиграл арпеджио: «Если бы на своей родине я показался таким, каков есть, то линчевали бы меня закапюшоненные из ку-клукс-клана, белые эти, белые не только снаружи, но и внутри — что бахвалятся особенной, очень нашей белизной, какой была белизна Бенджамина Франклина, считавшего негра за «животное, которое ест много, а работает мало»,— белизной Маунт-Вернона, где рабовладелец философствовал о равенстве людей перед богом,— белизной нашего Капитолия, храма, где хором негров — подметальщиков улиц, чистильщиков обуви, чистильщиков пепельниц и сторожей в уборных — исполняется гимн Gettysburg Address [3] — «правительство народа, избранное народом и для народа»,— белизной нашего просвещеннейшего, блистатель-

[1] Герой ряда произведений испанского писателя Рамона дель Валье Инклана (1869—1936).

[2] Умением жить *(франц.)*.

[3] Имеется в виду обращение президента США Авраама Линкольна после битвы при Геттисберге 1—3 июля 1863 года, в ходе Гражданской войны в Соединенных Штатах.

нейшего Белого дома, приводящего в движение карусель новеньких мундиров, фраков и цилиндров, которая крутится и крутится, забрасывая в эту Латинскую Америку воров и сукиных сынов,— «не ухудшая настоящего,— как говорят испанцы,—при каждом повороте рычага»... Я заметил консульскому агенту, что термин «сукин сын» несколько неподходящ для того, кто лишь каких-то сорок восемь часов назад был Главой свободной и суверенной нации, которая в силу своего героического прошлого, своих великих людей, своей истории... и т. д. и т. д... «Сорвалось с языка по вине святой Инес,— ответил консульский агент, наливая мне ром.— Я не хотел вас обидеть. Кроме того...»

«Посмотрите... посмотрите...» — зловеще произнесла Мажордомша, жестом приглашая нас подойти к окошечку с разбитыми стеклами, выходившему на бухту. «Да,— сказал гринго,— там, на wharf [1], что-то происходит». Он открыл ворота для вывода на регаты ныне отсутствующие каноэ. И в самом деле, там, на молу, где обычно грузили сахар на суда, видимо, случилось что-то необычное. Толпа окружила несколько грузовиков, привезших какие-то большие предметы, поставленные на попа либо лежащие на полу, хаос перемешанных, сваленных в кучу, в полном беспорядке громоздящихся предметов, которые...— «Возьмите-ка бинокль»,— предложил мне консульский агент. Я взглянул. Люди, бесспорно, подогретые спиртным из сока сахарного тростника, пели, плясали, спускали с грузовиков и под выкрики и хохот бросали в море... мои статуи, бюсты и головы — те, что годы назад, по официальному распоряжению, царили в колледжах, лицеях, муниципалитетах, общественных учреждениях, на площадях городков, селений, деревень, подчас соседствуя с тем или иным Лурдским гротом — грубо сделанной нишей, полной маленьких и больших свечей, всегда горящих, обителью нашей Святой Девы-путеводительницы. А ведь мои скульптуры созданы из мрамора, творения местных ваятелей либо учеников Школы изящных искусств; а бюсты из бронзы отлиты в Италии, в тех самых литейных, где родилась гигантская Республика Альдо Нардини; статуи во весь рост, во фраке с рельефными крестами и лентой либо в форме генерала армии (и во внушительной каске, которая, по утверждению моих врагов, имела «козырек прогресса и козырек регресса»), в одеянии доктора honoris causa университета Сан-Лукас (был им еще в 1909 году) — в тоге и докторской шапочке, кисть которой ниспадала на левое плечо, либо в позе римского патриция, трибуна-вытянутой-рукой-указующего-на-что-то (некое подражание памятнику французскому премьеру Гамбетте в Париже), в образе погруженного в раздумья отца семейства, или сурового ментора, или увенчанного лаврами древнеримского консула Цинцинната... Теперь все они лежали на земле, их тащили на носилках, волокли в тачках и на арбах, запряженных быками, чтобы затем сбросить в воду, одну за другой; действуя ломами, мужчины и женщины подталкивали их под ритмичные возгласы: «И р-раз... и дв-ва... и тр-р-р-ри-и!»... Наконец, появилась конная статуя — та, которой я любовался ежедневно с балконов моего Дворца; она лежала на железнодорожной платформе, но уже без всадника — в ночь моего бегства всадника, оказывается, сбили, остался лишь бронзовый конь. И, подхваченный краном, конь еще раз поднялся — на один момент, последний, перед тем как погрузиться в воду, в венке бурлящей пены,— героически взметнулся на дыбы, лишенный Того, кто, сидя в седле, крепко держал в руках поводья. «Memento homo...» [2] — про-

[1] Пристань *(англ.)*.
[2] Человек, помни... *(лат.)*

изнес я, не закончив всей фразы, поскольку классическое выражение тут же утонуло в нахлынувшем воспоминании о жестокой шутке, которую однажды услышал от Студента. «Не пойте танго на слова реквиема,— сказал консульский агент,— теперь эти ваши статуи будут покоиться на дне моря, позеленеют от селитры, их обнимут кораллы, покроет песок. А там, где-то в 2500 или 3000 году их обнаружит ковш драги, возвратит на свет божий. И люди спросят, как в «Сонете» Арвера [1]: «А кто был этот человек?..» И, быть может, не найдется никого, кто сумеет ответить. Произойдет то же самое, что с римскими скульптурами трагической эпохи, которые можно видеть в разных музеях: о них известно лишь то, что они представляют собой изображения какого-то Гладиатора, какого-то Патриция, какого-то Центуриона. А имена утрачены. В вашем случае скажут: «Бюст или статуя какого-то Диктатора. Столько их было и столько еще будет на этом полушарии, что имя уже ничего не значит. (Он взял томик, лежавший на столе.) Вы значитесь в Малом Ляруссе? Нет?.. Тогда вас совсем обошли...» И в тот вечер я заплакал. Заплакал над томиком словаря — «Je sême à tout vent»[2],— словаря, в котором ничего не говорится обо мне.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

...И, решив не искать иной науки, кроме той, какую можно найти в себе самом...

ДЕКАРТ

19

Степенный и гармоничный, солидно вписывающийся в архитектурные ансамбли, окружающие Триумфальную площадь,— будто броней от любой внешней угрозы покрытый плотной патиной, оттенявшей стены, год от года все более, и светлее казались лишь карнизы и рельефы,— дом на рю де Тильзит принял его в свое лоно, защищенное высокой черной решеткой, как приемлет горное убежище заплутавшегося альпиниста, который постучался в дверь после опрометчивого блуждания меж лавин и пропастей.

Было пять утра. Воспользовавшись собственным ключом, чтобы не будить Сильвестра, Глава Нации вошел в вестибюль и включил свет. За ним следовала Мажордомша — на всем пути от вокзала Сен-Лазар она кашляла и дрожала от озноба, несмотря на побитое молью пальто с меховой отделкой, купленное на Бермудских островах. Жалуясь на спазмы, стеснение в груди, боль в суставах, мулатка попросила рому, постель и прославленного целебного колумбийского бальзама из Толу́. «Дай ей святой Инес что там еще осталось и проводи по задней лестнице в мансарду, в какую-нибудь комнату»,— распорядился Экс (теперь он — с гримасой иронии—титуловал себя Экс), обращаясь к Чоло Мендосе, который тащил чемоданы. Оставшись один, Экс огляделся вокруг и заметил немало перемен в мебели и

[1] Сонет французского поэта Феликса Арвера (1806—1850) заканчивается словами: «Кто эта женщина?»

[2] «Я сею повсюду» — девиз энциклопедических словарей, созданных французским лексикографом Пьером Ляруссом.

отделке комнаты. Там, где надеялся вновь встретить столик красного дерева с китайскими вазами, и цветок из слоновой кости, в чью чашу складывались визитные карточки, и прикрывшуюся своими распущенными волосами ундину, так выделявшуюся на темно-вишневом бархатном фоне щита с кинжалами и мечами, он увидел наготу выкрашенных светлой краской стен без какого-либо орнамента, кроме гипсовых арабесок, которые, если напрячь воображение, могли казаться весьма стилизованными гребнями разбушевавшихся волн. Из мебели здесь стоял только один длинный диван без спинки с подушками пунцового цвета — что как будто называется «цвет танго», а на узеньких консолях сверкали какие-то стеклянные шары, призмы, ромбы с электрическими лампочками внутри. «Не слишком безобразно, однако то, как было ранее, выглядело достойнее, в стиле всего дома»,— подумал Э к с. Он поднялся на второй этаж, с наслаждением вдыхая запах лакированного орехового дерева ступенек, своей стойкостью упразднявший время, истекшее с тех давних пор. Гардины салона уже окрашивались в бледно-желтые тона робким светом предутренней зари. Президент подошел к окну, отвел в сторону гардину, чтобы посмотреть на площадь. Великолепной и величественной вздымалась на своей несравненной знатности Триумфальная арка с разверзшей уста Марсельезой, с песнопевцем Тиртеем в боевых доспехах, со старым воином в шлеме, сопровождаемыми мальчиком-героем, у которого все было наружу. В монументе на вечные времена воплотился гений картезианской Франции, лишь она оказалась способной породить антикартезианский мир — воображаемый, вдохновенный, возвышенный и надломленный фантастическим корсиканцем, необыкновенным чужеземцем, завороженным чарами мартиникской мулатки и потерявшим треуголку в московском пожаре после того, как его войска были побиты партизанами Хуана Мартина Эль Эмпесинадо[1]. Однако за спиной того, кто созерцал монумент, находились кое-какие произведения, которые, видимо, с несравненно большей точностью отражали дух картезианской Франции. Включив электричество, он обернулся к ним. И представившееся его взору оказалось столь неожиданным, столь абсурдным, столь непостижимым что рухнул он в кресло, вдруг обессилев от попыток что-либо понять. Вместо святой Радегунды меровингской Жан-Поля Лорана с ее иерусалимскими пилигримами торчали какие-то три персонажа, плоские настолько, что и персонажами не казались, туловища которых были расчленены на геометрические фигуры, а лица — если это можно считать лицами—закрыты масками. Один — в капюшоне, напоминающий монаха, держал в руке нотную бумагу; другой, посредине, в колпаке паяца, дул во что-то, похожее на кларнет; у третьего, одетого в костюм цвета шахматных клеток, наподобие арлекина, в руках была не то гитара, не то мандолина, не то лютня—уточнить нельзя, виднелась лишь треть инструмента. И все три персонажа — если это были персонажи — неподвижные, гротескные, точь-в-точь явления из кошмара, глядели с таким видом, будто им неприятно было присутствие вторгшегося сюда. «Что вы тут делаете?— как бы допытывались у него.— Что вы тут делаете?..» Но это еще не все: по другую сторону вместо изящного морского вида Эльстира появилось нечто неопределенное — скрещение горизонтальных, вертикальных и диагональных, землисто-песочной расцветки полосок, и на этих полосках красовался наклеенный обрывок газеты «Ле матэн»; Э к с попробовал ногтем мизинца отодрать его, но ему это не удалось — слишком

[1] Хуан Мартин Эль Эмпесинадо (1775—1825) — командир испанской партизанской армии в годы борьбы против французских оккупантов (1808—1814).

крепок был клей и покрывавший всю поверхность лак. Напротив, где ранее висел «Ужин кардиналов» Дюмона, сейчас прикреплено было нечто, совершенно лишенное мысли, скорее означающее набор образцов красок фирмы «Риполэн»: красные, зеленые, белые круги и прямоугольники, разграниченные черными жирными линиями. Рядом место «Маленького трубочиста» Шокарн-Моро занимало изображение некоей разновидности Эйфелевой башни — горбатой, наклонившейся, кривоногой, большелапой, как будто переломленной ударом титанической кувалды, обрушившейся с неба. А далее, между двух дверей, виднелись какие-то женщины — впрочем, женщины ли? — с ногами и руками, надо полагать, сфабрикованными из кусков труб парового отопления. Там, где в свое время я поместил «Светский прием» Беро с волшебством кружев, кружевного шитья, высвеченных изнутри, перед моими глазами топырилась невообразимая галиматья, к тому же имевшая абсурдное название, выписанное четкими и округлыми буквами: «Недреманное око метилового арсенида». На вращающейся подножке из зеленого мрамора была установлена мраморная форма, точнее — бесформенная форма, без четкого замысла и какого-либо смысла: шарики — два — внизу и нечто удлиненное, задранное вверх, что можно, конечно, простите меня, истолковать повсякому, хотя изображенное не слишком реалистично, зато чрезмерно непропорционально и, бесспорно, непристойно, и что, кстати, скрывают в обществе. «Однако... что за беспутство все это?» — «Модернистское искусство, сеньор Президент»,— тихо проговорил Чоло Мендоса, оставивший на мансарде Мажордомшу, закутанную в шали, прикурнувшую под теплым одеялом... Поспешно переходя из комнаты в комнату, Экс повсюду обнаруживал те же графические извращения, те же ужасающие уродства: сумасбродную, донельзя вздорную, донельзя «загерметизированную» мазню, вне связи с чем-либо из настоящего, давнего прошлого либо легендарного, без сути, без идеи. Изображенные фрукты не были фруктами, а дома оказывались многогранниками, на физиономиях вместо носов выпячивались чертежные треугольники, у женщин груди помещены не там, где им надлежало быть — одна вверху, другая внизу,— или зрачок на виске; а далее — два торса, настолько перекручены, настолько переплетены и слиты их корпусы, что потеряли они человеческое и приобрели скорее скотское; для того, чтобы показать двоих, занятых этим (у Экс под замком хранилась богатая коллекция порнографических рисунков), художнику, бесспорно, не хватило мастерства, умения передать ракурс, пластичность движений и форм; ничем, даже в самой ничтожной степени, не обладали эти обанкротившиеся художники, именовавшие себя «модернистами»,— не способны они были ни воспроизвести обнаженное тело, ни показать молодого спартанца на фоне Фермопил, ни заставить бежать лошадь, которая была бы лошадью, ни расписать — скажем к слову, плафоны Парижской оперы либо изобразить битву с эпическим талантом баталиста Детайля. «Я прикажу снять всю эту мерзость»! — закричал хозяин дома, почувствовав себя Хозяином Дома, срывая «Недреманное око метилового арсенида».

«Можно ли поверить, неужто это ты!» — раздалось за его спиной восклицание только что вошедшей Офелии, одетой в синий вечерний костюм, несколько растрепанной, взбудораженной и, видимо, еще не освободившейся от воздействия выпитых бокалов. «Дочка! — откликнулся Глава Нации, прижав ее к себе в таком порыве нежности, что голос его прервался.— Доченька! Плоть от плоти моей!» — «Папочка, милый!» — твердила она, также со слезами на глазах. «Какая ты красивая, какая дивная».— «А ты такой сильный, такой крепкий!» —

«Иди сюда, сядь рядом со мной... Мне хочется столько тебе сказать... столько рассказать тебе...» — «Видишь ли...» И из-за плеча Офелии, на котором увядала пропахшая табаком орхидея, Экс увидел, точно на карнавальном шествии во Фландрии, со всклокоченными волосами, измазанные, невыспавшиеся рожи, явно перепившие. «Это мои друзья... Дансинг, в котором мы ужинали, уже закрыт. И мы приехали сюда — продолжать праздновать». Люди и еще люди; люди неопрятные, развязные, опустившиеся; люди грубые, невежливые, нахальные; люди, которые чувствовали себя здесь будто дома — более чем дома: в борделе,— рассевшись на полу, без спросу вытаскивая бутылки из домашнего бара, закатывая ковер, чтобы легче было танцевать на навощенном полу, и не обращали решительно никакого внимания на Экс. Женщины с юбками выше колен, с прической под кружок, что там было отличительным признаком проституток; юнцы гомосексуалистского вида в клетчатых рубашках—вероятно, перешитых из фартуков кухарок. А теперь еще заиграл патефон: «Yes, we have no bananas... (эту гнусность приходилось терпеть на пароходе во время всего плавания через Атлантический океан)... we have no bananas today...» [1]. Офелия, окруженная друзьями, хохотала, куда-то уходила, возвращалась, вытаскивала пластинки из книжного шкафа, приносила вино, наливала в бокалы, крутила ручку патефона, а с Экс, смиренно усевшимся на диване, вела диалог из обрывков фраз, бессвязных, из вопросов без ответов, из сообщений без уточнений,—среди круговерти и круговерти по залу,— не приехала на вокзал Сен-Лазар, потому что радиограмма о прибытии получена лишь вчера, поздно, когда уже была на вернисаже; а оттуда нужно было поехать на праздник, и только сейчас, поднявшись, узнала о приезде от консьержки; «Да, сейчас мы будем счастливы; тебе нет необходимости возвращаться в ту страну дикарей» (а теперь зазвучал «Сент-Луис блюз», вызвавший неприятные воспоминания, тот самый, что наигрывал консульский агент тем вечером...). «Ты слышишь, я привез сюда Мажордомшу»/ «А где она?» / «Спит наверху» / «Откровенно говоря, я не стала бы ее привозить» / «Она — единственный человек, который там мне не изменил... потому как... даже Перальта!» / «Мне всегда подсказывало сердце, что он — сукин сын» / «Хуже, он — карманный Макиавелли»/ «Даже не это, скорее — карман Макиавелли» (и снова: «Yes, we have no bananas...») / «Я не стала бы захватывать с собой Мажордомшу, не представляю ее в Париже, еще одна головная боль, еще балласт» / «Нам надо поговорить об этом, надо о многом поговорить» / «Утром, утром, утром...» / «Но утро уже наступило, уже день наступил» (опять «Сент-Луис блюз») / «Послушай-ка... и что же, ты хочешь оставить на стенах всю эту пакость?» /«Ай, не будь таким отсталым, дорогой мой старина, это ведь искусство сегодня, ты к нему привыкнешь» /«А мои полотна Жан-Поля Лорана, мой «Волк» Губбио, мои морские пейзажи?» /«Их продала на аукционе в Отеле Друо, по правде говоря, мне дали чепуху за всю партию, это уже никого не интересует» / «Чертовщина! Могла бы со мной посоветоваться!» / «Как я могла бы с тобой посоветоваться, если газеты на днях сообщали, что тебя сбросили? Об этом я узнала на ярмарке в Севилье» (Опять: «Yes, we have no bananas...») /«А когда ты узнала, плакала много?»/ «Много, много, много...» / «Ты, конечно, стала носить черную мантилью?» /«Подожди, я должна завести патефон...» (мелодию «Yes, we have no bananas...», раздававшуюся было глухо, перевела на более громкое звучание) /«Послушай... а эти люди еще долго будут здесь болтаться?» /«Если они захотят задержаться, выгонять их я не буду» /«Ви-

[1] Да, нет у нас бананов... нет сегодня бананов у нас *(англ.)*.

дишь ли, нам нужно о многом поговорить» /«Утром, утром, утром...» / «Но ведь у т р о уже наступило...» / «Если ты устал, иди поспи...» (Новая пластинка: «Je cherche après Titine, Titine,—oh, ma Titine...»[1] — и эта мелодия преследовала на борту парохода.)

А теперь Офелия, оставив его на диване, начала танцевать, словно сорвавшаяся с цепи, подхватив какого-то кудрявого англичанина, которого представила, проходя в танце мимо и не расставаясь, как некоего лорда... не знаю какого, с которым, дескать, познакомилась на Капри и — как мне подсказал Чоло Мендоса, усевшийся рядом,— у которого уже были неприятности с французской полицией, потому что учениц лицея Жансон-де-Сейи он использовал в качестве исполнительниц сценических вариантов одной из «Буколик» Вергилия: да, той, с пастушком Алексисом, знаю, знаю ее...

Э к с посматривал на свою дочь, на всех остальных с нараставшим раздражением. И на этих двух, что качались — девка с девкой,— прижавшись щека к щеке. И на тех двоих, парень с парнем, ухвативших друг друга за поясницу. И на ту, другую, коротко остриженную, что целовалась с худой блондинкой в желтой шали. И еще эти глупейшие, непонятные картины на стенах. И еще та белая статуэтка, мраморная, сексуальная, непристойная,— среди бутылок с виски, на этикетке которых белый конь, по крайней мере, пристойно нарисован. Внезапно лицо его побагровело в приступе гнева — Мендоса уже знал эти симптомы,—Э к с пересек зал, рывком поднял мембрану патефона, сбросил несколько пластинок на пол, каблуками раздавил, обратил в мелкие осколки. «Вон всю эту мразь отсюда!» — закричал он. Отступив к остальным, крайне пораженным и ожидавшим, что произойдет дальше, Офелия — будто вождь племени, оценивающий силы противника, прежде чем перейти в наступление,— теперь смотрела на своего отца с разгоравшейся яростью. «Милый папочка» вырастал перед ее глазами: вздымался, раздавался вширь, превращался в гиганта, раздвигающего руками стены, поднимающего плечами потолок. Да, если к нему вернется былая власть, если ему позволить обрести былое могущество, позволить приказывать, решать все и вся в том доме, где так приятно было не обращать на него внимания в течение многих лет: если не подавить в нем тщеславие, не преградить путь его импульсам, то в конце концов он станет тираном з д е с ь, каким был тираном т а м — он, привыкший быть тираном всегда. «Если тебе не нравятся мои друзья...— сказала она, и в голосе ее зазвучал давнишний, тогдашний тон — сухой и холодный, которого он некогда побаивался.— Если тебе не нравятся мои друзья, можешь забрать свои чемоданы и отправиться в отель Крийон или в отель Ритц. Там есть хорошие номера — с полным обслуживанием, с приличной обстановкой».— «Содом и Гоморра!» — заорал Глава Нации. «Поэтому тебя и свергли, что болтаешь глупости»,— сказала Офелия. «А, собственно, кто это такой?» — начали спрашивать остальные, лишь сейчас им заинтересовавшись. «Mon père le Président...»[2] — заговорила Офелия торжественно, словно желая несколько смягчить резкость сказанного ранее. «Vive le Président. Vive le Président!» [3] — закричали теперь все, тогда как один из них, по-клоунски высоким фальцетом, как бы на кларнете, затянул «Марсельезу». «Иди спать, папа...» Гардины салона уже озарялись солнцем, хотя в помещении еще горел свет. Утро наступило в своем величии для всего города. «Пойдем в Буа-Шарбон»,—

---

[1] Я ищу Титину, Титину,— о, мою Титину... *(франц.)*

[2] Мой отец, президент *(франц.)*.

[3] Да здравствует президент! Да здравствует президент! *(франц.)*.

обратился Экс к Чоло Мендосе. «Bye-bye!»[1] — сказала Офелия. И пока господа спускались по большой почетной лестнице, остальные, наверху, высовывая из-за балюстрады свои лица-маски, запели хором на мотив «Мальбрука»:

L'vieux con s'en va-t'en guerre,
Mironton, mironton, mirontaine.
L'vieux con s'en va-t'en guerre,
Et n'en reviendra pas !. .[2]

«Alors... on a eu des malheurs, mon bon Monsieur?»[3] — сказал, увидев входящих, Мюзар, все более смахивавший на усатого вожака с Триумфальной арки. (Конечно, мой портрет он уже видел в какой-нибудь газете.) «Oh! Vous savez... Les révolutions...»[4] — заметил я. «Les révolutions, ça tourne toujours mal...— сказал бармен, вытаскивая бутылку.— Voyez ce qui s'est passé en France avec Louis XVI...»[5] (Я вспомнил обложку книги «Конвент» французского историка Мишле, в издании «Нельсон», на которой бывший король Людовик, ставший гражданином Капетом, изображен на эшафоте весьма достойно, с расстегнутым воротом сорочки, будто на приеме у отоларинголога.) «Ce sera pour la prochaine fois...»[6] — сказал я, поднимая руку к шее. Вероятно заметив, хотя и запоздало, что его воспоминание о Людовике XVI прозвучало несколько неподходяще, мосье Мюзар пытался теперь привести все в порядок: «Les révolutions, vous savez... Il paraît que sous l'Ancien regime on était mieux... Ce sont nos quarante Rois qui ont fait la grandeur de la France[7]. «Он, видать, начитался «Аксьон франсэз»,— заметил Чоло Мендоса. «Выглядит сторонником Барреса»,— сказал я. «Le Beaujolais nouveau est arrivé...— сказал мосье Мюзар, наливая три бокала.— C'est la maison que régale...»[8] Я выпил вино с удовольствием. Из глубины бара доносился приятный аромат смолистых поленьев — продавались они небольшими скрученными проволокой вязанками для разжигания угля в камине. На своих полках, как будто и не проходило время с тех пор, стояли неизменные бутылки аперитивов с этикетками «Сюз», «Пикон», «Рафаэль», «Дюбонне». «На что ты будешь жить теперь? — спросил я Чоло Мендосу.— Ты ведь уже не посол».— «Предусмотрительный человек двух стоит. Денег у меня хватит с избытком».— «Откуда раздобыл?» — «Благодаря моим усилиям население нашей страны увеличилось на тридцать тысяч новых граждан, которые не фигурируют в наших переписях, даже не знают географической карты нашей страны. Для них я подготовил паспорта, документы о нашем гражданстве... Это — несчастные, оставшиеся без родины. Жертвы войны. Русские белогвардейцы. Апатриды. Heimatlos[9]. Благотворительностью занимался... Кроме того, кое-какой бизнес через дипломатическую почту... Не я один. А я не святой. Другие пользуются диппочтой для худших делишек (он сделал жест вдыхающего наркотик). Признаться, искушение велико, нынче это уж очень прибыльно. Но, конечно, опасно... А с паспортами напротив... У меня есть дубли-

[1] Пока, пока *(англ.)*.

[2] Старый хрыч в поход собрался. Миронтон, миронтон, миронтен. Старый хрыч в поход собрался и уж более не вернется к нам! *(франц.)*

[3] Итак... у вас были кое-какие беды, мой добрый господин? *(франц.)*

[4] О! Знаете... революции *(франц.)*.

[5] Революции всегда оборачиваются злом... Посмотрите, что произошло во Франции с Людовиком XVI *(франц.)*.

[6] Так будет в следующий раз *(франц.)*.

[7] Революции, знаете... кажется, что при прежнем режиме было значительно лучше... Своим величием Франция обязана нашим сорока королям *(франц.)*.

[8] Получено свежее «божоле»... Это мой бар угощает... *(франц.)*

[9] Без родины *(нем.)*.

кат печатей посольства. Так что лавочка открыта... Скромненько, конечно...» — «Хорошо, хорошо продумано, да наши соотечественники иного и не заслуживают... (Экс вздохнул.) Ай, братец!.. Как трудно служить родине!..»

Мы возвращаемся на рю де Тильзит. Гардины в салоне до сих пор были опущены. На диване, в креслах, на разбросанных по ковру подушках спали некоторые из вторгшихся сюда на рассвете пропойц и забулдыг. Переступая через тела — одни прижались тесно друг к другу, иные валялись в общей мешанине,— я добрался наконец до моей комнаты. Достал из шифоньера гамак, привязал его за привинченные для этого к стене кольца. А на Триумфальной арке, как и вчера, как и всегда, пела Марсельеза Рюда.

Хотя Марсельеза продолжала там петь — вместе с призывающим вождем и мальчиком-героем, среди сабель и панцирей,— Париж для меня был пуст. К такому выводу я пришел вчерашним вечером, когда после долгого сна попытался подвести баланс: а что из утраченного я смог бы возместить в этом городе? Рейнальдо Ган на мой звонок не подошел к телефону. Быть может, он жил за городом. «Abonné absent»[1],— ответил мне женский голос с телефонной станции. Именитый Академик, всегда такой понимающий, с которым я хотел поделиться всеми огорчениями и разочарованиями, а заодно надеялся попросить советов насчет того, следует ли мне писать «Мемуары», умер несколько месяцев назад, в своей квартире на набережной Вольтера; он стал жертвой неизлечимой болезни после глубокого духовного кризиса — на последний весьма оживленно откликнулись католические круги: кризис побудил его проводить дни напролет за молитвой в холодной церкви Сен-Рош, для меня связанной с воспоминаниями об одном романе Бальзака, мною, еще подростком, прочитанном в Веронике... Я узнал, что Габриеле Д'Аннунцио после того, как запутался в Фиуме, замкнулся — так говорили,— став князем[2] — так говорили,— в своей итальянской резиденции, где можно было видеть прислоненным к скале нос крейсера, поднятого туда в память о каком-то подвиге. Я узнал — и Офелия насчет этого сказала правду,— что живопись Эльстира в изрядной степени потеряла свою популярность среди публики: его изящные морские пейзажи, свернутыми, пребывали в художественных галереях второй категории вместе с другими произведениями искусства, в котором, по суждению нуворишей, порожденных войной, ничего не было, кроме волн, яликов, песка и пены. Огорченный обесценением своих шедевров, он, затаив бушевавший в душе гнев, уединился в своей студии в Бальбеке и пытался добраться до высот «модернизма» путем деформации собственного стиля, но не открыл что-либо новое—и все свелось к беспорядочным поискам, не вызывавшим восторга у его вчерашних поклонников, как и у тех, кто ныне следовал модным течениям. В музыке произошло нечто сходное: уже никто не играл Вентейля, а тем более его «Сонату», кроме девочек, учениц консерваторий, которые, возвратившись после занятий по курсу рояля, забрасывали его произведения в какой-нибудь папке и подальше, чтобы предаться причудам «La cathédrale engloutié»[3] либо «Pavane pour une infante défunte»[4], если не спускались до уровня «Kitten-on-the-keys»[5] Зезы Конфрея. А юнцы, «знатоки» — только че-

---

[1] Абонент отсутствует *(франц.)*.

[2] В 1919 году Д'Аннунцио возглавил националистическую экспедицию, захватившую югославский город Риеку (Фиуме). Позднее от фашистского режима он получил титул князя.

[3] «Потонувший собор» *(франц.)*.

[4] «Павана на кончину инфанты» *(франц.)*.

[5] «Котенок на клавишах» *(англ.)*.

го?— снобы, очарованные русскими музами, привезенными Дягилевым, относились к благородному маэстро Жану Кристофу как к «vieille barbe» [1], отрекаясь от него, как отреклись от «Золота Рейна». И уже было замечено худшее, нечто непостижимое: Анатоль Франс, который мог бы спокойно оставаться в мире Таис и Жерома Куаньяра [2], заговорил о чем-то ином — о социалистическом — и совсем недавно провозгласил необходимость «всеобщей революции», которая захватила бы и Америку—ни более ни менее!—предоставив большие суммы денег этой отвратительной газете «Юманите». И другие пошли по очень дурному пути...

В эти дни я не рисковал позвонить по телефону мадам Вердюрен—ныне, после своего бракосочетания, принцессе. Я опасался, что принцесса — или с тщеславием таковой — еще отнесется с пренебрежением к тому, кто в итоге всего является лишь латиноамериканским президентом, выброшенным из своего Дворца. С чувством горечи я думал о плачевном конце Эстрады Кабреры; о многих главах государств, которых тащили по улицам их столиц; об изгнанных и униженных...

Проходили дни. Я крайне редко видел Офелию, неизменно увлеченную азартными играми, погруженную в какие-то свои неотложные делишки. Мажордомша, съежившаяся, подобравшаяся под теплым одеялом, отказалась подвергнуться осмотру французского врача и переносила воспаление легких с высокой температурой, не принимая никаких лекарств, кроме рома «Санта Инес» и бальзама Толу́: здесь, естественно, не было таких трав, какие были там, и отвар которых совершал чудеса. Вместе с Чоло Мендосой повторял я давнишние парижские маршруты: гулял от Нотр-Дам до Лоретт и до «Шоп Дантон», по одной из авеню близ Булонского леса — эта авеню уже не походила на прежнюю — до «Буа-Шарбон» мосье Мюзара, и уже не испытывал тех, давних, ощущений, не встречал того климата, той атмосферы, которых тщетно искали мое чутье и моя память. Дыхание газолина вытеснило сельский запах конского навоза — ранее общий, без границ, как для столицы, так и для деревни. В утренние часы уже не слышно было выкриков старьевщика, торговки крессом и канареечным семенем, ни буколической свирели точильщика ножей. В районе Плас де Терн уже не появлялись на осликах, украшенных кистями по-эстремадурски,— после долгого пути из Бадахоса — продавцы кувшинов пористой глины. Что еще оставалось как нечто постоянное, неизменное, так это «Под зеркалами» на рю Сент-Аполлин, 25. Там, среди мозаичных столиков, разрисованных стекол, наклеенных цветов на широких спинках кожаных сидений, у механического пианино, дробно выбивавшего мелодии, с двумя официантами в белых фартуках и с бутылками на подносах — совсем как с этикетки «Рафаэля»,— меня ожидали женщины. Ожидали, несмотря на прошедшие годы, смену поколений, обновление персонала, изменение причесок... именно они, женщины, возвращали меня к начальным главам моей собственной истории, к моим первым наслаждениям, к тысячам воспоминаний о былом, к тем далеким хроникам здешнего бытия, в котором — как и в других странах континента — все уже коренным образом преобразилось, расстроилось, было фальсифицировано внезапным ускорением ритма жизни. Произошло смешение языков, последовали деградация ценностей, непочтительность юнцов, неуважение к патриархам, профанация дворцов, Изгнание праведников... А

[1] Старикашке *(франц.)*. Имеется в виду герой романа Ромена Роллана «Жан Кристоф».

[2] Персонажи романов Франса «Таис» и «Суждения г-на аббата Жерома Куаньяра».

здесь, «Под зеркалами», я вижу нечто постоянное, единственное, что всегда — пусть бюсты больше, бюсты меньше! — было здесь, как т а м, диалектикой незаменяемых форм, общим языком взаимопонимания.

Здесь, созерцая видимое, я обнаруживаю Великую Задержку времени; оказываюсь вне эпохи — быть может, в дни солнечных или песочных часов, и в силу этого освобождаюсь от всего, что привязано к датам моей собственной биографии; здесь я чувствую себя уже не окончательно сбитым с моих бронзовых коней, не окончательно снятым с моих пьедесталов, не окончательно свергнутым монархом, не окончательно смещенным актером — я ощущаю себя человеком, отождествленным с моим внутренним «я»; мои глаза еще видят, и вожделения, исходящие из глубин жизнестойкости, еще и еще призывают наслаждаться тем, что достойно взглядов,— а это богатство более предпочтительно (я ч у в с т в у ю, значит, существую), чем мнимое существование в глупейшей вездесущности сотен статуй, высящихся в муниципальных парках и во внутренних дворах муниципалитетов... Когда подобные мудрствования заставили меня быть серьезным как раз там, где вообще-то не полагалось быть серьезным, когда я пришел к выводу, насколько велика дистанция между мыслью и местом пребывания, то не мог удержаться от смеха и невольно повторил фразу, всегда вызывавшую ликование Чоло Мендосы: «Все, что угодно, только не to be or not to be в борделе».— «That is the question...» [1] — отвечал тот, также прикидываясь начитанным, а одновременно делая многозначительные знаки полнотелой Леде, и Леда, поняв, что уже избрана, не торопясь поджидала своей минуты и потягивала анисовый аперитив за ближайшим столиком — она сообразила: этот клиент заслуживает ожидания, хотя не произнес и полслова, чужеземцы ведь обычно щедры, умеют оценивать профессиональную добросовестность любого труда.

20

Как-то сразу вылечившаяся от лихорадки и колик, Мажордомша вылезла из-под теплого пухового одеяла и потребовала отвести ее в церковь, где она могла бы исполнить данный Богородице обет, поставив свечи и помолившись. «Церковь, церковь!» — выкрикивала она консьержке, крайне удивленной ее появлением в трех юбках, натянутых одна на другую: опасалась мулатка утренней росы, испаряющейся под первыми лучами раннего летнего солнца. «Церковь, церковь!» — повторяла она, для пущей убедительности осеняя себя крестным знамением, складывая руки в молитвенном жесте, потрясая посеребренными четками. Консьержка, по-видимому, уразумев, показала ей: нужно идти туда-то, повернуть налево, повернуть направо, пройти еще немного... И Мажордомша, посверкивая уже окрепшими икрами, шла, шла, шла, пока не встретила огромный храм — конечно, храмом должно быть это здание, хотя и не увенчивал его крест, зато поверх многоколонного фасада украшено оно было скульптурами, похоже—религиозными и похоже—сделанными Мигелем Монументом. Там звучала органная музыка, оттуда доносилось бормотание молитв и священник произносил какие-то слова, которых она, правда, не уяснила, но ведь виднелась знакомая ей церковная утварь — алтарь повсюду будет алтарем, и у святых образов есть что-то схожее, род-

[1] Быть или не быть — вот в чем вопрос *(англ.).*— В. Шекспир. «Гамлет».

ственное, а дым ладана не оставлял места сомнению... Выполнив свой благочестивый долг, купив свечи на французские деньги, полученные от Главы Нации по прибытии в порт Шербур («а вдруг ты еще потеряешься, как пойдешь отлить...»), спустилась она по лестнице, но не могла не задержаться на цветочном рынке, очень хорошеньком, пусть здешние гвоздики не пахнут так, как тамошние,— и, пораженная, замерла на месте перед каким-то магазином, в витрине которого на тонком полотне возлежал плод манго — один-одинешенький, изумительный. Далеко, т а м, манго продавали с тачек, украшенных пальмовыми ветвями, под выкрики «за пятак половину!» — а тут выставляли в витрине, будто какую-то драгоценность из тех, что в ее стране рекламировали французские ювелиры. Мажордомша рискнула зайти в магазин. От стеллажа к стеллажу, от прилавка к прилавку возрастали ее радостное возбуждение и удивление: юкки, словно призывая к себе, протягивали к ней свои бурые объятия; перед ее глазами вновь зазеленела зелень зеленых бананов, наливалась маланга в морщинистой кожурке, у батата пестрели светлые пятна на пунцовой окраске — скорее коралл, чем спрятавшийся корнеплод. А позади—густая чернь черных бобов, и литургическая белизна гуанабаны, и розоватость мякоти гуайябы. И при помощи своего языка жестов и междометий, тыча пальцами, восклицая, ворча одобрительно или осуждающе, приобрела она пять этих, трех тех, десять таких, восемь из того мешка, пятнадцать из другого ящика, засунув все это во вместительную плетенку, какие продавались здесь же, а расплачиваясь, водрузила плетенку на голову, напугав тем кассиршу: «Vous voulez un taxi, mademoiselle?...[1]» Она ничего не поняла. Вышла из магазина и стала прикидывать, где же путь к дому. Когда подходила сюда, то солнце било ей в лицо. Солнце и сейчас еще не поднялось высоко, да и пока не давал о себе знать голод: стало быть, около десяти или пол-одиннадцатого. Стало быть, надо идти так, чтобы тень была впереди,— значит, пойдешь по пройденному. Наихудшее в том, что эти богомерзкие улицы куда-то сворачивают, кривятся, меняют направление, а тень — все короче и короче — переходит справа налево и никак не ложится впереди. А, кроме того, сколько диковинного, любопытного отвлекало ее... А плетенка стала весить куда тяжелее, чем ранее, когда внезапно — солнце уже повисло над головой — показался перед ее глазами, далеко, где-то в конце пути — большущий, грузный, никудышный и спасительный монумент, тот самый, который еще называют Триумфальной аркой или Как-еще-ее-там. Ускорила шаг. Вот уже и дома. Ей хотелось немедля кулинарничать, но в этот миг точно кто-то воткнул в поясницу острый и холодный гвоздь. И как будто вновь поднялся жар. Плетенку она засунула в угол комнаты, опрокинула стаканчик рома, размешав его с бальзамом Толу́, и опять полезла под теплое одеяло, нелестно выразившись по адресу этих ледяных стран, где так легко можно простудиться,— и поминай как звали.

На следующий день, примерно в полдвенадцатого, Офелию разбудили неистовые вопли. В ее комнату влетела взволнованная горничная, всплескивая руками, восклицая: «Mademoiselle, pardonnez-moi, mais...»[2] Оказывается, кухарка хотела видеть Офелию — видеть немедля, во что бы то ни стало. И кухарка уже была тут как тут. Разъяренная. Ворвалась раскосмаченная — разъяренная дальше некуда — и с ходу выпалила ей, еще полусонной, с трудом пытавшейся осмыслить хоть что-то: произошло невероятное, нетерпимое, в этом доме

[1] Не желаете ли вы такси, мадемуазель? *(франц.)*
[2] Мадемуазель, простите меня, но... *(франц.)*

нельзя оставаться ни одного дня более, потому возвращает свой передник. И тотчас же, сдернув его, метнула с гневным видом — так достопочтенный мастер масонов, доведенный до белого каления, мог бы отказаться от канонического фартука в своей ложе. Да, это было нечто нетерпимое: с мансарды спустилась женщина в трех юбках, отчаянно жестикулирующая, темнокожая, как un peau de boudin, mademoiselle» [1], — и, захватив ее, кухаркино, царство горшков и сковородок, начала стряпать что-то странное — «des mangeailles de sauvages, mademoiselle» [2], перепачкав все, проливая масло, разбрасывая початки маиса по углам, оскверняя кастрюли смесью перца и какао, используя рубанок для снятия шкурок с зеленых бананов, отбивая мясо для жаркого ударами кулака, прежде обмотав кулак серой оберточной бумагой. А затем, приготовив свою, не поддающуюся определению стряпню и оставив кухню, отравленную угаром от свиного сала и вонью от фританги—жареных помидоров, перца и тыквы,— она унесла подносы и суповые миски в комнатушку, принадлежавшую Сильвестру и сохраняемую — в знак памяти о нем — в таком виде, какой ее оставил безупречный слуга перед тем, как с военным крестом на груди пал славной смертью в битве на плато Кранн, ведь недаром же его портрет был напечатан в журнале «Иллюстрасьон» — за героическое поведение перед лицом врага... Наконец разобравшись в сути всего происшедшего, Офелия вернула передник кухарке и, накинув на себя халат, поднялась в мансарду...

Глава Нации и Чоло Мендоса, взъерошенные, небритые, мрачные — как видно, уже весьма нагрузившиеся выпитым,— сидели рядом перед длинным столом, впрочем, это был даже не стол, а всегонавсего дверь, снятая с петель и положенная на два стула. Несколько тарелок и подносов были расставлены тут, как в гостеприимной тропической харчевне... «Не хотите ли присесть с нами?» — предложил Чоло Мендоса. «А кто устроил все это?» — поинтересовалась Офелия, все еще не пришедшая в себя от прерванного сна и от воплей кухарки. «Эльмирита, чтобы услужить господу богу и вам»,— любезно пояснила мулатка, приседая в полупоклоне, совсем как девица — воспитанница колледжа французских доминиканок. Офелия готова была резко оборвать праздничную трапезу, сбить ногой импровизированный стол. Однако в эту минуту маисовый тамаль, поднятый на вилке, приблизился к ее глазам, стал снижаться к ее губам. Как только поравнялся он с ее носом, внезапное волнение, подступившее откуда-то изнутри, издалека, вызванное подсознательными побуждениями, подкосило ее ноги, заставив опуститься на стул. Откусила кусочек от тамаля и мгновенно ощутила, как с плеч слетело три десятка лет. В белых носочках, с косичками, в папильотках из китайской бумаги, очутилась она в патио, где под тамариндом лежало метате — две каменные плиты, на которых растирали зерна маиса и какао. И тамаринд манил ее коричневой мякотью своих плодов, притаившихся в хрустящих чехольчиках цвета корицы,— она даже почувствовала терпкий кисло-сладкий привкус на языке, вызвавший особое, давно забытое воспоминание... Мне еще только минуло семь лет, и каждое утро я рассматриваю себя в зеркало: не набухли ли за ночь мои груди,— этот маисовый запах проникает во все поры моего тела. Мне еще только семь лет.

Пресвятая дева Мария,
Избавь нас от всякого зла
И упаси, Богоматерь,
От этого бесовского пса.

[1] Шкурка от кровяной колбасы, мадемуазель *(франц.)*.
[2] Жратву диких, мадемуазель *(франц.)*.

А теперь все хором пели:

Дева взяла мачете,
Чтобы демона покарать,
А бес четвероногий
В чащу успел удрать.

«Des mangeailles de sauvages!..» — все еще не успокаивалась кухарка; упершись руками в бока, она выглядывала из дверей. «Ко всем чертям Брийя-Саварена!»[1]— закричала Офелия, щеки которой разгорелись от сидра с текилей, от ананасовой настойки, от наливок,— пробуя то и это, запуская ложку в гуакамоле, окуная индюшачью ножку в чиле. И, поддавшись внезапному порыву нежности, она уселась на колени отца, стала целовать его щеки, от которых по-прежнему пахло табаком, агуардьенте, французским лосьоном, отзывало мятой, лакрицей, пудрой «Мими Пенсон» — всем, отнюдь не одряхлевшим, а мужественным, почти молодым в этой чудеснейшей неожиданной встрече с прошлым. Впервые после дней сражения на плато Кранн и героической гибели Сильвестра зазвучал его, остававшийся было немым, граммофон. Послышались музыка и голоса — глуховатые и порой замирающие, когда пружина теряла силу,— на пластинках, разысканных Чоло Мендосой: «Фазан» Лердо де Техады, «Душа полей», «Тамбурин», «Черные цветы», «Жемчужины меж твоих губок». И слова в ритме танго, милонги, болеро — «Милонгита, радости цветок и наслаждения, столько зла тебе мужчины причинили, а сегодня все бы отдала на свете, чтоб одеться в бархат и шелка...» — и «...послушай-ка историю, ее мне рассказал однажды могильщик старый нашего селенья: безжалостна судьба, и по ее веленью смерть разлучила юношу с любимой...» — и «ну, что ж, друзья мои и спутники по жизни, пока прощайте, пока прощайте...» — и «...по ночам он на свиданье шел к могиле, скелет желанной увидеть поскорее, цветущего лимона лепестками украсить ее череп и поцелуями сомкнуть ужасный рот без губ...» — и «ну что ж, друзья мои и спутники по жизни, пока прощайте, пока прощайте и наши кутежи былых времен не забывайте, не забывайте...» — и «в тот день, когда меня полюбишь, сиянием солнца озарится все, в любом цветке мелодии Бетховена услышишь...» — и снова, и снова, и снова: «...и наши кутежи былых времен не забывайте...»; «прощай, прощай, светильник в моей ночи — так пел солдат у дальнего окна...» Теперь Эльмирита и Офелия, обнявшись, пели дуэтом — первую партию и вторую,— искусно выдерживая паузы в два с половиной такта и в два такта с тремя полутактами, тогда как Чоло Мендоса, делая вид, что перебирает струны на воображаемом инструменте, в подходящий момент голосом подражал звукам гитары... А когда подступила ночь, Глава Нации, слушая песни и наслаждаясь яствами, решил окончательно поселиться в комнатушке Сильвестра, куда будет входить и откуда будет выходить по черной лестнице: «Так буду более независимым». Пусть там внизу Офелия устраивает свои гулянки с молодежью; пусть обитает там посреди отвратительной мазни, занявшей место его картин,— мазни, уже осточертевшей ему до последнего предела, не говоря о том, что в ней ничего понять нельзя и не поймешь никогда. И Мажордомша будет жить здесь, в соседней комнате,— так удобнее сопровождать и обслуживать его... Той же ночью, как бы благословляя новоселье, она укрепила два металлических кольца в стенах, завязала тугим узлом веревки, и повис в воздухе гамак Главы Нации — «простите, Э к с...» — поправил Патриарх, блаженно качнувшись.

[1] А. Брийя-Саварен (1755—1826) — автор книги по гастрономии «Физиология вкуса».

Вскоре Мажордомша научилась ориентироваться в обширном пространстве, центром чего была Триумфальная арка, а границей которому служила река — эту реку она никогда не пересекала, потому как опасно: те, кто много гладит и много варит или жарит, могут оцепенеть, ежели попытаются пройти по мосту. А церковь отыскала она на площади, где бронзовый кабальеро, прославленный поэт, друг бразильского императора Педро,— как пояснил ей Чоло Мендоса — погружен, похоже, в вечное раздумье... По утрам мансарда насыщалась ароматом крепкого кофе, процеженного через шерстяной чулок и подслащенного тростниковой патокой, что мулатка покупала за Ля Мадлен, куда хаживала, уже не опасаясь заблудиться,— она убедилась, что если пройти под Триумфальной аркой, в самом центре, то вдали можно рассмотреть Стоящий камень[1], туда и направляться, повернув затем налево, чтобы найти здание со многими колоннами, перед алтарями которого отмолила она девятидневку за свое исцеление. А затем следовало ничегонеделание в гамаке...

Дремота утренней сиесты, что-то около одиннадцати, прерывалась Чоло Мендосой, приносившим газеты. Однако эта пресса не была рождена на рассвете в парижских ротационных машинах. Это была пресса заокеанская, проделавшая длинный путь и изрядно потрепанная, далекая от сиюминутных событий да и от сегодняшнего дня. Французских газет — «Фигаро», «Журналь», «Пти паризьен» — не поднимали на этот этаж, их мало-помалу заменили т а м о ш н и м и, латиноамериканскими — «Эль меркурио», «Эль мундо», «Ультимас нотисиас», если не «Эль фаро» из Нуэва Кордобы либо «Эль сентинела» из Пуэрто Арагуато. Глава Нации постепенно забывал фамилии з д е ш н и х политических деятелей, ему было не столь важно, что происходило в Европе,— хотя недавнее убийство Маттеоти[2] подогрело его восхищение итальянским фашизмом, а еще этот великий Муссолини, он, конечно, покончит с международным коммунизмом,— и все внимание Экс-президента было приковано лишь к тому, что происходит т а м... (Приветствуемый как Восстановитель и Страж Свободы, после триумфального въезда верхом на черном коне,— пусть всадник не натягивал сапог и был одет в костюм из белой хлопчатобумажной ткани, в котором обычно выступал с университетской кафедры,— Луис Леонсио Мартинес поднимался по ступеням лестницы Президентского дворца, некогда названного им в своем манифесте «авгиевыми конюшнями»; он выступал с величием торжественно шествующего древнегреческого Архонта: нахмурены брови, скупы жесты, холоден взгляд, нечто угрожающее во взоре — на тех, кто из шкуры лез, угодливо поздравляя его с победой. Многое ожидали от того, кто, назначив новых государственных служащих, благодаря полученному североамериканскому кредиту мог посвятить себя — аскетически и келейно — титаническому труду по исследованию национальных проблем. Подолгу, неделями и неделями он закрывался в своем кабинете, молчаливый и отдалившийся от всех, предаваясь изучению бюджета, статистических данных, политических документов, предпочитая специальную литературу, энциклопедии, доклады и меморандумы и не придавая особого значения консультациям экспертов, всегда старавшихся расчленить тот или иной вопрос — раздробить по-декартовски целое на части, когда множество частиц заставляет нас терять представление о целом. Благоговейно, с взволнованным нетерпением ожидали все результатов его труда. Ежевечерне люди ходили по Централь-

---

[1] Имеется в виду Обелиск Рамзеса на площади Согласия.

[2] Дж. Маттеоти (1885—1924) — итальянский социалист, выступал против фашизма, по приказу Муссолини был похищен и убит.

ному парку неслышным шагом, разговаривая друг с другом вполголоса, и показывали на окно, в котором до утренней зари горел свет: за этим окном создавалось Нечто Великое! Все ждали, что скажет Мудрец из Нуэва Кордобы. Скоро заговорит. И, наконец, заговорил — перед огромной массой народа, собравшегося на Олимпийском стадионе. Его речь напоминала яростно мчащийся поток — безудержный, беспрерывный,— лавину слов из словаря, растрепанного, вырвавшегося из обложки, с перепутанными страницами; это было мятежом слов, водоворотом идей и концепций, торопливым жонглированием цифрами, образами, отвлеченными понятиями; это было головокружительным бегом слов, бросаемых на все четыре стороны света, слов, перелетавших от банковского дома Моргана до республики Платона, от логоса до эпидемии ящура, от американской монополии «Дженерал моторс» до индийского философа Рамакришны. Под конец он пришел к заключению — по крайней мере, именно так некоторые поняли,— что от Мистического брака Орла и Кондора, от оплодотворения нашей Неисчерпаемой земли Иностранными капиталовложениями, в этой Америке, преображенной мощной Техникой, которая грядет с Севера — «мы находимся уже на пороге века, что станет Веком Техники для Молодого континента»,— в свете врожденной нашей одухотворенности осуществится синтез древнеиндийской Веданты и Пополь-Ву гватемальских индейцев с притчами Христа-первого-социалиста, действительно подлинного социалиста, чуждого Московскому золоту и Красной опасности, на фоне Европы — истерзанной, агонизирующей, уже без жизненных соков, без разума,— и будет хорошо, если мы в конечном счете освободимся от ее уже бесполезных поучений; закат ее неизбежен, это не так давно предрек германский философ Освальд Шпенглер. В наступлении новой Эры, когда тезис-антитезис Север — Юг, дополняя друг друга в практической и в теоретической сферах, выльется в сотворение Нового Человечества, в «Альфу-Омегу», партию Надежды, отвечая призыву Sturm und Drang, отвечая на биение политического пульса новых поколений, отмечая упадок Диктатур на этом континенте, устанавливая подлинную и справедливую Демократию. Здесь осуществится свободная деятельность синдикатов, конечно, если последние не нарушат необходимую гармонию между Капиталом и Трудом, здесь будут признавать надобность в оппозиции, конечно, если оппозиция станет **сотрудничающей** (критикующей — да, но обязательно — конструктивной); здесь будет признаваться право на забастовку, конечно, если забастовки не парализуют ни частные предприятия, ни общественные службы; и, наконец, будет легализована Коммунистическая партия, поскольку фактически она всегда существовала в нашей стране, конечно, если она не затруднит функционирования государственных учреждений, не станет разжигать классовую борьбу... И пока оратор не заключил свою речь возгласом: «Да здравствует Родина!» — произнесено им было столько раз «однако», «все же», «тем не менее», «несмотря на вышесказанное», «в том случае, если», что у слушателей осталось впечатление, как будто живут они в окончательно застопоренное, не подчиняющееся движению часовой стрелки, в замороженное Время. И после выступления Сурового Доктора, спустившегося с трибуны, публика замерла в некоем абсолютном вакууме — опустошенный мозг, экстаз непостижимости мира... Последующие месяцы были отмечены всеобщим замешательством и расстройством государственного аппарата. Временный президент — не такой уж и временный — никогда не принимал какого-либо решения. Любая инициатива, предложенная его сотрудниками, любое мероприятие, подлежащее немедленному претворению в жизнь, ему казались «преждевременным», «несвоевременным», «скоропали-

тельным» — дескать, «мы не подготовлены», «еще не время», «наши массы недостаточно созрели» и т. д. и т. п. И спустя еще какие-то месяцы в умах стал крепнуть скептицизм; люди пожимали плечами; спешили «урвать» побольше наслаждений от каждого дня, не веря в день грядущий; складывались народные песенки-десимы под гитару и маракас о тех, кто чрезмерно надеялся, и уже поговаривали о недовольстве в Армии. «Военный переворот — у ворот,— вещал Глава Нации.— Сюрпризом это не будет. Как гласит наша поговорка: «трудно заметить еще одну полоску на шкуре тигра». «Но сейчас, по слухам, речь идет о молодых офицерах»,— заметил Чоло Мендоса. «Пулемет вместо мачете,— отозвался Могущественный прежних лет.— А это все равно...» Однако возникало там и нечто новое: «Либерасьон», ныне ставшая легальной газетой, появлялась каждое утро на восьми полосах, несмотря на то что зачастую и неожиданно ее типографию обыскивали усердные агенты «Альфы-Омеги», переворачивавшие наборные кассы, рассыпавшие гранки, избивавшие линотипистов. Люди, несомненно придерживающиеся коммунистических убеждений, теперь открыто выступали на ее страницах, подписывая своими именами статьи. Парижское издательство «Франсис Салабер», выпускающее музыкальные произведения, получило заказ на тысячу экземпляров «Интернационала», и там его уже пели — по тексту, переведенному на испанский язык и недавно опубликованному в Мексике, в «Эль мачете» Диего Риверы...)

Один за другим проходили месяцы, февральская пресса читалась в апреле, а октябрьская — в декабре, пробуждая воспоминания о событиях прошлого, оживляя в памяти ушедших из жизни: присутствие вчерашнего, набившего оскомину вчерашнего, перешедшего в нынешний день, влившегося в плоть настоящего, существующего, но уже терявшего плотское,— ясно было, что могучий и надменный облик Экс начал сдавать с течением времени, а время, прогрессивно ускоряясь в глазах того, кто им жил, уменьшало, сокращало дистанцию между одним рождеством и другим рождеством, между одним военным парадом по случаю праздника взятия Бастилии — 14 июля и ближайшим военным парадом по случаю 14 июля — с огромным флагом, развевавшимся под Триумфальной аркой и, казалось, остававшимся там после прошлогоднего праздника. Зацветали каштаны, отцветали каштаны, вновь распускались каштаны, сбрасывая календарные даты цветения в мусорные урны, и портному, обслуживавшему monsieur le Président, приходилось возвращаться и вновь возвращаться на рю де Тильзит, чтобы заново делать выкройку для изнуренного тела, тощавшего день ото дня. Часовая цепочка утопала в обвисшем жилете, тогда как плечи, ранее вздымавшиеся на упругом каркасе, теперь сгорбились, опустились — это заметила Мажордомша, которая в час купания натирала губкой и волосатой перчаткой грудь своего Главы Нации. Тревожила ее эта прогрессирующая худоба, и поскольку не верила мулатка медикаментам во флаконах, что здесь продавались, то в ответ на письмо, продиктованное — точнее, пробормотанное — ею Чоло Мендосе, некая кума Бальбина из Пальмар де Сикире, где даже почтовой конторы не было, выслала ей пакет с лекарственными травами. Пакет, проделавший долгий путь на осле, муле, велосипеде, автобусе, на разных повозках, на двух пароходах и по железной дороге, Эльмира должна была получить сегодня в Отделе почтовых посылок на рю Этьен Марсель. Мажордомшу сопровождали ее Экс-президент и ее экс-посол: надобно было заполнить много бумажек, много раз подписаться, и все это для людей, которые умеют читать и писать, да к тому же на французском, и это самое худшее. Пакет мулатка завернула в шаль — еще дома, перед выходом, все трое оделись по-

теплее, день был холодный, хотя в безоблачном небе светило ясное солнышко.

Возвращаясь домой, Эльмира впервые обратила внимание на башни Нотр-Дам. Узнав, что это и есть парижский кафедральный собор, вознамерилась она зайти туда и поставить свечку перед Богоматерью. И уже около самого здания, ошеломленная, остановилась: «Вот что я скажу, так надо бы делать и в наших странах, чтобы завлекать туриста». Фигуры на тимпанах, на притолоках напомнили ей скульптуры Мигеля Монумента, земляка ее из Нуэва Кордобы. «Не глупа мулатка»,— заметил Э к с, которому до того и в голову не приходило, что есть нечто родственное в тех и других изображениях, особенно в мордах химер, вставшего на дыбы жеребца, рогатых чертей, адских бестий, в сцене Страшного суда. А через минуты поразила путников представшая перед ними внутренность храма: все сверкало от множества разноцветных стекол, хотя и оставались в игре светотени темные силуэты посетителей, редких в этот час истекающего дня обманчивой весны. Желая передохнуть, уселись они меж двух розеток пересечения продольного нефа с поперечным. На противоположном ряду сидений какой-то юноша в длинном пальто и узком шарфе внимательно, сосредоточенно осматривал все вокруг. «Церковник»,— сказала Мажордомша. «Эстет»,— сказал Чоло Мендоса. «Слушатель Академии изящных искусств»,— сказал Глава Нации. И понизив голос, чтобы заинтриговать мулатку, он стал, как дедушка внучке, рассказывать ей правдивые истории о происходившем здесь: историю архидиакона, влюбившегося в цыганку, которая под бубен заставляла плясать белую козу (Эльмира еще девочкой видывала таких цыган, но они обычно заставляли плясать медведя...); историю бродяги-поэта, который подстрекал нищих разграбить собор («когда ведь скандалят, так всегда вред причиняют церквам»,— сказала Эльмира, вспомнив об одном случае, о котором лучше было бы и не вспоминать...); историю горбатого звонаря, также влюбившегося в цыганку («горбуны очень влюбчивы, а женщины — и так, и этак, но всякий раз и непременно надо потрогать горб, потому как к счастью...»); историю о двух случайно обнаруженных скелетах, которые лежали обнявшись и, может быть, были скелетами Эсмеральды и звонаря («и такое бывало, как то, о .чем говорится в песне старого могильщика из селенья — у нас еще на пластинке...»). Но загудел орган, обрушив бурный ливень звуков. Друг друга не слыхать. «Пошли отсюда»,— сказал Э к с, вспомнив о превосходном эльзасском вине: его подавали в кафе на углу, и, конечно, там было теплее, чем тут.

А на первой скамье остался «церковник», как назвала его Эльмира, захваченный созерцанием окружающего. Ведь это была первая встреча юноши с готикой. И готика возвышалась перед ним с обеих сторон — в арках и витражах, внезапно раскрывшись; по сравнению с ней любая другая архитектура казалась примитивной, прозаической, приземленной, чрезмерно заземленной в своих выражениях, подчиненных Кодексу пропорций и Золотому сечению. Здание, взметнувшееся к небу — экзальтация вертикалей, безумие вертикальности,— в его глазах принижало фронтоны Парфенона, который в общем и целом был не чем иным, как возвышенным, возвеличенным вариантом двускатной крыши — крыши архаической лачуги, только с колоннами в желобках, что по сути было видоизменением — в форме, определяемой модулями,— деревянного стояка: четыре столба, шесть столбов, восемь столбов, поддерживающих притолоки, кедровые стропила простых ворот у крестьянских строений. В греческом, в римском стилях сохранялось первородство земного, растительного. От хижины свинопаса Эвмея до храма Фидия путь был ясным и чет-

ким в процессе последующих стилизаций. Здесь же, напротив, архитектура представала открытием, вымыслом, чистым творчеством в еще никогда не виданной облегченности материалов — в невесомости камня, с нервюрами, отнюдь не исходившими от прожилок листа Дерева, с собственными солнцами своих чудесных круглых окон-розеток: Солнце Севера, Солнце Юга. Как раз между ними находился созерцатель главного нефа, плененный багрянцем полуденного светила и торжественной, мистической симфонией синевы северного витража.

Юноша посмотрел на часы. Четыре. Поезд. Снова погрузился в созерцание окружавшего его мира прекрасного, хотя уже близился час идти, вернуться к своим делам. «Чувствуешь себя лучше там, где все совершенно»,— подумал он, выходя из Нотр-Дам через центральный портик — портик Воскрешения мертвых. Еще было у него свободное время — можно попробовать эльзасское вино, весьма недурственное, которое подавали в кафе, где под присмотром официанта он оставил свой чемодан. Он пересек улицу и вошел в бистро, не заметив, что трое — одна женщина и двое мужчин,— сидевшие в глубине, взглянули на него с крайним удивлением. Заплатив за бокал, Студент вернулся на улицу и остановил такси: «A la garra del Norte, please...»[1]

Встреча была назначена в вокзальном буфете, где уже собрались многие делегаты Первой всемирной конференции борьбы против колониальной политики империализма,— завтра, 10 февраля, заседания должны были открыться в Брюсселе под председательством Анри Барбюса. Тут уже находился кубинец Хулио Антонио Мелья, с которым он познакомился за несколько часов до встречи; тот был в компании с Джавахарлалом Неру, делегатом от Индийского национального конгресса. «Поезд уже подан»,— произнес кто-то, показывая на восьмой путь. Трое подхватили свои тощие чемоданчики и поднялись в купе второго класса. Индиец, устроившись около окна, занялся изучением каких-то бумаг, тогда как Мелья завел разговор о политическом положении в нашей стране. «Мы свергли диктатора,— сказал Студент.— Однако битва продолжается, наши нынешние враги — те же, что были прежде. Занавес опустился после первого акта, чрезвычайно затянувшегося. Скоро начнется второй акт, своими декорациями и освещением весьма схожий с первым».— «А мы теперь подошли к тому, что для вас уже позади»,— сказал Мелья. И стал рассказывать ему о новом, очередном кубинском диктаторе, по которому — мы это знали — Мелья наносил удары в битве, начавшейся еще в тюрьме, где он объявил и выдержал упорную, длительную и блестящую голодную забастовку, заставив своего противника выпустить его на свободу; после Мелья эмигрировал в Мексику, откуда и продолжал борьбу против тирана... Оказалось, что Херардо Мачадо смахивал на того, кто был нашим «главой нации» — и внешним обликом, и политическими взглядами, хотя и отличался тем, что, будучи достаточно далеким от культуры, не воздвигал храмов Минерве, подобно своему едва ли не современнику Эстраде Кабрере, и не был офранцужен, как многие другие диктаторы и «просвещенные тираны» континента. Для него Высшая Мудрость находилась всецело на Севере. «Я империалист,— заявлял он, благоговейно взирая на Вашингтон.— Я не интеллектуал, однако — патриот». Между прочим, однажды он проявил невольное чувство юмора, огласив через свои газеты, что он «изучает

[1] Фразу «На Северный вокзал, пожалуйста» Студент произносит, спутав испанские, французские и английские слова: отсюда возникла игра слов: вместо «A la Gare du Nord» — «На Северный вокзал» (в Париже) им сказано: «К когтям Севера» (латиноамериканцы так называют США, делая намек на когтистого орла, изображенного на американском гербе).

трагедии Эсхила». (Да, да!) «Ну, что ж, прекрасный кандидат, может быть принят в клан Атридов»,— сказал Студент. «Да, как видно, он уже член этой семейки»,— сказал Мелья. «Вскоре также прикажет начать розыск красных книг»,— сказал Студент. «Он уже это сделал»,— сказал кубинец. «Здесь падает один, там поднимается другой»,— сказал Студент. «Уже столетие напролет повторяется один и тот же спектакль».— «Пока публика не устанет смотреть одно и то же».— «Надо подождать...» Раскрыв кожаные портфели — и у того и у другого мексиканские, с ацтекским календарем, вытисненным на коже,— они обменялись текстами своих докладов и проектов, чтобы успеть по пути их прочесть. Сидя в гулу вагона, Неру, с какими-то бумагами, разложенными на коленях, казалось, был погружен в свой внутренний мир, скрытый за широко открытыми глазами. Воцарилось долгое молчание. Поезд приближался к границе ночи — сдвоенной ночи,— здесь был шахтерский север Франции. «Cool, cool»,— произнес Неру, однако остальные не смогли уяснить, речь шла о холоде или об угле — легко смешать coal и cool, тем более холодно было в этом вагоне второго класса — и холод казался, пожалуй, чрезмерным для них, людей из теплых стран. Индиец снова заснул — без сна, пока поезд не прибыл в Брюссель.

21

...Приравняв себя к каким-то безумцам... они упорно считают себя королями, хотя очень бедны, или одетыми в золото и пурпур, хотя совершенно наги...

ДЕКАРТ

«Высланный»... — «Изгнанный...» — «Выселенный...» — «Или бежавший...» — «Спасшийся...» — «Скрывающийся...» — «То, что я знаю, так это он был в церкви,— заметила Мажордомша.— А ведь коммунисты не посещают церковь даже на Страстной неделе». И опять стали строить предположения: «Высланный...» — «Изгнанный...» — «Выселенный...» — «Быть может, раскаявшийся...» — «Обратившийся в другую веру...» — «Мистический кризис...» — «Порвал со своими людьми...» И в течение многих-многих дней ни о чем ином не толковали на рю де Тильзит, в ожидании тамошних газет — февральских в апреле, которые должны прибыть на медленно плывущих сухогрузах, в туго свернутых роликах по семь номеров, с Вулканом-Покровителем на почтовых марках. Здешние газеты, естественно, ничего не сообщали о Студенте — человеке, который для них не представлял никакого интереса. В конце концов, благодаря газете «Эль фаро» из Нуэва Кордобы, полученной в мае, узнали о Всемирной конференции в Брюсселе, на которой были представлены «Национальная крестьянская лига Мексики» и «Антиимпериалистическая лига Америк», уже открывшая свой филиал в нашей стране. «Вот все и стало ясно»,— сказал Чоло Мендоса. «Чепуха,— проворчал Экс.— Империализм теперь сильнее, чем когда-либо. Потому человеком нынешнего часа в Европе является Бенито Муссолини...»

Вновь зацвели каштаны — и на мансарде возобновились беседы на привычные темы. Под черепичной крышей чаще и больше всего рассуждали о «тех временах». Самые ничтожные факты — в перспективе и на расстоянии, при рассмотрении ныне — приобретали особое значение, особую привлекательность, необычайное своеобразие или беспрецедентную важность. «Ты помнишь? А ты помнишь?» — так звучала сакраментальная формула, уже повседневная, чтобы в мыслях

воскресить кого-то из умерших либо что-то умершее, а это, в свою очередь, могло порой прояснить тайные пружины всплывшего в воспоминаниях давно происшедшего события, вырванного из далеких контекстов и привлеченного на здешние широты. Порой освежалась весьма перегруженная память Патриарха, и он раскрывал кое-какую подноготную — утаенную до этой минуты — некоторых поразительных историй либо незначительных казусов, и вскрытое само по себе служило ключом к пониманию того, что ранее могло вызвать лишь замешательство или недоумение,— ключом к тайне. Подобно факиру либо иллюзионисту, постаревшему и оставившему эстраду и ради развлечения приподнимающему завесу над секретами своих чудес и плутовских проделок, Экс вспоминал о выпуске банкнот без какого-либо обеспечения государством в попытке поправить положение национальных финансов; вспоминал об игорных домах, открытых правительством, где в ходу находились меченые карты (одна североамериканская фирма печатает их со столь хитрой маркировкой на оборотной стороне, что только эксперты могут разобраться в этом) и ставки должны были делаться в долларах, в фунтах стерлингов, иначе — с целью извлечь деньги, хранящиеся в кубышках,— надо было ставить старинными золотыми монетами либо мексиканскими серебряными песо. Вспомнил он также историю с Бриллиантом Капитолия, тем восьмигранным бриллиантом несравненной воды, купленным по официальному заданию: торжественно вправленный в пол у подножия статуи Республики, бриллиант должен был служить Пунктом Ноль всех дорог страны; и как-то ночью этот драгоценный камень был похищен, да столь опытной рукой, что, по утверждениям газет, кражу такого класса можно приписать лишь какой-нибудь международной gang [1], если не анархистам или коммунистам, весьма ловким в разных делах. А Эльмира, слушая рассказ, посмеивалась: «Тогда-то меня послал он (пальцем указала на Патриарха), ну, а я послала мою куму, Хулиану, отвлечь охранника, и я (показала на себя) зубилом, продают их в скобяной лавке Монсеррата, и молотком, который спрятала меж грудями, выковыряла бриллиант, да во рту унесла во Дворец. Честное слово! Даже дыхнуть не могла! А уж потом была заваруха. Эх... как мы посмеялись! Как мы посмеялись!..» Ее смех отозвался эхом в улыбке Главы Нации, который тут же кивнул головой в сторону шкафа: «Тут, в ящике, он у меня. Счастье приносит. Кроме того, это — возмещение, как говорят анархисты. Я ведь тоже имею право на известные возмещения...» — «Ах, еще бы, мой Президент!» — «Мой Экс, сынок, мой Экс...»

Проходили месяцы: каштаны сменяла клубника, а клубнику сменяли каштаны, одетые листвой деревья вытеснялись деревьями с голыми сучьями, зелень изгонялась ржавчиной. И Патриарх, все менее и менее интересовавшийся внешним миром, ограничивал, сокращал, сжимал свой кругозор. В этот год рождество отпраздновали на мансарде с нашими старинными песнями — вильянсикос, под аккомпанемент бубна и фурруко, записанных фирмой «Виктор» на патефонную пластинку. Рождество с жареным поросенком, салатом из латука и редьки с красным вином, с пирогами-альяками и нугой-турроном из Испании,— так, как делается там. И, посматривая на накрытый стол, яства, Глава Нации заговорил о Наполеоне, перед которым год от года возрастало его благоговение,— однако в ту ночь он не напоминал ни об Йене, ни об Аустерлице, ни о Ваграме, где император одерживал победы; в какой-то книжке он с удовольствием вычитал, что Бонапарт и Жозефина — оба чужестранцы-метеки во

[1] Банда, шайка, *(англ.)*.

Франции, корсиканец и мартиниканка,— обедали в замке Мальмезон на наш манер, в соответствии с протокольными нормами Эльмириты: все блюда на виду, выставлены сразу, пусть в беспорядке, охлажденные и горячие, и каждый вилкой и ложкой сможет достать то, что пожелает, не меняя тарелки, как это, скажем, принято в домах нуворишек, подделывающихся под принцесс,— подделываться им, конечно, удается разве что в сексуальном плане, это уж я понимаю! — и там всякий раз нужно выжидать, когда-то тебе подадут, и будет суетиться прислуга, и все эти бесполезные церемонии только отбивают у тебя аппетит, портят тебе желудок. А здесь ты можешь протянуть руку к бутылке и налить себе бокал, и никто не будет тебе на ухо жужжать, какого года это вино, будто год имеет первостепенное значение,— в вине прежде всего ты ищешь радость, а годы не важны... Как только подступало ощущение радости, Глава Нации, поглядывая на Триумфальную арку, выспренне декламировал знаменитую тираду Фламбо из «Орленка»:

«Nous qui marchions fourbus, blessés, crottés, malades...»[1] — особенно подчеркивая заключительный стих, весьма, конечно, тошнотворный, в котором предлагается глоток крови дохлого коня. Однако Чоло Мендоса стал замечать, что по мере истечения времени в декламации Экс учащались пробелы: некоторые александрины[2] умещались в восьми слогах; Испания и Австрия исчезали с поэтической карты; забывались сабли, кисеты с табаком, огнивом, кремнем, трутом, а также киверы, армейские песни, жареные вороны, знамена и сигнальные рожки — что было брошено на обочинах пути служакой наполеоновской гвардии — «grognard'ом», предавшимся воспоминаниям, и весь рифмованный мусор сводился декламатором к фармацевтическому двустишию: «Nous qui pour notre toux n'ayant pas de jujube, Prenions des baines de pied d'un jour dans le Danube...»[3] Последнее, по мнению Чоло Мендосы, Глава Нации запомнил лишь потому, что грудная ягода — «jujube» — родственна пастилкам лакричника, к которым был так привержен. Да, пожалуй, надо будет прибегать к каким-нибудь мнемотехническим приемам, поскольку становилось все яснее и яснее, что умственные способности того, кто столько интриговал, вычислял, комбинировал на протяжении своей долгой-предолгой карьеры, начали расстраиваться. В дождливые дни, скажем, заявив-де, ни за что на свете не выйдет из дома, он поспешно собирался, движимый абсурдной затеей отправиться в отдаленный книжный магазин, чтобы приобрести исторический труд Фюстеля де Куланжа либо двадцать томов «Истории консульства и империи» Тьера, страницы которой даже не листал, и возвращался из своей ненужной экспедиции вымокший и простуженный. Всегдашнему любителю оперного искусства, ему нравилось облачаться во фрак и идти слушать какую-нибудь «Манон» в «Opéra Comique», и там он немало удивлялся, что в акте, происходившем в храме Сен-Сюльпис, не обнаруживал Мефистофеля. Сюжет «Кармен» он путал с сюжетом «Севильского цирюльника», поскольку действие обеих опер происходит в Севилье; финал «Травиаты» он смешивал с финалом «Богемы», поскольку в конце концов и там и тут женщина умирала в объятиях своего любовника... В беседах он допускал частые ошибки, уверяя, скажем, что Плутарх был латинским историком, а вирус испанки назывался Пелопонессом. Вдруг он принимался диктовать статью о политическом положении в нашей стране, и в разгар диктовки обрывал себя, отдав

[1] Шли мы разбитые, раненые, больные и в грязи... *(франц.)*

[2] Так во Франции называют александрийский стих — двенадцатисложный.

[3] Грудного снадобья от кашля не было у нас, так ноги вымоем в Дунае — уж близок день и час *(франц.)*.

отчет в том, что статью негде будет напечатать. Зачастую он ораторствовал ради того, чтобы лишь поговорить; он назначал и снимал министров, награждал кого-то в своем воображении, набрасывал планы общественных работ, а затем, вернувшись к реальности, перед бутылкой «божоле нуво» от мосье Мюзара, сам над собой смеялся. У него появилась поразительная тяга к посещению музеев. Он ходил в музей истории Парижа — Карнавалэ, чтобы посмотреть там игрушечные гильотины. В Лувре перед большим полотном «Коронации» Давида [1] он проводил сногсшибательные параллели между мадам Летисией [2] и Aunt Jemima Полковника Гофмана. Он посещал музей Гревена в надежде увидеть — а вдруг обнаружишь, заранее ведь никогда и ничего не известно! — самого себя, вылепленного из воска. Чоло Мендосу тревожили и другие несуразности Патриарха. Как-то, утром 5 мая, тот пробудился с навязчивой идеей — в полдень, к счастью, забытой из-за известий, полученных с родины,— послать огромный венок в Дом Инвалидов, возложить к саркофагу с останками Наполеона, по случаю годовщины смерти императора на острове Святой Елены. И все-таки известная величественность, известная сила сквозили во внешнем облике, определяли поведение старого диктатора. Внешность и манеры свергнутых деспотов — из тех, что в течение многих лет навязывали свою волю, диктовали законы в той или иной части света. Достаточно было ему завалиться в свой гамак, как этот гамак превращался для него в трон. Когда он раскачивался в сетке, спустив ноги — то сюда, то туда, подергивая шнурок, для этого прилаженный,— он безмерно увеличивался в масштабе, чувствовал себя державным в своей горизонтальности бессмертного, обойденного словарем Лярусса. И тогда он говорил о с в о и х армиях, о с в о и х генералах, о с в о и х военных кампаниях, как та — помнишь?.. Но нет, тогда был не ты... еще налетел ураган, еще в Пещере Мумий... Однажды ранним утром, заговорив об этом, он решил во что бы то ни стало посетить музей Трокадеро. В сопровождении Чоло он направился в громоздкий и печальный дворец — смесь сарагосского и арабского стилей со стилем барона де Османн [3], с безвкусными аркадами и лжеминаретами; перед гигантской головой с острова Пасхи дремал дежурный в расстегнутой куртке. (Видимо, не слишком-то складно тем утром работал мозг Патриарха, поскольку он спросил имя скульптора, создавшего эту композицию...) И пошли они бродить по галереям, все более длинным, пока не добрался Глава Нации до того, что искал: здесь, посреди зала, прямоугольная витрина, в ней под стеклом, на деревянной подставке, сидела — на веки вечные — Мумия, «из тех, о которых я тебе столько говорил», обнаруженная в Пещере той бурной ночью... Обветшавший человеческий остов — обернутые в рухлядь торчащие кости, иссохшая кожа, продырявленная, истонченная червями; и череп, обвитый вышитой ленточкой, с пустыми глазницами жуткой выразительности; зло зияла впадина исчезнувшего носа, а выдвинутые челюсти с желтыми зубами навсегда замерли в неслышном вопле; и все это покоилось на убогих больших берцовых костях, скрещенных; свешивались тысячелетние альпаргаты, еще будто новые — не выгорел цвет красных, черных и желтых нитей их плетения. Здесь, в двух шагах от Марсельезы Рюда, продолжала сиднем сидеть эта образина, точно громадный зародыш, бесплотный, прошед-

---

[1] Речь идет о картине «Коронация Наполеона» знаменитого французского художника Луи Давида (1748—1825).

[2] Имеется в виду Мари-Летисия Ремолино де Бонапарт (1750—1836) — мать Наполеона I.

[3] Префект департамента Сены в 1853—1870 гг., известный своей деятельностью по благоустройству Парижа.

ший все этапы взросления, зрелости, дряхлости и смерти, вещь не вещь, анатомические останки, представленные костями под отвратительными пепельно-черными лохмами, оборванными прядями по обеим сторонам высохших донельзя щек. И этот обнаруженный в подземелье монарх, судья, священнослужитель либо военачальник снова раздраженно вглядывался из глубин своих бессчетных веков на тех, кто осмелился нарушить его покой... И похоже, что уставился на меня, только на меня, точно все еще продолжает диалог, когда я сказал ему: «Не жалуйся, сукин сын, на то, что вытащил тебя из твоей мерзопакостной грязи, чтобы вывести тебя в люди... Чтобы вывести тебя...»

Головокружение, слабость, падение. Голоса. Подбегают люди... И я уже снова в своем гамаке, куда меня уложили Чоло и Мажордомша. Однако ноги мне непослушны. Они там, где и должны быть, они мои и все же чужие, остаются неподвижными, отказываются двигаться. А вот и врач, доктор Фурнье,—очень постарел он. Его орден Почетного легиона. Вспоминаю орден. Я поднимаю указательные пальцы к ушам, чтобы врач знал: слышу и понимаю. «Пройдет»,— говорит он, вытаскивая из саквояжа шприц. А лица Офелии и Эльмириты все кружат и кружат вокруг гамака, высовываются, появляются вместе, обе что-то говорят, а я засыпаю и вновь просыпаюсь. И опять — а может, он оставался здесь?— доктор Фурнье со своим шприцем. Я просыпаюсь. Я чувствую себя очень хорошо. Думаю о «Буа-Шарбон» мосье Мюзара. Но мне говорят, что нет. Что пока еще нет. Что очень скоро. Однако, должно быть, не так все хорошо — хотя чувствую себя достаточно хорошо, вот так, когда меня покачивают в гамаке,— должно быть, не хорошо потому, что Офелия и Эльмирита заполнили мою комнату образами Богоматери. Выстроившиеся вдоль стен, они окружают меня, охраняют мой сон, все тут как тут, едва открою глаза: Пресвятая Дева Гуадалупанская, Пресвятая Дева дель Кобре, Пресвятая Дева де Чикинкира, Пресвятая Дева де Регла, Пресвятая Дева де лос Коромотос. Пресвятая Дева дель Балье, Пресвятая Дева де Альтаграсиа, парагвайская Пресвятая Дева де Каакупе, а на трех образах, в четырех различных видах — Святая Дева-путеводительница моей страны; а далее — Святые Девы-Капитанши, Девы-Маршальши, Девы Белого образа, Девы Индейские, Девы Черные, все наши девы, Неизреченные Заступницы, Покровительницы при любом бедствии, при любом катаклизме, любой болезни, при бессилии либо злой эпидемии,— они здесь, со мной, в сиянии золота, серебра, блесток, под летящими голубками, в ясности Млечного Пути и Гармонии сфер. «Бог со мною и я с ним...» — пробормотал я, вспомнив крестьянскую молитву, затверженную в детстве... И вот — выздоровление. Эльмирита приносит мне кое-какую нашу пищу — маисовые лепешки с мясом в соусе чиле, тамаль, «воздушное» печенье, взбитый желток, посыпанные размолотой корицей сливки — все, что мне еще по вкусу. Начинаю двигаться достаточно уверенно, хотя и нуждаюсь в трости. Врач сказал, что скоро, быть может даже завтра, он разрешит мне короткую прогулку. Тогда я присяду на скамейку рядом с клумбой гладиолусов, на авеню дю Буа. Погляжу, как прыгают по газону собаки из богатых домов под надзором слуг. А затем в такси — боюсь, еще не хватит сил,— отправлюсь в «Буа-Шарбон». И внезапно возникает мысль, что уже давно, очень давно у меня не было женщины. Последний раз — когда это? — у меня была Эльмирита. А теперь, чего я прошу от нее, так пусть приподнимет немного юбку — и делает она это с удивительной невинностью. Мне порой нравится полюбоваться ее упругими и привлекательными формами, округлыми и великодушными: в них есть какая-то доброта, разливаю-

щаяся сама по себе. Она не очень изменилась с дней моей всепобеждающей молодости, и, полюбовавшись ее телом, я чувствую, как ко мне вновь возвращается энергия, чтобы тянуть далее сволочную жизнь.

Я не сражен, нет. Ежедневно хожу на прогулки. С каждым днем все подальше от дома. Как-то раз, не знаю почему, я вспомнил, что на кладбище Монпарнас похоронен мой друг Порфирио Диас. (А отсюда, в окно, я вижу дом, в котором жил его министр Лимантур.) Поедем — Чоло, Эльмира и я — туда, где покоится и Мопассан, тот, кто написал столь читаемые в наших странах рассказы, которым писатели усердно подражают. У лавки мраморных изделий Жоффэн покупаем цветы. Нас сопровождает привратник, одетый в такой же синий костюм, как дежурный в Трокадеро. «Cette tombe est très demandée» [1] (именно так!). Мы проходим мимо могилы Бодлера, похороненного — видимо, в приливе зловещего черного юмора — рядом с генералом Опиком [2]. И вот мы уже там, где дон Порфирио. Над его прахом возвышается нечто похожее на готическую часовенку — церквушка-лилипут, не то большая собачья конура, серая, стрельчатая,— на алтаре, воздвигнутом под посвящением Невыразимой Богоявленной в Тепейяке, лежит в мраморном ларце немного мексиканской земли. И над этим средневековым мавзолеем 1915 года — многовековое и мифическое присутствие Орла и Змеи Анауака [3]... Я думаю о смерти. О Бодлере, таком тут близком, хотя не могу вспомнить те его стихи — очень уж подводит память,— в которых говорится о старых костях и глубокой могиле для тела более мертвого, чем мертвые, мертвеца из мертвецов. Мне было бы приятно, если бы похоронили меня здесь, когда придет мой последний час. Пытаюсь отпустить какую-нибудь мрачную остроту, подходящую для здешней обстановки, желая показать остальным, что не боюсь я Плешивой. Однако ничего не приходит на ум. В молчании возвращаемся на рю де Тильзит... И тем вечером опять отказали ноги. И еще левую руку схватила судорога. И этот внезапно выступивший холодный пот на затылке, на лбу. И этот вызывающий адскую боль металлический прут, временами пронизывающий грудь,— собственно, насквозь он не пронизывает, а где-то под кожей дает о себе знать. Доктор Фурнье хочет уложить меня в постель. Он говорит, что гамак не может заменить кровать, что гамак — это фольклор, нечто индейское, нечто из романов Фенимора Купера. Кинжальноострое тщеславие здешних людей. Они хотели бы засунуть меня в альков Людовика XIII, чтобы я задохнулся под балдахином, либо в такую кровать, как в Мальмезоне, где я уже задавался вопросом, каким образом на такой узкой и короткой постели могли обниматься Наполеон и Жозефина. Наконец-то оставляют меня в покое, покачивающимся в гамаке, который провисает под тяжестью моего тела — будто налитого свинцом тела. Я засыпаю. Когда просыпаюсь, Чоло мне говорит, что Офелия и Эльмирита ушли исполнить обет в собор Сакре-Кёр за мое быстрое — «и безусловное», добавляет он,— выздоровление. Ранним утром они натянули на себя одеяния кающихся — «исполняющих обет», как говорят т а м: лиловое платье, опоясанное оранжевым шнуром, сандалии; они были без шляпы и без шали, несмотря на дождь. Распростертые на сиденьях фуникулера, они поднялись на Монмартрский холм, а перед тем, как войти в собор, со свечами в руках опустились на колени на ступеньках лестницы, ве-

---

[1] Об этой могиле часто спрашивают *(франц.)*.

[2] Жак Опик (1789—1857) — французский генерал, участник интервенции в Испанию в 1823 году, был вторым мужем матери Шарля Бодлера.

[3] Древнее название Центральной части Мексики.

дущей к главному алтарю. Я снова засыпаю. (Выйдя из храма на Монмартре, Мажордомша поспешила возложить цветы к ногам статуи святого, находящейся направо; стоит этот святой в одиночестве, беззащитный и, должно быть, милосердный, потому как держат его отдельно — отовсюду хорошо видно прикованного к столбу, переживающего свое мученичество. Коленопреклоненная, на мокром асфальте, она начинает молиться, но Офелия рывком заставляет ее подняться, оторваться от благочестивых мыслей. Офелия успела прочесть надпись у подножия святого: **«Кавалеру де ля Барру, казненному в возрасте 19 лет от роду, 1 июля 1766 года, за то, что не приветствовал он церковную процессию»**. Эльмирита не поймет, как рядом с церковью люди поставили памятник еретику... Уставшая Офелия не стала вступать в разъяснения, которые мулатка, конечно, не взяла бы в толк, поскольку «свободомыслящий» для нее означает то же, что и кто-то из секты анархистов, ньяньиг[1], сторонник свержения всяческой власти либо нечто вроде этого...) Просыпаюсь. Надо мной склоняется Офелия в платье исполняющей обьет и Эльмирита, одетая точно так же, и машинальным жестом, очень по-своему, она приподнимает груди, совсем забыв о наглухо прикрывающем их одеянии. И возникает новая фигура — монахини из Сен-Венсан де Поль,— она, однако, взаправдашняя сестра милосердия и вкалывает мне шприц в правую руку. Накрахмаленный чепец, накрахмаленный воротничок, накрахмаленный нагрудник; голубизна платья, голубизна отстиранного индиго, заставляющая меня вспомнить о синеве комбинезона — под американский overoll, который носят уже все рабочие моей страны, и который т а м прозывают также «свертком свечей». Свечей, горящих перед ликами Пресвятой девы в моей комнате; свечей, только что зажженных и уже оплывающих воском; красных свечек, неугасимых лампадок, фитильки которых опущены в плошку с оливковым маслом. Свечей, которые скоро поставят мне. Это написано на лицах, пожелтевших от света стольких свечей, на лицах, склонившихся над моим гамаком, глядящих на меня с вымученной улыбкой, пахнущих аптечным запахом, пропитавшим все. Сплю. Просыпаюсь. Временами, пробудившись, не могу понять, день это или ночь. Силюсь разобраться. Направо звучит тик-так. Надо узнать час. Шесть с четвертью. Быть может — нет. Возможно, семь с четвертью. Ближе. Восемь с четвертью. Этот будильник — чудо швейцарского часового производства, но его стрелки настолько тонки, что их едва видно. Девять с четвертью. Да нет. Очки. Десять с четвертью. Вот это — да. Думаю, что — да, потому что, теперь я догадываюсь, солнце озарило ткань, прикрепленную Мажордомшей к слуховому окну мансарды, через которое падает свет; притенить его хотела Эльмирита. Думаю о смерти, как и всякий раз, когда просыпаюсь. Но смерть мне уже не страшна. Встречу ее стоя, хотя мне давно стало ясно, что смерть — не бой, не схватка — все это литературщина; смерть — это сдача оружия, признанное поражение, горячее желание уснуть в надежде избавиться от постоянно подстерегающей боли, всегда угрожающей, сопровождаемой шприцами, муками святого Себастьяна — исколотое и переколотое тело,— резким запахом лекарств, песком в моче, зловещим появлением кислородных подушек, также возвещающих конец, как и соборование. Чего я прошу, так это уснуть без физических мук, хотя дьявольски неприятна мне мысль о том, как банда сволочей т а м возрадуется, получив весть о моей смерти. Во всяком случае, лишь только пробьет час и до того, как меня унесет

[1] Тайные общества негров-бедняков, существовавшие на Кубе.

паскудная, я должен произнести какую-то фразу, чтобы это было запечатлено в Истории... Какую-то фразу... На розоватых страницах Малого Лярусса я нашел ее: «Acta est fabula»[1]. «Что он говорит?» — переспросил Чоло Мендоса. «Сказал о какой-то фабуле или фаблью, стало быть — о басне»,— ответила Офелия. «Эзопа, Лафонтена, Саманиэго?»—«Также упомянул о каком-то акте».— «А, понятно,— заметила Мажордомша.— Чтобы не погребли его без акта о кончине. Каталепсия... (Это верно, у тамошних крестьян наибольшие опасения вызывает летаргия.) В моей деревне был такой, которого зарыли в землю как умершего, а он, оказалось, не умер и пробудился в гробу, крышку проломил, но из могилы мог высунуть лишь руку... А еще случай в Веронике...»

Было воскресенье. Офелия закрыла глаза отцу, покрыла его простыней, ниспадавшей по обеим сторонам гамака до самого пола, словно скатерть с банкетного стола. И немедля выдвинула ящик, в котором хранился Бриллиант из Капитолия: «Теперь я буду хранить его, так надежнее. Когда порядок воцарится на нашей многострадальной родине и эту драгоценность не смогут захватить всякие босяки-крикуны и коммунисты, я сама торжественно вложу ее в законное место, у подножия статуи Республики». И в ожидании того события бриллиант упал в сумочку Инфанты, определив этим — среди пудрениц и губной помады — Пункт Ноль всех путей-дорог далекой страны. И сразу же Офелия заторопилась: «Пусть Чоло займется вопросом оформления акта. В этом я ничего не понимаю. И до завтрашнего дня не будем сообщать о кончине. Сегодня начинаются выезды на drags. А мне еще надо переодеться...» Вскоре послышалось непривычное здесь цоканье подков, поскрипывание колес за решетчатой оградой дома. Эльмирита выглянула в окно: там стояла какая-то колымага с империалом, с оконцами, в упряжке — четверка лошадей, наверх забрались люди,— все это очень напоминало фургон, запряженный мулами, в дни ее детства ходивший — поездов тогда не было — по дороге из Нуэва Кордобы до Пальмара де Сикире. «Ну и отстал же тут народ»,— подумала мулатка. И увидела выходившую Офелию, одетую в светлый костюм,— та тоже залезла на верх экипажа, прежде раскрыв белый зонтик. Щелкнул бич — и рыжие кобылки тронули рысью под всеобщий смех и восклицания прохожих.

С каждой стороны гамака, в котором покоилось тело Главы Нации, горела свеча, вставленная в серебряный канделябр. Монахиня из Сен-Венсан де Поль, перебирая четки, молилась. Вдали можно было разглядеть мальчика-героя, у которого все наружу и все золотилось под лучами солнца. «Сколь неприлично!» — произнесла Эльмирита, закрывая окно перед тем, как начать переодевать покойного, которому надлежало переместиться вниз, в Большой Салон. На спинке кресла его ожидал последний фрак, заказанный перед болезнью,— чересчур просторный теперь для отощавшего тела. Впрочем, это обстоятельство облегчало задачу натянуть на покойника фрак — с широкой алой лентой, которая в течение стольких долгих лет служила символом его Сана и его Могущества.

Они — что плющ, который не стремится подняться выше деревьев, поддерживающих его.

«Рассуждение о методе»

---

[1] Пьеса сыграна *(лат.)* — в античном театре этими словами зрители оповещались о конце представления.

1972

. . .arretez-vous encore un peu
à considérer ce chaos. . .

DESCARTES[1]

22

Посеревший от частых дождей, нередких снегопадов и от запущенности, в коей пребывает уже многие годы, небольшой пантеон с двумя дорическими колоннами все еще высится на кладбище Монпарнас, неподалеку от усыпальницы Порфирио Диаса, ближе к могилам Бодлера и генерала Опика. Кто присмотрится к его внутренней отделке через черную решетку, охраняющую дверцу со стеклом в рамке из позолоченного металла, сможет разглядеть скромный алтарь с образом Святой Девы-путеводительницы — копией того образа, что почитается в главном алтаре собора в Нуэва Кордобе. У подножия, под святотайной гирляндой роз и херувимов, четыре ягуара поддерживают мраморный ларец, в котором хранится горсть Священной земли Отечества.

А вот, пожалуй, далеко не каждый знает, что Офелия, поразмыслив: Земля едина и земля Земного шара есть земля Земного шара повсюду, где бы то ни было, и поскольку memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris[2], — то потому Священную землю, навечно оберегаемую четырьмя геральдическими ягуарами, собрала на обочине дорожки в Люксембургском саду.

Гавана — Париж, 1971—1973.

■

---

[1] ...Задержитесь еще ненадолго, чтобы во внимание принять хаос этот...— Декарт *(франц.)*.

[2] Человек, помни, что ты прах и в прах возвратишься *(лат.)* — Библия, книга Бытия.

ГОР ВИДАЛ

Бэрр

РОМАН

Перевод с английского М. БРУКА и А. ФАЙНГАРА под редакцией Е. СУРИЦ

XXXIII

Несколько дней у меня ушло на то, чтобы выудить у полковника последнюю часть мемуаров. Он повторялся, терял нить. А сегодня утром он снова стал самим собой и заставил меня снова пройтись с ним по тексту, внести изменения, кое-что добавить, подправить.

— Это ведь важнейшие доказательства. Одно неверное слово, и меня снова обвинят в государственной измене.

— Чем,— спросил я,— отличается версия мистера Джефферсона от вашей?

— По его версии, я предложил Мерри свои услуги как английский агент, готовый на раскол Союза.— Полковник покачал головой.— Знаешь, люди слышат в твоих словах лишь то, что хотят услышать. Бедный Мерри г а к х о т е л, чтобы я согласился на его план раскола Союза, что в конце концов решил, что я и в самом деле согласился. Но мне от него было нужно только одно: английскую флотилию в Вера-Крус и сто тысяч фунтов.

Сегодня к нам явилась гостья.

— Миссис Киз,— возвестил мистер Крафт таким тоном, будто предупреждал, что не желает присутствовать при совращении сей особы.

— Я не знаю никакой миссис Киз.— Полковник курил сигару.— К тому же не уверен, что правила приличия позволяют принимать леди в такой поздний час и в дезабилье. Тем не менее приготовьте ее к худшему, мистер Крафт. Чарли, будь начеку! Вдруг ее подослала мадам, чтоб скомпрометировать меня самым подлым образом.— Он явно развлекался. Еще больше он развеселился, когда явилась названная леди с большой корзиной.

— Миссис Овертон!— Полковник ликовал.— О в е р т о н, мистер Крафт, не Киз.

— Именно Киз, полковник!—сказала миловидная пожилая дама лет пятидесяти с румяными от природы щеками и шотландским акцентом.— Я снова вышла замуж.

— Мистер Овертон?..

— Умер!— объявила она.— Я принесла вам настоящий ужин,

О к о н ч а н и е. Начало см. в № 7—9.

полковник, я же знаю, что такое удар. О, я изучила удар как свои пять пальцев. А индейку я всегда хорошо жарила.

Мы чудесно отужинали, и миссис Киз рассказала нам, что первый муж разорил ее. Теперь она держит со своим вторым мужем пансион на Бродвее, возле Баулинг-Грина.

— Там у меня для вас есть две прекрасных комнаты, полковник, в подвале, но очень светлые, выходят в прелестный зеленый сад.

— Дорогая моя девочка, я боюсь, что цены в том районе...

— Платите сколько хотите!

Мы с мистером Крафтом переглянулись. Полковник — снова на коне, если тут уместно такое выражение.

— Скажите,— спросил полковник,— а чей это дом? Я когда-то знал все дома от Баулинг-Грина до Уолл-стрита наперечет.

— Так это же дом старого губернатора Джона Джея.

— Моей радости нет предела.— Полковник ликовал.— Мистер Джей, по крайней мере, хоть разок перевернется в гробу, если я окажусь в его погребе.

XXXIV

Осень стоит холодная и тоскливая. Идут выборы. На каждой стене читаешь: «Долой аристократию!» Говорят, этот демократический лозунг — изобретение элегантного мистера Ван Бюрена: его кандидат в губернаторы должен победить кандидата вигов. Мистер Дэвис и Леггет с головой ушли в кампанию, и я их избегаю.

Элен мне досаждает. Не желает выезжать. Я целыми днями думаю о ней. Я всех ненавижу.

К счастью, полковник Бэрр безмятежно живет в двух комнатках, которые миссис Киз ему предоставила. Хотя в них не так светло, как она описывала, зато жарко, как в духовке, где жарятся ее индейки, и старичок-паучок счастлив. Полковник так забил обе комнатки мебелью, книгами, картинами, что посетитель должен расчистить место, прежде чем сесть у софы.

Полковник показал мне миниатюру, где он изображен в возрасте лет тридцати.

На портрете полковник удивительно красив: полные губы, прямой нос, огромные мечтательные черные глаза. О чем он мечтал?

Я спросил. Вопрос его огорошил.

— Мечтал? Разве я мечтаю? Или мечтал?— Он надел очки, стал внимательно рассматривать миниатюру.— Нет, просто фантазия художника. Или твоя.— Он снял очки.— Нет, я не мечтаю. Это не в моем характере. Я... действую, рискую. Никогда не мог долго оставаться на одном месте. Всегда хотел движения, действия.—Он умолк. Дотронулся до портрета Теодосии.— Когда я, бывало, уезжал, бросая больную жену, я часто думал: «Господи, да ведь она скоро умрет». Вернись домой, говорил я себе, побудь с ней, пока еще не поздно. Но я был не в силах остановиться, и умерла она без меня. А ведь мог бы провести с ней лет на десять больше — не будь я таким беспокойным.

Полковник положил свой портрет вниз лицом подле портрета дочери.

— Ну, перейдем к великой американской комедии «Государственная измена Аарона Бэрра».

Воспоминания Аарона Бэрра (15)

Я покинул Филадельфию вместе с моим слугой и Сэмом Суортвутом в августе 1804 года под именем некоего Р. Кинга (в честь добро-

го тори Руфуса Кинга, владельца Уихокских холмов) и отправился в Джорджию.

Я выдавал себя за негоцианта из Лондона (чтобы объяснить свой акцент, озадачивавший местных жителей). Я добрался до самого Сент-Огастина в Восточной Флориде. Я беседовал с людьми. Приобрел некоторое представление о стране. Сделал интереснейшие открытия. Вот, например, ты знал, что даже благороднейшие испанские леди в обществе курили сигары? Я вел дневник для дочери. Он погиб вместе с ней. Я составлял карты. В общем, я не так уж плохо провел время, хотя чуть не погиб во время урагана, опустошившего плантацию, где я жил, сгубившего девятнадцать чернокожих и снесшего веранду, где я сиживал с хозяином. Все было как дурной сон или продолжение кошмара, вызванного тем, что я на ночь отведал жареного аллигатора.

Обратно в Вашингтон я ехал уже не инкогнито, и, к немалому моему удивлению, меня всюду приветствовали. Правда, у южан нет предвзятого отношения к дуэлям, да и Гамильтон не ходил у них в героях.

В начале ноября я прибыл в Вашингтон, дабы председательствовать в сенате. Иные считали, что мне неудобно отправлять мои конституционные функции, когда в штате Нью-Джерси против меня выдвинуто обвинение в убийстве, но я добросовестно служил народу. Честный гражданин, я намеревался вернуться в Нью-Джерси и предстать перед судом, пока до меня не дошло публичное заявление судьи округа Берген, что если меня тотчас не повесить, будет голод в Бергене и чума в Хобокене. Нью-Джерси потерял для меня притягательную силу. Но вот я с радостью узнал, что по подсказке Джефферсона группа сенаторов обратилась к губернатору Нью-Джерси с просьбой прекратить судебное преследование против меня. Почему Джефферсон меня пожалел? Привязанность? Чувство справедливости? Чести? Ничуть не бывало. Ему пришлось туго, и он нуждался в моей помощи.

Первый раз меня вызвали в дом президента через две недели после открытия сессии сената пятого ноября. Посыльный президента отыскал меня в доме — вернее в домах — английского посланника. Мерри арендовал два кирпичных дома на Кей-стрит.

На другой день я обедал наедине с Джефферсоном (он всегда обедал в три). Я не видел его почти год, и он показался мне изможденным — седые волосы, усталый, потускневший взор, кончик лисьего носа странно прозрачен «Дворец» все еще не отстроили — он по-прежнему был холодный и пустой, и по нему гуляли сквозняки. Но личную столовую обставили уютно, с выдумкой: Джефферсон велел поставить там несколько столиков на колесиках, чтобы можно было обходиться без слуг.

— Жизнь без слуг,— сказал мне хозяин,— большое преимущество... Правда и большое лишение,— добавил он поспешно.

— Они слушают,— подхватил я.

— И болтают. Хотя, конечно, я не говорю ничего такого, что не годилось бы для печати.— Джефферсон всегда изображал из себя святого, и подобные его высказывания все пропускали мимо ушей, как бой часов, которого не замечаешь, если только не хочешь узнать точное время Но я хотел знать точное время.

На десерт подали нечто невиданное, сказочное: мороженое в раковине из г о р я ч е г о теста.

О моем поражении на выборах не упоминалось. Не упоминалось и о Гамильтоне — только косвенно: «Мне говорили, что ваша проблема в Нью-Джерси скоро будет решена».

Джефферсон любезно осведомился о моих похождениях на Юге. Я сказал, что за время краткого пребывания в Восточной Флориде убедился, что народ там созрел для освобождения.

Джефферсон согласился.

— Вообще-то мы их уже освободили постановлением конгресса, но боюсь, только война с Испанией — или еще одна покупка — закрепит наши права.

— Виды на войну прекрасные.

Но Джефферсон не клюнул на эту удочку. Он заговорил об осложнениях с Бонапартом, с Англией. Когда же французский дворецкий во второй раз подал сказочный десерт, Джефферсон перешел к делу.

— Полковник, я никогда не мог понять, как вы относитесь к п р и р о д е нашей конституции.

— Гамильтон сказал мне однажды примерно то же. Он считал, что я выражаюсь двусмысленно.

— Надеюсь, я напоминаю Гамильтона т о л ь к о этим.— Вместо улыбки — мгновенный оскал желтых зубов; губы серые, синеватые, тогда как у большинства людей они розовые или красные. Думаю, это холодное время года так действовало на него. Он был похож на пепел костра — мягкий, легкий, белый; ничего не осталось от прежнего рыжего хитреца — лишь темная бронза веснушек.

— В глубине души я всегда считал, что наша конституция не вполне закончена.

— Согласен... согласен!.. — Он слишком легко соглашался.

— Ее должно либо развить, либо упразднить...

— Я тоже так думаю...

— Я вижу в ней два слабых места, которые могут сыграть роковую роль. Первое: так называемое неотъемлемое право каждого штата расторгнуть связи с Союзом.— Я умолк.

Джефферсон испугался. Нет, удивился. Бог его знает, что он слышал о моих переговорах с федералистами из Новой Англии или с Мерри.

— Значит ли это, полковник, что вы не одобряете неотъемлемого права каждого штата выйти из Союза?

— Нет, сэр, не одобряю.

— Но ведь тринадцать суверенных штатов собрались вместе по собственной воле и...

— Знаю, знаю.— Будь я неладен, если еще раз позволю Джефферсону прочитать мне затрепанную лекцию.—Я лишь подчеркиваю, что никакая конституция не может быть действенна, если каждый штат будет думать, что у него есть право на отделение, и ведь в конце концов один или несколько штатов д е й с т в и т е л ь н о отделятся, и тогда не останется Соединенных Штатов...

— Однако же мы по-прежнему все будем американцами... кузенами, если не родными братьями.— Старая песня.

— Без сомнения. Но вы спросили мое мнение о конституции. И мне пришлось сказать, что именно я считаю ее главной слабостью.

— А я считаю это ее главной силой.

— В таком случае вы, без сомнения, согласны с теми федералистами из Новой Англии, которые хотят отделения своих штатов.

— Я мало знаю о Новой Англии, но то, что мне известно, достойно восхищения.— Джефферсон был сама любезность. Я представил себе, как он выглядел в роли посла.— Дело тут в принципе. А я придерживаюсь принципа — каждый волен поступать, как он хочет.

— Ну, а Луизиана? Предположим, население Нового Орлеана проголосовало бы против союза с нами и за союз с Францией или Испанией или за независимость?

Он не подготовился к такому повороту. Смутился.

Снова вошел дворецкий (уж не было ли где-нибудь в столовой

потайного звонка, не нажимал ли Джефферсон на кнопку, желая сменить прибор или тему разговора?) и налил нам обоим шампанского — оно последнее время стало популярным в Вашингтоне. Тема разговора сменилась.

— Вы находили еще одно слабое место в конституции, которое может сыграть роковую роль.

— Ну, не обязательно роковую.— Но я не собирался объяснять ему, что второе слабое место — слишком большая власть, данная президенту. Напротив, я сделал вежливый ход. Я сказал то, что он хотел услышать: — Это власть судейских.

Старое лицо просияло. Между нами воцарилось согласие. Мы стали друзьями. Он мог мне доверять. И выплеснулся его страх перед судейскими.

Со всей доступной ему откровенностью он перешел к делу. Сэмюел Чейз, член Верховного суда, блестящий, ярый тори, беспрестанно произносил громовые речи против республиканцев и их «быдлодержавия». Он наслаждался, изводя журналиста Джеймса Кэллендера, клеврета Джефферсона. И вот в начале того года палата представителей выдвинула против судьи Чейза обвинение в пристрастности, несправедливости, грубости... словом, во всех смертных грехах, кроме того, за что он действительно мог быть привлечен к ответственности согласно конституции,— «государственных преступлений и превышения власти» Теперь судья должен предстать перед сенатом, и я, как его председатель, должен буду его судить.

— Вам, полковник, выпадает жребий провести процесс, который определит будущее нашей демократии.

— Я, конечно же, буду беспристрастен...

— Конечно. Но, надеюсь, вы с пристрастием будете отстаивать самый принцип, ибо дело не в судье Чейзе, а в необходимости подчинить судейских законодательным органам. Надо создать прецедент, чтобы судей можно было смещать волею народа.

Я позволил Джефферсону думать, будто мне по душе его так называемый «принцип». На самом же деле я всегда считал, что правовые органы должны быть независимы от двух других органов власти.

В течение трех месяцев, пока готовился процесс, я видел Джефферсона чаще, чем за все предыдущие четыре года. Мы обедали вместе по крайней мере два раза в неделю. Мы часто встречались тайно. Он давал мне массу советов, как вести себя на процессе. Он немного боялся за Джона Рэндолфа из Роанока, который должен был выступать от обвинения...

Судью Чейза вызвали 2 января 1805 года в сенат, где я в точности воспроизвел обстановку Вестминстера во время суда над Уорреном Гастингсом [1]. Я считал, что декорация должна быть внушительной: ведь нам предстояло решать судьбу республики. Стены завесили темно-красной камкой, а справа и слева от меня в ряд, как судьи, сидели сенаторы Я пристроил еще галерею для именитых гостей. Я даже приказал прочистить дымоходы в двух каминах, и впервые зал обогревался без дыма.

Перед самым появлением судьи Чейза я приказал убрать приготовленное для него кресло.

— Пусть сам поищет себе место,— очень четко сказал я распорядителю.

Несколько сенаторов-федералистов ответили на мои слова неодобрительными выкриками.

---

[1] Уоррен Гастингс (1732—1818) — первый английский генерал-губернатор в Индии. Суд над ним по обвинению в предательстве длился семь лет.

Появился судья Чейз, высокий, властный, разгневанный. Он подписывал Декларацию независимости. Его назначил в Верховный суд сам Джордж Вашингтон.

Судья Чейз огляделся. Затем спросил:

— Я должен стоять, сэр?

— Принесите обвиняемому стул, он не желает стоять.

Потом я сказал одному сенатору-федералисту, что в палате лордов обвиняемый всегда стоит перед судом на коленях. Мое пояснение, как я и ожидал, встретили в штыки: федералисты теперь уже не сомневались, что я изо всех сил поддерживаю Джефферсона. Он и сам так думал.

Судья Чейз попросил дополнительное время для подготовки дела. Я велел ему повторно явиться в сенат 4 февраля.

Джефферсон был в восторге.

— Они уже обороняются. Вы вели себя молодцом.

— Благодарю вас, сэр.— И я сказал, что хотел бы, чтобы мой пасынок Дж. Б. Прево стал членом Верховного суда Нового Орлеана, чтобы мой шурин Джеймс Браун стал министром территории Луизиана и чтобы генерал Джеймс Уилкинсон стал губернатором территории Луизиана.

— И это все? — Джефферсон пытался за иронией скрыть изумление. Он не привык к открытой торговле.

— Если бы вы могли назначить меня губернатором Нового Орлеана вместо Клэберна, я был бы вполне счастлив. Но думаю, это невозможно.

Джефферсон посмотрел мне прямо в глаза, что с ним случалось весьма редко.

— Мне не хотелось бы объединять военную и гражданскую власть... Куда вы направитесь, когда... окончится срок вашей службы?

— На Запад. Возможно, в Кентукки. У меня там земля.

— Вы не вернетесь в Нью-Йорк?

— Вряд ли. К тому же меня уже ничего там не ждет. Пока,— добавил я благоразумно. Я предполагал, что ему известно то, о чем знали все: «Ричмонд-хилл» со всей обстановкой был недавно продан с аукциона в уплату за долги. Мне разрешили оставить лишь содержимое винных погребов и библиотеку.

Потом Джефферсон утверждал, будто я тогда просил у него пост в правительстве, а он мне отказал. Ложь, удивительная даже в его устах! Я ничего для себя не просил, ибо мне ничего не было нужно (или так мне казалось). Джефферсон великолепно разбирался в политике и в купле-продаже; умел он и создать видимость, будто не мелочен. Без промедления он отдал мне все три должности, чтобы я помог ему уничтожить судью Чейза и Верховный суд. Я принял от него взятку, а затем, как сообщала недружественная мне газета, провел процесс с «достоинством и беспристрастностью ангела, но с жестокостью дьявола».

На следующий день после процесса, 2 марта 1805 года, в час пополудни я председательствовал в сенате. Зал все еще стоял в парадном пурпуре. Но у меня болело горло; поднялась температура; и мне хотелось поскорее уйти.

Во время первой же паузы в прениях я поднялся и попросил тишины. Думаю, все знали, что сейчас произойдет. Я произнес несколько слов экспромтом.

— Это здание — святилище,— сказал я (цитирую по памяти, ибо текст речи не сохранился),— цитадель законности, порядка и свободы.

Я почувствовал, как никогда прежде или потом, что полностью

завладел вниманием аудитории. Обычно холодный и шумный зал замер.

— А сейчас я хочу проститься, возможно, навсегда. Надеюсь, что поступал с вами по справедливости. Но если я когда кого-либо оскорбил, то знайте, лишь по слабости человеческой, а не по злой воле. Да благословит господь всех сидящих в этом зале ныне и во веки веков.

На этой ноте я покинул Капитолий, чтобы больше туда уже не возвращаться. Говорили, многие сенаторы плакали в конце моей речи. Они так растрогались, что единодушно приняли резолюцию, в которой среди прочих похвал выражали «полное одобрение поведению вице-президента». Приятно. Позже сенат, уже не единодушно (воздействие моей речи стало ослабевать), проголосовал за то, чтобы мне было дано пожизненное право отправлять письма без марок.

Однако, проходя через палату представителей, это постановление затерялось. И поэтому я с тех пор покупаю почтовые марки.

Я пробыл в Вашингтоне еще две недели — прощался, занимался нескончаемыми делами, готовился к путешествию на Запад. С президентом я больше не виделся, но он сообщил мне, что мои друзья получили назначения.

Попытки устроить мне проводы я отклонил. Я хотел тихо, без шума уйти из политической жизни республики. На первый взгляд, будущее мое было не блестяще. Я не мог вернуться ни в Нью-Йорк, ни в Нью-Джерси. Я потерял «Ричмонд-хилл». Я остался без денег. Я овдовел. Мне исполнилось сорок девять лет. И тем не менее я верил, что стою на пороге великих свершений. Будто мне дали вторую жизнь. На душе у меня было легко, и я никому на свете не завидовал, когда в четыре часа утра сел в дилижанс, отправлявшийся в Филадельфию.

XXXV

Сегодня после обеда мистер Дэвис пришел обсудить какой-то юридический вопрос с мистером Крафтом. Покончив с делом, он зашел в кабинет полковника, где я теперь работаю.

— В трудах праведных?

— Думаю закончить через месяц.— И действительно — всю работу я уже проделал. Осталось освоить пасквильный стиль.

— Как полковник?

— В прекрасном расположении духа.

Мистер Дэвис покачал головой — не то недовольно, не то удивленно. Вечная двусмысленность.

— Удивительный человек.

— Кто первым выстрелил,— спросил я,— Гамильтон или Бэрр?

Мистер Дэвис снова покачал головой.

— Никто не знает. А ведь я там был, смотрел из-за кустов. Я думаю, Гамильтон выстрелил на секунду раньше полковника. Я знаю, что при звуке выстрела полковник покачнулся — я не отрывал от него глаз,— и я испугался, что Гамильтон в него попал. Но потом он сказал мне, что наступил на камень и потерял равновесие. Мы точно знаем, что Гамильтон промахнулся. Лично я думаю, у него что-то было со зрением, ему следовало бы отказаться от поединка. Но...— Мистер Дэвис не из тех, кто скорбит о прошлом. Пример полковника заразителен. Всегда думать о будущем! — Что вы будете делать, когда...— На этот раз интонация у мистера Дэвиса недвусмысленная.

— Когда полковник умрет? Не знаю.— Я никому не говорил о своих планах уехать в Европу с Элен и зарабатывать на жизнь писательским трудом.

XXXVI

Я провел вечер с полковником. Сначала у него было дурное настроение. Он, казалось, не мог сосредоточиться, по нескольку раз задавал мне одни и те же вопросы. Интересовался мелочами.

Я передал полковнику нашу последнюю главу, которую он уже раз отредактировал. Обычно он проверяет мой чистовик, но на сей раз не стал.

— Не могу собраться с мыслями. Миссис Киз слишком хорошо меня кормит. Налей-ка мне кларета. Он помогает.

Я налил ему кларета, и он действительно помог. Полковник повеселел почти мгновенно.

— Слуга нашел в погребе под кипой федералистских газет много бутылок.— Бэрр улыбнулся и поднял бокал.— За Джона Джея, с благодарностью.

Но вот он закрыл глаза. И мы перенеслись в иные времена, на тридцать лет назад.

Воспоминания Аарона Бэрра (16)

Мои планы, касающиеся Запада, основывались на двух предположениях. Первое: что будет война с Испанией и это позволит мне собрать армию и ударить по Мексике; второе: поскольку Испания находилась в зависимости от Франции, а Франция была в состоянии войны с Англией, я рассчитывал, что сумею получить поддержку англичан с моря.

Когда я покинул Вашингтон весной 1805 года, все, начиная с Джефферсона и кончая креолами Нового Орлеана, не только ждали, но жаждали войны с Испанией: война могла бы дать Соединенным Штатам обе Флориды, установить западную границу Соединенных Штатов и открыть для меня Техас и Мексику. Что же до Англии, то я встречался с Мерри в Филадельфии (он решил теперь, что раз его правительство не настаивает на его пребывании в Вашингтоне, он может перевести посольство в Филадельфию, подальше от грубого джефферсоновского двора).

Мы встретились в доме Чарльза Биддла поздно вечером. Мерри сразу перешел к делу:

— Я рекомендовал моему правительству поддержать вас.

— Мы готовы выступить не позже марта будущего года, посланник.— Я слегка преувеличил. На самом деле я думал двинуться вниз по Миссисипи осенью.

— Я должен ждать указаний.— Мерри вилял. Мы обсудили положение в Европе, то есть, как все тогда, поговорили про блистательного авантюриста Наполеона Бонапарта, который за год до того подавил Французскую революцию, сделал себя императором Франции и чуть не стал властителем Европы.— Он, конечно, хочет завоевать весь мир.— Мерри покачал головой.— Трудно поверить, что в одном человеке могут сочетаться такая мощь и такое зло.

— Миры и существуют для того, чтобы их завоевывать.— Я сказал это между прочим, но я в это верил. Мы жили во времена, когда для предприимчивого человека с воображением не было невозможного. Бонапарт вдохновил — и дурно — целое поколение. Я уже видел себя освободителем всей Испанской Америки,— конечно же, это он подал мне пример.

— Куда вы теперь направляетесь, полковник?

— На Запад, встретиться с генералом Уилкинсоном, новым губернатором Луизианы.

— Понимаю. Понимаю.— По-моему, Мерри любил интриги сами по себе, интриги ради интриги, и я, как выяснилось, тоже.

Из Филадельфии я направился в Питтсбург по реке Огайо. Девятнадцать дней ехал я по диким, пустынным местам, чтобы, к своему разочарованию, узнать, что Уилкинсон еще не прибыл.

Питтсбург был в то время скучной пограничной деревней, богатой лишь реками. На одной из них я еще в прошлом году приказал построить нечто вроде Ноева ковчега. Мой плавучий дом был шестидесяти футов в длину и пятнадцати в ширину, с двумя спальнями и хорошо оборудованной кухней с камином. Ковчег скользил, без парусов и весел, по течению Миссисипи — и это так умиротворяло, так успокаивало, что я порой бормотал свое имя, чтобы убедиться, что это не сон.

Одиннадцатого мая я прибыл в Цинциннати, прелестный город примерно с полутора тысячью жителей. Я посетил нового сенатора Соединенных Штатов от Огайо — Джона Смита. Милейший человек владел большой гастрономической лавкой, и там, в задней комнате, меня ждал Джонатан Дейтон, чей срок на посту сенатора Соединенных Штатов от Нью-Джерси истек в марте. Мы все трое были причастны к проекту строительства канала в Индиане (его построили позже — не мы). Участвовали мы и в движении за освобождение Мексики.

Среди огромных сыров, под копчеными окороками мы склонились над картами.

— Вас поддержит каждый мужчина и даже юноша, если у него найдется ружье и он ищет приключений вдали от дома.— У сенатора Смита был весьма несенаторский вид: большой и светловолосый, он надел поверх костюма халат, чтобы не выпачкаться.

Дейтон был остр и изобретателен как всегда. Из всей этой группы он был мне ближе всех и часто выступал посредником, когда мне приходилось иметь дело с испанскими и английскими властями. Среди прочих моих соратников был сенатор от Кентукки и Джон Браун и Джон Адэр, которому вот-вот предстояло стать сенатором. Браун мечтал о военных авантюрах еще со времени того обеда у Джефферсона на лужайке в «Грейз-Ферри», когда мы впервые узнали о плане Джефферсона спровоцировать войну с Испанией.

Сейчас мы выработали такой план: войско в 5000 человек, набранное по всем Соединенным Штатам, соберется небольшими отрядами в разных пунктах по течению Миссисипи. Если начнется война с Испанией, эти отряды тотчас превратятся в американскую пограничную армию. Под моим командованием они переправятся через реку Сабин и при поддержке американского флота у Вера-Крус освободят Техас и Мексику.

Если же войны с Испанией не будет, английский флот заменит американский, и мы соберем нашу армию у Нового Орлеана. При поддержке богатых креолов мы начнем действовать одновременно с моря и суши.

Дейтон поинтересовался, что произойдет, если правительство открыто выступит против нас. Сенатор Смит послал мощную струю табачной жвачки через всю комнату и точно попал в пустой кувшин для молока.

— Не посмеют! В конце концов это н а ш а война, наша страна, а не их.

— Ну, а если Джефферсон все же нас предаст? — Дейтон не любил Джефферсона даже больше, чем я, ибо почти не был с ним зна-

ком, и посему мог презирать его отвлеченно. Я всегда считал, что такое стихийное чувство — самое сильное, оно создает святых и завоевателей.— А не послать ли нам его ко всем чертям?

— Да что об этом думать? — Сенатор Смит впился зубами в брикет табака чернее ила из Миссисипи.— До него два месяца езды, если, конечно, путешествовать, как я, с комфортом, хотя убей — не знаю, зачем я туда езжу. Должен признаться, полковник Бэрр, не нравится мне этот ваш сенат средь дремучих лесов, и, если бы не миссис Смит, я никуда бы отсюда не двинулся, а считал бы свои яблоки.

— Яблоки нам пригодятся.— Я перевел разговор на тему об армейском довольствии, намекнул на то, что Джефферсон одобряет освобождение Мексики, и почти не солгал. Я не стал говорить, что если бы Джефферсону пришлось выбирать между мной и Наполеоном в Мехико, он выбрал бы Наполеона.

На следующий день я вернулся в свой ковчег и поплыл в Луисвилл, откуда верхом отправился в Лексингтон, штат Кентукки, где и встретился с сенатором Адэром. Он уже получил письмо от Уилкинсона, где говорилось, что я «рассчитываю» на его поддержку.

Адэр заверил меня в доброй воле Кентукки, ибо:

— Здешняя братия жадна, как римляне, до завоеваний. Мы хотим Мексику.

— И получим ее.

— Но ведь нужна война с Испанией, чтобы сделать первый шаг...

— Сенатор, наш друг Уилкинсон выиграет нам эту войну за час.— Так я думал, все еще веря Джейми.

Из Лексингтона я верхом отправился в столицу штата Франкфорт, где остановился у сенатора Брауна, который заверил меня, что «наш старый друг мистер Джефферсон нуждается лишь в маленьком толчке, чтобы начать войну. Только бы он знал, что таковы и наши намерения».

Из Франкфорта я отправился верхом через зеленые джунгли в Нэшвилл, штат Теннесси, и прибыл туда 29 мая. Я послал записку генерал-майору Эндрю Джексону, командующему гражданской гвардией Теннесси, прося разрешения навестить его. А пока решил отоспаться в лучшей комнате нэшвиллской гостиницы. Через час меня разбудила толпа, собравшаяся под моими окнами. Я вышел к толпе, и она бурно приветствовала меня. То, что я убил Александра Гамильтона, воспринимали здесь с явным одобрением. Здесь знали, что я пекусь о принятии штата в Союз. Кроме того, теннессийцы ненавидели Испанию, и у них, так же как и у кентуккцев, чесались руки пограбить.

Наутро меня разбудил громоподобный крик под окном. Я выглянул и увидел самого генерала Джексона— он сидел на статной лошади и ругал прогневившего его раба.

Увидев меня в окне, Джексон снял шляпу, помахал ею и вскричал:

— Клянусь всевышним, это величайший день в истории Теннесси! Черт побери, полковник, одевайтесь и спускайтесь — мы будем завтракать у меня дома.

Я поступил в соответствии с полученным распоряжением.

Джексону еще не исполнилось и сорока, а он уже был известным адвокатом (хотя и по сей день с трудом читает и пишет) и первым представителем своего штата в конгрессе. Когда мы встретились в тот летний день, он пытался превратить свой бревенчатый «Эрмитаж» в особняк, абсолютно нелепый в этой дикой местности. Джексон ненавидел виргинскую хунту, однако хотел иметь такой же дом, как у виргинских джентльменов.

Все было хорошо и безоблачно в те прекрасные дни, которые я провел в «Эрмитаже» с Джексоном и его женой Рейчел, полной, миловидной дамой с приятными манерами. Как все теперь знают, Рейчел была первый раз замужем за неким Робардсом. Они расстались. Она влюбилась в Джексона. Полагая, что Робардс подал на развод и получил его, она вышла замуж за Джексона, но вскоре обнаружила, что формально все еще является женой своего первого мужа. Понадобилось два года, чтобы оформить развод по всем правилам и второй раз зарегистрировать брак с Джексоном. Все это вполне невинно, хотя и нелепо. К сожалению, когда в 1828 году генерал Джексон стал кандидатом в президенты, моралисты с Восточного побережья затеяли такой скандал, что после выборов Рейчел не могла лица нигде показать и умерла от позора. Естественно, характер у нашего президента не улучшился от того, что шакальи повадки прессы лишили его любимой жены.

Джексон настоял на том, чтобы мне устроили официальный прием в Нэшвилле со всеми почестями: почетным караулом, оркестром и розами. На мгновение я пожалел, что не принял в свое время предложения стать конгрессменом от Теннесси.

Я пробыл в «Эрмитаже» пять дней, и Джексон делал все, чтобы я чувствовал себя как дома.

Мы с ним обсудили наедине мой план освобождения Мексики. В роли командующего национальной гвардией Теннесси он обладал такими же возможностями, как и Уилкинсон, начать войну с Испанией, а она была неизбежна.

— Я все сделаю, сэр, только прикажите. Я ненавижу донов больше, чем самого дьявола.

— Вы пойдете со мной, генерал, если начнется война?

— Пусть меня прикуют цепями к дверному косяку, не то я сам брошусь бить донов! А за мной пойдет вся национальная гвардия. Клянусь!

— Ну, а если не будет войны с Испанией?

— Мы ее устроим! — Джексон взмахнул трубкой, и в нас, словно артиллерийские снаряды, полетели облачка белого дыма.

— Ну, а вдруг испанцы не попадутся на удочку?

Он нахмурился.

— Вы спрашиваете, что нам делать с донами, если Джефферсон струсит?

— Да.

— Надо подумать.

— Вот именно.

— Джефферсон никогда не горел желанием драться. Помните, как он улепетывал от англичан? Те гнали его через всю Виргинию словно лиса — нет, словно перепуганного зайца. Смешно! Позорно!

— Думаете, мы все же сможем перейти Сабин без объявления войны и без разрешения Джефферсона? — Я знал, что ему не понравится слово «разрешение», так и вышло.

Джексон стал поносить Джефферсона. Потом сказал:

— Лично я рискнул бы. Либо вы завоюете Мексику и Джефферсон напишет вам вежливое письмо как правитель правителю, либо вас повесят доны и вам уже будет безразлично, что пишут из Вашингтона.

Джексон сказал то, что я хотел услышать, и я составил свой план.

На судне, предоставленном мне Джексоном, я отплыл 3 июня вверх по течению реки Камерленд в форт Массак, где меня ждал Уилкинсон. Мы провели вместе четыре дня. Он показал мне список

рекрутов. Я показал ему свой. Мы согласились, что лучше всего начать кампанию следующей весной.

— Но сперва нам нужна война с Испанией.

Уилкинсон выпятил перетянутый портупеей живот.

— Скажите только слово, и я перейду реку Сабин. Я заставлю Испанию драться! Я даже Джефферсона заставлю драться. Это так же точно, как то, что завтра солнце взойдет на востоке! — Затем Джейми дал мне письма к разным новоорлеанским магнатам и проводил до борта собственной баржи, по-королевски роскошной, сверкавшей яркими красками, с командой из десяти матросов и сержанта.

Я чувствовал себя прямо-таки императором Мексики, когда вплыл в Новый Орлеан, переполошив бездельников на пристани, которые сроду не видели столь экзотической ладьи.

Я не ожидал, что Новый Орлеан сулит столько радостей. Но будь жизнь снисходительней ко мне, не толкай она меня на великие свершения и в вечные водовороты, я бы тогда блаженно поселился там без долгих раздумий и провел остаток дней в комфортабельном доме с галереей в Старом квартале, окруженный привлекательнейшими женщинами Америки и креолами, которые сразу покорили меня и которым, думаю, я тоже понравился. Ведь я, один из немногих американцев, говорил по-французски так, что меня понимали.

Я остановился в доме Эдварда Ливингстона, бывшего мэра Нью-Йорка, который вынужден был оттуда бежать, так как его обвинили в том, что кто-то из его подчиненных не по назначению использовал какие-то фонды. Подобно многим жителям Восточных штатов, вступив в полосу невезения, он отправился на Запад и недурно там устроился. За две недели до моего приезда он женился на красивой и богатой креолке девятнадцати лет от роду. Он собирался стать сенатором от Луизианы. В настоящее время он всеми нами уважаемый посол во Франции.

— Я хотел спросить вас, скучаете ли вы по Нью-Йорку? — сказал я.— Но теперь нет нужды задавать этот вопрос.— Мы сидели в саду, и запахи тропических растений смешивались с ароматом жареного кофе, столь характерным для Нового Орлеана. В полотняном костюме Красавчик Нед больше походил на преуспевающего плантатора, чем на преследуемого мэра Нью-Йорка, которого я знал когда-то. Он лишь злился на Джефферсона и на самоуправство, чинимое в Луизиане Клэберном, незлонамеренным, но совершенно бездарным ставленником виргинской хунты.

— У нас слабый президент, и мы потеряем Луизиану. Половина населения здесь мечтает о возвращении испанцев. Другая половина — о возвращении французов.

— И никто не хочет независимости?

— Здесь все время говорят об отделении. Креолы вообще ненавидят американцев, и за это их нельзя винить. Они никогда не изъявляли желания быть колонией Соединенных Штатов.

До Ливингстона уже дошли слухи о том, что я замышляю, и он был готов помочь.

— Вы увидите, что ключ к Мексике — католическая церковь. Недавно испанцы стали облагать налогом церковную собственность. И вот каждый священник в Мексике жаждет независимости. А святые отцы всегда добиваются, чего хотят!

Потом он устроил мне встречу с католическим епископом Нового Орлеана. Епископу так понравился мой план, что он дал мне в помощь трех иезуитских монахов. Меня принимала даже настоятельница ордена урсулинок; в монастырском саду за вином и сладостями я по-

знакомился с монашенками (две были весьма хорошенькие) и получил уверения в полной и искренней поддержке ордена.

Летом 1805 года никто и нигде, если не считать Новой Англии, не боролся за разъединение Соединенных Штатов. Я считал — и продолжаю считать, — что различные части страны со временем пойдут своим путем, но уже без моей помощи. Мне бы только хотелось, чтобы будущий развал Соединенных Штатов отнесли на счет человека, который больше всех отстаивал суверенность каждого штата и право их воссоединяться и разъединяться, как им заблагорассудится,— Томаса Джефферсона.

В то лето я проехал от Нового Орлеана до Натчеза и Нэшвилла (где второй раз встретился с Джексоном); от Нэшвилла до Лексингтона и Франкфорта; от Франкфорта до Луисвилла и Сент-Луиса — столицы территории Луизиана, где безраздельно властвовал на своем посту губернатора мой соратник Уилкинсон.

Я прибыл в Сент-Луис 12 сентября. Голова у меня разбухла от парадов и речей, пиршеств и громогласных клятв сбросить донов в море! Да, Аарон Бэрр был в то триумфальное лето всесильным завоевателем — правда, лишь пыльных кладовок, бакалейных лавок да тенистых веранд просторных особняков, гордо выпячивающих фасады на полноводную Миссисипи. Запад я покорил. Так почему бы и не Мексику?

— Мы каждый день вербуем солдат! — Уилкинсон, как всегда, был полон энергии. Он сообщил мне имена армейских офицеров, которые к нам примкнут, и других, которые могут к нам примкнуть. Я предупреждал его, чтобы он не очень-то раскрывался, но он был слишком открытым по натуре. Так я думал — в то время, во всяком случае. Он любил поругать Джефферсона на людях, я же старался никогда этого не делать. К сожалению, Уилкинсон был не только прирожденным негодяем, но и настоящим федералистом.

Уилкинсон слишком открыто мечтал об отделении Запада от Востока. Я предупреждал его, что это может вызвать ложное представление о наших намерениях, но он и слушать не хотел.

— Надо держать донов в благодушном настроении. В этом залог успеха. Они не дураки. Они знают, что мы что-то замышляем. И пусть они думают, что мы возрождаем старый Испанский заговор. Уверяю вас, что я в этом преуспел.

И преуспел! До самого конца дон Карлос считал, что у нас нет видов на Мексику. Увы, заманивая в западню испанского посланника, мы угодили — верней, угодил я, а подтолкнул меня Джейми — в ловушку Джефферсона. Поползли слухи, что я замешан в плане расчленения Союза, и, наслушавшись речей Уилкинсона о тиране Джефферсоне, полных намеков и инсинуаций, всякий мог поверить, что слухи эти верны.

Из Сент-Луиса я отправился на восток в Винсенс и там остановился у губернатора территории Индиана. Уильям Генри Гаррисон, виргинец с лошадиным лицом, был в ту пору щуплым молодым человеком лет тридцати с небольшим. Я передал ему письмо Уилкинсона; он его прочитал довольно медленно и столь же медленно сказал:

— Он пишет, что судьба Союза зависит от вашего выдвижения в конгресс делегатом от Индианы.

— Генерал Уилкинсон никогда не преувеличивает. Я уверен, что он прав. Но, к счастью для вашей территории, судьба призывает меня в другие края.

На этом окончилось мое «выдвижение».

Тогда, в Винсене, Гаррисон не мог говорить ни о чем, кроме индейцев:

— Я пишу мистеру Джефферсону чуть ли не ежедневно и предупреждаю его об этих племенах, но, кроме расплывчатых теорий, ничего от него не получаю.

— Мой муж столь же предан мистеру Джефферсону, как и его покойный отец.— Миссис Гаррисон была осторожна.

— Да, да.— Генерал Гаррисон налил нам еще сидра (он не пьет, не курит и даже не нюхает табак; дюжина детей, которых родила ему жена, свидетельствует о его моральных устоях).— Мистер Джефферсон советует мне ссудить деньгами индейцев под залог их земель. Заплатить вовремя они не смогут — он говорит, что так всегда бывает,— и тогда я оккупирую их территории. Но в этой затее есть слабое место. У нас нет денег, и потому мы не можем дать им ссуду. Эх, полковник, вот мы с вами так уютно сидим у камина...— я дрожал от холода в продуваемом сквозняком домишке,— а племена замышляют нас уничтожить. Здесь будет такая война, какой мир еще не видел. А все почему?— Единственный раз за все время моего визита он выказал подобие убежденности или тревоги.— Да потому, сэр, что бессовестные люди продают им алкоголь! Сэр, я вешал бы любого белого, который продаст индейцам хоть чайную ложку виски.

— Но нам не разрешено никого вешать.— Миссис Гаррисон была очень огорчена.

Поддержки здесь я не получил. Гаррисон едва ли даже знал, где находится Мексика. И к тому же он не любил Эндрю Джексона, а у меня было правило судить о людях по их отношению к Эндрю Джексону. Тот, кто не ценит открытого, страстного человека,— враг всему, что есть лучшего в нашем народе, клянусь всевышним!

Я вернулся в Вашингтон в ноябре и тут же отправился к Мерри. Он мне сказал:

— Вас предали, полковник.— И показал номер филадельфийской газеты.

Я попытался сделать хорошую мину при плохой игре.

— Любое дело всегда порождает тысячу небылиц, но на тысячу небылиц в среднем приходится одна правдивая история.

Тут Мерри признался мне:

— Я не получил никаких указаний из Лондона. Не понимаю почему.

— А что с полковником Уильямсоном?

— Он все еще в Лондоне.

— Иначе говоря, все ни с места с прошлого лета?

— Боюсь, что так.

Я был разочарован. Мне была необходима военная помощь англичан. И английские деньги (нью-йоркские авантюристы оказались не такими уж щедрыми). А раз британского золота не получить, не прикинувшись, будто служишь английским интересам, надо было подогреть энтузиазм Мерри. И я сказал то, что ему так хотелось услышать: Запад жаждет отделения от Востока. Что же до жителей Луизианы, они «терпеть не могут правительства» (чистая правда) «и будут драться, если это необходимо для отделения» (может, и это правда).

— Они хотят, чтобы я был их вождем.— Опять правда.— И хотят учредить республику под протекторатом Англии.— И это могло оказаться правдой. В то время новоорлеанцы мечтали избавиться от провинциальных американских варваров. Если бы Англия им помогла, они стали бы англичанами.— А не то они обратятся к Парижу.— Я произвел должное впечатление.

— Правительство его величества весьма серьезно отнесется к делу, если оно примет такой оборот.

Этого было вполне достаточно. Я вдохновил его снова написать в Лондон. Отныне все зависело от отклика премьер-министра Питта.

На другой день я обедал с президентом и дюжиной конгрессменов. Я нашел Джефферсона в хорошей форме и не мог понять почему. Меня так озадачило его приподнятое настроение, что я попросил об аудиенции; весьма охотно он назначил мне время.

Меня приняли в кабинете, находившемся в полуподвале и набитом садовым инструментом.

Я был с президентом почти откровенен, и один-единственный раз он тоже был откровенен — насколько позволяла его натура.

— Вы читали о моих планах относительно Запада? — Я начал in medias res[1] и поклялся, что не допущу никаких разглагольствований об архитектуре или о природе музыки.

— Газеты я читаю.— Джефферсон дотронулся до глобуса. Он сидел в кресле собственной конструкции, которое самым неожиданным образом вдруг поворачивалось на шарнирах.

— Разрешите вам сказать, что Западные штаты ни за что не выйдут из Союза.

— Я рад.

— Могу добавить, что вы сами очень популярны на Западе.

Это правда, и он, конечно, об этом знает.

— Приятно слышать. Мне очень хотелось бы побывать в той части света, когда я освобожусь от этой ненавистной должности.

Я быстро пресек «Плач президента». Нескончаемая песнь жалости к себе! Первым ее завел Вашингтон, а все последующие президенты подхватили — целый хор. Из всех, пожалуй, только у Джексона достает юмора смеяться над собой — слегка, правда, но смеяться. И то хорошо.

— Позвольте мне рассказать вам о делах на Западе.— И я рассказал ему как можно точней.

Джефферсон слушал со вниманием; задавал точные вопросы; признался, наконец, что ему «никто прежде не говорил о таких важных вещах, а ведь ему положено все это знать».

— Я рад с вами поделиться, ибо вам эти сведения куда важнее, чем мне.

Джефферсон медленно крутил вокруг оси глобус.

— Признаюсь, полковник, я не верил иным... сенсационным сообщениям, которые читал о ваших путешествиях. Убежден, вы никогда и не мыслили отрывать от нас Западные штаты.

Позже Джефферсону пришлось отрицать, что он тогда вообще что-то слышал о моей «предательской» деятельности. На самом же деле он знал почти все. Да и я говорил с ним достаточно откровенно.

— Мы с генералом Уилкинсоном хотели бы собрать армию и освободить Мексику. Как вам известно, это и была единственная цель моего путешествия на Запад. И я обнаружил, что каждый американец в той части света мечтает изгнать донов с нашего континента.

Сперва Джефферсон не проронил ни слова. Он играл глобусом и, наконец, повернул его Мексикой к себе.

— Вы ставите меня в затруднительное положение, полковник.

— Мне казалось, вы давно уже от меня этого ждали. Вы всегда говорили, что наша империя будет неполноценной без обеих Флорид, Канады, Кубы... и Мексики.

— Да, разумеется. Когда-нибудь нам будет принадлежать все полушарие. Я уверен. Но я ничего не могу сделать без войны с Испанией.

— Мне казалось, вы готовились... вы.... готовитесь к такой войне.

---

[1] С самой сути *(лат.)*.

— Есть вещи неизвестные вам, полковник.— Джефферсон оттолкнул глобус и так порывисто откинулся в странном своем кресле, что я думал, он его опрокинет.— Я получил предложение от императора Наполеона. Как всегда, ему нужны деньги на его войны. Он предложил «уговорить» — именно этот деликатный глагол употребил его посланник — испанское правительство отдать нам Западную Флориду. За сей акт дружеского убеждения он просит два миллиона долларов. И мне хочется дать корсиканскому бандиту pourboire [1].

Меня удивило предложение Наполеона. Еще более меня удивило, что Джефферсон принял его.

— Но зачем покупать то, за что давно уплачено? Разве Западная Флорида не входила в купчую на Луизиану?

— Я всегда так... э... т о л к о в а л этот несколько расплывчатый документ. Но ни мое толкование, ни постановления конгресса не дадут нам ни фута испанской территории.

— Война даст нам Западное полушарие.

— Без сомнения. Но если направить армию — и флот — в Мобиль, это обойдется куда дороже двух миллионов долларов. Кабинет считает, что нам выгоднее нанять императора, в конечном счете это дешевле.

— Конгресс в данном составе не даст денег.

— Надо уметь попросить, и они все дадут.

— Но тогда не будет войны с Испанией.

— Боюсь, что нет.— Мое нескрываемое огорчение лишь подбавило жизнерадостности Джефферсону. Он благодушествовал.— Думаю, мы первая в мире империя, п о к у п а ю щ а я территорию вместо того, чтобы завоевывать ее.

— Никто и не сомневался в нашей необыкновенности.

Эта новость удручала меня.

— Что вы станете теперь делать? — Джефферсон изобразил сочувствие.

— Не знаю.— И я действительно не знал.— Возможно, осяду на земле, которую приобрел на реке Уошита... и стану ждать войны с Испанией.

— Уверен, когда-нибудь она произойдет.

— А если нет... как вы отнеслись бы к тому, чтобы Мексика стала свободной?

— Буду в восторге.— Джефферсон снова стал дипломатом в Париже. Всякий мгновенный ответ неопределенен.

— Но подготовка?..

— Я дам вам тот же совет, что дал Женэ и Мишо. Будьте энергичны, удачливы и ни во что не вмешивайте правительство.

Я поднялся. Джефферсон с удивлением заметил, что мы провели вместе два часа.

— Никогда еще так быстро и с такой пользой не проходило время.— Он проводил меня наверх в холл, продуваемый сквозняком и наполненный дымом от плохого камина в столовой.— У нас плохой дымоход.

— Если хотите, я вам его переделаю.

Когда я умирал с голоду в Париже, я за деньги переложил там несколько дымоходов. Полезный талант.

— Полковник, вы задели мое самолюбие! В таких делах я сам мастер.

— Ну, как угодно.

Привратник распахнул парадную дверь. Грум держал мою лошадь

---

[1] На чай *(франц.)*.

на грязном дворе перед домом. Джефферсон с любопытством взглянул на меня.

— Должен сказать, у меня мелькнула мысль, что вы еще вернетесь сюда на постоянное жительство.

— В этот дом? — спросил я самым любезным тоном.

— А почему бы и нет? Но я имел в виду Вашингтон, конгресс, представительство от Западных штатов.

— Такая возможность не исключается.

— Не упускайте своих возможностей, полковник.

— Мне кажется, не я их упускаю.

Джефферсон покраснел и пожелал мне всего хорошего.

Мне захотелось отказаться от «мексиканского проекта». Без войны с Испанией большинство западных конфедератов не рискнет взяться за оружие, дабы не навлечь на себя немилость правительства, и, несмотря на все усилия Мерри, я ничего не получу от Англии.

Понуро отправился я в Филадельфию, где Джонатан Дейтон попытался снова меня приободрить. Пришло письмо от Хармана Бленнерхассета. Он хотел продать остров и внести свою лепту в мое начинание.

— Он дурак, но денег у него полно.

Мы с Дейтоном сидели у скудного огня в весьма скромной таверне Ричарда Делла, и я, признаюсь, был сумрачен под стать зимнему дню. Дейтон вовсю старался меня подбодрить.

— Давайте обратимся к дону Карлосу.

Я выразил сомнение в том, что Испания станет финансировать экспедицию, цель которой — отобрать у нее Мексику.

— Ну, я не стал бы так говорить дону Карлосу.— Дейтон улыбнулся: он был прирожденный торговец (торговал травами от укуса змей).— Как раз наоборот. Впрочем, не так уж важно, что́ я скажу ему. Испанцы, конечно, знают о наших замыслах, и он скорее поверит мне, если я во всем ему признаюсь.

— Итак, что мы можем предложить Испании?

— Возрождение Испанского заговора.

Дейтон несколько раз встречался с доном Карлосом, и тот дал ему 1500 долларов и пожелал удачи. Я тогда еще не знал, что сказал мой коллега испанскому посланнику. И отнюдь не пришел в восторг, когда в конце концов Дейтон признался мне, что сказал дону Карлосу, будто наша истинная цель: взять Вашингтон, захватить президента и конгресс, выкрасть деньги из Банка Соединенных Штатов, сесть на корабль, отплыть в Новый Орлеан и там создать Западную Республику.

— Вы убедили дона Карлоса лишь в том, что я сумасшедший.

— Ну и что с того? — Дейтон был просто наглец.— Его устраивает план, и он готов был раскошелиться.

Устав от всего этого, я возвратился в Вашингтон и подал Джефферсону прошение назначить меня на какой-нибудь пост в правительстве. Я соглашался на любой пост, пусть самый скромный.

Наша встреча состоялась 22 февраля 1806 года. Я держался смиренно, Джефферсон величественно. Я никогда не видел его таким в о з в ы ш е н н ы м. Лучшего слова не подберешь. С безмятежностью всевышнего он объявил, что народ потерял веру в меня, и он не может предоставить мне никакого поста.

— Недоверие нескольких газет вряд ли так уж важно,— сказал я.— Всех нас они когда-то марали.

— Верно. Но, к сожалению, вы утратили и п о л и т и ч е с к о е доверие.

— На недавних губернаторских выборах за меня проголосовал не только Нью-Йорк, но...

— Но, полковник, я говорю о последних президентских выборах, когда, будучи вице-президентом, вы не получили ни единого голоса.

Джефферсон поднялся и занялся клеткой с пересмешником.

Я дал себе слово сохранять смирение, но это было уж слишком.

— Я не получил ни единого голоса оттого, что выборщики знали, что я *не* кандидат. А кандидатом на переизбрание я не стал не по своей и не по их, а по *вашей* воле, так что ни мои способности, ни их доверие роли тут не играли.

Джефферсон выпустил пересмешника из клетки, и тот сел к нему на плечо. Сел и Джефферсон; снова сказал, что ему очень жаль, но он бессилен мне помочь. Когда лишаешься доверия народа...

Я оборвал его: напомнил, что всего лишь год назад, когда я понадобился ему в сенате, ни он, ни народ не испытывали ко мне недоверия.

— Но с тех пор, полковник, мы услышали столько всякого...— Он говорил задумчиво.— Газеты встревожили народ...

— Их для того и держат.

Джефферсон выставил палец, и пересмешник на него сел и засвистел.

— Признаюсь, мистер Джефферсон, я удивлен, мне странно, что вы не можете доверить *никакой* работы человеку, который поднял вас на такую высоту.

Жесткий старый рот стал еще упрямей. Руки упали на стол. Испуганная птица вспорхнула и села на камин.

— Народ оказал мне эту честь, полковник Бэрр...

— Нет, сэр. Победу в штате Нью-Йорк подарил вам Аарон Бэрр, и тот же Аарон Бэрр мог бы лишить вас президентства, скажи он хоть слово.

— Но вы не сказали этого слова, мистер Бэрр. И я — президент.

Я поднялся.

— Интересно, что сказал бы мир, узнай он, к чему прибегли вы для того, чтобы стать президентом.

— Менять взгляд на историю нашей Революции уже поздно,— Джефферсон посадил пересмешника обратно в клетку.

Два месяца спустя, когда в Нью-Йорке по инициативе моих друзей начался процесс против журналиста Читэма, многие из сторонников Джефферсона почувствовали себя не очень хорошо. Читэм обвинял меня в стремлении получить президентство во время выборов 1800 года. Сенатор Бейард от штата Делавэр под присягой заявил, что Аарон Бэрр не только не стремился лишить Томаса Джефферсона президентства, но сам Джефферсон непристойно быстро пошел на сделку с федералистами, чтобы заручиться их поддержкой в палате представителей.

Недавно, когда опубликовали дневник Джефферсона, мы смогли прочесть его непомерно длинный и бесчестный ответ на это обвинение, равно как и безумное предположение, будто на мне лежит вся ответственность за показания сенатора Бейарда, «единственная цель коих меня оклеветать». Но я к этому делу никакого отношения не имел. Это Бейард настоял на том, чтобы вскрыть правду. Кто же лгал? Джефферсон или Бейард? Джефферсоновцы утверждают, что лишь по воле случая Джефферсон после выборов оставил друга Бейарда, федералиста, на посту таможенного инспектора в порту Уилмингтон, в штате Делавэр.

Мы всё сказали друг другу уже в феврале, но я еще раз обедал вместе с Джефферсоном в большом обществе. Потом, 12 апреля 1806 года, я пришел проститься с ним — уже навсегда.

1835

I

С недавних пор я представляю Элен людям незнакомым или едва знакомым как свою жену; впрочем, мы нечасто бываем в обществе: она не любит выходить из дому. Потому, кажется мне, что боится встретить кого-нибудь, кто знал ее у мадам Таунсенд (эта мысль тревожит и меня). Она, правда, не признается в подобных опасениях, говорит, ей все равно, что о ней станут думать. Опасность возрастает оттого, что я представляю ее как жену. С другой стороны, ничто не мешает нам в один прекрасный день пожениться. Надо только заработать денег, открыть юридическую практику, забыть об отъезде за границу, о жизни в духе Вашингтона Ирвинга.

Сэм Суортвут пригласил меня поужинать в таверне «Шекспир». Я с радостью принял приглашение.

Когда я открыл зеленую дверь таверны, меня оглушил шум голосов из залов слева и справа; в нос ударил дух спиртного, смешанный с запахами жареного гуся и тушеной капусты (несмотря на мою нелюбовь ко всему голландскому, я люблю голландскую еду).

Сэм стоял у стойки, которая считается типичной для английских таверн. Его обступили подхалимы, потому что он не только дружен с президентом, но, как инспектор Нью-Йоркского порта, занимает самый значительный федеральный пост в штате.

— Проходи и садись, Чарли! — Суортвут положил свою тяжелую руку мне на плечо.— Техас! Вот земля! Вот куда тебе надо поехать! Беги из Нью-Йорка. А ведь это полковник, благослови его господь, открыл мне глаза на Техас.

— Нельзя сказать, чтоб его собственные техасские прожекты увенчались успехом...

— Он опередил свое время! Так бы и высечь на его надгробии: «Аарон Бэрр первым прозрел будущее. Но ничего на этом не выиграл». Правда, он делает успехи. С планом насчет немецких поселенцев он забежал вперед всего на несколько лет. К тому же и года не пройдет,— его хриплый голос звучал теперь тише, чем голоса у стойки,— как Техас отколется от Мексики, в этом заинтересован президент.

Пока он говорил, я вдруг перенесся мыслью в те времена, когда люди, подобные Бэрру, замышляли империи. И Суортвут тоже пережиток той эпохи, как Бэрр, как Джексон. Суортвута вовлекли ныне в предприятие под названием «Компания Галвестонова залива и Техасских земель». Юрист компании — некто Хьюстон, бывший губернатор Теннесси и протеже Джексона; порвав с семьей, отказавшись от губернаторства, он поселился среди индейцев (и пристрастился к спиртному). Теперь Хьюстон в Техасе; по словам Суортвута, он намеревается освободить эту землю от Мексики с тайного благословения Джексона.

— Вот о чем говорил полковник Бэрр с президентом, когда они впервые встретились через тридцать лет после суда за измену.

В последний раз Джексон приезжал в Нью-Йорк 12 июня 1833 года. Через две недели полковник Бэрр обвенчался с мадам Джумел. Теперь я понимаю, почему он так стремился выудить у мадам деньги на осуществление техасского проекта: президент Джексон сообщил ему то, чего никто другой не знал.

— Вот было дело — доставить полковника в президентский номер

отеля «Американ». Пришлось заставить управляющего — старика Бордмена — впустить нас с черного хода, по лестнице для слуг.

Лакей без нашей просьбы поставил перед нами громадное блюдо жареной свинины с тушеной капустой.

— Нам пришлось выдержать стычку в коридоре, где толпились жаждавшие назначений, но я провел полковника в комнату на том же этаже, а секретарю сказал, что привел «то самое лицо», и через минуту, прихрамывая, вышел он сам, Старая Коряга. «Клянусь всевышним, полковник Бэрр, вот уж не думал встретить вас на земле или на небе!»

Полковник развеселился.

«Ну, господин президент, если вы попадете на небо, то лишь благодаря моим ежедневным молитвам».

Президент так расхохотался, что едва устоял на ногах... слабый он был — да и сейчас не жилец на этом свете, бедный старик.

«Ну, а теперь,— сказал он,— я хочу поговорить с вами о Техасе». Затем президент поворачивается ко мне. «Сэм, пойди в другую комнату и налей себе рюмочку мадеры. Но только одну. А я пока поговорю с человеком, которого ценю выше всех граждан Союза». С полчаса прождал я в соседней комнате. Затем меня позвали обратно, и я увидел слезы на глазах президента. Он сказал полковнику: «До свидания», а тот ему: «Прощайте». Когда мы вышли на улицу, я спросил полковника, о чем они говорили, а он сказал только:

«О Техасе».

Суортвут думает только про Техас и про деньги, которые он там будет загребать. Он рассказал мне, как совсем недавно Джексон отправил туда Хьюстона на разведку.

— Сэм Хьюстон тоже мечтает стать императором, как в свое время полковник Бэрр; но я сомневаюсь, что Старая Коряга это ему позволит. Президент хочет, чтобы Техас стал частью Соединенных Штатов. И у него еще кое-что на уме. О, он хитрый, наш старина Джексон. Все вокруг пытаются подбить его на аннексию Техаса, а он и пальцем не пошевельнет. Мол, надо держаться договора с Мексикой. И он будет держаться. Но знаешь почему? Тут тонкая интрига, уверяю тебя. «Сэм,— сказал он мне однажды,— Техас через год или два станет независимым».— «С нашей помощью?» Он пропустил мой вопрос мимо ушей. «Но я не хочу, чтобы он сразу вошел в Союз».— «Почему же?» — «Ну, предположим, Техас независим от Мексики. Родилась, значит, еще одна маленькая безобидная республика. И предположим, у них возникает недоразумение: где проходит их западная граница? Ведь в этой части мира она м о ж е т проходить где угодно. Теперь предположим, маленькая безобидная республика говорит, что ее земли простираются до самого Тихого океана. Почему бы и нет? И предположим, она заявляет претензию на обе Калифорнии, а может, и на права рыболовства на северо-западе, а может, и на один-два порта на тихоокеанском побережье. Ну, мексиканцы, конечно, только посмеются, верно? И посоветуют, видимо, этому маленькому безобидному Техасу убираться к черту: не может ведь горстка техасцев выбить мексиканцев из Калифорнии?»

Лакей поднес Суортвуту кусок пирога с олениной.

— С поклоном от повара, сэр.

— Спасибо ему, спасибо.— Суортвут разделил пирог и с набитым ртом продолжал излагать мне план Джексона. Маленькая безобидная республика Техас заявит претензии на тихоокеанское побережье континента. Выдержав время, республика присоединится к Соединенным Штатам, и те своим чередом потребуют всю испан-

скую Калифорнию.— И мы получим куда больше территории, чем то, что приобрел Джефферсон, подлый предатель!

Наконец наевшись и напившись до отвала, Суортвут откинулся в кресле и пожелал точно узнать, что же я пишу о полковнике Бэрре.

— Жизнеописание полковника, ничего больше.

— Я слышал, это будет жизнеописание Мартина Ван Бюрена, а?

Я промолчал.

Громадная красная ручища медленно вытерла с губ гусиный жир и затем в свою очередь вытерлась о край стола, тотчас его засалив.

— Знаешь, Мэтти Ван Бюрен пытался помешать моему назначению на пост инспектора порта. Ну и коварный дьявол, скажу я тебе. Но главное-то,— во взгляде Суортвута появилась задумчивость, он тихо рыгнул,— мы не желаем вреда полковнику, правда?

Я покачал головой, слегка удивленный щепетильностью Суортвута: обычно он прет напролом и с легкостью предает друзей.

— Так вот, я думаю, еще есть возможность выйти сухим из воды. А тебя ведь это, наверно, тоже беспокоит?

Я попытался сделать безучастное лицо — совсем как полковник. Но уши у меня горели и наверняка были красными, как у кролика.

Суортвут снова рыгнул и втянул тяжелый подбородок в высокий крахмальный воротник.

— Могу себе представить, сколько платит тебе Реджинальд Гоуэр. А я знаю кое-кого, кто заплатит вдвое больше.

— Но я... заключил договор.

— Расторгни.

— Я взял деньги.

— Верни.

— Но зачем? Полковнику все равно достанется.

— Никоим образом, если то, что ты написал, войдет в книгу, которую пишет кто-то другой.

— Но это ничего не меняет. А полковник подумает, что это я за кого-то написал книгу.

— Подумал бы, если бы появился очередной анонимный памфлет. А тут будет большая, роскошная книга, и автор знаменитый, и знаменитое имя будет красоваться во всю обложку, и никто тогда не подумает, что ты с ним связан.

— Кто же это?

— Я устрою тебе с ним встречу.— Не умеющий хранить секреты (но плетущий нескончаемые интриги), Суортвут наслаждался таинственностью.— Он скоро придет со своим издателем. Он, то есть издатель, из Филадельфии.

Когда я пришел домой, Элен рвало. Она сказала, что ждет ребенка.

Сейчас четыре часа утра, мне не спится. Я сижу, пишу и переписываю свои заметки, тупо смотрю на манекен (один из рукавов с буфами заметно продвинулся) и думаю, что будет с Элен, со мной и с ребенком.

II

С самого утра шел снег, Бродвей теперь под толстым слоем белой пудры. На улице полно саней. У всех раскрасневшиеся лица. В доме уши у меня горят, на улице мерзнут.

Вскоре после полудня я пришел в пансион, где живет полковник; Джейн Макманус сидела возле полковника и держала его за руку Без всякого смущения она встала.

— Мне пора, полковник.

— Как хочешь, милая девочка.— Странно даже подумать, что кто-то может увидеть в этой полной женщине девочку.— Бедное дитя, она все еще потрясена налетом мадам на наше счастливое гнездышко.

Полковник, кажется, в отличной форме, хоть и жалуется на холод, а в комнате так жарко, что уши у меня пылают.

Меня удивляла собственная бодрость — ведь я глаз не сомкнул всю ночь. Элен же спала, как ребенок, и проснулась утром такая сияющая и довольная, что у меня язык не повернулся заговорить о нашей беде. Однако она ни словом не обмолвилась о свадьбе. Я ее совершенно не понимаю. Думаю, именно поэтому я подарил ей — сгоряча — единственную свою ценную вещь: миниатюрный портрет матери работы Вандерлина на золотой цепочке. Она пришла в восторг и тут же повесила медальон себе на шею.

Воспоминания Аарона Бэрра (17)

В первую неделю августа 1806 года я отправился на Запад, как я полагал, навсегда. Несколько сот горячих молодых людей из лучших семей Америки должны были встретиться со мной первого ноября в Мариетте на реке Огайо.

Уилкинсон обещал начать войну с Испанией по первому моему сигналу. Перед отъездом из Филадельфии я подал ему этот сигнал в шифрованном письме, которое должны были доставить Сэм Суортвут и Питер Огден, племянник Дейтона и сын моего старого друга еще с квебекских времен.

Письмо это явилось главной уликой против меня в судебном процессе, и я должен его воспроизвести. Оригинал, разумеется, давным-давно потерян или же уничтожен Уилкинсоном, который потом, чтоб запятнать меня, а самому оправдаться, распространял совершенно иной документ. Он приписал в мое письмо какую-то чушь от себя. К счастью, он действовал слишком грубо. Он неудачно попытался стереть первую мою фразу: «Получил Ваше письмо с почтовым штемпелем 13 мая». То был серьезный промах, поскольку сперва он делал вид, будто до моего письма не знал ничего о «заговоре». Несмотря на подделки, письмо устанавливало два гибельных для него факта: мы пользовались шифром, и он писал мне за три месяца до этого письма.

Что я на самом деле писал Уилкинсону? Я сообщал, что наши рекруты соберутся первого ноября на Миссисипи. Пятнадцатого ноября мы на легких лодках начнем спуск по реке. У испанского форпоста в Батон-Руже мы решим, захватить его или идти дальше. Если можно, я хотел овладеть Батон-Ружем хотя бы для того, чтобы ублажить Джексона и других моих сторонников, которым была ненавистна самая мысль о донах, нагло расположившихся на берегах их реки.

Я сообщал также, что мои агенты (те самые три иезуита в Новом Орлеане) заверили меня, что жители страны, куда мы направлялись, присоединятся ко мне, если я поклянусь защищать их религию (такую клятву я уже принес в присутствии новоорлеанского епископа). Я писал, что Уилкинсон будет подчиняться только мне, от меня получать деньги и что вся операция завершится за три недели. Я заверил его, что нам обеспечена поддержка со стороны британского флота,— это была ложь. В заключение я писал, что Сэм Суортвут передаст ему дальнейшие инструкции. Я представил Сэма (не вполне искренне) как восторженного почитателя «Западного Вашингтона».

Дальнейшие инструкции были очень просты: спровоцировать инцидент на реке Сабин. Сделать это было легче легкого, поскольку за год до того испанцы форсировали Сабин и заняли Байю-Пирр и

Нону — два форпоста на американской территории. Эта наглость вывела из себя даже Джефферсона. В феврале 1806 года он дал указание военному ведомству изгнать испанские войска. Однако Уилкинсон игнорировал приказ военного министра, и испанцев никто не тронул. По моему разумению, Уилкинсон выжидал, чтобы согласовать свои действия с моими.

В июне президент прямо приказал Уилкинсону выйти из Сент-Луиса, принять на себя личное командование нашими войсками на реке Сабин и изгнать испанцев. И все же, когда я послал ему письмо (в конце июля), Уилкинсон так и не сдвинулся с места, и все в Вашингтоне придерживались того мнения, что Джефферсон скоро сместит нерасторопного командующего.

Я попросил Дейтона написать Уилкинсону и предупредить, что его скоро сместят. Я полагал, что тем заставлю его действовать. Увы, предупреждение Дейтона возымело обратное действие. Уилкинсон понял, что ему надо постараться вновь заслужить расположение Джефферсона. Каким образом? Разумеется, предав меня.

Такова подоплека моего письма Уилкинсону. Нет нужды объяснять, что слово «Мексика» в нем не упоминалось, как не содержалось в нем и указания Уилкинсону провоцировать войну с Испанией.

К середине августа я прибыл в Питтсбург. Здесь-то я и совершил ошибку, отобедав с полковником Джорджем Морганом, тщеславным глупцом, не поумневшим с годами. Я побывал в его доме не для того, чтобы повидаться с ним, а чтобы завербовать трех его лихих сыновей. Во время обеда я позволил себе несколько острых словечек о Джефферсоне, не выразив восхищения нашим главарем, но никак не выразив и враждебности. Когда полковник пожаловался на разложение американской армии и посягательства донов на нашу территорию, я заметил: «Но ведь это политика мистера Джефферсона. Увы, он настолько ослабил нашу военную мощь, что мы с вами, располагая сотней солдат, могли бы скинуть президента и конгресс в Потомак». Никогда не шутите со вздорным стариком; особенно если он много лет пытался добиться от правительства признания своих прав на спорную полоску земли в Индиане. Вдохновленный праведной алчностью, полковник Морган решил предупредить местные власти о моих темных планах — утопить мистера Джефферсона.

Вскоре по моем прибытии в Питтсбург я получил письмо от Уилкинсона (который моего письма еще не получал). После пространных напыщенных фраз он объявил: «Я готов». Все обстоятельства как будто предвещали нам успех.

Я счел добрым знамением и то, что здоровье Теодосии (пошатнувшееся от каролинского климата) улучшилось и она смогла приехать к нам на реку Огайо.

Уилкинсон вышел из Сент-Луиса только на первой неделе сентября. Затем с чрезвычайной медлительностью достиг Натчеза, откуда написал сенаторам Адэру и Смиту, что готов огнем и мечом очистить американскую территорию от донов. Он написал также Адэру, что «времена, которых ждали и о которых мечтали многие, наконец наступили: пора сбросить испанское правительство в Мексике».

Адэр переправил мне копию письма, и я обрадовался, хоть и был озадачен. Почему Уилкинсон не написал прямо мне? Признаюсь, на ум приходила мысль, уж не собирается ли он сам завоевать Мексику, предав и Джефферсона, и меня.

В конце сентября Уилкинсон уведомил испанского командующего, что если он не отойдет с западного берега Сабин, войны не миновать. Ко всеобщему изумлению (меня же эта новость повергла в

ужас), испанцы в точности выполнили его приказ: 27 сентября они ушли с американской земли.

Все это время я подготавливал либо захват земель в бассейне реки Уошито, либо вторжение в Мексику. С моими людьми и припасами я мог предпринять и то и другое.

Двадцать седьмого сентября я был в Нэшвилле, где Эндрю Джексон устроил в мою честь прием в гостинице «Талбот», провозгласив древний тост: «Миллионы на оборону, ни цента на уплату дани!» Как командующий ополчением Теннесси, Джексон имел возможность развязать войну, которая казалась неизбежной. Четвертого октября по моей просьбе он объявил всеобщую боевую готовность. Он клялся, что поскачет вместе со мной в Мексику.

Через несколько дней после объявления боевой готовности в Теннесси Сэм Суортвут и Питер Огден вручили мое шифрованное письмо Уилкинсону, который находился в Натчеточесе на мексиканской границе. Два месяца разыскивали они командующего американской армией, который наконец подчинился приказу президента и с опозданием на четыре месяца приступил к исполнению своих обязанностей.

Суортвут передал ему мое письмо. Прочитав его, Уилкинсон попросил Суортвута помочь ему подготовить шифрованый ответ; смысл его по-прежнему сводился к фразе: «Я готов». Уилкинсон отправил письмо. Потом — ни с того ни с сего — передумал. И отправил гонца перехватить собственное письмо и уничтожить его. Содержание письма известно мне лишь в общих чертах со слов Суортвута.

Двадцатого октября Уилкинсон написал Джефферсону, что на Западе зреет заговор с целью захвата Нового Орлеана. Имен он не называл. Да ему это и не требовалось. Один прелестный штрих: заговорщики, объявил он, собираются поднять в Луизиане бунт чернокожих. Джейми знал, чем огорчить массу Тома.

В опубликованном недавно дневнике Джефферсона говорится, будто еще 22 октября 1806 года он был убежден, что я виновен в измене, поскольку именно в этот роковой день на заседании кабинета обсуждалась моя предполагаемая экспедиция. Несмотря на мою «вину», кабинет решил, что я не сделал покуда ничего предосудительного и правительство может лишь предупредить губернаторов и посоветовать им быть поосторожней с изменником, пока, правда, не совершившим измены. Вот она, джефферсоновская логика во всем блеске.

Не ведая о внимании, коего я удостоился в Вашингтоне, я продолжал собирать людей и припасы.

Шестого октября я выехал из Нэшвилла (с самоновейшим новобранцем, племянником миссис Джексон) в Лексингтон, где встретил Теодосию и ее только что прибывшего мужа.

Я рассчитывал в ноябре начать спуск по Миссисипи. Уилкинсон был уже на границе, и, несмотря на его загадочное поведение с испанцами, я, как и все, ждал войны с Испанией.

В тот же год, несколько ранее, двое гомосексуалистов основали во Франкфорте скандальную газетенку «Уэстерн уорлд». Теперь они обвинили нас с Уилкинсоном в попытке воскресить старый «испанский заговор». Воспользовавшись этим, честолюбивый политический деятель из Кентукки по имени Джозеф Давейсс решил прямо вмешаться в мои планы. Некоторое время Давейсс, убежденный федералист, пытался доказать, что кое-какие высокопоставленные деятели Запада состоят на тайном содержании у испанского правительства. По странному совпадению все эти высокопоставленные деятели занимали видное положение в республиканской партии. Он называл сенаторов Адэра, Брауна, Смита и Брекенриджа, а также будущего сенатора Генри Клея, губернатора Уильяма Генри Гаррисона и генерала Эндрю Джексона —

все они, видимо, были замешаны в Испанском заговоре с целью отделения Западных штатов от Восточных. Во главе списка знатных имен он поставил мое имя и Уилкинсона.

Давейсс написал Джефферсону о своих подозрениях. Без сомнения, президент возликовал, узнав, что я стою во главе заговора, однако он не мог не прийти в ужас, обнаружив, что чуть не все его политические сторонники на Западе тоже названы изменниками. Джефферсон потребовал дополнительных сведений.

Упрямый молодой федералист отправился весной в Сент-Луис побеседовать с Уилкинсоном. Тот наговорил много лишнего, открыл Давейссу, что он послал офицера регулярной армии Зебюлона Пайка проложить маршрут в Мексику для возможного вторжения. Давейсс принялся бомбардировать письмами Джефферсона, Мэдисона и Галлатена, сообщая им все носившиеся в воздухе сплетни, а в то время в Кентукки не было недостатка в самых невероятных сплетнях. Стремясь нанести ущерб республиканской партии, он выдвинул столько беспардонных обвинений, что Джефферсон, наконец, перестал обращать на него внимание. Однако, к несчастью, с Давейссом приходилось считаться на его родной территории, поскольку он был окружным прокурором в Кентукки и мог устроить скандал, что и не замедлил сделать.

После беглого осмотра моей большой флотилии и припасов в Луисвилле (пять плоскодонок и несколько бочек муки) Давейсс возвратился во Франкфорт и 5 ноября дал местному судье показания под присягой, что я планирую вторжение в Мексику, за которым должно последовать отделение Западных штатов от Восточных. У него хватило ума заявить судье, что хотя и нет закона, запрещающего кому бы то ни было побуждать штат к отделению (будь такой закон, Джефферсон давно бы уже сидел за решеткой), меня тем не менее следует арестовать, дабы пресечь опасный заговор. Судья отклонил ходатайство Давейсса. Тогда Давейсс потребовал созыва большого жюри, которое собралось 12 ноября.

Когда Давейсс подал первое заявление в суд, я находился в Лексингтоне. Со всей поспешностью я отправился во Франкфорт, чтобы прекратить судебное разбирательство. Но я опоздал. И оказался в крайне затруднительном положении. Обвинения и контробвинения не сходили со страниц газет.

Только на первой неделе декабря я предстал перед большим жюри. Входившие в него джентльмены придерживались того мнения, что экспедиция против Мексики не так уж предосудительна. Выслушав меня и моего красноречивого защитника, большое жюри констатировало «отсутствие состава преступления».

Двадцать пятого ноября Уилкинсон прибыл в Новый Орлеан. В тот же день он послал свое первое предупреждение Джефферсону. Через два дня президент издал прокламацию, «предостерегающую всех верных граждан» от каких бы то ни было незаконных заговоров против Испании. Эта прокламация попала на Запад лишь через несколько недель.

В Нэшвилле в таверне «Долина клевера» меня нашел генерал Джексон и его друг Джон Коффи.

Джексон совсем растерялся.

— Полковник, вы сами попали и меня впутали в чудовищный переплет.

Я не думал, что этот мужественный человек может от страха понижать голос, пугливо озираться, но сейчас, когда мы уселись в укромном углу главной залы, скрытые от любопытных глаз стелла-

жом с газетами, он заговорил свистящим шепотом. Джон Коффи ждал поодаль и слышать нас не мог.

Я сказал Джексону то, что мне скоро наскучило повторять. Я не затевал раскола.

— Зачем мне это? Речь идет о Мексике. Об одной только Мексике.

— Тише!— Джексон смотрел на меня встревоженно.— До меня дошли прескверные вести — про вас и про Уилкинсона.

— Что говорят об Уилкинсоне?

— Вы ему доверяете?

— Нет. Но я рассчитываю на его личную заинтересованность. Джефферсон собирается его сместить. Ему нечего терять, и он может только выиграть, держась нашего плана.

— Но вы всегда говорили... вы делали вид, что Джефферсон осведомлен о вашем предприятии.

— Он все знает и, как и мы с вами, стремится покорить Мексику.

— Без войны?

— Желательно.

Джексон нервно огляделся, затем прошептал:

— Вы знаете об отношениях Уилкинсона с испанцами?

— Много лет назад он клялся в верности испанской короне, дабы вести торговлю в Новом Орлеане и Мобиле, но...

— Чепуха! Люди получше его присягали ей в верности. Это ничего не значит. Но вам известно, что он был... что он все еще испанский агент?

— Вы начитались газет.

— Я читал сообщения из Мексики. От моих друзей. И у меня есть доказательства, что Джеймс Уилкинсон был испанским агентом номер тринадцать по крайней мере пятнадцать лет, и сейчас он все еще испанский агент номер тринадцать и состоит на жалованье у испанского короля.

— Не верю. Немыслимо.— Впервые я не сумел скрыть изумление и тревогу.

Я думаю, Джексон понял, что я не притворяюсь. Он злорадно продолжал:

— Что ж, полковник, вас здорово надули. Теперь у Уилкинсона неприятности и с испанцами и с Джефферсоном. В этом году Испания перестанет платить ему жалованье и Джефферсон, возможно, снимет его с поста командующего армией. Н а ш е й армией.

— Согласитесь, у нас не президент, а дерьмо собачье, честное слово! Ну кто еще, кроме Джефферсона, я вас спрашиваю, отдал бы американскую армию в руки испанского агента?

Мне не хотелось хулить Джефферсона.

— Если это правда...

— Это правда. Чем угодно могу доказать! Одного только своими глазами не видел: шпионских донесений этого прохвоста!

Все стало убийственно ясно. Теперь я понимал, почему Джейми не сразу подчинился приказу Джефферсона, почему он отказался идти прямо к реке Сабин и почему, стоило ему сдвинуться с места, испанцы убрались восвояси.

— Полковник, вы сунули голову в петлю — не только свою, но и мою наполовину. Однако я вынимаю голову из петли. Я уже написал президенту, написал дураку-губернатору в Новый Орлеан, написал всем, кого вспомнил, написал, что хотя я страстно ненавижу донов, но не имею ничего общего с вами и с Уилкинсоном и до конца дней буду стоять за Союз...

— Но мы же не стремимся к отделению....— машинально ответил я, усиленно собираясь с мыслями.

— Уверен. В конце концов, вы не идиот. Но когда Джефферсон с вами разделается, все будут думать, что вы величайший предатель после Бенедикта Арнольда. Что же до Уилкинсона...

— Он попытается опорочить меня.— Я высказал более чем очевидную истину.

— Да, и Джефферсон будет наверху блаженства. Ведь в его же интересах доказать, что его генерал — честный человек, а его личный враг — предатель.

— А Джефферсон знает, что Уилкинсон — испанский агент?

— Мне все рассказал один из донов, ни больше ни меньше, и он утверждает, что Джефферсону сообщили об этом еще прошлой весной.

— Я в самом деле сунул голову в петлю.— Больше я ничего не мог ни сказать, ни придумать.

— Полковник, я постараюсь вам помочь. А теперь давайте разыграем спектакль для моего старого друга Джона Коффи. У вас еще при себе тот пустой бланк, подписанный Джефферсоном, который вы мне показывали?

Я ответил, что он у меня в кармане камзола.

— Хорошо. Мы разыграем ссору перед стариной Джоном, я обвиню вас в недостаточной откровенности, а вы потом повторите то, что всегда говорите насчет Мексики, и я спрошу: а президент это одобряет? И тут-то вы вытащите бланк из камзола и скажете: «Вот незаполненный бланк, подписанный им самим»,— и я стану чесать голову точно идиот и скажу, что он выглядит как настоящий.

— Он и есть настоящий.

— Тем лучше.— К Джексону вернулся его обычный юмор, и мы разыграли эту сценку для Джона Коффи. Надеюсь, она его убедила. Мои же мысли витали далеко. Если тебя околпачил тот, кого ты держал за дурака,— это особенно унизительно.

Скоро Уилкинсон явился в Новый Орлеан спасителем города от Аарона Бэрра, «у которого есть сообщники всюду — от Нью-Йорка до Нового Орлеана, а его захватническая армия насчитывает двадцать тысяч отчаянных головорезов».

Несмотря на робкие протесты губернатора Луизианы—и громкие протесты многих других,—Уилкинсон ввел военное положение, бросил в тюрьму доктора Боллмана (нашего немецкого рекрута), Питера Огдена и Сэма Суортвута. Чтобы предотвратить попытки освободить арестованных под залог, доктора Боллмана и Суортвута в кандалах посадили на корабль, направлявшийся в Вашингтон.

Пока Уилкинсон разыгрывал Цезаря в Новом Орлеане, две наши плоскодонки плыли вниз по реке Камберленд. 27 декабря ко мне присоединилась «флотилия» Бленнерхассета. Всего у нас теперь было десять маленьких лодок и около пятидесяти человек. Я объявил своим опечаленным спутникам, что, опасаясь шпионов, не могу открыть точное место назначения, но всем должно быть ясно, что наша маленькая группка не будет вести никаких военных действий. Мы и на самом деле стали просто поселенцами, направлявшимися на новые земли в бассейне реки Уошита.

Десятого января — погода в этот день стояла изумительная — мы прибыли в Байю-Пирр, что к северу от Натчеза, и сошли на берег, чтобы остановиться у моего старого друга, который встретил меня с номером «Натчезского вестника», и что это был за вестник! Во-первых, я прочитал там прокламацию президента. Во-вторых, уилкинсоновскую версию моего шифрованного письма. В-третьих, я прочитал,

что временный губернатор территории Миссисипи приказал взять меня под стражу.

— Что ж,— сказал я моему другу,— я приехал сюда, чтобы поохотиться на ваших оленей.

— Они в вашем распоряжении.

Мы прекрасно пообедали. А что еще делать в тени виселицы?

III

— Весьма забавно.— Брайант смотрел на меня через стол, заваленный книгами.

— Надеюсь, это не слишком м р а ч н о?

— Для наших читателей — едва ли.

Я готов пойти на что угодно, лишь бы снискать расположение мистера Брайанта, да и любого другого редактора. Мне позарез нужны деньги.

Как я и рассчитывал, Брайант засмеялся.

— Мы с радостью напечатаем — по обычной ставке.

Последовавшую торговлю я опускаю. Однако мне удалось выбить на пять долларов больше обычной ставки. Готовясь стать отцом, я, как тигр джунглей, накидывался на нью-йоркских редакторов. Всю ночь я работал над рассказом об убийстве Элмы Сэндс и защите предполагаемого убийцы Бэрром и Гамильтоном. Воспоминания полковника — залежи полезных ископаемых.

Я собирался уходить, но Брайант мрачно подал мне знак задержаться.

— До меня дошли сведения, что вы заделались памфлетистом.

Интересно: найдется в Нью-Йорке хоть один человек, не знающий про мой памфлет? Понятное дело: половина жителей одержима страстью к политике.

— Должен вам заметить, мистер Скайлер: я убежден, что Ван Бюрен окажется одним из наших величайших президентов.— Брайант вещал торжественно, будто выступал с речью при присуждении ученой степени.— И безусловно продолжит благородную миссию, начатую генералом Джексоном.

Я промолчал. Что тут скажешь? Как объяснить, что я сожительствую с проституткой из заведения мадам Таунсенд, что она беременна, что я должен теперь на ней жениться, а сам мечтаю о свободе в иных краях, в Средиземноморье, вдали от домов из крашеного кирпича, от разговоров о выборах, от выколачивания денег? Я в клетке, но я из нее выберусь.

— Вы читали? — Несколько дней назад я передал один экземпляр памфлета Леггету. А больше никому.

— Да, я читал памфлет,— кивнул Брайант.

— Странно, что Леггет показал его вам — ведь вы, в отличие от него, благоволите к Ван Бюрену.

— Положение изменилось. Он вам объяснит.

Дело в том, что мне не удалось обсудить памфлет с Леггетом: он болен и лежит дома.

— Видите ли, сенатор Джонсон больше не кандидат. Мужественный человек, сразивший Тукумсе [1], тайно согласился стать вице-президентом при Ван Бюрене.

— Следовательно, Леггет за Ван Бюрена?

— Faute de mieux [2]. Но я предрекаю, что он — впрочем, как и

[1] Тукумсе (1768?—1813) — вождь индейского племени шони.

[2] За неимением лучшего *(франц.)*.

все,— будет приятно изумлен правлением Ван Бюрена.

— Если таковое состоится.

— Если таковое состоится.— Брайант вытер гусиное перо кусочком бумаги. Снова принялся его тереть.

— Есть другие претенденты,— сказал я, не желая отказываться от мысли, что исход выборов зависит — так я внушил себе — от меня одного.— Есть ведь еще кандидат от Теннесси.

— Хью Уайт. Он располагает кое-какой поддержкой на Западе.

— И еще ведь есть кандидат от вигов Генри Клей.

— Да, есть Генри Клей.— В третий раз Брайант принялся чистить перо и вдруг прекратил это занятие, точно сообразив, что уже хватит.— Мистер Скайлер, ваш памфлет может принести чрезвычайный вред.

— Именно этого и хотел Леггет, когда мне его заказывал.— Я четко указал, на ком лежит ответственность.

Брайант скорчил гримасу.

— Очевидно, вы правы. Наш друг слишком горяч и скор в суждениях.

— Вы предпочитаете, чтобы я его не печатал?

— Да.— Брайант ответил скоро и пылко.

Отчаянная ситуация последних дней научила меня хитрости.

— Мистер Брайант, я скоро женюсь.

— Поздравляю...

— Благодарю. Но у меня нет денег. Я еще не сдал адвокатских экзаменов. И, как вам известно, я надеялся на журналистскую карьеру.

Брайант тщательно пытался скрыть тревогу.

— В данный момент, увы, слишком много журналистов и слишком мало вакансий...

— Нет, сэр. Я не ищу места.

Он перевел дух с явным облегчением.

— Разумеется, все, что вы напишете, если это будет не хуже,— он постучал пальцем по «Загадке Элмы Сэндс»,— мы напечатаем с радостью. Знаете, у вас уже есть читатели.— Легкая улыбка.— Вас хвалил мне Фицгрин Хэллек.

В другое время я бы залился краской от счастья и лишился дара речи. Но в это утро я едва заметил его комплимент.

— Чтобы заработать на жизнь, я готов писать что угодно. Но, по-моему, нужно нечто большее, особенно если я...

— Если вы не напечатаете памфлет?

— Да. В конце концов, я теряю пять тысяч долларов.— Я хладнокровно увеличил свой гонорар в пять раз. Отчаянный шаг, но Брайант, кажется, поверил.

— Очень большая сумма.— Он теребил бакенбарды.— Сколько людей, однако, готовы уничтожить мистера Ван Бюрена.

— Вот именно. Я же к этому не стремлюсь. Как вам известно, я пришел сюда однажды с опусом о свадьбе полковника Бэрра, и не успел я разобраться что к чему, как Леггет убедил меня написать о связях полковника с Ван Бюреном.

— Боюсь, наш общий друг Леггет впутал вас — и нас — в неприятную историю. Понимаю, вина не ваша и ничья вообще. Обычные партийные страсти нашего времени.

— Если я не напечатаю памфлет и если Ван Бюрена выберут...— Я смотрел на него растерянно. Чего просить?

— Я поговорю кое с кем, кто мог бы оказать содействие.

— И скоро? Я встречаюсь со своим издателем в понедельник.

— Я постараюсь сделать все для вас. То есть для мистера Ван

Бюрена. А ведь я когда-то был бэрритом. Но теперь...— Брайант повернулся ко мне.— Молодой человек, признаюсь, я до сего дня боюсь полковника Бэрра. Боюсь его ума. Боюсь его примера.

— Мне он кажется великим человеком, мистер Брайант. Да и все так считали бы, не проиграй он партию, которую выиграл Джефферсон.

— Вот именно! Вы попали в точку. То, что для Бэрра было игрой, для Джефферсона явилось столкновением добра и зла.— Уильям Каллен Брайант, склонный к сентенциям морализатор, вдруг сменил Брайанта — редактора-практика.— Я признаю, у Бэрра живой и острый ум, но он не поднялся — не смог подняться — до духовного величия. А что до его нравственности...

— То она едва ли ниже, чем у любого человека его поколения, а также и нынешнего.— Я собрался уходить.

Брайант посмотрел на меня недоуменно. Он всегда сам заканчивает разговор. Он сказал примирительно:

— В конце концов, мы только критики, оценивающие игру великих исполнителей.

Он проводил меня до двери.

— В Неаполе, на Мургалино, по правой стороне, если идти к Потесволли, живет один честный сапожник. Каждое утро с восходом солнца его маленькая собачка выбегает из дома и лает на Везувий.

IV

Я отправился на Четвертую улицу. Жена Леггета не хотела меня впускать, но он услышал мой голос в прихожей.

— Заходи! Я умираю от скуки! Не говоря уже о желтой лихорадке, о малярии...

Я вошел в спальню, когда он завершал перечисление своих недугов.

— ...катаре и чахотке.— Леггет выглядел так, будто вот-вот умрет, лицо осунулось, покрылось капельками пота, в комнате стоял устойчивый запах хинина и тления.

Я уселся на почтительном расстоянии от него и рассказал о разговоре с Брайантом. Леггет смеялся, кашлял, сопел, брызгал слюной и шутил.

— Похоже, ты прижал его к стенке. Хорошо. Он рассказывает про собачку в Неаполе, только когда нервничает. Этот рассказ у него вроде тика.— Он откинул с груди одеяло.— Что ж, я тебя впутал, я тебя и вызволю.

— На той неделе я встречаюсь с издателем.

— Чего ты хочешь?

— А ты как думаешь? Денег. Элен беременна.

— Отличная работа.— Леггет был само сочувствие, как и положено умирающему от неисчислимых недугов.— Собираешься жениться?

— Хотел бы.

— Она не хочет? — Брови его удивленно взметнулись.

— Нет. Или только так говорит. Но все равно мне надо заняться адвокатской практикой, больше печататься...

— Вы останетесь в Нью-Йорке?

— А что делать?

— Ну, можно получить место на государственной службе...

— Еще на этой неделе?

— Срок короткий.

— Разумеется.— С чистой совестью могу сорвать с Леггета и Брайанта побольше — и еще с издателя, которого нашел мне Суортвут. Буду с ними безжалостен, как и они со мной.

— Брайант обещал подумать? — Леггет вытер лицо полотенцем.

— Да.

— Значит, он что-нибудь сделает. И я тоже. Между нами, не вижу причины, почему бы тебе не получить место консула.

Я удивленно уставился на Леггета. В самых дерзновенных мечтах я не воспарял так высоко.

— Пост консула обычно награда за услуги, оказанные партии, но в твоем случае,— Леггет улыбнулся, обнажив сломанные зубы,— он станет наградой за услуги, блистательно не оказанные.

— Ты в самом деле можешь это устроить?

— Со временем да. Возможно.

— Со временем...— Я нахмурился.

— Бога ради, Чарли, не печатай проклятый памфлет! И клянусь — головой неаполитанской собачки мистера Брайанта,— мы придумаем для тебя что-нибудь стоящее. Торжественно клянусь, Чарли! — Он стукнул себя по широкой, хоть и изнуренной чахоточной груди, и я поклялся, что не напечатаю памфлет.

V

Полковник Бэрр развеселился, узнав, что Брайант некогда был бэрритом.

— Теперь я буду читать его с симпатией, которой прежде не хватало.— Полковник положил «Ивнинг пост» на почетное место на столике у своего изголовья. Затем: — Налей мне кларета. Сегодня меня знобит.

Я наполнил два бокала. Полковник, кажется мне, все больше слабеет телом, но голова у него ясная. Сегодня, по крайней мере. В другие дни он многое забывает, путает порядок слов и сам из-за этого раздражается.

— Старость — вещь малоприятная, Чарли.

— Лучше умирать молодым?

— Нет. Просто надо избегать старения. Должен же быть какой-то способ. Мне казалось, я его нашел.

— Какой?

— Женская любовь. Но наступает время, когда и женская любовь уже не помогает и мы скукоживаемся в сморщенное яблоко. Хорошо! — воскликнул он, осушив бокал.

— Какое правительство хотели вы создать в Мексике?

— Правительство? — Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом. Покачал головой. Очевидно, задумался о прошлом.— Ну, это смотря по тому, что бы мы там нашли.

— Все убеждены, что вы собирались провозгласить себя императором.

— О, нет! Я был слишком скромен и не стал бы присваивать себе титул великого Наполеона. С меня достало бы и королевского звания. Yo, el Rey [1], как начинает испанский король свои послания. Сурово, но достойно. Я, король...

— Но почему именно король?

— Чтобы принести цивилизацию на богом забытый континент! — Вдруг я увидел на лице полковника вспышку чувств, выражение зло-

[1] Я, король *(исп.)*.

сти и презрения, обычно прятавшееся за утонченной иронией и безмятежностью.— Эта страна, зажатая между бесчестным лицемерием Джефферсона и ядовитым эгоизмом Гамильтона, с самого начала никуда не годилась. Теперь, благодаря старине Джексону, она начинает меняться. Надеюсь, к лучшему.

Но уверяю тебя, та наша ранняя республика была создана не для того, кто хотел жить в добром мире, построить истинную цивилизацию и разделить ее с сонмом избранных душ,— а я стремился именно к этому в Мексике. Увы, мне не пришлось стать королем — хоть я чуть не стал президентом,— но все же я прожил счастливо, потому что мне удавалось делать на земле то, что я действительно люблю — воспитывать других, извлекать радость, развивая лучшее в мужчинах и женщинах, вдыхая в них жизнь, и хоть я не преуспел в создании королевства, я оставил на своем пути человеческие доминионы, доказал сомневающимся, что у женщин есть душа, и научил добрую сотню парней, как прожить жизнь самым достойным образом, без жалоб и бесчестья.

Долгое время после этой нехарактерной для него вспышки (наверное, от выпитого залпом большого бокала кларета) полковник молчал, глядя на угли на каминной решетке. Затем без лишних слов он приступил к ежедневной нашей работе.

Воспоминания Аарона Бэрра (18)

Семнадцатого января 1807 года я с радостью отдал себя в руки губернатора территории Миссисипи. Я говорю «с радостью» потому, что попади я под юрисдикцию Уилкинсона, я не дожил бы до разбора моего дела в суде. Губернатор Миссисипи пришел в глубокое замешательство, обнаружив, что армия, с которой я должен был захватить Новый Орлеан, насчитывала менее пятидесяти человек и не располагала никаким оружием, за исключением того, какое первопроходцы новых земель используют для охоты.

— Приношу мои извинения, полковник Бэрр, но боюсь, нас ввел в заблуждение диктатор Нового Орлеана.

Губернатор был со мной обходителен, а Уилкинсона презрительно называл не только «диктатором», но и «наемником». Очевидно, на Западе все знали, что Джейми на жалованье у Испании,— все, кроме меня.

Я поскакал в городишко Вашингтон, столицу территории Миссисипи, и меня освободил под залог в 5000 долларов некто судья Родней, отец министра юстиции в правительстве Джефферсона, больше разбиравшийся в собственных политических обязательствах, чем в своде законов.

Большое жюри должно было собраться лишь в феврале, и я вернулся к своей бедной армии и флотилии. Несколько недель я только и делал, что прятался, боясь, как бы агенты Уилкинсона не похитили меня. Он знал, что если я живым доберусь на Восток, его роль в нашем «заговоре» вылезет на свет божий.

В положенное время большое жюри нашло меня «невиновным в преступлении или проступке против Соединенных Штатов». Оно даже несколько уклонилось в сторону, осудив и Уилкинсона, и Джефферсона за небрежное отношение к закону, опасное для конституции.

Судья Родней был так огорчен выводами жюри, что отказался вернуть мне залог. Полагаю, это единственный случай в истории американской юриспруденции. Человек, признанный невиновным большим жюри, остается виновным в глазах судьи. Тем временем Уилкинсон отправил некоего доктора Кармайкла и двух лейтенантов на тер-

риторию Миссисипи, поручив им меня убить. Счастлив сообщить, что губернатор Миссисипи ужаснулся, узнав об их миссии, и успешно отговорил доктора Кармайкла от кровавого дела. Правда, двое военных остались верны своему командующему; но они были столь же бездарны, как он, а потому мне без труда удалось от них скрыться.

Я письменно сообщил суду, что явлюсь, как только понадоблюсь, и желательно под стражей; но сейчас предпочитаю скрываться, ибо моя жизнь в опасности. Освобождение под залог мгновенно (и незаконно) аннулировали, и губернатора убедили предложить 2000 долларов за поимку опасного преступника — Аарона Бэрра.

Рухнули все мои надежды. Я встретился со своей маленькой «армией». Предложил им уйти в уошитские земли. Отдал им свои лодки и все прочее имущество. На том мы и расстались.

Через несколько дней всех моих друзей арестовали; как вошло в обычай, незаконно. К счастью, всех скоро освободили — кроме Бленнерхассета и еще двоих. Замечу кстати, я по сей день получаю письма от моей бывшей преторианской гвардии. Большинство осело в Натчезе и окрестностях. Многие до сих пор мечтают о несбыточном.

Я скрылся с проводником в обширных сосновых лесах Миссисипи, переодевшись в бесформенные панталоны и куртку, сшитую из одеяла; мягкая шляпа с широкими полями была призвана скрыть мои, видимо, многим знакомые черты. Широкие кожаные ленты пересекали мою грудь, и с них свисали жестяная кружка слева и нож-скальпель справа. Признаюсь, тогда я горел желанием снять скальпы со многих макушек — начиная с макушки Джейми Уилкинсона.

Никогда в жизни не видывал я таких дождей, как тогда, в феврале, в миссисипском лесу. Одежда не просыхала. Если вдруг переставал дождь, мы промокали снова, переходя вброд разлившиеся, мутные ручьи; мы привыкли к змеям, плававшим рядом с нами, словно омерзительно скользкие ожившие ветки.

Ночью 18 февраля, заплутавшись, но двигаясь все же в верном направлении (к Пенсаколе в Испанской Флориде, откуда я надеялся отплыть в Англию), мы вышли к просеке, и она привела нас в роковую деревню Векфильд (с тех пор я не могу читать Голдсмита! [1]).

Я постучался в ближайшую хижину и спросил, где живет мой старый друг. Молодой человек, с которым я разговаривал, заявил позднее, что, несмотря на лохмотья и закутанное лицо, по блеску и красоте глаз он тотчас узнал дьявола во плоти — Аарона Бэрра; и он счел, что 2000 долларов награды у него в кармане. Боюсь, правда, меня выдали не одержимость во взоре, а несоответствие костюму нью-йоркских башмаков. Жители Запада первым делом смотрят на ружье, а потом на сапоги. На глаза там обращают мало внимания.

Моего друга не оказалось на месте. Жена его встретила нас приветливо и устроила на ночлег в кухне. Через час прибыл шериф, предупрежденный молодым человеком, что изменник Бэрр — в поселке. После коротких переговоров шериф не нашел целесообразным арестовывать будущего завоевателя Мексики. Он сам ненавидел донов. И мы втроем прекрасно переночевали на кухне.

Наутро шериф любезно предложил вывести нас за пределы округа. К несчастью, молодой человек оповестил местный гарнизон. В двух милях от Векфильда меня арестовали и доставили в форт Стоддерт.

Гарнизон был ко мне расположен, и хоть я опасался длинной руки Уилкинсона, я знал, что этих добродушных ребят мне нечего бояться.

---

[1] Оливер Голдсмит (1728—1774) — английский писатель, автор романа «Векфильдский священник».

Их командир признался мне: «Еще одна неделя, полковник, и они последуют за вами в Мексику».

В сопровождении восьми солдат меня отправили в Вашингтон.

Мы двигались со скоростью сорока миль в день, лошади скользили и падали в раскисшей красной глине, а громадные черные вороны глумились над нами. Мои конвоиры скоро поняли, что какого бы мнения ни придерживался на мой счет президент, я вряд ли изменник в глазах жителей Запада. После оваций в нескольких деревнях они сочли за благо избегать населенных пунктов, и мы ночевали в холодных сырых лесах.

По дороге мы получили указание следовать не в Вашингтон, а в Ричмонд, штат Виргиния, где я подлежал суду за измену. Решили, что моя предполагаемая измена зародилась на острове Бленнерхассета, а он относился к Виргинии. Переменив место судилища, Джефферсон, видимо, думал предрешить мою судьбу. Что ждало Аарона Бэрра на суде в столице родного штата президента?

Двадцать шестого марта 1807 года мы прибыли в таверну «Золотой орел» в Ричмонде, и меня заперли в спальне на втором этаже; сообразительный владелец таверны предусмотрительно приготовил для меня целый ворох газет Я ему премного благодарен, ибо смог узнать, что произошло в мире за время моего небытия. С особым интересом я прочитал, что 16 января Джон Рэндолф (уже не друг Джефферсона) потребовал, чтобы президент объяснил конгрессу свою прокламацию. К т о эти таинственные заговорщики, спрашивал он, и в чем существо заговора?

Двадцать второго января Джефферсон направил ответ конгрессу. Он назвал Аарона Бэрра «главным действующим лицом, чья вина не вызывает сомнений». Джефферсон решительно объявил, что я хотел расчленить Союз по Аллеганским горам, но обнаружив, что Запад не сочувствует моим планам, решил захватить Новый Орлеан, ограбить местные банки и скрыться в Мексике. Джефферсон никогда не напирал на доказательства. Он упомянул о письмах, полученных им и подтверждающих мою виновность, но не сказал, от кого они Он похвалил генерала Джеймса Уилкинсона («человека солдатской чести и гражданской верности») за арест целой группы заговорщиков.

Со временем я узнал, что через два дня после запроса Рэндолфа в палате представителей (и за четыре дня до ответа Джефферсона конгрессу) уилкинсоновская версия моего шифрованного письма попала на стол президента. Потому-то, наверное, он так опрометчиво и ответил конгрессу и вдобавок заявил, что я виновен «вне всяких сомнений». Один только Джон Адамс оценил это заявление по заслугам: «Пусть вина Бэрра ясна, как день, но глава исполнительной власти не должен объявлять об этом до разбирательства жюри».

Джефферсон пребывал в состоянии, близком к помешательству. На следующий день после своего послания конгрессу он дал указание партийному лидеру сената, Джайлсу из Виргинии, созвать секретное заседание сената с целью приостановить действие положения конституции habeas corpus [1], дабы держать Суортвута и доктора Боллмана в тюрьме. Несмотря на красноречивое выступление моего друга Бейярда против чудовищного нарушения конституции, сенат послушно приостановил действие habeas corpus.

Палата представителей оказалась не столь малодушной. Прежде всего она отказалась собраться на закрытое заседание. Затем собственный зять Джефферсона (который знал тестю цену) заявил, что «никогда за время существования американского правительства личная

[1] Закон о неприкосновенности личности *(лат.)*.

свобода не зависела от воли индивида». Палата отказалась приостановить действие habeas corpus. Тем не менее Суортвут и доктор Боллман оставались в военной тюрьме в Вашингтоне, на которую не распространялись положения конституции.

Так, комичнейшим образом, благородный демократ Джефферсон и испанский агент Уилкинсон стали сообщниками. Забыто было неповиновение Уилкинсона. Забыта его военная диктатура в Новом Орлеане. Когда губернатор Луизианы выразил протест президенту в связи с действиями Уилкинсона, автор Декларации Независимости ответил примечательным письмом, копия которого в моем распоряжении. «В исключительных обстоятельствах,— объявил сей ревнитель закона о подстрекательстве к мятежу,— каждый хороший офицер должен идти на риск и отступать от строгого следования закону, если того требует безопасность общества». Джефферсон далее признавал, что политические противники его правления «могут раздуть нарушение свобод (как, например, аресты со стороны военных и высылка граждан), но если это нарушение касается лишь таких преступников, как Суортвут, Боллман, Бэрр, Бленнерхассет и прочие, общество одобрит его». Иными словами, если общественное мнение не слишком возбуждено, можно смело отбросить конституцию и незаконно арестовывать своих противников. Будь это письмо своевременно опубликовано, оно явилось бы отличным поводом для отстранения президента от должности за нарушение клятвы хранить и защищать конституцию, за вступление в заговор с целью воспрепятствовать отправлению правосудия и извратить его.

Двадцать третьего января доктора Боллмана из военной тюрьмы под усиленной охраной доставили в кабинет государственного секретаря. Там он увидел Мэдисона и, к удивлению своему, президента.

«Я не видел прежде мистера Джефферсона,— рассказывал мне потом доктор Боллман,— и не был подготовлен к встрече с этим необычным человеком. Он держался чрезвычайно нервозно. Жаловался на головную боль и, пока шла беседа, все время тер глаза. Он ни разу не взглянул в мою сторону. Большую часть вопросов задавал мистер Мэдисон. В конце концов я сказал, что сообщу им все, что мне известно, о ваших планах, если они используют эти сведения лишь для собственного осведомления».

«Это разумно,— сказал Джефферсон.— Даю вам слово, я выполню это условие». И клянусь вам, оба, как заправские судебные протоколисты, принялись записывать мой рассказ о том, как вы собирались поднять революцию в Мексике.

«Но ведь наверняка,— сказал мистер Мэдисон,— у полковника Бэрра были планы насчет Нового Орлеана». Я сказал то, что всегда говорили вы: артиллерия в Новом Орлеане была французская, и потому вы собирались захватить ее без угрызений совести, как и любое иностранное судно, которое встретится по дороге в Вера-Крус. Оба писца были явно разочарованы.

Мистер Джефферсон спросил: «А что вы знаете о планах полковника Бэрра по поводу отделения Западных штатов?» Он перевернул страницу тетради, и рука его дрожала. Я сказал, что таких планов не было.

«Но мы ведь знаем,— сказал мистер Мэдисон,— полковник Бэрр предложил такой план испанскому посланнику». Я сказал им правду: то был трюк сенатора Дейтона с целью сбора средств, и кончился он неудачей.

«А что вы знаете о разговорах полковника Бэрра с британским посланником?» — спросил президент. Я наговорил им массу чепухи, выгораживая мистера Мерри: Англия, мол, хотела вам помочь в мек-

сиканской экспедиции. В конце я посоветовал президенту сослужить великую службу Соединенным Штатам: немедленно объявить войну Испании и разрешить вам продолжить свое дело. Он даже перо сломал. Потом мистер Мэдисон дал мне протокол моего рассказа на двадцати страницах, я все внимательно прочитал и подписал.

«Эти бумаги, доктор Боллман, никуда не уйдут из моих рук»,— сказал президент и отправил меня обратно в тюрьму.

Юрист и поэт Фрэнсис Скотт Кей распорядился освободить доктора Боллмана на основании habeas corpus. Но прежде чем его освободили, Джефферсон выдвинул против моих помощников обвинение в государственной измене, и они остались в тюрьме.

И тогда неустрашимый тори, пьяница, блистательный и несравненный Лютер Мартин (безусловно, лучший судебный адвокат нашего времени) встал на их защиту и подал в Верховный суд ходатайство об их освобождении.

Двадцать первого февраля 1807 года председатель Верховного суда Джон Маршалл огласил свое решение. Прочитав уилкинсоновскую версию моего шифрованного письма, как и остальные «показания со слов», собранные правительством, Маршалл был вынужден признать, что по конституции никто не совершил измены. К несчастью, в своей обычной болтливой манере он дал расплывчатое и опасное определение того, что такое измена. По распоряжению Верховного суда доктор Боллман и Суортвут вышли на свободу.

Джефферсону по-прежнему не везло (но на другую чашу весов я должен швырнуть мою собственную, куда более тяжкую и на редкость злую судьбу!). Спеша предать меня суду в родном штате, Джефферсон упустил из виду, что председательствующий выездного окружного суда в Ричмонде не кто иной, как его старый враг — председатель Верховного суда. Я полагаю, что Джефферсон упустил это из виду. Джон же Маршалл считал, что Ричмонд выбран умышленно.

«Он хотел меня уничтожить, как пытался уничтожить судью Чейза,— сказал Маршалл Лютеру Мартину через несколько лет после суда.— Он хотел сокрушить Верховный суд. Прояви я малейшее благоволение к Бэрру, оступись хоть разок в юриспруденции, и Джефферсон предал бы м е н я суду сената, а заодно и конституцию». К счастью, Маршалл не из тех, кто оступается. Ну, и я не из тех.

Мы с Верховным судьей встретились 30 марта 1807 года в баре таверны «Золотой орел».

Бар был буквально набит битком. Там, казалось, собрались все до единого адвокаты штата. Лучшие головы страны съехались меня защищать. Нечего говорить, что многие были федералистами. Волей-неволей я в один день стал символом оппозиции Джефферсону и его распустившей руки администрации.

Войдя в зал, я тотчас увидел высокую фигуру Верховного судьи. В запыленном костюме для верховой езды (он был еще неряшливей своего кузена — президента), с нечесаной темной гривой. Я же, напротив, надел новые панталоны из черного шелка, волосы напудрил и заплел в косу (мне удалось даже избавиться от блох, которые преданно сопровождали меня с Запада). Проходя сквозь толпу, я впервые за много месяцев снова почувствовал себя хозяином своей судьбы. Когда дело касается юриспруденции, мне никто не страшен.

Я поклонился Верховному судье, он ответил поклоном.

— Думаю, полковник, нам лучше уединиться.

К огорчению зрителей, мы скрылись в маленьком кабинете; я рассказал, почему уехал из Миссисипи.

Маршалл слушал меня мрачно, не перебивая. Я просил меня освободить. Прокурор Соединенных Штатов Джордж Хэй предложил то-

гда, чтобы я предстал перед большим жюри по обвинению в нарушении закона (заговор с целью развязать войну с Испанией) и в измене (заговор с целью развязать войну против Соединенных Штатов).

Меня освободили под залог в 2500 долларов и суд назначили на следующий день в капитолии штата (помпезное чудище в псевдогреческом стиле, спланированное, я уверен, самим Джефферсоном).

Утром я в сопровождении доброжелателей поднялся по ступенькам к классическому портику, откуда открывался вид на прекрасный, утопавший в первой весенней зелени Ричмонд.

Пробравшись между коз, щипавших траву у подножия лестницы капитолия, я вошел вслед за конвоиром в зал заседаний, напоминавший деревенскую церковь: ряды неудобных скамей и возле каждой — ящик с песком для сплевывания табачной жвачки.

Первый день Джордж Хэй зачитывал обвинительный акт. Он требовал заключить меня в тюрьму без права освобождения под залог.

Первого апреля Маршалл вынес свое определение. Он заявил, что заключенный может быть освобожден лишь в том случае, если выдвинутые против него обвинения окажутся «полностью безосновательными». По его мнению, мой случай не таков. С другой стороны, заявил он твердо, закон не допустит, чтобы «злобная рука карала всякого, на кого падет ее выбор, нельзя, обвинив кого-то в тайных преступлениях, держать его в заключении, пока он не докажет свою невиновность».

Маршалл не нашел тогда убедительных доказательств того, что я собирал войска с целью измены, освободил меня под залог в 10 000 долларов и постановил, чтобы меня привлекли к суду по обвинению в нарушении закона (заговор с целью развязывания войны с Испанией). Большое жюри собралось 22 мая.

Джефферсон взялся за подготовку обвинения. День за днем он посылал гонцов на Запад собирать (или фабриковать) доказательства и свидетелей. Следует заметить, что в частных беседах той поры Джефферсон не раз признавал, что планы мои явно касались Мексики. Публично же он по-прежнему прилагал все усилия, чтобы заклеймить меня как сепаратиста и, следовательно, изменника. Заклеймить? Нет, повесить!

Целых три недели до заседания большого жюри меня чествовал цвет ричмондского общества. Джефферсон не пользовался популярностью у местной знати. Простолюдины, однако, им восхищались, и я слышал, как красноречивый закройщик в таверне «Золотой орел» поднял тост за «петлю, которая спровадит Аарона Бэрра в республику пыли и праха».

Примерно через неделю после моего освобождения меня пригласил на обед мой главный защитник Джон Уикхем, очаровательный, общительный человек, прославившийся своими обедами, на которые собиралось все сообщество юристов Ричмонда.

«Вы будете почетным гостем»,— так значилось в приглашении, полученном мною в таверне «Золотой орел». Итак, в означенный вечер я направился в район Шоккс-хилл.

Войдя в гостиную, я немало изумился, узнав среди гостей Джона Маршалла. Он же если и встревожился при моем появлении, то вида не подал.

Мы поклонились друг другу, стоя в разных концах комнаты, и я поспешил разделить общество моих многочисленных защитников (я бы предпочел общество женщин, но они не появлялись на юридических обедах Уикхема). Кстати, в тот сезон дамам, а верней сказать, их обожателям, было раздолье. Мода так называемого стиля «ампир» захлестнула Америку, и даже самые благопристойные девицы (а так-

же, увы, перезрелые матроны) носили лифы, на две трети обнажавшие бюст. Неизвестно, что больше занимало республику летом 1807 года: мое предполагаемое предательство или повсеместное бесстыдное обнажение бюстов, несмотря на предупреждения о гневе Иеговы, несшиеся со всех амвонов.

После обеда я вдруг оказался рядом с Джоном Рэндолфом Громадные, глубоко запавшие глаза внимательно наблюдали за мной, и я, как всегда, отметил (невольно вздрогнув) удивительную нежность щек, как у мальчика или девочки, которые только и делают, что гуляют на воздухе.

— Несколько недель назад вы проехали мимо моего дома, полковник.

— Триумфальный въезд!

— Возможно Скоро узнаем.— Он бормотал мне в ухо резким неприятным голосом, а ведь в зале конгресса голос его звучит красиво и убедительно.— Мне крайне любопытно узнать как вы собирались разрушить Союз, располагая всего сотней молодцов.

— Их было сорок семь.

— Выходит, наполовину меньше, чем установлено особым следствием моего кузена Тома.

Ну и семейка — произвести на свет Рэндолфа, Маршалла и Джефферсона! Первый — психопат, второй — чудак, третий — страстный лицемер. Мало им общей крови и общего безумия — все они еще и ненавидели друг друга.

Двадцать второго мая 1807 года в 12 часов 30 минут дня выездная сессия суда Соединенных Штатов в округе Виргиния открылась в зале заседаний капитолия.

Похоже на театр, думал я, оглядываясь по сторонам. Зал ломился от публики, некоторые стояли снаружи у открытых окон (было такое жаркое лето, что даже я не мерз).

Передо мной теснились ричмондские щеголи, похожие на придворных покойного французского короля. Совсем рядом толпились жители пограничных районов и предгорий в енотовых шапках и кожаных куртках,— смачно сплевывая табачную жвачку, они нередко промахивались в тесноте и пачкали дорогие лондонские камзолы.

Я видел немало дружественных лиц. Часть — знакомые, но больше было незнакомых. Я заметил молодого исполина, который изо дня в день стоял у парадной двери. Он возвышался над залом как ангел мщенья. Через двадцать лет я встретил его в Олбэни, в доме Мартина Ван Бюрена. Это был генерал Уинфилд Скотт, в то время начинающий адвокат. Он обратился ко мне необычайно приветливо: «Знаете, полковник, я никогда еще не видывал, чтоб человек так держался на суде. Непроницаемо и непоколебимо, будто вас изваял Канова».

Пришел и Джон Рэндолф; пользуясь своими привилегиями, он сидел, низко надвинув плантаторскую шляпу, облокотившись на судейскую кафедру и щелкая бичом по длинной ноге.

Но больше всего утешало меня присутствие Эндрю Джексона Он стоял сзади и бросал гневные взгляды на всякого, кто свидетельствовал против меня.

Через несколько дней Джексона чуть не растерзали, когда он обратился с речью к антибэрровски настроенной толпе у бакалейной лавки возле капитолийского газона. Но он устоял и дал торжественную клятву, что я — жертва политического преследования и что любой, кто верит хоть единому слову Уилкинсона, отъявленный дурак, а сам Уилкинсон — лжец, ублюдок и на жалованье у испанского правительства. Моему бедному другу пришлось в Ричмонде несладко, и боюсь — как ни трудно теперь в это поверить,— толпа просто осмеяла

своего будущего кумира Эндрю Джексона. Я же благословлял его за то, что он способен на такую дружбу.

Огласили состав большого жюри. Мне удалось отвести джефферсоновского ставленника сенатора Джайлса. Но Джона Рэндолфа назначили старшиной присяжных, несмотря на его заявление, что он совершенно убежден в моей виновности.

Невзирая на отсутствие доказательств, правительство хотело привлечь меня к суду по обвинению в измене. Мелкое правонарушение их не устраивало. Тем более что при обвинении в измене невозможно освободить под залог, а они прикидывались, будто думают, что я готов скрыться от правосудия, лишь бы не встретиться лицом к лицу с их свидетелем Уилкинсоном. В конце концов Маршаллу пришлось потребовать от меня залог в 20 000 долларов.

Я начал свою защиту с того, что меня трижды судили на Западе по тому же самому обвинению и трижды признали невиновным. Я говорил о том, что военные власти незаконно арестовали меня. Я говорил о том, что Джефферсон заинтересован в моем осуждении. Я говорил о махинациях Уилкинсона. Думаю, что я произвел впечатление, но не столько на Маршалла, сколько на публику, заполнявшую зал, публику, устрашавшую меня запахом дешевого табака и едкого пота.

Некоторое время Джефферсон надеялся с помощью «признания» доктора Боллмана обвинить меня в том, что я затевал войну с Испанией. Хотя Джефферсон дал слово, что никому не передаст признания доктора Боллмана, он послал Хэю копию с заранее подписанным президентским помилованием. Если доктор Боллман разрешит использовать признание на суде, он будет освобожден. Доктор Боллман отверг президентское помилование на том разумном основании, что раз он ни в чем не виноват, его нельзя и помиловать. Он назвал президента подлецом, нарушившим слово. Отклик Джефферсона был скор. «Обвините Боллмана в измене или правонарушении»,— написал он Хэю.

По моему личному (и недоказуемому) мнению, Джефферсон тогда просто спятил. Я говорю это, проведя несколько месяцев в суде, понаблюдав за двумя его кузенами и наглядевшись не только на их бесчисленные странности, но и на редкое их сходство. Головные боли Джефферсона, взрывы раздражения и непомерные расходы на розыски и фабрикацию улик (Джефферсон н и к о г д а не тратил государственных денег) подтверждали в моих глазах тогдашнее его безумие. Не станет человек в здравом рассудке строить правительственное обвинение на основании свидетельства всем известного испанского агента — человека, которому нельзя было доверить и взвода, не то что всю злосчастную американскую армию.

Джефферсон вел себя, как женщина, решившая погубить мужчину — или, вернее, двух мужчин (Маршалл тоже был его мишенью) — за то, что ее отвергли. Поскольку дело против меня рушилось, взбешенный президент перенес огонь на конституцию. Он взвалил всю вину на «судебную власть, которая не зависит от государства». Угрожал изменить конституцию. Судей должно сменять, гремел он, по воле президента и конгресса.

К счастью, пока длинные летние дни все удлинялись, а три поколения адвокатов строили (или губили) свою карьеру, выступая на стороне правительства или же на моей стороне, осмотрительный Маршалл одну за другой обошел все ловушки, расставленные Джефферсоном.

Первые недели перестрелки мало что дали. До приезда Уилкинсона правительство не могло начать обвинение. А я тем временем решил развлечь жюри и, быть может, создать юридический прецедент.

Я зачитал жюри послание Джефферсона конгрессу, обратив вни-

мание на ту его часть, где он ссылается на разные письма о моей деятельности, которые он получил, и на приказы, которые в связи с этим отдавал армии и флоту.

— Ваша честь, я обратился к военно-морскому министру за копиями приказов. Он отказался их представить. Попытки получить копии писем, адресованных президенту, тоже не увенчались успехом. Но я не могу строить свою защиту, не ознакомясь с тем, что говорят мои обвинители. Я должен знать, какие приказы президент или его министры отдали армии и флоту касательно моей персоны. Поэтому, с позволения досточтимого суда, я должен потребовать вызова в суд duces tecum[1] президента Соединенных Штатов...— Я сделал паузу и с наслаждением услышал вздох, одновременно вырвавшийся из нескольких сот пропахших табаком глоток.— Чтобы достопочтенный Томас Джефферсон явился сюда и привез с собой документы, которые необходимы для моей защиты и для отправления правосудия.

Хэй вскочил с места и заговорил так быстро, что даже начал заикаться:

— Естественно, ваша честь, я сделаю, что в моих силах, чтобы получить документы; суд — и только суд — определит, существенны они или нет, но...

— Но, мистер Хэй,— пробормотал Верховный судья приглушенным голосом, который порой так напоминал шепоток его кузена-президента,— как же суд определит, что существенно, а что нет, если суд ни к чему не имеет доступа?

— Ваша честь, конечно, не может одобрить это... эту наглую... эту... гм... попытку вызвать главу исполнительной власти в суд.

— Суд считает вопрос спорным и обдумает проблему. Заседание откладывается до утра.

На другой день Хэй нашел благовидную уловку—что, мол, раз заседает не суд, а большое жюри, я лишен прав, предоставленных обвиняемому в обычном судебном процессе.

За ним выступил Лютер Мартин. Отхлебнув из глиняной фляжки глоток виски, он вышел на середину зала. Вид у него был, мягко выражаясь, неопрятный. Две ночи напролет он спал, не раздеваясь, на полу моей спальни в «Золотом орле»; я не пытался даже его растолкать. Я знал по опыту, что если Лютер Мартин решил спать на полу (или в чулане — у него была неестественная страсть к чуланам), противиться бесполезно. Но какой это блестящий юрист, пьян он или трезв — не важно!

Лютер Мартин, как и я, подозревал, что где-нибудь в военном министерстве, возможно, хранится приказ Уилкинсону с намеком на то, что моя смерть была бы чрезвычайно удобна неким заинтересованным лицам. Держа это в уме, он рассказал жюри о трудностях, с какими мы столкнулись, пытаясь получить правительственные документы. Странно, сказал он. Более чем странно.

— Весьма своеобразный случай, сэр.— Красные глазки устремились на Маршалла, затем снова обратились в сторону большого жюри.— Перед нами весьма своеобразное дело: ведь президент ни больше ни меньше как выразил заранее составленное суждение о моем подзащитном, объявив в своем послании конгрессу буквально следующее: «Его вина не вызывает никаких сомнений».— Лютер Мартин покачал головой, опечаленный низменностью человеческой природы и человеческим вероломством.

---

[1] Буквально: «Явиться, имея при себе» *(лат.)* — форма судебной повестки, обязывающая представить суду затребованные документы или иные доказательства под угрозой привлечения к уголовной ответственности.

Напряжение в зале достигло предела. Идола толпы, само божество — Джефферсона — вызывают в суд, как простого смертного. Более того: апостола прав человека осуждают не только за мстительность, но и за высказывание предвзятого мнения, то есть нарушение юридического процесса.

— Может показаться,— голос Лютера Мартина перешел в теноральный регистр — пиано перед бурей фортиссимо,— что президент приписывает себе всеведение высшего судии.— Постепенный переход от тенора к баритону.— Он объявил своего бывшего вице-президента изменником перед лицом страны, которая его наградила. И пошел на него войной, спустив с цепи судебных церберов.— Баритон превратился в гомерический бас и загремел на весь зал. Никто не шевельнулся.— И неужели же президент Соединенных Штатов, поднявший этот нелепый шум, хочет утаить нужные суду документы, когда на карту поставлена человеческая жизнь? — Вопрос, подобно роковой пуле, рикошетом ударил в зал, отразившись от сводов капитолия.— Лютер Мартин направил свой похожий на обрубок палец на Хэя, in loco presidentis [1], и вопросил: — Должны ли мы заключить, что президент о г о р ч и т с я, если невиновность полковника Бэрра будет установлена?

Буря негодования сторонников Джефферсона. Верховный судья пригрозил очистить помещение от публики.

Вопрос бурно дебатировался несколько дней. Можно ли вызвать президента в суд? Хэй сказал, что как президента его вызвать нельзя; но как частное лицо — можно. Не слишком вразумительное прояснение конституционного пейзажа. Он утверждал также, что «тайная переписка» исполнительной власти неприкосновенна и прочее.

Тринадцатого июня большому жюри огласили ответ Джефферсона. Он оставлял за президентом Соединенных Штатов право «решать, независимо от всех других властей, какие документы, поступающие к нему, как к президенту, могут быть обнародованы в интересах общества». То, что он сочтет допустимым, он, разумеется, предоставит суду. Он передаст нам копию письма Уилкинсона от 21 октября, но опустит те его части, которые сочтет несущественными. Что же до приказаний армии и флоту, то если мы сообщим, какие именно приказы мы хотели бы видеть, он сделает все от него зависящее, чтобы выполнить нашу просьбу. Милое положение: мы должны указать, какие именно военные приказы мы хотели бы видеть — не видев их!

Маршалл принял вызов. Вопрос простой. Можно ли вызвать президента в суд, и если да, то следует ли вызвать президента Джефферсона по этому делу? Маршалл решил вопрос деликатно. Да, объявил он ex cathedra [2], можно вызвать президента в суд. Ничто в тексте конституции не запрещает этого, да и никакое законодательство, «за исключением (и «монократ» [3] Маршалл внутренне порадовался) королевского». Но, не без удовольствия отметил Маршалл, президент все-таки не совсем король.

— Я обращаю ваше внимание на два существенных различия,— сказал Маршалл, не повышая тона, но все же громче обычного.— Король не может ошибаться, поэтому на него нельзя возложить вину и имя его нельзя упоминать в прениях сторон. А поскольку президент может ошибаться и поскольку имя его можно упоминать в прениях сторон, поскольку он не король, помазанник божий, то он, как и вся-

---

[1] Вместо президента *(лат.)*.

[2] С кафедры *(лат.)*. В переносном смысле: авторитетно, безапелляционно.

[3] Так сторонники Джефферсона называли приверженцев английской монархии.

кий человек, ответствен перед законом.— И Джон Маршалл вызвал президента Джефферсона в Ричмонд.

В зале едва не разразилась буря. Но лишь на следующий день мы начали постигать всю глубину проницательности Маршалла. Во-первых, он подтвердил право суда вызывать президента для дачи показаний. Далее, добавив, что суд будет вполне удовлетворен, если ему будут представлены оригинал письма Уилкинсона и относящиеся к делу документы, он ловко избежал конституционного кризиса. Если только они окажутся в руках суда, президенту не будет нужды совершать утомительное путешествие из Вашингтона в Ричмонд.

Мне рассказывали, что Джефферсон буквально взбесился, узнав об этом решении, и с обратной почтой приказал Джорджу Хэю арестовать Лютера Мартина за измену: поскольку он мой старый друг, он с самого начала наверняка был посвящен в мои планы и потому причастен к измене. Ни один президент никогда не вел себя подобным образом; и будем надеяться, что это больше не повторится. Нечего и говорить, что Лютер Мартин не был арестован.

Документы своим чередом были доставлены из Вашингтона, и конституционный кризис оказался исчерпанным. Джефферсон, однако, позволил себе еще немало горьких замечаний по поводу права суда вызывать свидетелем действующего президента. Особенно его вывело из себя язвительное замечание Маршалла о том, что «очевидно... обязанности президента как главы исполнительной власти не поглощают всего его времени и не носят постоянного характера». Этот намек на длительные отлучки Джефферсона из столицы вызвал ответный выкрик: «В Монтичелло я больше часов посвящаю служению обществу, чем здесь, в Вашингтоне!» Двоюродные братья знали, как задеть друг друга за живое.

Судьбе было угодно, чтобы в тот же день, когда Маршалл вызвал в суд Джефферсона, Джеймс Уилкинсон прибыл в до отказа переполненную таверну «Золотой орел». Да и весь Ричмонд был переполнен до отказа.

Я сидел в холле «Золотого орла», когда туда вошел Джейми, сияя золотым шитьем мундира, эполетами и раскрасневшимся от виски лицом. Он двигался как индюк, распустивший перья, выпятив грудь и живот. Его сопровождали помощники и «свидетели» с Запада.

Увидев меня в окружении «маленькой шайки», Джейми странно, словно бы примирительно взмахнул правой рукой, и в глазах его я уловил нечто вроде мольбы. Но его сразу провели в другую комнату.

Сэм Суортвут хотел вызвать его на дуэль.

— Чему это поможет? — сказал я.

— Но ведь сукин сын на два месяца бросил меня за решетку и украл мои золотые часы!

— Вызови его! — Эндрю Джексон был теперь всецело моим сторонником и открыто выражал это. Он мог себе это позволить: в письмах губернатору Клэберну и Джефферсону он так умно показал свою лояльность Союзу штатов, что сначала его даже хотели вызвать свидетелем обвинения, но Джексон стал на весь Ричмонд провозглашать мою невиновность и тут же сделался в глазах правительства досадной помехой, человеком, представлявшим опасность для слабого обвинения.

На другое утро, в воскресенье, когда Уилкинсон вышел подышать воздухом перед таверной, Сэм Суортвут подошел к нему вплотную и столкнул главнокомандующего в придорожную канаву. Адъютанты выхватили шпаги. Смущенные почитатели помогли западному Вашингтону подняться на ноги.

— Ваши секунданты найдут меня в «Золотом орле»,— сказал

Сэм.— Радуйтесь, что я обращаюсь с вами как с джентльменом, коим вы не являетесь.

Уилкинсон побагровел, но ничего не ответил. Сэм вернулся в таверну, из окна которой мы с генералом Джексоном наблюдали за этой сценой — увы! — не без удовольствия. Ибо почему бы не насладиться спектаклем, если мы все равно не в силах его предотвратить?

— Господи, теперь мне полегчало! — ликовал молодой Сэм.

Ликовал и Джексон:

— Я буду твоим секундантом, мальчик. Но сначала поупражняемся с пистолетами. Перед дуэлью это не вредно, правда, полковник? Даже если напротив вас такой мешок с кишками.

— Джейми не станет стреляться,— сказал я Суортвуту, основываясь на моем отличном знакомстве с двойным — нет, тройным агентом; я оказался прав. Даже когда Суортвут вывесил плакат, объявляющий Уилкинсона трусом, генерал не ответил. В отличие от многих знакомых мне негодяев, Джейми был трус.

В понедельник командующий явился в суд победителем. В конце концов, разве он не ставленник Джефферсона? И прибыл к тому же в родной штат президента!

Двигаясь к свидетельской трибуне, Джейми комически раскланивался на все стороны, шпоры позвякивали, кожаная портупея поскрипывала, как сбруя у перегруженной клячи.

Я делал вид, что не замечаю Джейми, пока не назвали его имя. Тогда я обернулся и быстро его оглядел. Вот и вся встреча.

Главное доказательство обвинения сводилось к моему шифрованному письму Уилкинсону. Лютер Мартин принялся допрашивать генерала по поводу письма. Почему он внес исправления в текст? Почему пытался стереть первую фразу, которая ясно свидетельствовала о том, что письмо полковника Бэрра — ответ на его собственное письмо? И почему он сказал, что его шифрованная переписка с полковником Бэрром началась в 1804 году, когда есть доказательства, что она началась еще в 1794 году? Уилкинсон запинался, противоречил себе, лгал под присягой.

Тут-то Джон Рэндолф и заключил, что генерал «негодяй до мозга костей», и огласил этот вывод в тот же вечер в переполненном баре «Золотого орла», да так, чтобы сам негодяй мог слышать.

Рэндолф, как старшина присяжных, тоже заинтересовался шифрованным письмом. Почему Уилкинсон внес в него исправления? Чтобы избежать подозрений в соучастии? Чтобы ввести в заблуждение президента? Скрыть, что генерал сам был главным действующим лицом в Испанском заговоре еще пятнадцать лет назад? Вдруг, резко повернувшись к верховному судье, Джон Рэндолф потребовал, чтобы генералу Джеймсу Уилкинсону предъявили обвинение в измене.

Обвинители растерялись. Уилкинсон бормотал что-то невразумительное. Большое жюри удалилось решить, предъявлять обвинение главному свидетелю правительства или нет. Легко представить себе состояние Джефферсона, когда он узнал, что семь членов большого жюри высказались за привлечение его генерала к суду, при девяти против. Весьма шаткое большинство.

Двадцать четвертого июня большое жюри признало Бленнерхассета (in absentia [1]) и меня виновными в нарушении закона, заключавшемся в подготовке экспедиции против испанской колонии, и в измене Соединенным Штатам. Я не удивился. В конце концов, большое жюри состояло почти полностью из сторонников Джефферсона. И все же, когда меня под охраной вели в ричмондскую муниципальную

[1] В его отсутствие *(лат.)*.

тюрьму, я поздравил себя хотя бы с тем, что единственный серьезный свидетель, которого мог найти против меня Джефферсон, сам едва не угодил вместе со мной за решетку — на казенные хлеба.

VI

Сэм Суортвут предложил мне встретиться с ним сегодня вечером в баре гостиницы «Сити».

— Чарли, тебе надо повидать кое-кого, кстати, там будет издатель, который хочет купить то, что ты написал.

— Сколько?

Суортвут заморгал.

— А сколько тебе платят другие?

— Две тысячи аванса и столько же по завершении.

Я был доволен собственной наглостью. Суортвут удивленно хмыкнул — от уважения ко мне, что ли?

— Значит, две тысячи ты уже получил?

— Мне их придется вернуть.

— Тогда проси пять и соглашайся на четыре.

— Я попрошу семь и уступлю за пять.— Голова моя кружилась от этих астрономических цифр: в Европе мы с Элен и с ребенком безбедно проживем на эти деньги лет пять.

В конце длинного пыльного коридора на втором этаже мы остановились у какой-то двери. Суортвут громко постучал. Дверь отворилась. Маленькая озабоченная физиономия встретила нас шепотом:

— Заходите, заходите. Вы опаздываете. Он чуть не ушел. Надо спешить.

Мы вошли в номер. Мужчина без камзола лежал на кровати, головой к изножью, а ноги торчали на изголовье с медными инкрустациями. В правой руке он сжимал большую оплетенную бутыль виски. Напротив, в кресле с высокой спинкой сидел еще кто-то с озабоченной физиономией. Когда мы вошли, он встал.

— Это издатель.— Суортвут кивнул на первую озабоченную физиономию.— Мистер Роберт Райт из Филадельфии.— Мы пожали друг другу руки.

— А вот этот джентльмен будет писать книгу.— Райт показал на второго озабоченного мужчину.— Он даже почти написал ее для нашего друга.— Райт нервозно глянул на распростертого мужчину, который тихонько напевал что-то про себя. Глаза у «нашего друга» под копной спутанных седеющих волос, кажется, были закрыты.

— Я определенно рассчитываю,— сказал джентльмен, который должен был писать книгу,— на ваше содействие.

— Разумеется.— Я ничего не мог понять.

— Вставай,— сказал Суортвут.— Садись. Я хочу познакомить тебя с моим другом Чарли Скайлером. Чарли, это полковник Дэйви Крокетт.

Так состоялось мое знакомство со знаменитым авантюристом-конгрессменом от штата Теннесси. Все считают его интересной личностью. Не понимаю почему. В прошлом году он напечатал так называемую историю своей жизни, которую я не собираюсь читать. Говорят, она очень смешная. Он звезда партии вигов, враг Джексона и Ван Бюрена.

— А теперь,— Райт выразительно посмотрел на опухшего от пьянства «писателя»,— мы пишем вторую книгу. Книгу весьма секретного свойства, можно сказать. Но не секрет от вас, мистер Скайлер, коль скоро вы, полагаю, знакомы с ее предметом...

— Лично я знаю только название. А это уже кое-что, правда, Сэм? — Полковник Крокетт лег повыше на подушку.— Моя книга будет называться «Жизнеописание Мартина Ван Бюрена, прямого наследника нынешнего правительства, очевидного преемника генерала Эндрю Джексона...»

— Как я понимаю, у вас есть для нас интересные материалы.

Истинный автор смотрел на рукопись, торчавшую из кармана моего пальто.

— Ну разумеется! — Суортвут изображал честного посредника.— Ему в самом деле удалось доказать, что Мэтти Ван не только сын Аарона Бэрра, но и его политический ставленник, секретарь, так сказать,— нет, хуже, гомункулус изменника Аарона Бэрра! — Сэм незаметно мне подмигнул: все смотрели на рукопись, которую я держал в руках.

— А доказательства? — спросил Райт и потянулся к бумагам.

— Исчерпывающие.— Я был весьма сух.— Видите ли, я биограф полковника.

— Я полага́л,— сказал Райт довольно резко,— что его биограф — Мэттью Ливингстон Дэвис.

— Мы оба его биографы. Однако мистер Дэвис должен ждать смерти полковника. Я же этим не связан.

— А можно мы... немного ее полистаем? — Рука мистера Райта зажила собственной жизнью. Не дожидаясь, пока я передам ему страницы он их схватил.

Около часа истинный автор и издатель читали друг другу то, что я написал, время от времени справляясь у меня или у Суортвута о подробностях, требуя дополнительных подтверждений.

— От нас не требуется педантичности,— уверил меня мистер Райт.— Стиль Дэйви Крокетта настолько фантастический, что мы можем сказать все, что придет в голову.

— Восхитительно Просто восхитительно.— Ясные глаза истинного автора выражали не только нормальную человеческую алчность, но и неожиданный для убежденного вига фанатизм.— Ваш материал, мистер Скайлер, изложенный в стиле Крокетта, уничтожит Ван Бюрена и как личность, и как государственного мужа.

Около часа мы торговались В конце концов я получил 5400 долларов, а мистер Райт — все что я написал, и еще кое какие документы (судебные протоколы из Олбани и т. д.). Очевидно, книга Крокетта уже написана, однако истинный автор говорит, что ему будет нетрудно вставить мою работу в текст. Мы пожали друг другу руки.

Я бежал домой под снегом, хлопьями валившим с неба. Пинком распахнул дверь и крикнул Элен:

— Мы богаты!

На что она ответила довольно спокойно:

— Да уж конечно, лучше быть богатыми.

— Как только родится ребенок мы уедем из Нью Йорка. Поедем в Испанию. В Гранаду, в Альгамбру!

Элен улыбалась счастливой улыбкой, не понимая ни слова.

Сегодня самый чудесный день в моей жизни. Я богат (хотя мне надо выплатить 500 долларов, полученных от Гауэра). Теперь я могу жениться на Элен. И уехать из Нью-Йорка. А всего лучше то, что я вряд ли задену полковника Бэрра. Он никогда не свяжет меня с Дэйви Крокеттом, и, учитывая стиль Крокетта, насколько я могу о нем судить, никто не воспримет всерьез ни слова, опубликованного под именем пьяного олуха. Мои беды позади.

VII

Сегодня утром впервые в этом месяце я направился в контору на Рид-стрит.

У Крафта появился новый партнер, он взял еще одного клерка (на мое место); с удивительной теплотой он принимал меня в бывшем кабинете полковника, заново обставленном, украшенном вазами с весенними цветами.

— Это все моя дочь.— Он словно оправдывался за цветы.— В июне выходит замуж.

Я поздравил его и тут же выпалил:

— Я тоже женюсь.— Никогда не могу удержаться и не сказать то, что у меня на уме; точнее, то, о чем я думаю в данную минуту.

— Добрые вести. Мы имеем честь знать юную особу?

— Нет. Она недавно приехала в Нью-Йорк из Коннектикута и остановилась у своей тетушки на Томас-стрит.

— Я прочитал немало ваших вещей в «Ивнинг пост». Вы ведь «Старожил», так?

Но я не дал ему развить эту тему. Я пришел по делу (собрать частные бумаги полковника Бэрра) и вскоре удалился.

Я нашел полковника у оконца в задней стенке. Жидкое апрельское солнце поблескивало на его лице.

Я вручил ему пачку документов. Он положил их на пол возле кресла.

— Продолжим суд века! — Бэрр взял в руки толстенный том.— Вот précis[1] моего процесса. Подлинная стенограмма на тысячу сто страниц. Почитай, когда нападет меланхолия. А пока я в сжатой форме изложу тебе главное. Разумеется, в благоприятном для себя свете!

Воспоминания Аарона Бэрра (19)

По поводу измены конституция недвусмысленно гласит: два лица должны засвидетельствовать, что изменник поднимал войну против Соединенных Штатов или же присоединился к их врагам, помогая или сочувствуя им. Поскольку тем местом, где я якобы собирал «армию» бунтовщиков в декабре 1806 года, был остров Бленнерхассета, Джефферсону приходилось еще доказать, что я действительно совершил то преступление, в котором он обвинил меня в послании конгрессу.

Однако факты не отличались убедительностью. Обвинение сумело лишь доказать, что тридцать человек, связанных со мною, остановились на острове, спускаясь вниз по реке Огайо. Они не были вооружены. Не совершали насилия (в отличие от местной милиции). Никому не угрожали. Говорили, что направляются в уошитские земли. Но поскольку генерал Уилкинсон утверждал, что эти невооруженные люди намеревались захватить Новый Орлеан и поднять революцию в Мексике, их — на основе косвенных улик — обвинили в развязывании войны против Соединенных Штатов, а меня сочли ответственным за их действия и тоже — на основе косвенных улик — обвинили в измене.

Надо ли говорить, что самое понятие п р е д п о л а г а е м о й и з м е н ы противоречит конституции — это известно любому юристу в Соединенных Штатах, кроме Джефферсона. Но он шел напролом. Хотя он собрал против меня почти пятьдесят свидетелей (больше половины оказались лжесвидетелями), никаких доказательств, что я развязал войну против Соединенных Штатов или советовал тридцати

[1] Краткое изложение *(франц.)*.

гражданам на острове Бленнерхассета развязать такую войну,— не было.

Во время судебного процесса губернатор Виргинии любезно предоставил мне три комнаты в новой тюрьме подле Ричмонда. Никогда еще обо мне так не заботились. Тюремщик принял меня весьма приветливо и выразил надежду, что мне будет удобно.

— Безусловно,— сказал я галантно.

— Надеюсь, сэр, вам не будет неприятно, если я буду запирать на ночь дверь? — Он показал на дверь, ведущую в мои апартаменты.

— Никоим образом, сэр. Я даже в этом заинтересован — чтобы уберечься от непрошеных гостей.

— Наш обычай, сэр, в девять часов тушить всюду огни.

— Боюсь, сэр, это невозможно. Я никогда не ложусь до двенадцати, и у меня всегда горят две свечи.— Я не добавил, что ложусь спать всегда с сожалением, пересиливая себя.

— Как угодно, сэр. Лучше бы по-другому...— Он вздохнул.— Но как угодно, сэр.

Мы стали отменными друзьями, особенно после того, как я поделился с ним дарами, которые ежечасно доставляли мне слуги в ливреях,— апельсины, лимоны, ананасы, малину, абрикосы, пирожные и даже лед, предмет роскоши в тропической зоне.

Второго августа приехала Теодосия с супругом, они поселились в доме Лютера Мартина.

Правительство склонялось к мысли, что мой зять будет свидетельствовать против меня. Но мы сорвали этот замысел. В день открытия суда, третьего августа, мы с Элстоном вошли в зал под руку.

У нас ушла целая неделя на отбор присяжных. Как выяснилось, каждый предполагаемый член жюри придерживался мнения, что я виновен. Мы бы до сих пор торчали в Ричмонде, не постанови Маршалл, что мнение о виновности подсудимого, если оно *случайно*, а не *навязано*,— еще не основание для отклонения кандидатуры присяжного.

В конце концов я предложил, если обвинение не возражает, выбрать наудачу восемь человек из предложенного списка. Хэй удивился и согласился. Так или иначе весь состав присяжных считал меня виновным — и, как выяснилось, ни один из них не пришел к этому мнению случайно. Я знал, что спасти меня может только закон, на присяжных рассчитывать не приходилось.

После Уилкинсона самым важным свидетелем правительства был Уильям Итон, авантюрист, называвший себя «генералом».

Я встречал Итона в Вашингтоне, рассказал ему что-то о своих планах в отношении Мексики. Он заинтересовался, но этим все и кончилось. А теперь вдруг он начал рассказывать неслыханные небылицы. Что я собирался захватить столицу, убить президента и так далее.

Во время судебного заседания я спросил Итона о его иске к Соединенным Штатам. Заплатили ему? Он попытался уклониться от ответа. Наконец нехотя признался, что вскоре после моего ареста правительство вдруг оценило справедливость его претензий и он получил около десяти тысяч долларов.

Давала показания и семья Морганов. Их отчет о разговорах со мной не отличался полнотой и последовательностью. Тем не менее Джефферсон и их не забыл, и позаботился о том, чтобы правительство признало их права на спорные земли в Индиане.

Моему начальнику штаба, доброму французу полковнику Де Пестру тайно предложили повышение в американской армии, если он согласится дать против меня показания. Он отказался.

Наконец, Маршалл спросил Хэя, есть ли у него еще «доказатель-

ства» того, что Бэрр находился на острове Бленнерхассета в знаменательный день десятого декабря, когда была начата «война» против Соединенных Штатов. Хэй ответил отрицательно.

Тогда Джон Уикхем предложил прекратить допрос свидетелей. Далее, в течение двух дней, он завораживал суд, снова и снова утверждая тот факт, что человек не мог совершить измену, если он отсутствовал, когда против Соединенных Штатов были предприняты военные действия. Весьма существенный аргумент в мою защиту. Ведь меня просто-напросто не было десятого декабря на острове Бленнерхассета. Но конституционный спор важней моей шеи (хотя лично я, пожалуй, придерживался иного мнения).

Уикхем сосредоточился на старой посылке о «виновности на основании косвенных улик». В чистейшем виде это означает, что всякий, сочувствовавший потенциальному изменнику, виновен в той же мере, как и сам изменник, даже если он находился за много миль от того места, где затевалась война.

Тут следовало быть особенно осторожным, ибо Джон Маршалл ранее уже допустил ошибку, вынося постановление по делу Боллмана — Суортвута. Хотя Маршалл не обнаружил никаких доказательств, никаких военных действий, спровоцированных на острове Бленнерхассета, тем не менее он объявил — вне сомнения, желая произвести на Джефферсона впечатление беспристрастного судьи,— что «если военные действия были открыты, то есть, если группа людей действительно собиралась для осуществления предательских планов, то каждый, кто принимал пусть мимолетное участие в общем заговоре, как бы далеко он ни находился от места событий, должен рассматриваться как изменник».

Мне рассказывали, что до конца дней Маршалл жалел об этой чудовищной ошибке, вызывающей в памяти средневековую Звездную палату [1]. Вскоре ему самому пришлось признать, что если столь широкую сеть забросить в море, в ней запутается каждый, кто имел несчастье когда-то сказать «бог в помощь» человеку, развязавшему потом войну против Соединенных Штатов.

Обвинение не торопилось использовать оружие, которое вложил в его руки Джон Маршалл. Они настолько сосредоточились на доказательстве моего пребывания десятого декабря на острове Бленнерхассета, что, когда я с легкостью доказал свое алиби, этот провал произвел на жюри большее впечатление, чем он того заслуживал.

В субботу и воскресенье Джон Маршалл готовил свое судебное постановление. Тридцать первого августа он читал его нам три часа. С юридической и конституционной точки зрения постановление во многих отношениях было слабым и противоречивым.

Чтобы доказать измену, правительство, как известно, обязано, во-первых, доказать, что война против Соединенных Штатов действительно была развязана, и, во-вторых, доказать, что данное лицо было вовлечено в этот акт. Иными словами, дело поставили с ног на голову; выходит, правительство арестовало Аарона Бэрра за соучастие в акте войны, который еще требовалось доказать. Далее, правительство полагало, что Бэрр находился на месте, когда была развязана еще не доказанная война. С этим Маршалл разделался проворно: суд установил, что Бэрр находился в другом месте.

Затем Маршалл взялся за главный пункт обвинения: подстрекал ли Бэрр к измене других? И если да, то виновен ли он в измене? Теперь Маршалл со слоновьей грацией удалялся от своей ранее занятой по-

[1] Тайный верховный суд в Англии, упраздненный в 1641 г.

зиции. Он указал, что Бэрру предъявили обвинение в развязывании войны против Соединенных Штатов в определенный день и в определенном месте. Однако в тот день Бэрра не было в том месте.

Более того, он все еще не убежден, что целью «скрытого и тайного сборища» на острове Бленнерхассета была война, но если даже такое намерение существовало, отсутствие Аарона Бэрра исключает его соучастие и советы, которые он мог давать втайне собравшимся там людям, не могут, согласно конституции, рассматриваться как акт войны против Соединенных Штатов.

То был крах правительственного обвинения. Джордж Хэй швырнул бумаги на стол, и его демонстративный жест был замечен Маршаллом, который продолжал наисладчайшим тоном:

«Конечно, суд не превысил своих полномочий.— В зале стояла гробовая тишина. Все знали, что теперь гнев Джефферсона обратится на верховного судью. Как ответит верховный судья? Джон Маршалл не уклонился: — В то же время суд не ушел и от ответственности». С прямотой, достойной Мартина Лютера, он разъяснил, какую занимает позицию и почему он с нее не сойдет, несмотря на угрозу отстранения от должности и гонений на Верховный суд со стороны Джефферсона. На этой последней ноте присяжные удалились выполнять свой долг.

На другой день, во вторник, жюри постановило, что «вина Бэрра, изложенная в обвинении не доказана свидетельствами, представленными суду». Я почувствовал облегчение и... разъярился. Меня не повесят, но меня и не оправдали. Жюри нарушило традицию, уклонившись от однозначного ответа: «виновен» или «невиновен». Маршалл счел возможным сохранить формулировку жюри в приговоре, подчеркнув, однако, что в судебный протокол войдет обычное и недвусмысленное «невиновен».

На другой день меня отпустили из тюрьмы под залог и пригласили на обед, данный Джоном Уикхемом в честь нашей победы.

VIII

Полковник вдруг умолк.

— Больше не могу.

Я положил перо.

— Вы нездоровы?

Он покачал головой.

— Нет. Устал.

— Вы перетрудились.— Я принялся пространно извиняться.

Но полковник меня не слушал. Он смотрел на портрет Теодосии. И наконец заговорил:

— В общем-то осталось не так уж много рассказывать. Мы пробыли в Ричмонде еще два месяца, меня признали невиновным в попытке вторжения в Мексику. Однако Маршалл все больше и больше пугался собственной смелости. Почти каждый вечер происходил обряд сожжения наших чучел — я к такой чести привык, но верховного судью это выводило из равновесия: он не без основания опасался умения Джефферсона баламутить толпу. И Маршалл вынес постановление, чтобы за попытку развязать войну против Мексики меня судили в Огайо. То была позорная капитуляция перед Джефферсоном и общественным мнением. К счастью, штат Огайо не возбудил против меня дела, я был свободен, но знал, что за мной следят.

Я поехал с Лютером Мартином к нему в Балтимор, но толпа вынудила меня уехать оттуда. Я отправился в Филадельфию и попытался

вновь устроить свою жизнь. Я еще уповал на Мексику — надеялся чего-то достичь там с помощью Англии или Франции. Оставался и Техас. Я там рассчитывал на поддержку...

Долгая пауза. Элегическая невнятица сменилась сухим изложением фактов.

— Под именем Х. Э. Эдвардса в июне тысяча восемьсот восьмого года я отплыл в Европу. В середине июля оказался в Лондоне и как раз вовремя узнал, что брат Наполеона, Жозеф — да, наш сосед по Нью-Джерси, который ел у мадам на кухне свинину с капустой,— стал королем Испании и, разумеется, Мексики. Так окончилось мое мексиканское предприятие. Король Жозеф не стал бы помогать мне членить новоприобретенную империю. И Англия не собиралась посягать на империю прежнего монарха, от имени которого она вторглась в Испанию, чтобы изгнать оттуда Бонапартов...

Снова длинная пауза. Затем:

— Четыре года я кое-как перебивался. Англичане не позволили мне остаться у них, я уехал в Швецию. Народ там теплый, но климат — суровый. Я переехал в Германию, посетил многочисленные княжеские дворы. Франция сначала не хотела меня пускать. Когда же меня, наконец, впустили, то отказались выпустить. За мной следили денно и нощно. Меня так и не представили императору, а ведь я носился с планами, которые могли его заинтересовать.

Вошел слуга с газетами. Видя, что полковник в изнеможении, он укоризненно посмотрел на меня.

— Губернатору надо поспать,— сказал он (он неизменно величает полковника «губернатором» — привычка, оставшаяся от службы у губернатора Клинтона).

Я ушел от полковника, напичканный рассказами о судебном процессе.

IX

Сегодня первое июня 1835 года. Надо сразу записать, а то потом не получится.

Начну снова.

Неделю назад съезд демократов в Балтиморе выдвинул Мартина Ван Бюрена и Джонсона кандидатами на пост президента и вице-президента. Ван Бюрен сказал, что не стремился к этой чести.

X

9 июля 1835 года

В то утро мы сидели с Леггетом у него в кабинете.

— Пьянство. Вот твоя очередная тема.— Леггет закинул ноги на письменный стол Брайанта. Книга Вашингтона Ирвинга все лежит на том же месте, непрочитанная. Леггет выглядит страшнее смерти, но делает вид, будто совершенно здоров. Он вручил мне пачку памфлетов.— В Соединенных Штатах, вероятно, полмиллиона безнадежных пьяниц. Следствие греховности, утверждает современный виноторговец, а уж кому знать, как не ему. Но, по-моему, это результат нашей нездоровой жизни в городах.

Леггет снял ноги со стола.

— Как Элен? — спросил он.

— Здорова.

— А настроение?

— Получше.— Это правда. Но характер у нее сильно изменился. Раньше она предпочитала скрываться дома, теперь же требует, чтобы мы все время выходили, встречались с людьми, развлекались. Мне, по правде говоря, не нравится такая перемена. Я работаю целый день до глубокой ночи. Когда не пишу, то читаю, и до недавнего времени думал, что она довольна нашим молчаливым сообществом: каждый занят своим делом. Но теперь молчание выводит ее из себя. Она не находит себе места. Жалуется. Когда же наконец мы с ней уедем из Нью-Йорка?

Я спросил Леггета про консульство. До сегодняшнего дня я никому об этом не говорил. Мне и сейчас не хочется искушать судьбу. Суеверие.

— Машина крутится. Ван Бюрен знает, что́ ты сделал, и благодарен тебе за героическую сдержанность.

— Его точно выберут?

— Не сомневаюсь. Как и в том, что нам скоро выбьют последнюю раму.— Леггет спросил меня про издателя Реджинальда Гауэра и про «гадкого Мэтта Дэвиса».

Я рассказал, что выплатил Гауэру все сполна.

— Кажется, оба они изрядно удивились.— Гауэр еще и разозлился, а Дэвис затаил — и неспроста — недоверие. Опасаясь, что тут не обошлось без интриг, он посоветовал Гауэру заплатить мне немного больше условленного, но я ответил, что просто не могу предать полковника, злоупотребить его доверием, и тогда Гауэр сказал, что, несмотря на мою щепетильность, он черта с два заплатит мне хоть на пенни больше, чем мы условились. А Дэвис сказал, что это трагическая потеря ценного «материала» и неужели же я не хочу защитить Соединенные Штаты от Ван Бюрена? А я сказал — и ведь истинную правду,— что мне плевать, кто б у д е т президентом, и тогда они потеряли ко мне всякий интерес, облив холодным презрением.

Я ушел от Леггета, унося с собой дюжину обвинительных заключений против виски.

На Бродвее я неожиданно столкнулся с Уильямом де ла Туш Клэнси.

В окне книжной лавки объявление: новая книга полковника Крокетта поступит в продажу летом. Название пока не сообщается.

XI

Холодный для июля день. Сегодня, впервые за несколько недель, я посетил полковника (утренние газеты с длинными некрологами по поводу кончины Джона Маршалла пробудили у меня угрызения совести).

— К счастью, я в состоянии пережить печальную новость.— Полковник улыбнулся лукавой, в общем уже беззубой улыбкой. Кроме прекрасных глаз, от легендарной ангелоподобной смуглой красоты Бэрра ничего не осталось.

— Итак, в живых теперь только мы с Джемми Мэдисоном. Кто, по-твоему, скорей удалится в вечность? Генерал Джексон считает, что тут не угадаешь — как на скачках, но сам бедный старик, вероятно, обойдет нас обоих, несмотря на...— Полковник взял в руку флаконч ик патентованного лекарства с наклейкой «Несравненное снадобье».— Это восхитительное укрепляющее средство. Когда я встретился с президентом в Нью-Йорке, он не раз говорил мне, что обязан своим здоровьем только сему лекарству. Поскольку я никогда еще не видел человека в худшем здравии, на меня его заверения не действо-

вали. Но потом я подумал: ведь у Джексона пуля застряла около сердца, он страдает от десятка недугов; может, и в самом деле жив только благодаря «несравненному снадобью»? Теперь я принимаю его каждый день, строго следуя инструкции на этикетке. И должен сказать, оно действует на меня освежающе: полагаю, это смесь опиума и яблочного бренди.

Я сказал полковнику, что Леггет прочитал его воспоминания и хотел бы с ним поговорить.

— А что? Что еще мне остается, как не рассуждать о прошлом?

Внезапную вспышку горечи прервал слуга, торжественно объявив:

— Конгрессмен Верпланк к губернатору.

И тут явился сам Верпланк, тяжелый, старый, подагрический.

Верпланк пытается уговорить конгресс выплатить полковнику Бэрру компенсацию за его расходы во время Революции. Он оптимист. Это полковник заражает оптимизмом всех вокруг.

XII

27 августа 1835 года

Пишу дату...

Нет, начну еще раз. С самого начала.

Вчера утром Леггет пригласил меня в парк, где антиаболиционисты решили устроить митинг под председательством мэра. В последние дни по всей стране прокатилась волна бунтов — это все безумцы из Новой Англии и Нью-Йорка. Они требуют немедленного освобождения рабов и вызывают бешенство у белого большинства, которое поддерживает рабство и ненавидит чернокожих. Аболиционисты не успокоятся, пока не разрушат Соединенные Штаты. Да, я теперь антиаболиционист.

В общем, жуткое лето, холодное, ветреное, странное... убийственное для всех. И для меня.

Мы встретились с Леггетом в условленном месте: у кирпичных обломков недавно рухнувшей стены перед недостроенной гостиницей Астора.

Митинг в парке муниципалитета, конечно, оказался скучным. Ораторы один за другим осуждали аболиционистов, ибо рабы — это собственность, а собственность священна. Весьма превозносили недавний приказ президента Джексона почтовым служащим: уничтожать всякую аболиционистскую литературу, какую они сочтут подстрекательской.

Элен разочарована: митинг прошел без драки.

— Хорошо, что шляпа цела, но все же стычка не помешала бы. Ну, я пошла домой.

Я удивился. Она ведь хотела провести вечер в обществе.

— Нет, нет,— решительно заявила она.— А вы ступайте.

Я настоял на своем и проводил Элен до нашей улицы. Я расстроился, что она (нет, надо быть предельно точным)... я обрадовался, что она идет домой (да-да, только себя мне надо клясть за глупость), что мы с Леггетом погуляем как когда-то, в былые денечки.

Возле рынка Элен пожелала нам спокойной ночи. Она пошла к дому, и шляпка на ее голове колыхалась трогательно и нелепо. У двери она остановилась, помахала нам на прощанье. Скрылась в подъезде, а мы с Леггетом наняли экипаж и отправились в Воксхолл-гарденс.

Я выпил чересчур много пива и вернулся домой в полночь. Осторожно, стараясь не шуметь, зажег свечку; разделся в прихожей, пробрался в спальню и нырнул в постель — пустую и холодную.

Элен оставила записку, она приколола ее, как медаль, к груди манекена. «Я ухожу. Не ищи меня. Завтра принесут молоко, я задолжала разносчику за две недели, заплати, я все забываю расплатиться и хочу сказать, что я прошу меня простить. Элен Джьюет».

Я гляжу на записку и думаю о том, к чему относится «прошу простить». За что? Что уходит? Или что забыла расплатиться за молоко?

XIII

Мадам Таунсенд была откровенна.

— Да, Элен здесь. И не хочет вас видеть.

Комната, нет, молельня мадам Таунсенд уставлена вазами с осенними листьями.

— Мне бы хоть поговорить с ней, сказать, что...

— Мистер Скайлер, ваше поведение неэтично.— Словно зубилом по мрамору высекалась моя эпитафия, мой приговор.— Вы явились сюда, я думала, с добрыми намерениями, я доверчиво ввела вас в нашу семью — так мы себя называем на Томас-стрит,— да, в семью. Вы вошли ко мне в доверие, я пускала вас в эту комнату, и мы столько раз вдохновенно беседовали. И вот т е п е р ь...

Мадам Таунсенд решительно подвернула фитиль лампы: на меня — ни лишней капли масла.

— Вы крадете у меня простую девушку, счастливую девушку, счастливую, несмотря на обычные неурядицы семейной жизни. Я же рассчитала вороватую негритянку, против которой возражала Элен, а это из-за нее — и только из-за нее, если вы в состоянии примириться с правдой,— она ушла к вам из моей обители. Забудьте ее, мистер Скайлер. Вы ничего не можете ей предложить.

— Я хочу на ней жениться.

Мадам Таунсенд потянулась к библии и прижала ее к животу, словно загораживаясь от злого духа.

— Я повторяю, сэр, вы ведете себя неэтично. Элен это понимает. Вы — нет.

— Это в ы не понимаете. Нам было хорошо.

— Вряд ли. Ведь она приходила ко мне...

— До вчерашнего вечера?

— Она приходила не реже раза в неделю.— Торжество, написанное на лице мадам Таунсенд, вдруг открыло мне, что такое жажда убийства, когда убийца сжимает шею пальцами, пока жизнь не покинет тело.— О, она держала эти встречи в тайне от вас. Она ужасно боялась, что вы узнаете.

— Элен приходила с ю д а?

— Я принимаю не в муниципалитете.

— Она приходила сюда и встречалась с мужчинами?

Холодное, как снег, лицо мадам Таунсенд стало ледяным.

— Вам не пристало задавать мне такой вопрос, а мне — отвечать. И все же скажу: она приходила сюда выплакаться, рассказать, как она несчастна, какая у нее странная с вами жизнь.

— Я вам не верю! — Хотя в такие минуты начинаешь верить в самое худшее.— Она хотела стать матерью, моей женой...

— Но не стала ни тем, ни другим. Думаю, вам лучше уйти, мистер Скайлер.

— Но ведь не собирается она кончить жизнь шлюхой?

Мадам Таунсенд позвонила в обеденный колокольчик, висевший возле ее кресла.

— Вы невежливы, сэр. Миссис О'Мэлли вас проводит.

Из главной залы появилась миссис О'Мэлли.

— В какую комнату проводить, мэ-эм?

— Он в ы й д е т через парадную дверь, миссис О'Мэлли, и если у него еще остался здравый смысл, пойдет в церковь.

— Вот до чего дошло?! — Миссис О'Мэлли глянула на меня как на прокаженного.

Я вышел на Томас-стрит и ни разу не оглянулся, боясь увидеть в окне смеющуюся надо мной Элен. Нет, она не смеется над такими вещами, но и не плачет. Просто досадует.

Подобно Пигмалиону, я больше года создавал мою Элен Джьюет, и вот она ушла и стала прежней Элен Джьюет.

Чем же я ее обидел?

XIV

20 ноября 1835 года

Думаю, сегодня Уильям Леггет стал самым ненавистным человеком в Нью-Йорке; конечно же, он и самый отважный. Этой осенью я провел немало времени в его обществе, и хоть моя неприязнь к политике не исчезла, я получал удовольствие, наблюдая, как он будоражит Таммани-холл [1]. Члены его, на первый взгляд,— сторонники Джексона, но поскольку многие «воины» тайно субсидируются Банком, они по существу виги — в том числе и Мэттью Дэвис и Мордекай Ной.

Несколько недель назад я пошел с Леггетом на собрание в вигвам Таммани. Мы вошли в переполненный зал, когда Мордекай Ной громил иммигрантов.

— Они разрушат нашу демократию! — кричал он.— Надо ввести более жесткие ограничения в системе выборов. Затруднить участие в выборах подонкам, католическим подонкам...— страшное слово было произнесено, и зал замер,— которые теперь тысячами высаживаются на наших берегах и привозят с собой католическую заразу: поверьте моему слову, католицизм и деспотизм — это одно и то же! — Крики одобрения; овацией руководил Мэттью Дэвис.

Леггет плюхнулся в кресло рядом со мной.

— Неслыханно! — пробормотал он.

Затем заговорил Дэвис — об организации, именовавшейся Демократической ассоциацией коренных американцев.

— С июля наша ассоциация заручилась значительной поддержкой в городе, и мы рассчитываем на вашу поддержку — общества святого Таммани. Наша газета «Дух семьдесят шестого»...

Леггет вскочил.

— Мистер Дэвис, а ваша Демократическая ассоциация собирается поддерживать кандидата от демократов мистера Ван Бюрена? Или эта тайная корпорация вигов хочет отнять голоса у подлинно демократической партии? — По залу прокатилось шиканье.

Дэвис говорил необычайно спокойно (он умеет лгать с честнейшим видом):

---

[1] Таммани-холл — политическая организация демократической партии в Нью-Йорке, основанная в 1789 году как благотворительное общество-братство. Названо по имени вождя индейского племени в Делавэре, которого потом стали в шутку называть святым, покровителем Соединенных Штатов. В ранние годы в обществе соблюдался своеобразный индейский ритуал, помещение общества называлось вигвамом, его руководители — вождями, члены — воинами и т. д. В наши дни название общества служит синонимом политической коррупции заправилы Таммани-холла еще с прошлого века хозяйничали в политической жизни и муниципалитете Нью-Йорка и прославились главным образом бесстыдным воровством и взяточничеством.

— Наша ассоциация существует только для сохранения коренных американских институтов. Разумеется, никто из присутствующих не хочет, чтобы среди наших избирателей доминировали нищие иностранцы, слепо послушные честолюбивому духовенству, вознамерившемуся превратить нашу страну в нечто вроде европейского католического государства.— Раздалось несколько осуждающих голосов, но антикатолицизм — популярный лозунг, и виги эксплуатируют его при каждом удобном случае. Я отлично понимаю его привлекательность. Не люблю ирландцев и ирландских монахов. Правда, Леггет убедил меня, что иммигранты гораздо менее опасны для нас, чем их политические противники.

— По-моему, мистер Дэвис, ваша последняя кампания, по видимости направленная против папы, на самом деле обращена против президента Джексона и оплачивается — как и вы — мистером Биддлом и его банком! — Гром аплодисментов со скамей радикалов, неодобрительные крики большинства.

— Я не знал, мистер Леггет, что вы такой приверженец генерала Джексона.— Мордекай Ной снова вскочил.— Наш добрый президент — да сохранят его все христианские святые, как принято говорить в девятом округе,— недавно запретил распространение по почте аболиционистской литературы. Наш добрый президент сказал, что не хочет гражданской войны из-за проблемы рабства. А что скажете вы, мистер Леггет? Прав или неправ наш добрый президент?

Леггет остался верен себе:

— Я против того, чтобы грошовый почтальон решал, что́ имеют право читать граждане страны.— Шиканье антиаболиционистов почти заглушило его голос.— Я склонен поддержать,— голос Леггета, когда он хочет, становится мощным инструментом,— аболиционистов, при всем их фанатизме!

Зал дрожал от неистовых криков, в воздух взметнулись кулаки, попахивало дракой. В Таммани в общем-то все ненавидят аболиционистов.

Голос Ноя перекрыл общий шум:

— Станете ли вы защищать того, кто с факелом в руке собирается поджечь Белый дом?

— Силой,— вопил Леггет в ответ,— не одолеть фанатизма! — Но гневные крики нескольких сотен людей заглушили его. Поняв, что его не желают больше слушать, Леггет направился к выходу. Я последовал за ним по проходу между скамьями. Еще несколько поклонников Леггета потянулись за нами.

Вдруг воцарилась тишина; все глаза следили за нашим исходом.

Дэвис заговорил, успокаивая зал:

— Мистер Леггет не поддерживает усилий президента, направленных на предотвращение гражданской войны. Мы же, члены Демократической ассоциации коренных американцев, поддерживаем нашего президента.

Леггет остановился у двери.

— Я поддерживаю прежде всего свободу слова, а потом уже любого президента!

Зал снова загремел. Для среднего американца свобода слова означает лишь свободу повторять то, что говорят все, и ничего больше.

— Вы за гражданскую войну, мистер Леггет! — кричал ему вдогонку Ной.— Никакой вы не друг президенту Джексону!

То был конец Уильяма Леггета. На следующий день почтовое ведомство перестало давать рекламу в «Ивнинг пост». Вскоре после этого общество Таммани отказалось печатать в «Ивнинг пост» объявления.

И что еще хуже, рабочий люд, всегда поддерживавший Леггета, отвернулся от него. Это больше всего его уязвило.

— Ничего не понимаю. Работяги ведь те же рабы. И все же они ненавидят свободных негров на Севере.

— Они боятся за свою работу.— Я дал обычное объяснение. Мне нравится умение Леггета встать у всех поперек дороги — у Джексона, у рабочих, у Таммани, у аболиционистов и у антиаболиционистов. Он вроде полковника Бэрра. Нет, он благородней.

Полковник Бэрр не по своему выбору и не по своей вине оказался на пути у нью-йоркских магнатов и у виргинской хунты, и, когда они объединились против него, его благородство проявилось лишь в умении смириться со злой участью. Леггет же решался пойти против наших правителей с открытым забралом. Теперь ему конец.

В захудалом баре неподалеку от Пяти углов Леггет мне сказал:

— Сегодня я сбросил тяжесть с плеч. Я ушел из «Ивнинг пост».

— Чем ты теперь займешься?

— Буду издавать собственную газету.

— Что говорит мистер Брайант?

— Сегодня он д в а ж д ы рассказал мне про собачку, которая лаяла на Везувий. Но он добрый человек.— Леггет поглощал пиво кружку за кружкой.— Пойти бы к мадам Таунсенд...— Он осекся.— Слишком много воспоминаний?

— Слишком,— сказал я. Леггет думает, что Элен уехала домой в Коннектикут.

Новый кошмар: Леггет идет к мадам Таунсенд и его провожают в комнату Элен. Мадам Таунсенд будет рада отплатить мне сполна. А Элен?

Мы направились во вновь открытое заведение рядом с церковью Сведенборга на Пирл-стрит. Кажется, Леггет забыл все свои страхи. Я-то уж точно забыл. Девушки тут в основном немки, очень чистые. Но главное, здесь нет мадам Таунсенд.

Ушли мы только на рассвете.

XV

18 декабря 1835 года

Как и все жители города, сегодня ночью я не сомкнул глаз. Половина первого округа сгорела дотла.

Я рад, что мне не придется описывать увиденное. Слишком распирают зловещие образы. Уолл-стрит в пламени. Ледяной ветер и огонь — явная аномалия.

У всех сегодня глаза красные от дыма, не говоря уже о слезах. Около девятнадцати городских кварталов уничтожено (примерно семьсот домов). Общие потери исчисляются в пятнадцать миллионов долларов; значит, с сегодняшнего утра все страховые компании города разорены.

В полдень мы с Леггетом шли по Уолл-стрит. Руины еще дымятся. У Норт-ривер огонь еще бушует — правда, не сильно.

Лавочники в боковых улицах мрачно рылись в золе, отыскивая то, что пощадило пламя. На Пирл-стрит — во всю ее многомильную длину — валяется на тротуарах обгоревшая одежда. На Фултон-стрит — мебель. Каждая улица напоминает рынок под открытым небом, где торгуют обгорелым хламом. Бедняки тащат что попадет под руку, особенно продукты... а свиньи устроили себе национальный праздник и свирепствуют. Целыми армиями движутся они вдоль улиц,

роются в развалинах, жадно пожирают остатки еды; единственный радостный звук в городе — их визг и хрюканье, когда они находят деликатесы там, где раньше стояли таверны, бакалейные лавки, дома.

Вскоре мы посетили полковника Бэрра. Полковник искренне обрадовался, увидев Леггета.

— Садитесь. Расскажите что-нибудь приятное. Я ведь очень стар, знаете ли.— Полковник метнул на Леггета вовсе не старческий взгляд.

— Торговая биржа в развалинах... приятно? — подыгрывая полковнику, сказал Леггет.

— Такое новое, дорогое здание.

— Погибла статуя Гамильтона,— добавил я.

— О, пламя, очистительное пламя! Оно не щадит ни живых, ни бронзовые их подделки.— Полковник поежился, хотя в комнате было душно.— Теперь, Чарли, ты понимаешь, почему меня так тянет к теплу? Я собираюсь перейти в иной мир и, так сказать, заранее готовлюсь.

Полковник сказал Леггету, что огорчен его уходом из «Ивнинг пост».

— Все потому, что вы пытались найти общий язык с политиканами, говоря с ними на языке морали. Странный способ общения, должен заметить.

— И, очевидно, обреченный на неудачу.— Леггет постарался как можно незаметней кашлянуть в платок. Мы с полковником отвернулись.

Заговорили о путешествиях полковника. Леггет изумился, узнав, что полковник посетил Веймар в начале 1810 года и встречал там Гёте.

— Должен сознаться, господин Гёте не был главной целью моей поездки в Веймар.— Полковник закурил сигару.— Веймар лежал милях в семидесяти от моего маршрута, но я сделал détour [1], чтобы нанести визит одной даме при княжеском дворе. Она была восхитительна, как и сам Веймар. Прелестное миниатюрное княжество, и благородная личность во главе всего, в том числе и театра, где давали пьесу по-французски; на этом языке мы изъяснялись с господином Гёте. Вряд ли мы могли сказать друг другу что-то значительное. Я тогда не прочитал ни строчки из написанного им, да и он проявлял весьма слабый интерес к Соединенным Штатам. Любопытно. Он совершенно исчез из моей памяти, но я очень хорошо помню его любовницу, очень полную, и жену, бывшую любовницу, тоже очень полную. Еще припоминаю, что господин Гёте интересовался морфологией животных. Он нашел кусочек обезьяньей кости — кажется, от челюсти — по его мнению, точно такой, как у человека. Он с нею очень носился.

Леггет спросил о нескольких деятелях наполеоновской Франции, которых Бэрр встречал в Париже. Между прочим, мы узнали, что Талейран не умел вести себя за столом. Великий министр отправлял в рот кусок за куском. Набив это отверстие до отказа, он начинал медленно, отвратительно чавкая, пережевывать пищу. Полковник сыпал анекдотами, о политике помалкивал. С Леггетом он держался осмотрительно, как, впрочем, со всеми журналистами.

Леггет попытался перевести разговор на западную авантюру полковника, но без особого успеха.

— Бедняга Джейми Уилкинсон кончил свои дни очень печально,— сказал Бэрр.— Я только что узнал, что он умер в Мексике, пристрастившись к опиуму. Последние годы — как и подобает — он распространял библию от имени Американской библейской ассоциации.

---

[1] Крюк *(франц.)*.

Вошел слуга: пора было уходить.

— Я с нетерпением жду вашей новой газеты, мистер Легтет.

— Я тоже.

— Чарли, приходи поскорей, я попробую собрать все, что осталось от моего остроумия.

Я сказал, что приду на следующей неделе.

День вдруг разгулялся. На востоке стелется бледный дым. Повсюду шныряют темные фигуры жуликов, ищущих, чем бы поживиться. В воздухе стоит запах мокрого пепла.

Никогда еще я не чувствовал себя таким несчастным.

1836

I

11 апреля 1836 года, воскресенье

После долгого вечера, проведенного с Фицгрином Хэллеком в таверне «Шекспир», я хотел как следует отоспаться.

Но на рассвете хозяйка ворвалась ко мне в комнату с криком:

— Бегите, мистер Скайлер! За вами пришли!

Я глупо смотрел на нее, голова у меня трещала.

— Кто пришел?— Но она уже убежала наверх, очевидно, чтобы укрыться на чердаке.

Это была полиция. Два тщедушных человечка со свирепыми усами сжимали стеки.

— Чарльз Скайлер?

— Да.— Теперь я проснулся, но у меня было такое впечатление, что все происходит во сне.

— Что ж, пойдете с нами. Одевайтесь. Только не делайте глупостей.

Я выпрыгнул из постели, они отпрянули, испугавшись больше моего.

— Только не делайте глупостей!

Они не сказали, за что я арестован.

Капитан в полицейском управлении встретил меня словами:

— Недалеко ушел!— Он похвалил моих конвоиров за находчивость и смелость.

К тому времени первоначальный испуг (кто скажет с уверенностью, что ни в чем не провинился?) уже уступил место возмущению. Старожил не допустит, чтобы с ним обращались как с ирландским воришкой.

— Во-первых, я хочу знать, почему меня задержали. Далее, я требую послать за моим адвокатом, мистером У. Д. Крафтом на Ридстрит...

— Вы задержаны за убийство, Чарли, приятель. Поэтому если у вас на уме освобождение под залог...

— Убийство?— Мне захотелось сесть на стул. Элма Сэндс. Я убил Элму Сэндс. Вот все, что я мог придумать. Я едва не лишился рассудка. Но слышал, как мой голос холодно спросил:— Кого же я убил? И почему? И где?

Откуда-то издалека до меня донесся ответ:

— Вчера ночью между одиннадцатью и двенадцатью часами вы вошли в комнату некой Элен Джьюет, в непотребном заведении, которое содержит Розанна Таунсенд. Вы зарубили топором означенную

Элен Джьюет в ее постели. Затем вы подожгли постель и выскочили в окно. Во дворе вы перелезли через забор. Затем вы...— Я окаменел. Голос говорил еще что-то, но я уже не слышал. Я потерял сознание.

Меня освободили еще до наступления темноты. Мадам Таунсенд призналась в ошибке. На основании слов новой служанки, давшей описание последнего клиента Элен, она решила, что это я. Истинным убийцей оказался некто Ричард Робинсон, и он уже в Брайдвелльской тюрьме. Служанка его опознала. К тому же, когда Робинсона арестовали, у него нашли миниатюру, которую я подарил Элен.

II

Я сказал служанке, что если мадам Таунсенд меня не примет, я подам в суд на них обеих за ложный арест и за клевету.

Мадам Таунсенд согласилась меня принять.

— Меня сбило с толку описание молодого человека, которое дала наша новая служанка.

— Кто ее убил? Почему он ее убил?

— Я могу вам только солгать.

Я приблизился к ней почти вплотную, до меня донесся слабый запах, исходивший от нее,— кисловатый запах страха.

— Ричард Робинсон.

— Кто он?

— Клерк мистера Хокси. Ему девятнадцать лет. Он всегда приходил к Элен. К несчастью, новая служанка не видела его до вчерашнего вечера и потому...

— Почему он это сделал?

— А почему вы забрали ее из моего дома?

— Потому что я... я хотел, чтобы она осталась со мной.

— Та же сила, которая побудила вас ее забрать, толкнула его на убийство. Похоть глупа, мистер Скайлер, и опасна для того, кто является предметом вожделения.

III

Я передал Брайанту мой отчет об аресте. Он прочитал его внимательно и разорал в клочья.

— Вам повезло, что ни одна газета не упомянула еще вашего имени в связи с этим... глубоко печальным и мерзким делом.

Брайант вне себя, я таким его не видел. Он сказал мне довольно убедительно, что если я хочу получить место на государственной службе, то я, наверное, рехнулся, собираясь афишировать свою связь с Элен.

Элен больше нет.

IV

6 июня 1836 года

Особняк Джея собираются сносить.

Всю неделю друзья и родственники полковника (со стороны Эдвардсов) перевозили его имущество в гостиницу Уинанта на Статен-Айленд.

Мы с Сэмом Суортвутом сопровождали полковника в лодке на Статен-Айленд. Погода стояла прекрасная. Теплый ветер с запада

подернул серебром гладь реки. Полковник лежал на подстилке и в последний раз смотрел, как вдалеке исчезает Нью-Йорк.

Широкая шляпа прикрывает от солнца голову полковника, прячет от нас его глаза. Молча разглядывает он корабельные мачты, заслоняющие берег в том месте, где раньше был «Ричмонд-хилл».

Сэм Суортвут сошел с носа лодки, на котором он восседал гордым осанистым украшением.

— Вам понравится Статен-Айленд, полковник. Знаете, он все тот же, те же большие особняки и сады.

— О, Сэм. Статен-Айленд — земной рай.— Полковник сохранил юмор.— Когда я бывал там во время Революции молодым парнем, моложе, чем сейчас Чарли, мы подплывали ночью к укромным бухтам, крадучись пробирались через леса.— Он остановился, будто потерял ход мысли. Но нет, только когда он снова заговорил, в голосе его звучала печаль:— К счастью, я всегда попадал на остров ночью. Будь это днем, я, возможно, взглянул бы в эту сторону и увидел бы себя на реке через полвека — полутруп, но до конца полный величия!— Он покачал головой.— Не знаю, что подумал бы молодой Аарон... И что он думает, если еще прячется за зелеными деревьями и смотрит в нашу сторону.

Судья Эдвардс поджидает нас на пристани. С ним доктор и (к ужасу полковника) преподобный П. Дж. Ван Пелт.

Я иду по набережной рядом с носилками полковника к гостинице Уинанта.

— Если ты услышишь,— прошептал мне полковник по дороге,— что я умер в лоне голландской реформатской церкви, знай, что либо я совсем свихнулся под конец, либо духовные особы лжесвидетельствуют.

— Я включу это в ваши мемуары. Но почему бы вам не удивить всех и не выздороветь?

— Больше не хочу.— Полковник подмигнул мне, когда носильщики сильно качнули носилки.— Не в том дело, что я уже никуда не гожусь. В конце концов мой дядюшка дожил до ста лет, и значит, я просто юноша и еще двадцать лет могу гоняться за неверным счастьем.

Гостиница Уинанта небольшая, но чистая и приятная. Комнаты полковника расположены на втором этаже, есть балкон, где можно подышать воздухом в хорошую погоду. Хозяин гостиницы — медлительный человек с красным лицом, он уже заранее гордится тем, что полковник может умереть в его доме.

V

7 июня 1836 года

Суд кончился; он очень походил на процесс Элмы Сэндс с той разницей, что тогда оставалось сомнение, действительно ли Леви Уикс убил Элму Сэндс; теперь же никто не сомневается в том, что Ричард Робинсон убил Элен Джьюет.

Последние три дня я провел в суде — еле нашел свободное место.

На второй день суда всем уже стало очевидно, что Робинсон убил Элен (по неясным причинам), столь же очевидным казалось и то, что привлекательный юноша с хорошо подвешенным языком, попавший в компанию греховных женщин, заслуживает снисхождения. Да и кто такая, в сущности, Элен Джьюет? Мусор, который надо поскорее вымести за дверь. Естественно, никто, кроме меня, не хотел, чтобы сильная розовая шея хрустнула на виселице в городской тюрьме.

О, чего бы я не отдал, чтобы хоть часок пройтись Тамерланом по нью-йоркским улицам! Мадам Таунсенд — выпотрошить. Голову судьи водрузить на пику. Робинсона четвертовать, медленно разрубить на части.

Обвинение так и не установило мотива преступления, и умный адвокат одну за другой отвел все улики. Миниатюру (Вернут ли ее мне? И хочу ли я ее получить?) подарили Робинсону за несколько недель до убийства. Следы ткани на топорике? Что ж, никто не отрицает, плащ лежал на топорике, который оставила в комнате служанка О'Мэлли.

Но если Робинсон невиновен, то кто же виновен?

Защита дала мастерский ответ на очевидный вопрос:

— Вскоре после того, как Робинсон вышел, уже около полуночи, кто-то проник в комнату Элен Джьюет. Остановимся на мгновение и взглянем на известные нам детали в ином свете. К примеру, дорога, которой, как полагает обвинение, шел от дома Робинсон — то есть двором и через частокол,— вполне могла быть дорогой к дому, по которой прошел настоящий убийца, и есть немалая вероятность, что мы найдем его, господа присяжные, да — немалая вероятность.

Тут у меня остановилось дыхание, мне казалось, что весь зал слышит, как стучит мое сердце.

— Потому что в этом городе живет человек, с которым сожительствовала несчастная Элен Джьюет. От которого у нее родился мертвый ребенок. Человек ревнивый, мстительный, от которого она сбежала, опасаясь за свою жизнь.

Я долго не мог перевести дыхание, у меня чуть не остановилось сердце. Как можно хладнокровнее я перебирал в уме уголовный кодекс. Осмыслил свидетельские показания. Я не нашел достаточных оснований для привлечения меня к суду и никаких —для обвинения. В конце концов, я был с Фицгрином Хэллеком до двух часов ночи.

После пятнадцатиминутного «размышления» жюри освободило Робинсона. Дело еще не закрыто, и, приняв снотворное, я все же просыпаюсь после четырех часов сна и не могу заснуть до рассвета, ожидая, что за мной придут.

Я даже посмотрел на себя в зеркало и сказал:

— Ты убил Элму Сэндс!

VI

30 июня 1836 года

Утром я получил письмо с вашингтонским почтовым штемпелем. В него вложена толстая белая карточка со следующей надписью: «Президент просит (вписано) мистера Скайлера оказать ему честь своим присутствием на обеде в понедельник, 9 июля в 5 часов. Просьба ответить». Просьбу я выполнил за несколько минут, в течение которых настрочил согласие. Еще двадцать минут ушли на дорогу к почте; там я получил полное удовлетворение, увидев выражение лица почтового служащего, когда я протянул ему письмо с бросающимся в глаза незамысловатым адресом: «Президенту США, Белый дом, Вашингтон».

— Все хотят устроиться на государственную службу!— выдавил из себя бедняга.

Я великодушно улыбнулся, заплатил за марку и отправился на Пайн-стрит.

Брайант обрадовался, но не удивился.

— Мистер Ван Бюрен в таких вещах пунктуален. Именно в этом, кстати, секрет его успеха. Он никогда не забывает ни долгов, ни оскорблений.

— Я и не надеялся, что все будет так быстро.

— Наверное, генерал Джексон сгорает от нетерпения познакомиться со Старожилом.— Мне вдруг стало не по себе при мысли о том, что я встречусь лицом к лицу со славным воином.— Полагаю, это доказательство доверия к вам мистера Ван Бюрена, коль скоро он приглашает вас в Белый дом еще до своего избрания.

— И его самонадеянности,— пришлось мне добавить.— Но все равно, я уеду из Нью-Йорка в любом случае, ждет меня государственная служба или нет.

— Нам будет не хватать Старожила. Но вы сможете писать нам из Европы. Вы, разумеется, правы: за границу надо уезжать молодым.— Брайант до сих пор не может простить мне связи с Элен Джьюет. Хотя Леггет пытался убедить его, что я невинный, сбившийся с пути юноша, Брайант уже махнул на меня рукой и считает недостойным спасения. Надо сказать, он прав.

Потом он с удовольствием (так он сказал, во всяком случае) прочитал мое описание ужасающей поездки Старожила по железной дороге Бруклин-Ямайка [1]. Заплатил мне, извинился, объяснил, что занят: ему предстояло написать некролог по только что опочившему Джеймсу Мэдисону.

VII

Полковник очень слаб, он не выходит из комнаты. Я застал его в постели. Все одеяло было завалено газетами, в руке — недокуренная сигара. Он уже слышал новость.

— Что ж, я — последний, не правда ли? А ты пришел вовремя, поможешь мне написать письмо Долли. У нее, я думаю, нет ни пенни. Сынок промотал все.— Полковник благодушествовал.— Не могу представить себе, как она будет жить, бедная девочка. Обожала сорить деньгами.

Полковник продиктовал любезное письмо и с трудом его подписал: у него теперь дрожат руки. Затем, пока я надписывал конверт, он без сил откинулся на подушку.

Я рассказал полковнику о приглашении в Белый дом. Он удивился.

— Кто же это устроил? И с какой целью?

— Леггет и Брайант. Я... я собираюсь написать о генерале Джексоне в Белом доме.

Полковник посмотрел на меня задумчиво.

— Мэтти покажется тебе приятным и добрым. Он тебе понравится. Кстати, я писал ему о тебе.

Я смотрел на полковника невинными глазами.

— Вы думаете, мистер Ван Бюрен будет присутствовать на обеде?

— Весьма вероятно, Чарли.

— Упомянуть мне о вас?

— Если ты не упомянешь обо мне, он сам упомянет.— Полковник попросил почитать ему вслух.— Знаю, тебе скучно, но на меня это действует лучше снотворного.

---

[1] Ямайка — место на Лонг-Айленде, там, где теперь район Нью-Йорка — Куинс.

Прежде чем отпустить меня, полковник дал совет, как держаться в Белом доме.

— Должно быть, там очень натянутая атмосфера, особенно когда в доме нет женщины.— Он улыбнулся при внезапном воспоминании.— Долли Мэдисон всегда таскала в руках книгу, чтобы было о чем поговорить с посетителем. «Что это за книга?» — спросила однажды моя дочь. «Дон Кихот»,— сказала Долли.— Вечный «Дон Кихот». Когда Теодосия спросила, что она думает о Сервантесе, Долли сказала: «Если бы я ее прочитала, мне было бы скучно занимать гостей. А так с годами я узнала содержание от нервозных посетителей».— Полковник крякнул.— Долли и без денег не пропадет. Говорят, Дэниел Уэбстер [1] за ней приударяет, а коль скоро он не отказывается ни от одной взятки, у него хватит денег поддержать прежний образ жизни Долли.

VIII

8 июля 1836 года. Город Вашингтон

Если уж это не ад, то что же называется адом? Никогда еще мне не было так жарко. Теперь я понимаю, почему полковник Бэрр хотел стать президентом — чтоб наслаждаться удушливой влажной жарой унылого тропического болота.

Конгресс распущен на каникулы с 4 июля, и все меня уверяют, будто в городе никого нет. Не понимаю, что это значит; ведь прежде всего нет города. Перед гостиницей «Индийская королева», где я остановился, идет полоска мощеной дороги и вскоре исчезает в лесной грязи. В Вашингтоне нет центра или, точнее, тут несколько центров. Один — Капитолий, внушительное, хоть и немного смехотворное здание на диком заросшем холме. Белый дом тоже производит внушительное впечатление, он расположен на противоположном конце Пенсильвания авеню; однако пустота между двумя величавыми полюсами несколько принижает величие обоих.

Утро я провел в Капитолии. Внутренняя отделка зала заседаний сената очень красива, хотя впечатление портит черный липкий ковер, заплеванный табачной жвачкой, несмотря на обилие громадных плевательниц. Два раба лениво чистили ковер. Даже чернокожие разомлели от жары.

Я хотел нанести визит вице-президенту, но его на месте не оказалось. Я оставил визитную карточку. Леггет советовал мне попытаться встретиться с несколькими людьми. Я попытался, но вскоре капитулировал. На время каникул конгресса все скрылись в горы или разъехались. Очевидно, в летнюю жару в Вашингтоне не остается никого, кроме чернокожих, зато они буквально повсюду. Они выводят меня из себя, ибо я никогда раньше не бывал на Юге и никогда воочию не видел раба. Кстати, слово «раб» не употребляется в этой части мира. Во всяком случае аболиционисты научили белых южан держать ухо востро. Говорят о слугах, о чернокожих, о людях, но никогда — о рабах.

Вечер я провел в баре гостиницы, попивая в компании приезжих с Запада. Я узнал, что и президент, и вице-президент уезжают из города десятого. Значит, завтра в Белом доме состоится прощальный в этом сезоне обед.

---

[1] Дэниел Уэбстер (1782—1852) — американский оратор и государственный деятель.

IX

9 июля 1836 года

Десять часов. Душная ночь. Москиты гудят возле моей постели; выключить бы свет и заснуть, но я не могу. Надо сразу все записать.

В половине пятого я отправился в Белый дом; стояла нестерпимая жара, и я шел очень медленно, опасаясь, как бы не размяк мой новый воротничок. Странное ощущение — разодеться для дворцового приема и идти по пыльным пустырям; за твоим шествием по еще не проложенным улицам наблюдают только маленькие негритята; направление будущих улиц отмечено грубыми каменными указателями с оптимистическими надписями вроде: «Коннектикут авеню».

Единственный привратник Белого дома жевал табачную жвачку и не обращал на меня внимания, пока я шел по тропинке к главному подъезду, возле которого уже стояли экипажи гостей. Видимо, я единственный явился пешком.

Я подошел к подъезду в тот миг, когда Эдвард Ливингстон с супругой выходили из нового экипажа.

Я проследовал за Ливингстонами в прохладу главного зала, где чернокожий портье или дворецкий (надо выяснить, как называется президентская челядь) в смешных желтых шлепанцах (чтобы бесшумно передвигаться?) низко кланялся каждому гостю и приглашал в овальную комнату.

Меня сразу же поразило убожество обстановки. Выцветшие шторы запылились, стулья чуть не все сломаны и кое-как починены; на ковре — следы от табачной жвачки, хотя и здесь множество невычищенных плевательниц. Сама комната — довольно большая; из нее открывается изумительный вид на реку Потомак и скрытые в дымке сине-зеленые горы Виргинии на другой стороне реки. На бурой лужайке под окном я увидел первых светлячков — значит, уже вечер.

В комнату неслышно вошел вице-президент, и словно по сигналу гости веером расположились перед ним, предоставляя ему возможность обойти справа налево весь этот полукруг и с каждым поговорить тихим голосом. Он был, разумеется, самым элегантным в этой комнате.

Ван Бюрен немедленно понял, кто я.

— Мистер Скайлер. Я благодарен вам, что вы нашли возможность приехать.

— Для меня это честь, сэр, самая...— Я тут же сбился.

— Это честь для нас, если мне позволительно говорить и от имени президента.

Я снова заметил, что мы с ним одного роста.

— Я хотел вам сказать, сэр, что я... ну, что я далек от политики. От всех этих дел.

— Разумеется. Разумеется.— Мягкий голос твердо оборвал мою попытку разоткровенничаться. Если шишки Дипломатии и Сдержанности передаются по наследству, то понятно, откуда они у Ван Бюрена. Он разительно похож на полковника.— Нам доставляют удовольствие заметки Старожила. Очень милое чтение.— Потом он сказал что-то отрывисто по-голландски.

— Боюсь, сэр, я...

Снова очаровательная улыбка.

— Вы не владеете нашим отмирающим языком?

— Нет, сэр. Я не говорю по-голландски.

В другом конце комнаты вдруг все задвигалось. Я услышал ше-

пот: «Президент». Но Ван Бюрен по-прежнему уделял все свое внимание мне.

— Что слышно о полковнике Бэрре?

Признаюсь, пока я рассказывал ему о переселении полковника на Статен-Айленд, все мое внимание (но не взгляд) было устремлено к входной двери, на пороге которой только что появился генерал Джексон.

— Передайте ему, что я навещу его, если сумею, еще до выборов.— Я постарался скрыть изумление. Ни один кандидат, желающий стать президентом, не навещает открыто полковника Бэрра.— Однако,— продолжал он как ни в чем не бывало,— если я не попаду на Статен-Айленд, передайте, что в мыслях я всегда с ним.

Уголком глаза я видел высокую худую черную фигуру в центре комнаты.

— Вы многое потеряли, мистер Скайлер, ибо вам не довелось знать Аарона Бэрра в расцвете сил. Для всех нас он был божеством.

— По-моему, он блестящий человек, сэр, и не имеет себе равных.

— Он очень любит вас. Он недавно написал мне об этом.— Слегка наклонившись и прошептав «с вашего позволения», вице-президент повернулся ко мне спиной и приблизился к старому генералу, который стоял очень прямо под сломанной пыльной люстрой.

Веер, каковым расположились гости при появлении Ван Бюрена, сменился более целесообразным колесом, а в центре его поместился президент, держа в левой руке черную трость, словно скипетр.

Гости устремились к нему как колесные спицы. Каждого представлял секретарь, но президент, видимо, знал чуть не всех в лицо и здоровался, не давая секретарю договорить.

Со мной обстояло иначе.

— Мистер Скайлер из Нью-Йорка,— сказал секретарь, сверясь со списком.

Когда я пожимал неожиданно вялую руку победителя при Новом Орлеане, у меня закружилась голова. Я низко поклонился. Президент сказал:

— Добрый вечер, сэр. Мистер Ван Бюрен хорошего мнения о вас. Вы оказали нам честь своим присутствием.— Шаблонные фразы звучали величественно и небрежно, в глазах же было иное. Когда он с тобой говорит, то смотрит только на тебя. Глаза хищника, подумалось мне, глаза убийцы, но тут я вспомнил глаза-незабудки Ричарда Робинсона. Нет, у Джексона глаза карающего ангела или сатаны, управляющего пытками в аду. Живое, настороженное высокомерие голубых глаз тревожит и томит. Такие глаза я видел у волка в клетке. Совершенно не помню, о чем мы говорили. К счастью, нас пригласили к столу.

Президент подал руку миссис Ливингстон и двинулся в столовую. За ним потянулись остальные.

После долгого застолья президент поднялся и повел гостей в гостиную, где лакеи уже держали подносы с кофе.

Ван Бюрен спросил, понравилось ли мне.

— Да, сэр, только я никогда не видел такого обилия еды. Я не смог отдать ей должное.

— Не беда, уверен, что Старожил никогда и ни в чем не уступит янки.— Комизм заключался в том, что «янки» он произнес на голландский манер — «джанки», а это значит «лающая собака». Но тут его увели от меня другие, обладавшие бо́льшим правом на будущий источник почестей.

Я поговорил с Эдвардом Ливингстоном. Он был сама любезность

и просил передать привет полковнику. С пьяной отвагой я упомянул о выборах 1800 года.

Ливингстон оказался не прочь поговорить про время, как он выразился, тяжких испытаний. И опасностей к тому же.

— Иногда казалось, что мы так и не выберем президента.

— Но вы поддерживали Джефферсона при всех баллотировках.

— О да. Несмотря на искушение.

— Полковника?

— Полковник Бэрр,— ответил Ливингстон загадочно,— очень хотел стать президентом.

Я не поверил своим ушам, не удержался и сказал:

— Но если бы он хотел победить, достаточно было одного его слова мистеру Бейярду из Делавэра.

Ливингстон улыбнулся.

— Он не мог произнести это слово, ибо хотел быть президентом от республиканцев. А у него все голоса были от федералистов. Он хотел, чтобы я, Лайон и Клэберн и еще один-два республиканца проголосовали за него, а не за Джефферсона.

— Он просил вас голосовать за него?

Ливингстон сделал вид, будто не слышит вопроса.

— Полковник Бэрр — неудачливый искатель приключений, я так ему и сказал, когда он навестил меня в Новом Орлеане. Но он стал бы президентом лучше мистера Джефферсона, ибо во всех отношениях был его благородней. Боюсь, мы совершили ошибку. И пострадали.

Не дождусь, когда уж спрошу полковника, правду ли мне сказал Ливингстон. Полковник всегда утверждал, что Ливингстонов подкупил Джефферсон. Может, перекупил у него? Непонятно.

Я пробрался поближе к президенту. И оказывается,— увы!— всего лишь для того, чтобы услышать о смерти полковника Крокетта в Техасе.

— В течение многих лет у нас с полковником Крокеттом были разногласия. Но должен признать, он пал прекрасной смертью,— смертью, достойной мужчины.— Лицо президента выражало торжественность.

Кто-то с Запада изложил нам самую последнюю и самую героическую версию о том, как полковника Крокетта с дюжиной техасцев убил мексиканец Санта-Анна, а Сэм Хьюстон тотчас взял его в плен. Вот ирония: тридцать лет назад Аарона Бэрра за то же самое сочли изменником, а теперь пресса твердит о «руке Провидения, которая указала Союзу штатов неизбежный путь на Запад».

— А что вы думаете о полковнике Крокетте, Мэтти? — пристал к вице-президенту изрядно выпивший человек с Запада.

— Я всецело разделяю мнение президента. Он погиб прекрасной смертью, достойной мужчины.— Маленький волшебник широко взмахнул рукой.— Разумеется, у меня тоже были с ним кое-какие расхождения.

— Да, сэр,— сказал президент, вдруг помрачнев,— и эти расхождения Дэйви изложил в книге, которую я не хотел бы держать у себя в доме.— Лицо Джексона стало заливаться краской. Я же, уверен, ничуть не покраснел.

— Я не читал книги, но мне рассказывали, что Дэйви написал обо мне в чрезвычайно... чрезвычайно юмористических тонах.

К моему облегчению, грозу пронесло. Никто еще не связал моего имени с книгой полковника Крокетта. Но вряд ли кто ее читал. Даже я сам не читал ее. Славная смерть автора совершенно заслонила его набег в область политической клеветы.

X

Мистер Брайант остался доволен моим описанием «Обеда в Белом доме», помог добавить кое-какие политические подробности.

— Вы произвели хорошее впечатление на мистера Ван Бюрена,— заверил он меня.

— Не знаю. Он ничего не сказал.

— А когда он что говорит? Но в ноябре его выберут, а вы наверняка получите назначение. Теперь же позвольте набросать вам небольшой путеводитель по Европе.— И в течение часа такой занятой человек, как редактор «Ивнинг пост», составлял для меня перечень мест, которые мне надлежит посетить. Любопытно, скольких американских писателей влекло Средиземное море: Ирвинга — Гранада, Купера — Сорренто, Брайанта — Рим; не говоря уже о таких, как я, которые, имей только деньги, осели бы там навсегда.

Я вышел из редакции на Пайн-стрит и направился пешком к Бродвею. Тут я вдруг услышал, что кто-то окликает меня:

— Шарло!— Я повернулся и увидел золоченую карету и в ней — мадам.— Залезай-ка, залезай! — Я последовал приказанию. Кто посмеет ее ослушаться?

Я не видел мадам два года, но она совсем не изменилась.

— Я была в Саратога-спрингс, pour la santé [1]. На Бэттери!— крикнула она кучеру, добавив с мерзкой ухмылкой:— Через развалины!— Она посмотрела на меня красными глазами.— Должна признаться, меня иной раз бросает в frisson [2], когда я смотрю на то, что огонь сделал со всеми этими долларопоклонниками.— Вот уж не ожидал услышать из уст мадам осуждение источника ее величия, предмета ее всепоглощающей страсти.— Почему я вас так редко вижу, Шарло? Почему вы меня покинули?

— Я очень занят.

— Знаю. J'ai lu vos pièces [3]. Какой талант! Вы должны написать о моем доме. Это все, что осталось от Нью-Йорка. А теперь скажите мне. Скажите правду. Как он?— Очевидно, она думает обо всех развалинах сразу.

— Я не видел полковника с июля. Он был тогда очень слаб. Почти не разговаривал.

— О бедняга! Можно мне навестить его до завершения развода? То есть до середины сентября.— Она вдруг нахмурилась.— Mon Dieu [4]. Неужели после развода мне придется сменить герб?

Я тупо смотрел на нее.

— А я-то думала, что Старожил все замечает.— Ага, дверцы кареты украшены и вице-президентской печатью, и фамильным гербом Бэрров.

— Разумеется,— сказал я твердо и радостно,— вам придется его закрасить.

Мадам вздохнула. Конечно, ей не повезло, но вид обгоревших домов на Уильям-стрит вернул ей хорошее расположение духа. Нищие еще рылись среди развалин, несмотря на многочисленные объявления, грозившие карой. Всю нижнюю часть Манхэттена займут теперь торговые здания. Обитатели здешних мест переезжают вверх, на Четвертую улицу и даже дальше. Я тоже переезжаю.

---

[1] Ради здоровья *(франц.)*.

[2] Дрожь *(франц.)*.

[3] Я читала ваши творенья *(франц.)*.

[4] Бог мой! *(франц.)*

На Бэттери карета остановилась, мы продолжали сидеть в ней, наблюдая за прогуливающимися. Напротив продавали гречишные оладьи, и я сразу вспомнил, что целый день ничего не ел.

— Я не знала другого такого мужчины — sauf l'Empereur [1].— Мадам вдруг шмыгнула носом. Слезы? Вряд ли, наверное, насморк.

— Вы должны его навестить.

— Ему там не плохо?

— Думаю, ничего. Судья Эдвардс смотрит за ним, все его навещают.— А я так и не выбрался к нему после возвращения из Вашингтона. Написал, но ответа не получил. В ближайшие дни обязательно поеду, расскажу о неплатежеспособности президента Джексона: мысль о любом президенте, умирающем в нищете, действует на полковника благотворно.

— Мы любили пламенно, Шарло.— Мадам бросила мечтательный взор на Норт-ривер, как бы ожидая, что старый возлюбленный ураганом примчится к нам со Статен-Айленда.— С самого начала, когда я была еще jeune fille en fleur [2] и мы встретились во французской кондитерской, а полковник был красивейший мужчина, какого мне только приходилось видеть, и его обожали все женщины Нью-Йорка,— с той самой минуты он поклялся, и я поклялась, что мы будем вместе. И мы были вместе! В ту летнюю ночь, когда мы обвенчались, я впервые была в его объятиях...— Я не верил своим ушам.— И я подумала: enfin [3] я обрела покой. Но нет, я слишком доверчива, слишком романтична. Я не понимала — да и как я могла понять?— что уже поздно и для меня, и для него, для нас обоих. Потому что его характер давно уже сформировался, и он не мог отказаться от эгоистических холостяцких привычек. В тот день, когда я узнала про его garçonnière [4] и про эту шлюху Джейн Макманус, я поняла, что любовь, о которой я мечтала всю жизнь — всепоглощающая любовь,— pas possible! «C'est ça» [5],— сказала я себе и поручила мистеру Александру Гамильтону возбудить дело о разводе.

— Значит, не потому, что он истратил ваши деньги?

— Кто подал вам эту мысль?— воскликнула женщина, подавшая мне эту мысль.— Деньги на то и существуют, чтобы их тратить, n'est-ce pas? [6] — Голос у мадам стал совершенно другой.— Нет, я женщина, Шарло, страстная женщина, совершенная... совершенная...— Она запнулась в поисках подходящего слова. Так много слов пришло на ум каждому из нас, что я решил промолчать, чтобы не брякнуть лишнего! — Мне нужен был герой, мужчина. Он был и мужчина и герой. Но он так и не стал безраздельно моим. Однако даже и сейчас, после всего...— Один глаз у нее слезился — от виски.— Передайте, что я каждый день поминаю его в молитвах.

— Непременно.

Мадам тихонько шмыгнула носом.

— Я навещу его, когда развод оформят окончательно.

Мадам приказала кучеру довезти нас до дома Леггета.

— Раз вы увидите моего обожаемого Аарона раньше меня, скажите, что мое сердце принадлежит ему навечно. Еще скажите, что если у него сохранилась расписка от продажи лошадей и кареты, пусть пришлет мне копию. Она нужна мне для бухгалтерии. Он поймет.

---

[1] За исключением императора *(франц.)*.
[2] Девушкой в цвету *(франц.)*.
[3] Наконец *(франц.)*.
[4] Холостяцкую квартиру *(франц.)*.
[5] Невозможна. Вот так-го *(франц.)*.
[6] Не так ли? *(франц.)*

XI

14 сентября 1836 года

Сегодня в два часа дня Аарон Бэрр скончался в возрасте восьмидесяти лет и семи месяцев.

Я был у Леггета, и мы работали над первым номером новой газеты, когда посыльный от мистера Брайанта передал мне эту весть.

— Ты напишешь для нас некролог?— деловито осведомился Леггет.

— Нет, нет. Мне надо его увидеть.— Странное замешательство овладело мной.

— Так ведь некого видеть,— сказал Леггет.— Твоего старого друга больше нет.

— Да, да, но мне надо быть с ним.

И я отправился на Статен-Айленд; у подъезда гостиницы Уинанта толпились родственники и друзья.

— Пойдемте наверх,— сказал, увидев меня, мистер Дэвис.— Я провожу.— Мы поднялись вместе по узкой лестнице.— Он умер легкой смертью. В сознании был почти до конца. Последним его словом было «Мадам».

— Его жена!— Я поразился.

Дэвис пожал плечами.

— Неизвестно. Думаю, он обращался к женщине, что сидела у его изголовья, к миссис Киз. Она все еще там.

Миссис Киз плакала у окна на фоне морского пейзажа, в тусклом свете сумерек, закрыв ладонями лицо. Рядом, низко склонив голову, молился преподобный Ван Пелт.

Полковник лежал на узкой кровати, укрытый до подбородка одеялом. Единственная лампа под потолком освещала его лицо. Старики на смертном одре обычно выглядят удивительно моложаво. Полковник выглядел бы точно так же, как в день моего последнего визита, если бы не то, что я принял за мыльную пену на висках и что оказалось гипсом — уже сняли посмертную маску. Совсем обычное лицо (будто он заснул с легкой усмешкой на губах), и все же я заметил в мертвом то, что в живом редко замечаешь: какой он маленький, почти как подросток.

На столике у его изголовья портрет Теодосии повернули лицом к стене. Рядом с портретом лежала раскрытая книга. Восьмигранные очки полковника заложены на недочитанной странице.

Дэвис торжественно смотрел на полковника.

— Его похоронят шестнадцатого в Принстонском университете. Так он желал, так и они хотят.

Я выбежал из комнаты с мокрыми глазами — как я мечтал еще раз поговорить с полковником!

В холле уже лилось виски. На удивленье спокойная Джейн Макманус оказалась тут как тут.

— Я только вчера его видела,— сказала она мне.— Полковник знал, что умирает. Он мне сказал: «Будто плывешь по реке в лодке — и берег уходит все дальше и дальше». А больше ничего не сказал. Он в последние дни мало говорил. И никаких болей. Вот он слишком далеко заплыл — и нас покинул.

Я подумал о санях, скользящих по заснеженному склону, о холодном ветре, обжигающем лицо, об ощущении падения и полета. Все кончено.

Сэм Суортвут, естественно, был душой поминок.

— Пей, Чарли! Он бы хотел, чтобы у нас было хорошее настроение. Ты ведь знаешь.

— Но у меня плохое настроение.

— Что ж, я покажу тебе кое-что, и ты посмеешься.— Он извлек из кармана юридический документ.— Клянусь богом, документ прибыл через час после его смерти. Это свидетельство о разводе. Полковник Бэрр более не состоит в браке с Элизой Боуэн. Он свободный человек, Чарли!

1840

8 декабря 1840 года, Амальфи, Королевство обеих Сицилий

На закате я сидел на террасе своего дома, мучительно думая, как поточней передать словами зимнюю окраску раскинувшегося внизу моря, где из молочно-голубого и зеленого оно вдруг становится цвета черного сапфира (нет, нет, только без драгоценных камней — это жульничество). Так я и не сумел описать то, что вижу каждый вечер с террасы виллы. Придется прибегнуть к наиболее простым определениям.

В сотый раз я принимаюсь за описание, чтобы только занять перо, а сам пытаюсь осмыслить все, что произошло со мной с того мгновения, когда Панталеоне возник на террасе со встревоженным лицом — он всегда такой, когда приходит какой-нибудь американец и ему надо объявлять очередное варварское имя.

— Signor Consul, cè un americano, un colonello [1] — «Сводуз»,—вот какое имя я услышал. Поскольку по долгу службы я обязан быть дома для американских путешественников — особенно полковников,— я велел Панталеоне проводить посетителя на террасу.

Я поправил сюртук. Пришлось одеться по всей форме, ибо в тот день был праздник Непорочного Зачатия, и мне надлежало представлять Соединенные Штаты на центральной площади во время торжеств.

Под белой аркой, сквозь которую видно море, возникла большая рыхлая фигура.

— Чарли, если ты не рад меня видеть — впрочем, что это за радость?— я тут же повернусь кругом и спущусь по тем ступенькам, по каким только что взобрался. Господи, никогда не видел столько ступеней, а тут это называют улицей. Дай только дух переведу. А ты ведь неплохо устроился, ей-богу. Один вид чего стоит!

Произнося эту тираду, Сэм Суортвут подошел ко мне. Я смотрел на него как кретин. Что делать? Послать его к черту? Вызвать полицию? Я стоял, окаменев, и понимал, что не слишком блистательно представляю славную республику. Интересно, в отчаянии гадал я, как бы поступил на моем месте Вашингтон Ирвинг?

Точно большой пес в ожидании пинка, Сэм нерешительно подал мне лапу. К его облегчению, я оцепенело пожал ее.

— Давненько я тебя не видел, Чарли.

— Давненько! — отозвался я глупо. Слава богу, хоть не назвал его по имени.

К счастью, внизу, в порту Амальфи громко хлопнул фейерверк и завершил первую стадию нашей беседы.

— Что это?— Сэм подскочил, будто в него стреляли.

— Фейерверк. Начало праздника. Сейчас начнется шествие и...

[1] Сеньор консул, там один американец, полковник *(итал.)*.

— Я так и подумал, что там что-то вроде Четвертого июля.

— Садись.— Что мне оставалось делать? Он похвалил вид с террасы. А кто его не похвалит? Вилла, которую я снимаю, расположена по соседству с разрушенной сторожевой башней старой сумасшедшей королевы Неаполя. Внизу под нами Амальфи втиснулся в скалистую долину: белые стены, красные крыши, Мавританский собор с зеленым глазурованным куполом и желтой черепицей. Узкие террасы над городом сверкают апельсиновыми садами и темнеют зарослями дикого лавра. Сэм Суортвут здесь — как омнибус с Четвертой улицы, чудом занесенный в Аркадию.

— Я сомневался, что консул это ты, но потом один американский шкипер тебя описал, и я понял, что не бывает двух людей с одинаковой внешностью и фамилией. Вон моя лодка.— Он показал красивый шлюп. Я его заметил еще утром, совершая консульский обход; в основном я обхожу американские корабли и обсуждаю с капитанами, как удобнее освободить моряков, арестованных накануне. Я являю собой помесь мирового судьи с судовым капелланом, таскаю под мышкой захватанную библию, и американцы целуют ее, давая присягу. Я называю ее книгой лжесвидетельств.

— Я здесь уже полтора года...

— Знаю. А раньше ты был в Антверпене. Я как раз на днях видел книгу, которую ты там написал. Что-то насчет поездок по Нидерландам.

— Да, что-то вроде.— Все вечно забывают название, которое придумал для моей первой книги остряк-издатель.

— Дома не бывал с тех пор, как получил место консула в Антверпене?

— Вице-консула. Нет, не бывал.

— А я уже больше года как оттуда уехал.

— Знаю.

Ракета, пущенная в гавани, медленно пересекла бледный серп новой луны и взорвалась белыми огнями.

— Знаешь, Чарли, я влип в депрессию тридцать седьмого года. Скверное время, как тебе, наверное, известно. Связался в Англии с угольными шахтами. Утверждали, что они надежны, как золото, и, как всегда, ошибались. Ну, меня выпотрошило дочиста. И мне пришлось... бежать.

В августе 1839 года Сэмюел Суортвут, контролер нью-йоркского порта, отплыл в Англию. Через несколько недель обнаружилось, что он украл миллион двести пятьдесят тысяч долларов государственных денег — самая большая сумма, когда-либо похищенная американским чиновником, а возможно, и вообще американцем. Когда спадет первая волна возмущения, Сэм Суортвут, без сомнения, станет героем фольклора. А пока он подмочил репутацию бывшего президента Джексона, на которого легла ответственность за наставление Сэма на стезю, приведшую его к столь вопиющему воровству. Связанный с воровством скандал вдобавок помог кандидату вигов Уильяму Генри Гаррисону побить президента Мартина Ван Бюрена на выборах в прошлом месяце. Печально, что в итоге всей этой истории весной в Амальфи появится новый американский консул. Хотя экстравагантный поступок Сэма произвел на меня должное впечатление, я отнюдь не пришел в восторг от перспективы потерять из-за него место.

— В Нью-Йорке был большой переполох.— Сэм смотрел на облачко дыма в том месте над луной, где только что взорвалась ракета.— Всякие недоразумения по поводу... моих дел.

— Еще бы.

— Я много путешествую. Испания, Франция. Теперь вот уже несколько недель плывем вдоль итальянского побережья. Потом направимся в Северную Африку. Говорят, в Алжире прелестно.

На террасе появилась моя жена. Сэм вскочил. Я представил их друг другу.

— Высокая честь, донна Каролина.— Сэм галантно поцеловал ей руку.

Супруга извинилась, что не говорит по-английски; значит, она не желает говорить на этом языке, ибо думает, что разговор будет скучный. На самом-то деле она владеет английским, немецким, французским и, разумеется, итальянским: ее отец — швейцарский барон Йост Йозеф де Тракслер, в прошлом паж при дворе последнего короля обеих Сицилий, как и ее дед со стороны матери (неаполитанец испанского происхождения). Я встретил семью Тракслеров, когда меня впервые представили королю Фердинанду в Казерте. После года острых схваток с семьей по вопросам религии и собственности (у них и того и другого в избытке, а у меня — ни того, ни другого) мы обвенчались шесть месяцев назад. В июне у нас будет ребенок.

— Хотите кофе?— Каролина говорила по-английски медленно, тщательно выговаривая слова.

— Если у вас не найдется ничего покрепче.

Каролина ушла, и Панталеоне принес Сэму бутылку бренди — тот выпил его как чай.

— Признаюсь, Чарли, я тоскую по дому. Вот уж не думал, что затоскую при такой-то красоте.— И он махнул рукой в сторону моря. Тут с неба упала звезда. Мое консульство.

— Вряд ли ты сможешь вернуться.— Мне вдруг захотелось помучить его за то зло, какое он причинил президенту Ван Бюрену, не говоря уже обо мне.

— Ну, теперь-то, когда всплыла вся история...— Он пробормотал что-то и замолк. Слава богу, хоть не лезет с «объяснениями». Затем он повернулся ко мне.— А как ты, Чарли? Когда думаешь переселяться с красоткой женой в богоизбранную страну?

— Мне кажется, она предпочитает жить в католической стране.

— А ты?

— Не знаю.— Я не собирался рассказывать Сэму, что Каролина не испытывает ни малейшего желания видеть Америку, мечтает поселиться близ Станса в Унтервальдене, в Швейцарии, где расположен замок Тракслеров. К сожалению, Швейцария слишком безмятежна, слишком романтична на мой сегодняшний вкус. Я уже не интересуюсь розами и мавританскими арками. Я интересуюсь политической ситуацией в Неаполе (наскучив делишками Таммани!). Я с нетерпением жду следующей революционной волны, которая так же неизбежна, как новое извержение дымящегося Везувия. А когда она накатит... Что мне делать? Я выбегу на улицу и стану лаять. Такова моя натура. Пока Леггет превращается в прах, я превращаюсь в Леггета.

Суортвут заговорил о Леггете:

— Надо отдать должное Мэтти Ван Бюрену: он не помнит зла. Когда газета Леггета разорилась, Мэтти Ван назначил его посланником в Гватемалу, хотя его никто об этом не просил.

— Но Леггет всегда поддерживал президента.

— Вовсе не всегда.— Сэм подмигнул. Потом отпил изрядный глоток, и в тоне его появилась сентиментальность:— Бедняга. Так и не попал в Гватемалу.

В мае прошлого года, когда Леггет умер, я написал его вдове, и та ответила пространным письмом; к несчастью, мешок, в котором было письмо, попал в воду в заливе Салерно, и чернила расплылись.

Я так и не знаю подробностей смерти Леггета, хотя догадаться нетрудно.

— Оставайся у нас,— сказал я, сообразив по огням на площади, что шествие начинается и скоро мне придется представлять мою страну.

— Нет, нет. Спасибо. Я останусь на борту. У меня отличная английская команда. Прекрасный капитан — тоже англичанин, большой любитель виста и бренди.

— Ну, а мне надо приступать к своим обязанностям,— сказал я.

Сэм встал.

— Что с твоей книгой о полковнике Бэрре?

— Жду, пока мистер Дэвис опубликует его биографию.

Два года назад Дэвис издал дневники полковника, и хотя многие места он опустил, книга шокировала американскую публику, и репутация полковника стала еще ужасней, чем раньше.

Суортвут помолчал. Глубоко вздохнул. Он напился.

— Он очень любил тебя, полковник, очень любил.

— И я любил его.— Не желая говорить с Сэмом о полковнике, я пошел вперед и поздоровался с крестьянской семьей, которая обогнала нас, торопясь на праздник.

— Да, сэр, любил тебя больше всех... или почти больше всех.

— Рад слышать.— Я наклонил голову и зашагал быстрее.

Суортвут старался не отставать.

— Кстати, полковник написал Мэтти Вану о тебе... со Статен-Айленда.

— Знаю.

— Просил его присмотреть за тобой. И еще просил устроить тебя на это место.— Суортвут засмеялся.— О, вся эта ситуация очень веселила полковника. Ты ведь знаешь: то, что шокировало многих, его только забавляло. «Почему бы Мэтти не позаботиться о юном Чарли?— сказал мне полковник.— В конце концов он же его старший брат».

Я как вкопанный остановился у поворота лестницы.

— Что ты сказал?

Суортвут с трудом удерживал равновесие — громадная фигура покачивалась в темноте.

— Извини, Чарли. Я думал, ты знаешь.

— Я не знал.

— Извини,— повторил Суортвут.

Мы расстались на площади.

Искусственные деревья были усыпаны цветными огнями. Толпа стояла так плотно, что я сумел протиснуться к подножию лестницы собора только с помощью карабинера.

Не разбирая пути, я поднялся по ступенькам к деревянному помосту, сооруженному для нескольких знатных особ. Со мной поздоровался мэр, представитель короля, моя супруга. У главного входа собора оркестр в форме играл марши. В порту грохотал фейерверк. Я был оглушен и ослеплен.

Я раскланивался во все стороны, проявлял интерес к церемонии, но не мог думать ни о чем, кроме полковника Бэрра и того, что мы так и не сказали друг другу: он — из деликатности,— я по неведению.

Серебряные одежды развевались на морском ветру, фигура Девы, увенчанная короной, была прямо напротив нас.

— Ah, chiedi una grazia! Chiedi una grazia![1] — шептала мне на ухо Каролина.— Загадай желание! Быстро! Она исполнит!

Но я не мог загадать ни одного желания — их все уже исполнил мой отец Аарон Бэрр.

[1] Проси ее о милости! Проси ее о милости! *(итал.)*

Послесловие

Почему исторический роман, а не история? Для меня привлекательность исторического романа состоит в том, что можно быть скрупулезным (или небрежным), подобно историку, имея, однако, право не только перемещать события, но, что гораздо важнее, мотивировать поступки — а добросовестный историк никогда себе этого не позволит.

На подготовку к роману ушло много лет, и, сочиняя его, я позволил себе некоторую вольность. Джеймс Уилкинсон прибыл в Кембридж только через год после того, как уехал Бэрр. Джонатана Дейтона на самом деле не было с Бэрром во время похода в Канаду. Элегическая беседа Чарли с Эдвардом Ливингстоном в июле 1836 года вполне уместна, хоть и несколько сверхъестественна, так как посол Ливингстон умер на два месяца раньше в двух-трех милях от моего старого дома в округе Датчес. Я воскресил Ливингстона, потому что он мне понадобился именно тогда. В остальном персонажи романа в должном месте в должное время делают то, что они делали в действительности.

Разумеется, я примыслил диалоги, но по мере возможности использовал подлинную речь персонажей. Конечно, мнения Джефферсона, высказанные в этой книге, подлинны и выражены часто собственными его словами. Он очень много писал и говорил обо всем. В общем и целом, о Джефферсоне я гораздо более высокого мнения, чем Бэрр; с другой стороны, я не разделяю пристрастия последнего к Джексону. Хотя роман написан с точки зрения Бэрра, рассказанное в нем — история, а не выдумка. Все персонажи существовали в действительности (в том числе Элен Джьюет и мадам Таунсенд); исключение составляют Чарли Скайлер, образ которого навеян отчасти личностью малоизвестного романиста Чарльза Бэрдетта, да еще Уильям де ла Туш Клэнси, который, разумеется, никем не навеян.

Я предполагал снабдить роман библиографией, но источники бесконечны, да к тому же это все — политика. Американская история стала сегодня полем битвы, и я бы предпочел остаться в стороне. Я хочу, однако, сознаться в пристрастии (и я уже слышу чарующий свист пуль, как сказал бы Вашингтон) к небольшой блистательной работе Леонарда У. Леви под названием «Джефферсон и гражданские свободы».

Едва ли в книге много ошибок и анахронизмов. Но если они все же есть, я, как Ричард Никсон, беру на себя всю ответственность, не перекладывая вину на редактора рукописи Линна Ст. С. Стронга или ученого-историка Мэри-Джо Клайн, которые решительно пресекали малейшие мои попытки сглаживать острые углы.

7 июня 1973 года

Г. В.

■

АНДРЕЙ ПЛАВКА

Полная чаша

Перевод со словацкого Н. АРОСЕВОЙ

■

Юло встопорщил темные усики, ехидно сощурил глаза, наморщил лоб и скорее прошипел, чем проговорил поджатыми губами:

— О, господи, черти б вас драли — и ради такой ерунды надо было вызывать меня в одиннадцать ночи?!

Тусклую мигающую лампочку, висевшую на шнуре над заляпанным столом, притянули поближе к постели больного; словно испугавшись сердитого тона Юло, она теперь раскачалась сильнее, и ясно стала видна поднятая пыль. Я стоял поодаль, в углу, наблюдая всю сцену, как зритель в театре. Да оно и смахивало на какой-то спектакль,— и декорации как полагается, и действующие лица, придуманные автором и режиссером, чтобы было на что смотреть публике. Вот я и смотрел.

На одной из деревянных, украшенных довольно искусной резьбой супружеских кроватей, под периной в красноватой в полоску наволочке, лежал усатый, давно не бривший, веснушчатый и, казалось, довольно грязный детина неопределенного возраста; он непрестанно кашлял, натужливо и деланно чихая, стонал и пыхтел.

— Колет, пан доктор, вот тут вот, в самых в легких, и так третий день... Ноги не держат, до того ослаб... Как пить дать воспаление легких! Да вы еще маленько послушайте,— говорил больной, живо подмигнув из-под кустистых бровей и покосившись на фонендоскоп Юло.

— Вдоволь я наслушался,— буркнул тот, садясь к неопрятному столу; небрежно сдвинув в сторону какой-то хлам, он стал писать рецепт. Еще раз взглянул на градусник, стряхнул его и вложил в красный футляр.

Я внимательно приглядывался к Юло и улыбался, поражаясь его терпению — терпению врача, которого нередко так вот вызывают в самые отдаленные места его участка к больному, страдающему всего лишь насморком. Так было и на этот раз. В жарко натопленной горнице впору было задохнуться, пахло денатуратом, камфарой и салом. Шел 1946 год, на дворе стоял ноябрь, и происходило все это в деревне Комьятной под Ружомбероком.

По горнице сновала хозяйка, маленькая и какая-то высохшая, она все время что-то перетаскивала и разыскивала; особенно она засуетилась, когда Юло велел ей подать таз с водой, мыло и хоть какую тряпку вытереть руки. В противоположном углу стояла другая широченная кровать, в ней, как ласточки в гнезде, сидели трое детишек: они смотрели на нас широко раскрытыми глазенками. Глаза эти, черные, как ягоды терновника, блестели даже в слабом свете. Кто из них мальчик, кто девочка, распознать было невозможно. С перепугу они сидели тихо, как мышки, все время, пока мы находились там.

— Так,— заканчивая сцену, произнес Юло.— Я тут выписал вам лекарство. Если вам так уж надо дровишек заготовить, хватит с вас и трех дней — а послезавтра марш на работу. Больше дать не могу, у вас даже температуры нет. А денатурку не пейте, ослепнуть можете — разве у вас в Комьятной это еще не известно?

Хозяйка от этих слов застыла и, округлив глаза, выпалила:

— Как вы догадались-то?!

© Andrej Plávka, 1976.

Юло с легкой усмешкой кинул взгляд на меня, как бы говоря: видал, какие тут славные наивные люди! Прямо позавидуешь...

— Жофка, угости же господ,— подал голос больной.— У нас, поди, и вино найдется.

— Нет, нет, спасибо, мы торопимся, меня еще пациенты ждут, может, потяжелее больные, чем вы,— решительно отказался Юло, что было не совсем по мне — очень вдруг захотелось подольше побыть в этой непривычной обстановке, какую уже тогда не так-то легко было найти. Комьятная, расположенная на границе между областями Липтовом и Оравой, была одной из немногих деревень, еще полных романтики и поэзии, нищеты и разбойной удали, отваги и мятежного духа — в общем, всего того, что привлекает не только этнографов, но и поэтов.

Нет, мой брат доктор Юло так и не дал мне посидеть вечерок в Комьятной; правда, он обманул хозяев — ни к каким пациентам мы больше не поехали, а вернулись на такси допивать наше собственное вино в его квартире, откуда нас и вызвали к «больному», когда мы в милом семейном кругу праздновали тридцать девятый день моего рождения. Юло был уже два года женат, и недавно ему предоставили на Панской улице в Ружомбероке хорошую квартиру, в которой до него жил тоже врач; так что брат мой только-только прошел крестный путь бездомных новобрачных. А я, как и обещал ему когда-то, во времена наших походов по братиславским винным погребкам, заказал для него «фирменную» дощечку на дверь, очень красивую, эмалированную: «Доктор медицины Юлиус Плавка, госуд. участковый врач. Приемные часы...» Я обещал ему такой подарок, когда он закончит курс медицины, раз уж сам я столь бесславно расстался с юриспруденцией. Отец, слава богу, дожил до его триумфа и был счастлив на склоне лет. Схоронили мы его совсем недавно, месяц назад, в октябре, как раз в ту пору, когда созревают его любимые зимние сорта яблок; и мы положили несколько штук ему в гроб — пусть вечно зимуют с ним вместе...

Та часть Ружемберока, где жил Юло со своей молодой женой Отой, всегда представлялась мне какой-то ненастоящей, романтической, как бы перенесенной сюда из дальних стран: напротив — синагога, вокруг — ели, под боком — шумная Ревучанка... А может, потому мне так казалось, что, к сожалению, прожили они там недолго, что-то года два с небольшим, и осталось у меня больше грустных воспоминаний об этой квартире — тем более, что незадолго до смерти лежал там и наш отец. А осенью 1947 года отвезли мы Юло в Вышние Хаги, откуда он вернулся, прикрытый розмариновым венком и черным флером, среди белой-белой зимы, в первые дни февраля следующего же года...

И все же там, в этом «ненастоящем» уголке Ружомберока мы, Юло, Ота и я, прожили немало незабываемых минут — особенно после того, как и моя жена Ланка решила сопровождать меня во всех моих разъездах и странствиях; тогда и она стала делить с нами «ружомберокские вечера», полные поэзии, очарования, песен, споров, философствования, разговоров о политике, умных, а порой и очень глупых рассуждений — как то бывает у молодых неуемных энтузиастов. Ота иногда садилась за пианино, играла и пела народные песенки Верхнегронья, мы подпевали ей, учили новые, умножая тем свой и так довольно богатый репертуар. Играла и пела Ота превосходно, сама блестяще аранжировала простые эти песни, увлекая и заражая нас. А мы с Юло учили ее тем песням, которые переняли от писателя Людо Ондрейова. Поистине дом в конце Панской улицы Ружомберока, по соседству с синагогой и могучими елями, был в те времена домом песен и семейного лада, домом счастья, бьющего через край, и счастье это частенько встречало утреннюю зарю, не успев насытиться ночью, что полными горстями дарит сокровища, которыми владеет она одна.

Так вот, тогда мы около полуночи дотряслись домой на такси, оставив позади Комьятную и корчму в Валашской Дубовой, где, по преданию, сходился со своими молодцами Яношик, и снова принялись за белое бургундское, которое я притащил ко дню своего рождения. Но прежнее настроение не возвращалось, Юло то и дело заговаривал о своих пациентах — и о том, в Комьятной, и о других, особенно из Оравы, куда его часто вызывали и откуда часто к нему приходили. За сравнительно недолгое время своей работы он заслужил репутацию хорошего, добросовестного врача, и слух о нем быстро распространился. Так обыкновенный насморк комьятского жителя «испортил», правда, мою некруглую дату, зато дал мне кое-какое представление о пациентах Юло, об атмосфере в Ружомберокском округе вскоре после освобождения и еще о многих серьезных и трезвых вещах, доставлявших большое беспокойство не только жителям Ружомберока, но, в те времена, и всему миру.

В этом краю, расположенном между вершинами Мнихом, Чебратом и Хочем, и выбрал себе Юло поле деятельности, не подозревая, до чего недолго будет дано ему воплощать в жизнь его благородные замыслы, не зная, что очень скоро недалеко отсюда, в Вышних Хагах, он будет скошен коварной болезнью — в расцвете сил, тридцати пяти лет от роду...

А после этого пустыней стала для меня Панская улица: уже не светится в доме напротив синагоги эмалированная дощечка — единственный осязаемый след

брата в этом преходящем мире; имя его сошло с серой стены и перенеслось на надгробную плиту, высеченное над строками из стихотворения Галаса «Кладбище». Но всякий раз, как я попадаю в те места, где расширенная ныне Панская улица выбегает к берегу мутной Ревучанки, к шумящим елям, к синагоге, вспоминается мне детина в Комьятной и овевает меня ветер тех времен, тридцати девяти моих лет — вспоминается и бочонок бургундского, и то, как нас оторвал тогда от него телефонный вызов якобы к тяжелобольному, который просто хотел за счет месткома заготовить себе дровишек на зиму. Юло пошел ему навстречу, дал больничный листок на три дня — а я узнал кое-что о своеобразии Комьятной, где тогда еще пили денатурат, а позже узнал от Юло и о других деревнях и других пациентах, о трахоме на Ораве, столбняке, кожных заболеваниях и прочих недугах, которые надо было срочно лечить, особенно в те годы, когда в разоренной, опустошенной Словакии так недоставало сильных мужских рук. Юло принялся за этот труд с подлинным энтузиазмом; увы, здоровье его, подорванное еще во время Восстания, не выдержало.

■

Легко сказать — разъезды, а попробуй-ка поездить, когда мосты взорваны, тоннели засыпаны, дороги завалены обломками скал, камнями, когда на каждом шагу — воронки и ямы, когда воды текут по собственной прихоти, а не по воле человека,— попробуйте тогда наметить, как, куда, а главное — когда вы доберетесь, как бы срочно ни требовал долг!

Так мы ездили из Быстрицы в Братиславу, усердно подготавливая празднование первой годовщины Словацкого национального восстания, причем по милости вышеупомянутых взорванных мостов — далеким объездом через Банскую Штявницу, Батовицы, Левицы и другими невероятными путями. Центральные власти уже обосновались в Братиславе, но кое-какие отделы Корпуса уполномоченных[1] были еще разбросаны в Кошицах и в Банской Быстрице. И надо же, чтоб именно я, именно тогда был заместителем уполномоченного по делам информации, Михала Хорвата, и возглавлял быстрицкий отдел! Нелегко нам было отчасти по той причине, что ничто еще не действовало как надо, а между тем праздник надлежало подготовить так, чтоб люди могли приехать в Быстрицу из Братиславы первым поездом и чтоб в Быстрице им было что есть и даже что курить. Об одном нам не приходилось заботиться — об энтузиазме, которого, слава богу, у всех было с избытком и который стал вернейшим нашим союзником. Именно этот всеобщий энтузиазм помог нам в конечном счете одолеть препятствия, на первый взгляд неодолимые.

Я вывез тогда из Банской Штявницы большое количество спасенного курева, из Ружомберока — несколько сот метров материи для флагов, чтоб Быстрица, эта столица Восстания, напряженно ждущая самое-самое первое празднование своей победы, могла облечься в праздничный наряд.

Советский комендант «города Бистрица» любезно прикомандировал ко мне старшину, который разъезжал со мной в эти «хозяйственные» экспедиции на нашем замечательном юнрровском пикапе — в общем-то это был единственный способ более или менее наверняка добраться до мест, без посещения которых не только не могло иметь успеха празднование годовщины Восстания, но не мог сколько-нибудь эффективно работать и весь наш отдел, весь наш славный филиал Корпуса уполномоченных во главе со мной, хотя на руках у меня было такое удостоверение, что мне отдавали бы честь даже адмиралы, будь у нас тогда таковые.

Итак, ЮНРРА[2] передала нам славный пикапчик, а уполномоченный по вопросам внутренних дел Густав Гусак выделил — лично для меня, как заместителя уполномоченного по делам информации,— легковушку марки «адлер»; мы менялись за рулем с прикомандированным ко мне водителем, так что сам я тоже, слава богу, наездил немало километров по этим горе-дорогам.

Первый юбилей Восстания в Быстрице в августе 1945 года превзошел все наши ожидания, и на душе у меня отлегло — ведь ответственность была велика, особенно по тем временам, когда по стране еще шатались всякие темные личности, а участие в празднестве членов правительства, с президентом республики во главе, и всего дипломатического корпуса требовало исключительных усилий со стороны ответственных лиц. А этими лицами были в основном двое — Мирослав Клементис и я. Нелегкая была у нас задачка!

Вскоре после этого меня назначили руководителем отдела печати в канцелярии Президиума Корпуса уполномоченных, формировавшегося тогда под пред-

---

[1] Орган исполнительной власти в Словакии. *(Здесь и далее—примечания переводчика.)*

[2] ЮНРРА (составлено из начальных букв англ. United Nations Relief and Rehabilitation Administration — Администрация помощи и восстановления при Организации Объединенных Наций) — международная организация, существовавшая с 1943 по 1947 год.

седательством Карола Шмидке: Мирослав Клементис стал начальником канцелярии. До работы мне было рукой подать — только пробежать от дома по короткому переулку. Итак, я стал государственным служащим, экспертом, советником, шефом, который вместе с тем, однако, заканчивал свою четвертую книжку, сборник стихов под названием «Огни в горах», и не очень-то разбирался в деловых вопросах. Счастье, что и председатель Корпуса уполномоченных, и мой непосредственный начальник Миро Клементис относились с исключительным пониманием к моим поэтическим трудам и освобождали меня от работы, можно сказать, по первой же моей просьбе. Я, естественно, не злоупотреблял их расположением и добросовестно исполнял свои обязанности — особенно когда предстояла срочная, неотложная, порой даже ночная работа.

Раз уж я назвал имя Карола Шмидке, тогдашнего председателя Корпуса уполномоченных, а после февраля 1948 года — председателя Словацкого национального совета, то просто не могу не упомянуть о стиле его работы, о том, как он относился к людям, не могу не сказать хоть несколько слов о личности и характере этого человека. Я познакомился с ним еще во время Восстания в Банской Быстрице, слышал его речь на историческом митинге, назначенном на быстрицкой площади, но из опасения перед налетами фашистских бомбардировщиков перенесенном в парк; тогда я еще не предполагал, что когда-нибудь стану близким его сотрудником, да еще в таком высоком учреждении.

Признаться, я опасался, что Шмидке, принципиальный и строгий коммунист, будет суровым и неумолимым, неразговорчивым, педантичным и тому подобное, словом, начальником, «нагоняющим страх», по выражению служащей братии. А Карол Шмидке оказался совершенно другим. Он завоевал всеобщий авторитет, который как бы естественно подчеркивался его личной скромностью и любовью к людям — к сотрудникам и просителям, ежедневно являвшимся к нему со всех концов хоть и свободной уже, но в ту пору страдающей, разоренной дотла Словакии. Не представляю себе более идеального главы высокого правительственного учреждения, в личности которого принципиальность, авторитетность, способность внушать уважение так гармонически сочетались бы с терпимостью, даром понимать тревоги других людей, приветливым обращением с ними, кем бы они ни были. Шмидке был не только революционер, разрушающий старое, но и революционер, способный строить основы новой жизни: подлинный тип большевика-ленинца. Я счастлив, что мог учиться у него, и то, чему я у него научился, я применял потом долгие годы как руководитель издательства или один из руководителей Словацкого Союза писателей.

Братислава осенью 1945 года была, конечно, совсем не та, что Братислава в марте 1939 года, когда я покидал ее, отправляясь в Банскую Быстрицу. Только что окончилась война, ее следы были заметны не только на улицах и площадях, но и на людях, они сказывались на их поступках и поведении. Изменился и состав населения. Война, такая, какой была эта, наложила свою печать на лица людей, и достаточно зоркий глаз мог сразу, по одному выражению, угадать, кто перед тобой: вон тот — спекулянт, рыцарь черного рынка, приспособленец; этот — отчаявшийся, потерявший все человек, которому уже безразлично, жив он или нет; а тот — проныра, ищущий покровителей и стремящийся доказать свою лояльность... Наконец, попадались навстречу целые стайки свободных, веселых молодых людей, счастливых тем, что они живут, горланящих на улицах, не обращая внимания на предупреждения порядколюбивой милиции. Контуры человеческих характеров рисовались тогда резче, и не только в выражении лиц, но и в жестах, в любом незначительном движении.

Пока я писал «Огни в горах», во мне еще гремели отзвуки разрывов, автоматных очередей, еще снились тревожные партизанские ночи, гул победных орудий с востока и тихий голос стихов, слагавшихся в моем уме во время Восстания и тотчас после него; все это подстегивало меня — не мешкай, не откладывай, пока еще свежо пережитое, пока непосредственность ощущений не завалена срочной, другой, но столь же необходимой работой, которую, однако, мог выполнять и кто-нибудь кроме меня. Карол Шмидке, Мирослав Клементис, а после них Густав Гусак, прямые мои начальники, давали мне полную возможность заняться писанием, и я в любую минуту, едва снизойдет на меня вдохновение, мог отложить служебные дела и засесть за книгу. После «Огней в горах» я написал рассказы из жизни повстанцев — «Семеро» и «Возвращение Петра Хуганя».

По вечерам я встречал еще на улицах Братиславы Янко Есенского. Уже совсем дряхлый, но шагающий гордо, хоть и медленно, прогуливался, поддерживаемый под руку женой, этот поэт-антифашист, этот борец против «Словацкого государства» с его тисовско-туковским режимом и со всеми его прихлебателями, к какому бы кругу они ни принадлежали, хотя бы и к писательскому. Правда всегда останется правдой. Никогда не забуду, как в клубном помещении кафе «Метрополь», где собрался узкий кружок писателей, Янко Есенский заявил, что он, как председатель Общества словацких литераторов, никогда не станет лобызать руку

пана Тисо [1]. Было это вскоре после так называемого Жилинского соглашения, когда некоторые словацкие писатели готовы были если не лобызать руку, то все же пойти на поклон к Тисо, новоиспеченному главе тогдашнего словацкого правительства. Но благодаря Янко Есенскому и его принципиальной непримиримости представители Общества словацких литераторов так и не явились поздравлять господина Тисо.

При встречах на улице Янко Есенский здоровался своим прежним, старомодным, улыбчатым «Покорный слуга» и, сняв шляпу, описывал ею театральный полукруг, как то делывали в свое время венгерские аристократы, которых он так метко умел высмеивать!

Увы, недолго встречал я Есенского на улицах Братиславы. В некий день между рождеством и новым, 1946 годом я стоял уже в почетном карауле у его гроба, выставленного в здании Словацкого национального совета на площади Мира (теперь там Дом пионеров). Так я в последний раз встретился с ним, уже бездыханным. И пока я стоял над его мертвым телом, многое пробегало в мыслях моих — вы не поверите, вспоминались даже веселые минутки, какие мне выпало пережить вместе с ним... Да, Янко Есенский, народный художник (кажется, он первым из словацких писателей, тотчас после освобождения, был удостоен этого звания),— Янко Есенский умер. Словно смертью своей поставил точку за старой эпохой,— а может быть, и старой манерой писать.

Весной 1946 года Словацкий национальный совет выделил для писателей замок венгерского магната графа Палффи в Будмерицах (недалеко от Братиславы). В этом замке, ныне — Доме писателей, окруженном обширным парком, до сих пор работают и отдыхают наши литераторы. Принимали мы там и высоких гостей, и одним из первых был Клемент Готвальд, в ту пору еще премьер-министр. Он приехал в Братиславу, где 5—7 июля 1946 года проходили Славянские дни. Лацо Новомеский поручил мне тогда хорошенько приготовиться к встрече: товарищ Готвальд со своими спутниками, побывав на Девине [2], заедет в Будмерицы, после чего он должен успеть к вечернему скорому Братислава — Прага. Поезд этот, к которому были прицеплены два спецвагона для правительственной делегации, однако, по вине именно Будмериц, отправился из Братиславы со значительным опозданием. А случилось это так.

Мы, конечно, очень радовались, что можем принять в нашем Доме товарища Готвальда, и старались сделать все, чтоб и он, как ни коротко будет его посещение, чувствовал себя у нас как можно лучше. Поскольку я превосходно знал Будмерицы и их окрестности, роль организатора пала именно на меня. Из деревни Частая я привез хорошо мне известный цыганский оркестр и попросил музыкантов расположиться под двумя развесистыми дубами перед замком, неподалеку от костра — его как раз устраивали, обкладывая камнями. Погода стояла отличная, был прекрасный июльский день. Гости ожидались засветло, около половины шестого. Сначала их пригласят погулять в парке, потом закусить у костра, а уж потом войти в дом ужинать. Так все и произошло — план наш удался на славу.

Товарищ Готвальд приехал; с ним были члены нашего правительства и писатели — Лацо Новомеский, Иван Хорват, Михал Хорват и, естественно, Густав Гусак, Карол Шмидке, министры, уполномоченные и руководители различных ведомств, среди которых я особо запомнил товарища Зеленку, много лет возглавлявшего канцелярию Президиума правительства. С Зеленкой я познакомился именно тогда, в Будмерицах, и после, встречаясь в течение долгих лет от случая к случаю, мы с ним вспоминали тот чудесный будмерицкий вечер. Зеленка не раз говаривал, что и Клемент Готвальд не мог его забыть.

Цыгане играли, жарилась свинина, весело было вокруг костра. Июльское солнце грело, все сняли пиджаки, развесили их по деревьям, протянули над углями ясеневые шампуры. Для товарища Готвальда это не было ни новостью, ни экзотикой — он сам рассказал нам, что ему не раз приходилось так вот готовить себе еду еще в партизанские времена, в окрестностях Банской Быстрицы и Вруток. Во время этого рассказа я заметил, что он, давая стекать жиру на кусок хлеба, капнул себе на брюки, и посоветовал ему:

— Положите хлеб вон на тот камень... А к свининке невредно бы и что-нибудь покрепче, чтоб расстройства потом не было!

— Что ж, угостите нас доброй сливовицей,— засмеявшись, сказал Готвальд на чистом словацком языке.

Мне только того и надо было — барьер официальности сломан, настроение поднялось. Я быстро отдал нужные распоряжения, и так, под цыганскую музыку, сидели мы на травке, угощаясь свининой и сливовицей.

Здесь следует упомянуть, что в то время в замке нашем отдыхали дети с

---

[1] Словацкий клерикальный националистический деятель, с 1939 по 1945 год — президент Словацкого «самостоятельного государства» под «охраной» Германии. В 1947 году казнен по приговору чехословацкого Народного суда.

[2] Руины старинной крепости на высокой скале над Дунаем, в нескольких километрах от Братиславы.

Оравы с двумя учительницами. Жили они на первом этаже и целыми днями играли в парке, распевая оравские песни, которые мне очень нравились,— девчушки пели их на несколько голосов. И вот, когда мы, уже с темнотой, расположились в просторных гостиных замка, я предложил Новомескому попросить детей спеть для товарища Готвальда.

— А не осрамимся? — засомневался Новомеский.— Ты уверен? Слышал ты, как они поют?

— Слышал. Ты сам поразишься, да и товарищ Готвальд тоже!

Так мы и сделали. Дети уже укладывались спать, но услыхав, что их просят спеть для товарища Готвальда, мигом взбодрились и стали одеваться. Потом они выстроились ровным полукругом в холле перед большой гостиной, мы растворили обе половинки двери, чтоб видно было девочек, и они запели.

Пожалуй, никогда еще этот замок, стоящий тут с конца прошлого века, не оглашался такими прекрасными звуками, как в тот июльский вечер. И сразу это стало как бы самым убедительным, глубоко хватающим за сердце символом подлинного освобождения нашего человека от давних бед, бесправия и гнета, эти оравские песни, сложенные в одном из самых глухих уголков Словакии, где долгими веками правил голод и терзали людей сотни других бедствий, зазвучав теперь в роскошном замке магната, как бы утверждали начало новых времен, рожденных в страданиях минувшей войны, стоившей нам великих жертв.

Уже не только по хуторам Зазривой, не только на горных лугах где-нибудь над Малатиной — оравские песни звучали в гостиных бывшего графского замка, предназначенного победоносной народной властью для того, чтобы рождались здесь новые песни, новые творения, обогащающие искусство и культуру нашего народа.

И впоследствии много раз наш писательский дом в Будмерицах принимал в своих стенах дорогих гостей, в том числе из других стран. Среди них нельзя не назвать одного: это был Леонид Ильич Брежнев, возглавлявший делегацию КПСС, которая посетила Будмерицы 14 мая 1961 года, и я имел честь приветствовать Леонида Ильича Брежнева на пороге нашего дома. В памятной книге Будмериц сохранились следующие строки: «В знак памятной встречи, с самыми сердечными пожеланиями больших творческих успехов нашим добрым друзьям и братьям — словацким писателям. Делегация КПСС».

■

Братислава была уже свободна. Ян Костра написал в ее честь отличное стихотворение, заканчивающееся прелестным образом жаворонка, который возносит радостную весть в лазурную вышину. Однако нам приходилось если не заново завоевывать столицу, то по крайней мере подыскивать к ней ключи, заново узнавать ее, ощупывать, гладить, смотреть во все глаза. В Братиславу разом нахлынули многие участники Восстания — из Кошиц, Банской Быстрицы, Мартина и других словацких городов. Широкие лица, улыбки до ушей, необузданное веселье,— еще не улеглось торжество победы, еще блестят глаза от счастья, что вот мы — живы, что в самом деле пережили все. Нередко можно было видеть на братиславских улицах размашистые мощные объятия, сопровождаемые радостными выкриками, после чего встреча продолжалась в каком-нибудь винном погребке, которых, увы, оставалось в ту пору маловато. Владельцами погребков были по большей части немцы, дрожавшие со своими Эльзами не только за свои виноградники и дома, но и просто за жизнь. Нет, их страхи были напрасны. Одни так и остались в Братиславе, а большая часть совершенно спокойно, в законном порядке, выехала из страны. Но пока в покинутых виноградарских районах осели словацкие семьи — главным образом из Северной Словакии и Оравы, с земель, затопленных Оравской плотиной,— да пока они научились труду виноградарей, прошло довольно много времени. Бывали случаи, когда славные ораване выкорчевывали виноградные лозы и сажали картошку. Сколько пришлось убеждать их, что это все равно, как если б они вздумали сжигать заборы и продавать пепел! Так что в те времена мы бывали рады всякому уголку, даже в каком-нибудь частном домишке, о котором кто-то где-то слыхал, что там водится недурное винцо... Лучше всех, как всегда, бывал осведомлен Ян Смрек — у него повсюду были обширные знакомства, вот мы и держались его.

В числе известных в те времена, даже можно сказать, прославленных братиславских погребков считалась «Schöne Lotti» Находилась она тотчас за Рыбными воротами, в начале теперешней улицы Налепки, и там можно было получить не только вино, но — стараниями ее заведующего, чье имя я не хочу выдавать,— и добрую порцию жареной гусятины, правда, за сто крон. «Красотка Лотти» была излюбленным местом встреч художников, актеров, писателей, чиновников высшего разряда — и их прихлебателей, льстецов, спешивших уцепиться за выгодное местечко, потому что они безошибочно чуяли, что только это время — их время, что с каждой неделей, с каждым днем надежд у них остается все меньше.

Неподалеку от «Красотки Лотти», в верхних этажах нового здания на площади Гвездослава, расположилась редакция газеты «Народна оброда» («Национальное возрождение»),— орган Словацкого национального совета. Главным и ответственным редактором ее был Лацо Новомеский, подобравший сотрудников из интеллигентов, по большей части писателей; а те ежедневно наведывались к «Красотке Лотти». Всегда находился охотник побренчать на старом расстроенном рояле, в полупустом боковом помещении, и тогда там, случалось, грохал одземок[1], ахал чардаш, а порой появлялся здесь какой-нибудь цыган-премьер без места, со своей скрипочкой, а то и с контрабасом, весь в канифольной пыли на старом, лоснящемся черном «анцуге» [2], в котором он когда-то наигрывал на ушко помещичьим дамочкам и прилизанным их кавалерам. Теперь, после войны, когда все так круто изменилось, музыканты услаждали слух художников, писателей, журналистов, из которых проклевывались будущие уполномоченные, а то — чем черт не шутит — и министры... Так в этой «Красотке Лотти», да и в других местах праздновали мы свою победу и во втором послевоенном году, буйные и веселые, а главное — молодые, полные энтузиазма, и пускали корни в новой жизни, в столице Словакии, стараясь вдохнуть в нее частицу собственного духа и не сознавая, конечно, что и сами-то мы поддаемся воздействию ее атмосферы, в те годы, правда, уже изменившейся.

Покой ушел из этого города, словно его развеяли воздушные волны последних бомб, угодивших, в частности, в классическое здание, чьим автором был архитектор Гарминец — здание Словацкого музея, где находилось одно из самых тихих братиславских кафе, место встреч влюбленных, поэтов и философов, если таковые еще оставались. Новая Братислава была городом небывалого оживления и непрекращающегося шума, городом, где изменялись вещи и люди, где все перемещалось и встречалось, городом поистине новой жизни, которую создавали мы сами и которая создавала нас.

Единственный мост через Дунай, взорванный отступающими немецкими войсками, очень скоро восстановили красноармейцы. И в какой-то из февральских дней 1946 года состоялось его торжественное открытие.

В сорок шестом все в нашей стране, у кого в порядке были руки, ноги и голова, а особенно добрая воля, пустились восстанавливать, строить, стремясь всеми силами залечить раны, нанесенные войной. Таким же был и следующий, сорок седьмой год, да и дальнейшие годы, несмотря на отдельные попытки затормозить развитие, использовать в политических целях некоторые неурядицы и неразбериху первых лет. Все эти попытки клонились к одной цели: помешать строительству социализма в нашей стране. Февраль 1948 года положил этому конец, но об этом — позже.

Для словацких писателей сорок седьмой год был знаменательным: уже в марте в новом нашем будмерицком Доме состоялось общее собрание, на котором Михал Хорват сделал пространный доклад, наметив принципы будущей деятельности Общества словацких литераторов. Председателем его снова был избран Лацо Новомеский, а в правление, вместе с Иваном Стодолой, Яном Поничаном, Яном Смреком, Михалом Хорватом, Яном Кострой и другими, вошел и я в качестве секретаря: так что ко всем моим и без того хлопотливым обязанностям присоединилась еще одна. Как я уже упоминал, я руководил отделом печати канцелярии Президиума Корпуса уполномоченных, был секретарем Национального фронта от Коммунистической партии, да помимо этого еще работал редактором еженедельника «Нове слово», главное руководство которым осуществлял Густав Гусак.

В квартире Густава Гусака один раз в неделю собирались ближайшие сотрудники «Нове слово», чтоб обсудить поступившие материалы, составить макет очередного номера, посоветоваться: проблемные статьи мы отдавали рецензировать на сторону, обсуждали, кого из авторов привлечь, думали, какие материалы понадобятся нам в ближайшее время. На эти редакционные совещания часто являлся Лацо Новомеский, ближайший сотрудник Густава Гусака,— личность, которая, так сказать, всегда и везде излучала какое-то мудрое благородство, какую-то деликатность чувств, но Лацо мгновенно преображался и отвечал щелчком иронии, натолкнувшись на грубость глупости или грубую глупость, если выражаться в присущей ему манере. Пани Магда, супруга Густава Гусака, неизменно внимательная, всякий раз готовила нам какую-нибудь закуску, ибо совещания наши нередко затягивались до поздней ночи. Под конец мы уже пускались в дебаты об общем политическом положении, особенно напряженном в ту пору — время клонилось к Февралю 1948 г.

Как видите, дел у меня было выше головы, причем нельзя забывать, что, не считая внештатных сотрудников «Нове слово», я был единственным его редактором при единственной машинистке, а ведь делать надо было еженедельный журнал! С течением времени я уже просто физически не в состоянии был справиться

---

[1] Народная словацкая пляска вприсядку.
[2] Костюм *(нем.)*.

с этой работой — в отделе печати и в секретариате Национального фронта у меня накапливалась куча неотложных дел, да тут еще секретарство в Союзе писателей,— и я отказался от редактирования. Заменил меня в «Нове слово» Штефан Беднар.

Счастье еще, что мой сборник «Огни в горах» был уже в печати. Он вышел в начале лета, и критика встретила его довольно доброжелательно. Одну из первых рецензий поместила газета «Народна оброда» за подписью «(tak)», и поскольку рецензия эта по-своему примечательна, не лишним будет процитировать из нее одно место:

«...До сих пор тема Восстания не нашла еще сколько-нибудь сильного отображения. Пока мы имеем только очерки да небольшие рассказы. Проходит время, увеличивается историческая ретроспектива, а смысл Восстания еще толком не сформулирован; более того, можно сказать, что вокруг него на политической арене кипит непрестанная борьба. Не успел этот период найти свое отражение в поэзии и в художественной литературе как эпоха героическая, а значение его уже пытаются умалить, изобразить в мышиной перспективе крупные фигуры нашего национального восстания, да и само движение Сопротивления. Ему приписывают не только противоположные, но часто даже напрочь нереволюционные тенденции. И только к третьей годовщине национального восстания появился поэтический сборник Андрея Плавки «Огни в горах», сохраняющий в поэтическом изображении грандиозный облик той эпохи».

Рецензент «Народна оброда», быть может, сам того не подозревая, высказал уже тогда, увы, печальную истину... Кому-то было важно оставить в тени произведения на тему Восстания. И продолжалось это, к сожалению, еще долгие годы, до недавней поры.

Не удивительно, что один из главных руководителей Восстания, не более и не менее как Лацо Новомеский, писал по случаю третьей годовщины Восстания следующее:

«Три года назад у колыбели нашей революции встретились два сорта людей. Одни восторженно приняли Восстание и его принципы, видя в них осуществление своих политических убеждений и жизненной цели. Другие не возражали против него — но только потому, что не видели иной возможности и не могли выдвинуть иную концепцию. Однако в душе они не примирились ни с Восстанием, ни с его идеями. Сама суть Восстания и его идей были им чужды... Этот сорт людей пришел в общественную жизнь с репутацией участников Восстания, но не имея к нему никакого отношения или даже относясь к нему враждебно. Могли ли откровенные противники словацкого Восстания найти для себя и для своих планов более подходящую опору, чем у людей такого сорта? Восстание длилось слишком недолго, чтоб в ходе борьбы раздавить силы, против которых оно поднялось и которые объединились против него. Подавленные, в тени, но противники эти существовали. И выискивали любые способы утвердиться на выгодных местечках, нагло и беззаконно захваченных ими в прошлом, чтобы вредить и обворовывать государство. Защиту и опору они нашли в тех, кто был при Восстании, но не в нем и не с ним. Вот где корень наших бед. Вот опасность, которая может со временем превратить Словацкое национальное восстание в бессодержательную, пустую фразу, непонятную и даже неприятную для собственного народа...

Отмечая третью годовщицу Словацкого национального восстания, надо хорошенько осознать эти факты. Пусть их осознают те, кто пытается вырвать некоторые части из целостного контекста нашей революции или придать им иной характер,— пусть их осознают и те, кто, с негодованием или покорностью судьбе, возмущается подобными попытками.

Словацкое национальное восстание будет жить, иначе и быть не может. Будет жить в неделимой и непересматриваемой целостности. Оно — смысл, оно — ведущая сила нашей общественной жизни. Так пускай же оно живет и длится!»

Так закончил Лацо Новомеский свою статью к третьей годовщине СНВ.

В дни, когда я пишу эти строки, мы готовимся отметить уже тридцатую его годовщину. Много лет протекло с тех пор, как писал свои соображения поэт и революционер Лацо Новомеский. Тем разительнее звучат сегодня его пророческие слова, его предостережение перед опасностями, грозившими нам непосредственно после победы нашей революции. Вскоре после написания этой, частично мною цитированной, статьи сам Новомеский и многие его соратники стали жертвами трагических судебных процессов пятидесятых годов. Эти процессы сбили с толку многих честных людей, не имевших опыта в подобной политической практике,—и, поверив вынужденным признаниям, подстроенным обвинениям, одни пали духом, другие громко возмущались. Редко кто из нас не ошибался, но правда скоро всплыла на поверхность — и пришлось нам тогда вопрошать свою совесть...

Встречая 30-ю годовщину СНВ, мы не могли не вспомнить и весь долгий путь, пройденный нами до сего дня,—следовательно, и пятидесятые годы, и трагические 1968—1969 годы, времена испытаний и горьких уроков. На собствен-

ных ошибках и промахах убедились мы тогда, что путь к настоящей политической зрелости куда труднее, чем к зрелости физической. Переходный возраст в политике творит всегда больше вреда, и вреда куда более существенного, чем переходный возраст в жизни человека,— если только это действительно лишь переходный возраст, а не что-нибудь похуже. И того, и другого хватало у нас в те два трагических периода, но теперь, с отступом во времени, обогащенный знанием событий и людей, я вижу, что проявлений переходного возраста, проявлений политической незрелости было гораздо больше, чем умышленного политического вредительства. Но, увы — нас постигло несчастье, особенно в пятидесятые годы: мы потеряли дорогих, прекрасных людей, таких, как Владимир Клементис,— а подобные раны долго не заживают; если заживают вообще.

■

Над Мнихом и Чебратом собирались в ту пору тучи. Юло все слабел — хуже того, он и не хотел лечиться. При этом много курил, да и от рюмочки не отворачивался, что при легочной болезни вовсе не на пользу. Сам врач, он отлично это знал — так как же было нам его уговорить? В последние месяцы он сильно исхудал и часто кашлял. Я наведывался в Ружомберок, когда только мог, а вот в Сельницу наезжал уже реже: не к кому было, разве что к могилам. В Сельнице, в родительском нашем доме, жил теперь врач, доктор Хижняк с женой, бездетные супруги, не очень-то ладившие между собой, и, если не считать самого дома с усадьбой, меня туда уже ничто не влекло. Если и заеду, бывало, то так только. похожу по саду, загляну в сараи, в хлев, спущусь к речке, туда, где растут тополя, чтоб разглядеть в воде рыбешек,— это так напоминало детство... Там все еще было прекрасным, яблони по-прежнему богато родили, и липа мощно раскинулась, ну а ель, которую мы посадили на берегу, вытянулась до небывалой высоты. Все было мило и любезно сердцу, только ушел прежний дух отчего, «моего дома». Наглядней шим доказательством тому был хлев, приспособленный под гараж, и стояла там уже не коровушка, а легковушка доктора Хижняка. Этим все сказано. Дом наш всегда оставался для меня напоминанием о лучезарном детстве, о юности с ее мечтами, а по мере того, как уходило время,— о нарастающей печали.

Раз как-то, в конце лета 1947 года, взяли мы с братом Юло короткий отпуск и решили съездить к многочисленной родне в Старую Любовню; давненько не виделись мы с двоюродными братьями Длуголинскими, с которыми нам всегда было так хорошо — ведь там, по холмам в окрестностях любовнянского замка, по улочкам действительно старой Старой Любовни, развеяна и наша молодость, наше детство. наши озорные проделки... Как же не кинуться туда, пока еще живы следы, пока еще не улетучился давний аромат... То была последняя поездка Юло в Старую Любовню. Жена его Ота в то время была на сносях, а сам Юло чувствовал себя на удивление хорошо.

Стоял чудесный сентябрь. воздух был прозрачен, а если подняться по тропинке на Мнишек над Попрадом, то вся Спишская Магура открывается как на ладони. У двоюродного брата Юло Длуголинского и у меня были удочки, мы намеревались поудить рыбку в реке Попраде, как делывали почти в каждый мой приезд сюда. Но в тот раз мы вдвоем поймали только трех рыбешек, зато хорошо посидели в маленьком трактире, кажется, в Гранастове, нынешнем Граничном: для рыбной ловли было уже темно, но отнюдь не для чарочки. И вернулись мы тогда в Любовню с тремя высохшими рыбешками далеко за полночь.

Через два-три дня отправились мы на охоту в большой Якубянский лес. Ехали на телеге, везли с собой обильный харч и соответственно напитки—предстояло ведь угостить лесника, у которого мы собирались ночевать. Было нас человек шесть, к дому лесника мы подошли под вечер погожего дня, чистого, как слеза; в лиловых сумерках, при полном безветрии, четко вырезывались на фоне неба верхушки елей.

— Эй, Глоцек, дома вы?! — закричал Эдо Хаас, муж одной из наших двоюродных сестер; известный охотник, он знал каждое божье создание на много верст вокруг, а не то что лесника в Якубянском лесу.

— Дома, дома, пан нотариус, с обеда вас поджидаю,— отозвался Глоцек, с трубкой в руке выходя из старого своего деревянного дома.

— А то я уже думал, не уволокли ли вас бандеровцы,— пошутил Эдо.

В те поры по глухим деревням и хуторам у нас бродили остатки бандеровских банд, грабя, а то и убивая беззащитных жителей. Эти банды переходили к нам из Польши, пополняясь уголовниками, вооруженными грабителями, врагами нашей власти, дезертирами и прочими отщепенцами.

— А вы не смейтесь,— возразил Глоцек,— завтра будет неделя, как они тут побывали. Забрали у меня пласт сала и весь хлеб. Ну, потом дальше двинулись, по той самой дороге, по которой вы пришли. Не повстречались, не дай бог? — засмеялся он.

— Не повстречались! — хором ответили мы.

Утром мы поднялись затемно. После основательного завтрака, завершившегося чарочкой беланской боровички, пустились мы вверх по долине на охоту. После полутора часов ходьбы вышли на полянку с тремя елями посередине, и тут меня подробно проинструктировали — я никогда раньше не охотился. Потом Эдо отвел меня на место, где мне следовало поджидать серну, которую они погонят на меня, чтобы я наверняка ее «уложил». Когда они, то есть остальные, услышат «шусс» — выстрел из моего ружья, это будет означать, что я с делом справился. По уверениям Эдо, животное должно выбежать под выстрел шагах в двадцати-тридцати от меня, из того самого молодого ельника, который они мне показывают.

Местечко было очаровательное, ружье мне дали самое лучшее, даже с «кукером», то есть оптическим прицелом, и просветили меня добросовестно, велели стоять тихо, насторожив все органы чувств, не курить, ждать — а ждать, мол, придется, может, часок, может, и два. Выдержу ли?

— Сядь вон на тот пень,— сказал Эдо,— сам будешь спрятан, а все увидишь. Не кашляй, не чихай, не сморкайся, не бурчи. В общем, сиди тихо, как мышь. Серна выйдет с той вон стороны, может, даже через час. Сейчас выкури последнюю сигарету, а после уж ни-ни, упаси бог, все испортишь. Занятие удивительное, увидишь, какая будет радость! А мы зайдем с другой стороны, разделимся по двое, по трое, там посмотрим. Юло я беру с собой. В девять часов все сходимся у трех елей на той полянке. Будем ждать друг друга. Вот вроде и все. Удачной охоты, Андришко!

Что ж, удачной охоты. Я не подозревал, что то была не только первая, но и последняя моя охота в жизни.

К собственному удивлению, я не так уж часто поглядывал на часы — время текло быстро, я занял его пристальным наблюдением: как просыпается день, выходит из всех уголков и тенистых мест, из кустов, листвы, травы, сверкающей обильной росой. Только сейчас я заметил, что у самых моих ног, вокруг пня, на котором я сижу, полно спелой брусники, так и хочется оборвать, а вон там, дальше — сколько ее! Так и алеет среди мелких листочков, красота-то какая! А чуть пониже, из лощинки, тянется вверх гибкая рябинка с перезрелыми, густокрасными ягодами, с целыми гроздьями ягод, под тяжестью их гнутся тонкие ветки, того гляди сломятся. А небо с каждой минутой все светлее, все голубее, и все больше птиц прочерчивает его—ага, вон уж и ястреб взмыл, или это перепелятник? Скоро вылетит второй, любят они летать парами — ну да, вижу, вон, кружит немного правее, зорко разглядывая землю, глаз у него острый, может, и он меня видит Ниже, там, откуда поднимается плодовитая рябина,— старая вырубка, часть пней уже трухлявые, между ними — посадки молодых елей, им лет по семь-восемь, юные веточки оканчиваются кисточками, словно улыбаются, смотреть радостно... Кое-где рассыпаны буки, тут и там пробивается к свету молодой клен или ясень. Около того вон ясенька замечаю кустик горного крыжовника с мелкими, усатыми, уже спелыми ягодами. И захотелось мне сорвать их, знаю, они очень сладкие, хотя кожица и жестковата, но это ничего... Я уже собрался встать, подойти к крыжовнику, как вдруг... Да, вдруг в той самой стороне, куда я смотрел, только чуть правее — стоит и смотрит на меня красавец самец серны с чудесными рожками, и смотрит ничуть не робко, скорее горделиво так и спокойно. Длилось это, быть может, три-четыре секунды, а может, и больше — в такие моменты теряешь представление о времени. Так мы стояли и смотрели друг на друга, но я-то был охотник, а он — жертва. В руке у меня было заряженное ружье, только прицелиться и выстрелить. Я бы попал, я точно знаю, стрелять-то я умел, раз как-то на празднике пожарников в Радване взял второй приз в соревнованиях по стрельбе — часы, да и в других состязаниях, как ни странно, стрелял хорошо, обставлял даже бывших солдат, награжденных значками «Отличный стрелок». Так что промахнуться я не боялся, да и расстояние было идеальным, действительно шагов двадцать-тридцать, серна стояла — живая мишень, только нажать спусковой крючок... Но, клянусь отцом-матерью, я не выстрелил! Смотрю на серну, она на меня, и оба мы поражены, встретив друг друга, а секунды бегут, я, кажется, даже чуть-чуть поднял ружье — но не выстрелил. Серна скакнула — и шасть в ельник, скрылась. Да еще на прощанье издала свой характерный крик, похожий на лай собаки. У меня дрожали руки и колени, меня всего била дрожь. Не знаю, отчего — от неожиданности или от позора, который меня ждал, а может, оттого, что жалко мне стало животное с его спокойным взглядом... Не знаю... Вероятно, от всего вместе. Одно знаю — никогда я не буду способен стрелять в живое существо, которое так смотрит. Вот почему это и была моя последняя охота.

Когда мы к девяти часам собрались у трех елей, товарищи принялись донимать меня расспросами — почему я не стрелял.

— А я ничего не видел, кроме двух ястребов в небе,— отвечал я, кривя душой, но, кажется, они не поверили.

— Иди ты в болото, мы ведь погнали его прямо на тебя, не мог ты его не видеть! — наперебой кричали мои родственники.

— А я вот не видел, ей-богу,— упирался я.

Они только головой качали.

Потом уже, когда мы «фриштыковали», потягивая винцо, в садике лесника, я сознался во всем — совесть покоя не давала.

— Эх ты, Андришко, что же ты за охотник, да ты б на пустом острове с голоду подох, из тебя даже Робинзона Крузо не выйдет! — подшучивали надо мной друзья.

— Я слышал лай серны,— заявил Эмиль Длуголинский, другой мой двоюродный брат.— Направление верное было, она прямиком от тебя уходила.

— Ну вот убейте меня,— ответил я,— не мог я выстрелить, и все тут. Верно, не получится из меня охотника... Зато мы можем выпить... за здоровье этой не убитой серны, пускай бегает!

Наша матушка была родом из Старой Любовни, и мы часто наезжали туда к деду с бабкой, пока они были живы. Нас, мальчишек, конечно, больше всего привлекали лошади—дед наш, Штефан Длуголинский, держал очень хороших лошадей, это была его страсть, его гордость. И сыновья его, братья матери, Юлиус и Адольф, тоже, как и дед, дубильщики, держали добрых коней, а детей у них, естественно, был полон дом. У нас, в Сельнице, лошадей не было (отец говаривал, что ему дешевле нанять возчика, чем содержать своих лошадей); и мы, мальчики, вволю вознаграждали себя за этот пробел, приезжая в Любовню.

СТАРАЯ ЛЮБОВНЯ

Давным-давно,
лет пятьдесят назад,
в краю моих ребяческих фантазий,
бывало, дед мой, Штефан Длуголинский,
подхватит на руки меня,
щекочет своими пышными усами и любовью
и перекатывает спишские слова,
гуральские, рокочущие грузно
мужскою нежностью,
чтобы в меня,
худого малыша,
вдохнуть свое, уже былое, время,
перенесенное надеждой в новый век.
И плакал дед
от радости мужской.

Потом
меня на лошадь он сажал,
себе в утеху,
мне на страх счастливый —
я и сегодня бережно держусь
за эти полусказочные космы
благословенной гривы.
Хоть и вырос изрядно всадник,
и хотя в своей нетерпеливой жажде
обогнать себя и время
падал он уже не раз с коня,
но снова, снова, снова, пока не одолеет смерть,
упрямо он возвращался к дедовым рукам,
чтоб поднимали его опять, в который раз,
не ради тепла спины и шеи лошадиной
и не ради заманчивого запаха конюшни,
а ради жарких искр из-под копыт
на большаке, за облака ведущем,
привидевшемся в яростных мечтах.

Но в том краю ребяческих фантазий
он разглядел и настоящий замок,
и графа настоящего увидел, Замойского,
увидел и принцессу испанскую,
что из последних сил
и из последних волокон девятнадцатого века
ткала неутомимо паутину
для древних стен еще своей твердыни.
Она ткала и не подозревала,
что в каждом закоулке цитадели
уже прядут из новой, прочной пряжи.
А я, в краю ребяческих фантазий,
еще не различал
ни гула новых годов,
ни канонады Брусилова.
Мне было невдомек,
что белый флаг на башне
со своей принцессой вместе
сдавался веку новому уже.
Я понимал пока что лишь лошадку,
которая сквозь грохот двух времен
несла меня стремительно по детству.

И нынче
я, как прежде, ухватясь
за гриву той лошади,
гляжу на паутину принцессы давней
в Любовнянском замке.

Она окроплена живой росой
и детства, и сегодняшнего утра.
И дует, дует на руины замка —
коросту серую на спишской земле —
зеленый ветер.

(Перевод Н. Бялосинской)

В тот сентябрьский день Юло уехал раньше нас — хотел быть около Оты, беспокоился, как бы с ней чего не случилось, хотя старался не показывать своей озабоченности. Но он был сам не свой от тревоги и уехал. Через месяц с небольшим оказалось, что опасения его были напрасны. Ота родила здорового мальчика, которому дали имя Виктор в честь нашего умершего брата. Но через несколько недель после его рождения, в конце ноября, Ота срочно позвонила мне в Братиславу: приезжай немедленно, с Юло плохо, а он не желает лечиться.

На другой день я был уже в Ружомбероке. Брата я нашел в постели, слабого, бледного, короче, в ужасном состоянии. Я не стал заговаривать о лечении, наоборот, постарался преуменьшить серьезность болезни. И был глубоко поражен, когда Юло сам сказал:

— Отвезите меня опять в Хаги!

В этом санатории он уже лечился, в первый раз его выписали оттуда по всем правилам, во второй — он сбежал, ругаясь и проклиная своих коллег докторов и все Вышние Хаги. Вот почему нас с Отой так поразила его просьба.

— В Хаги? — удивленно переспросил я, торопясь припомнить какое-нибудь другое лечебное заведение, куда бы можно было его поместить, да ничего не приходило на ум.

— Ну да,— ответил Юло.— Нельзя же мне оставаться тут — еще ребенка заражу.

Так мы и сделали, и на следующий день я повез брата на машине в Вышние Хаги — Оте пришлось остаться с малышом. Отправились мы в середине дня, предварительно договорившись по телефону со всеми инстанциями. С сынишкой Юло попрощался только взглядом, с порога — не хотел подходить близко. Горько улыбнулся он всем своим исхудавшим лицом и, погладив темные усики, сказал:

— Прощай, мой Викторко, будь хорошим мальчиком, слушайся маму...

Перед домом ждал знакомый таксист Кмошко, возивший нас много лет; он уже уложил в багажник вещи Юло. А тот еще прошелся по квартире, заглянул во все закоулки, под конец постоял перед книжными полками и выбрал несколько книг.

— Ну вот и все, поехали,— произнес он сухо и сурово, словно закончил какую-то ревизию.

Ели в конце улицы покрыл белый снег, их ветви метались на ветру, гудели так, что даже в машине было слышно, как по уцелевшему большому окну синагоги хлестал косой дождь, смывая остатки снега. Ота подняла руку, словно хотела остановить этот ветер, но рука ее медленно опустилась, будто обессилев; так простилась она с мужем и осталась одна в конце немощеной Панской улицы в Ружомбероке, с лицом, мокрым от слез и ноябрьской измороси.

Мы долго ехали молча, пролетели Микулаш, и только в Градеке Юло попросил встать у ресторана:

— Что ж, выпьем по чарочке, коли уж мы такие дохлые, а? Пойдемте и вы с нами, пан Кмошко согрейтесь малость.

Но Кмошко остался в машине. Не захотел мешать нашему разговору.

Было около трех часов дня, но зал ресторана тонул в полумраке, и в той половине его, где сидело несколько посетителей, горел свет. Мы сели в самом углу другой, неосвещенной половины зала. Как уж у нас бывает, официант долго не являлся, и это раздражало брата.

— Видно, никогда мы не научимся обслуживать,— ворчливо сказал он.— Тем более сейчас, когда рестораны уйдут из частных рук...

Официант наконец подошел, но снова пропал надолго. Потом принес нам заказанную тренчанскую боровицу со стаканами содовой, мы с братом чокнулись, но встретившиеся наши взгляды были полны какой-то робости. Мы только пригубили боровицу — не до веселья нам было. И вот вертим мы, вертим в пальцах стопочки и упорно молчим, уставясь на грязноватую клетчатую скатерть. Оба не знаем, с чего начать. И боимся. Да, совершенно очевидно Юло страшно, и мне тоже. Словно давит нас какая-то тяжкая вина, в которой мы и были, и не были виноваты. Что уж тут скажешь... На какое-нибудь хитроумное утешение я неспособен, это я знал твердо, на упреки — тем более. Прошло немало времени — и вот Юло как-то смягчился, взял мою руку, лежавшую на столе и, грустно заглянув мне в глаза, совсем тихо сказал:

— Очень плохи мои дела, Андрей.

— Знаю, Юлько. Но вовсе не безнадёжны...

— Безнадежны,— вздохнул он.

Даже тогда я не мог в это поверить. Даже тогда, когда видел, что он не до-

пил несчастные пятьдесят граммов боровицы — душа не принимала, и оставил он недопитую стопку там, на клетчатой скатерти ресторана в Липтовском Градеке, словно в знак ухода своего из этого мира.

В Хагах нам предстояло долго ждать, пока братом занялся знакомый врач. Я уходил из этого огромного дома больных людей, глубоко подавленный, печальный, как и весь тот ноябрьский день. На обратном пути я сел не рядом с шофером, как обычно, а на заднем сиденье и всю дорогу упорно молчал. На вопросы Кмошко давал односложные ответы, он готчас понял меня и больше не пытался заговаривать.

Юло умер 30 января следующего, 1948 года, в тот самый день, когда в далекой Индии был убит Махатма Ганди. Мы похоронили моего брата рядом с родителями, на кладбище в Сельнице.

Я сразу почувствовал себя ужасающе одиноким. Пока нас было двое, мы все же еще составляли семью, хотя часто спорили и даже ссорились. Но мы с Юло были не только дружными братьями, а еще и большими друзьями. С каждой радостью, с малейшей удачей бежали мы друг к другу — точно так же и с любой обидой, нанесенной нам или кому-нибудь из близких. Когда у меня вышла книжка, я поехал в Ружомберок с сигнальным экземпляром, с пылу с жару: хвалиться. А Юло любил рассказывать мне о трудных больных, почти приговоренных к смерти, которых ему все же удавалось выцарапать. И радовались мы вместе, и запивали нашу радость — порой даже больше, чем следовало. Радость, сами знаете, трудно остановить, так же, как и горе.

Не могу не вернуться в своих воспоминаниях к брату, как буду возвращаться к нему, пока жив. Сейчас, когда я пишу эти строки, ему исполнилось бы шестьдесят лет. Итак, прошла целая четверть века с того дня, когда я спускался с холма сельницкого кладбища, устремляя печаль свою к промерзшей земле, страшно одинокий, как птица, что на всем необъятном горизонте не видит дерева, на которое можно опуститься.

Долгие, долгие годы часто всплывал передо мной образ брата — таким, каким он был во время Восстания, в Быстрице и в горах, или на своей полутайной свадьбе в оккупированной Братиславе и позже, в мирном ружомберокском доме на Панской улице, когда он был уже болен. И когда я писал, мне вновь и вновь припоминались его строгие критические замечания, которые я больше ценил, чем отзывы критиков, потому что брат видел меня насквозь, знал, на что я способен, на что — нет, и не уставал твердить, что я изрядно облегчаю себе писательский труд, что я мог бы писать лучше. Я, конечно, ощетинивался, но где-то глубоко в душе признавал его правоту. И лишь много лет спустя я стал строже придерживаться его требований — так мне, по крайней мере, кажется.

БРАТ

Юлько,
тихо в ущелье Штурца,
свободном давно.
Там глубоко,
под лопухами, спокойно и гордо ржавеет
твой револьвер.
И из черного дула его
появились на свет незабудки,
не забывшие песню,
любимую песню твою,
подкарпатскую —

Прошел Клевец
под Высокой —
и село горит.
Вас он, паны, вас, жандармы,
кровью обагрит.
Хорошо тебе, Лепейчек,
под землею гнить.
Как мне горько
под Высокой
одному ходить.

И мне.
Когда годы твои молодые
зарыты
в липтовской черной земле
под Острой
и Серой горой.
Остановлен твой век.
Ты не знаешь,
что здесь, наверху,—
год за годом —
к шестидесяти подошел.
Пусть же я,
от лица всех оставшихся,
в память твою салютую —
дам бесшумные залпы
своим безутешным пером.

(Перевод Н. Бялосинской)

В первые годы после войны каждый честный гражданин понимал, что главное — залечить раны, все восстановить, перестроить, успешно завершить двухлетний план. Были, однако, люди, которым вовсе не нравилось, что устанавливается порядок; ловить рыбку в мутной воде, вносить дезорганизацию и хаос, поддерживать и раздувать неурядицы, тормозить и даже срывать осуществление принципов Восстания — вот что было их главной целью. В самом деле: начинало казаться, что революционные идеи Восстания, а с ними и Кошицкая программа вдруг оттеснены на задний план. Ожили личинки всяких враждебных сил; за то, чтобы покарать военных преступников, пришлось упорно бороться с реакционерами, которые самым наглым образом поднимали голову вплоть до Февраля 1948 года.

Победному Февралю предшествовала любопытная увертюра в Словакии, где борьба за политическую власть сосредоточивалась главным образом в исполнительном органе правительства — в Корпусе уполномоченных. Дело происходило осенью сорок седьмого, того самого года, который вписан в нашу летопись как год катастрофической засухи и неурожая, грозивших голодом: ведь после разрушительной второй мировой войны запасов продовольствия не хватало во всем мире. Уже с самой ранней весны стало ясно, какой злой год нас ожидает. На смену предвесенним бесснежным заморозкам, когда на многих площадях вымерзли озимые, явилась весна без дождей, так что и яровые еле вытянулись из земли, да так и остались — как у нас говорится, лягушке по уши. Мы тогда неделями, месяцами, вставая и ложась, смотрели на небо — может, раздумает сверкать беспощадным блеском, затянется наконец долгожданными тучами, которые принесут благодатную влагу... Земля словно покрылась паршой, растрескалась от жажды, иссохла и от малейшего прикосновения рассыпалась серо-коричневой пылью. Поля Житного Острова в окрестностях Трнавы и Нитры, где с незапамятных времен была самая плодородная почва — за что этот край по праву называют житницей Словакии,— лежали, как непаханая целина, хоть плачь! Только у подножья гор, где удержалось немного влаги, с грехом пополам сняли урожай, которого, однако, не хватало и для самих жителей тех мест. Не лучшим было положение в Моравии, в плодородной Гане, и в самой Чехии. Праздник урожая сорок седьмого года был у нас самым горестным, какого не помнили даже наши отцы. Мы шли навстречу третьей послевоенной зиме, и она смотрела на нас холодными, голодными глазами.

Но верно говорят — друга познаешь в беде. В Чиерной, около Чопа, уже пересыпали из советских вагонов в наши первые тысячи тонн зерна, которое потом развозили во все концы Чехословакии.

Однако и тут нашлись люди, которым эта помощь оказалась не по нраву. Помощи от СССР они предпочли бы голод в стране, предпочли бы хаос и беспорядок мирному строительству нового, более справедливого общества, социалистического строя. Реакционные силы сосредоточились тогда особенно в Демократической партии, которая после выборов 1946 года приняла под свое крылышко скрытых людаков[1]. В Национальном фронте Словакии, объединявшем все тогдашние партии, тем памятным сорок седьмым годом царило невероятное возбуждение. Я уже упоминал, что имел честь стать секретарем этого верховного политического органа от Коммунистической партии Словакии и вместе с секретарем от Демократической партии, Мартином Кулихом, вел протоколы бурных заседаний, всей этой резкой политической борьбы за будущее социальное лицо Словакии. Скажу — для меня это была, пожалуй, лучшая политическая школа, вдобавок прошел я ее в самое критическое время — с ноября 1945 до победного Февраля 1948 года.

В четверг 30 октября 1947 года Братислава так и кипела политическими страстями: в этот день проходил съезд заводских и учрежденческих советов рабочих и служащих, бескомпромиссно потребовавших отставки тогдашнего Корпуса уполномоченных. На другой же день подали в отставку уполномоченные Новомеский, Безек, Шольтес, Пулл и Ференчик, что было равносильно отставке всего Корпуса. 1 ноября 1947 года инициаторы отставки опубликовали заявление, в котором писали, что они не могут «избавиться от впечатления, что часть членов верховного органа власти в Словакии больше чувствует себя связанной закулисными партийно-политическими пактами, чем заключенным с нами соглашением по программе строительства, обнародованной гласно в Национальном фронте Словакии 3 сентября 1946 года».

Очередное заседание Национального фронта состоялось 5 ноября, и на нем обсуждались вопросы оздоровления общественной жизни, снабжения, а также изменений в составе Корпуса уполномоченных. Политический кризис углублялся, вся Словакия жила в напряжении, которое сильно ощущалось на предприятиях, в учреждениях и во всех вообще организациях, а также и среди трудящихся деревни, которые присылали резолюции, требуя осуществления Кошицкой правительственной программы. К этим требованиям присоединилась и творческая ин-

[1] Людаки — члены профашистской людовой партии *(разг.)*.

теллигенция, обнародовав воззвание «Точка зрения работников культуры на сегодняшний день». В нем, помимо прочего, говорилось: «Мы требуем, чтоб завоевания Словацкого национального восстания не оставались фразами на бумаге, но чтоб они были воплощены во всех областях жизни общества...»

События развивались стремительно. В субботу 8 ноября в Братиславу приехал Клемент Готвальд. Три дня шли переговоры. В понедельник 10 ноября снова собрался Словацкий национальный фронт — в присутствии Клемента Готвальда. Я очень хорошо помню сырой ноябрьский день и весь ход исторического заседания, на котором председательствовал Густав Гусак. Предстояло покончить с политическим кризисом, заместить важные должности в Корпусе уполномоченных, особенно по ведомствам юстиции, продовольствия и сельского хозяйства. Леттрих, выступая, без конца ссылался на многочисленность своей Демократической партии, выражая мысль, что представители этой партии в Корпусе уполномоченных будут-де служить интересам своих сочленов. Тут попросил слово премьер-министр Готвальд и на отличном словацком языке бросил Леттриху реплику: «Это какая-то новая теория, что представители партии в государственных учреждениях служат членам своей партии... Они должны служить всем гражданам независимо от партийной принадлежности».

Леттрих осекся. А мы все, исключая, конечно, «демократов», усмехнулись.

Прения затянулись часов до трех утра — и все равно кризис не был разрешен. Переговоры перенесли в Прагу, где общегосударственный политический кризис разрешился, как известно, в конце февраля следующего, 1948 года. Братиславская «Народна оброда» писала в последних числах ноября 1947 года: «Трехнедельный политический кризис в Словакии, вылившийся в общегосударственный, выявил все признаки опасности, которую мы едва ли сможем избежать, если политические органы не захотят или не смогут выполнить обязывающие их программы, поставленные ими перед собой или принятые во время акта восстановления республики в Кошицах...»

Да, холодные, морозные дни конца февраля 1948 года остудили немало горячих голов, не желавших или неспособных понять, что завоевания Словацкого национального восстания, сформулированные позднее в Кошицкой правительственной программе, надо воплощать в жизнь. Те, кто мечтал о порядках, существовавших при Первой, буржуазной республике, жестоко ошиблись. А тогда у нас еще немало было таких мечтателей.

В пятницу 27 февраля прояснело отчасти не только на небе, но и в нашей жизни. В Праге уже сформировали новое правительство, без реакционных министров; у нас составлялся обновленный Национальный фронт. Заместитель председателя Словацкого национального совета писатель Иван Хорват пригласил меня к себе под предлогом какой-то консультации, и вот в ту пятницу я отправился во дворец Национального совета, находившийся неподалеку от места моей работы.

Затем мы втроем, Хорват, его секретарь и я, до самого вечера дежурили в словно вымершем здании Национального совета, принимая все меры к тому, чтобы наладить его дальнейшую работу. Через несколько дней на пост председателя Совета заступил Карол Шмидке, Густав Гусак взял на себя функцию председателя Корпуса уполномоченных. В обновленном Национальном фронте место развалившейся Демократической партии заняла партия Возрождения Словакии. Социал-демократы снова слились с коммунистами, так что в новый Национальный фронт вошли Коммунистическая партия Словакии, партия Возрождения Словакии и партия Свободы — этот состав сохранился и до наших дней. Генеральным секретарем реорганизованного Национального фронта стал Ладислав Хольдош.

Вернувшись домой после всех этих событий, я, полный энтузиазма, нашел время написать статейку для «Народна оброда», которую озаглавил: «Последние февральские дни». Мне бы хотелось здесь, для характеристики той поры, привести хоть небольшой отрывок из нее:

«Словно опять охватило тебя волнение августовских дней 1944 года, когда вспыхнуло Восстание. Встречаешь радостные лица его участников, которых долгие месяцы снедала тревога, возмущение и разочарование. С некоторыми товарищами ты встречался все эти три года, и чем дальше, тем чаще слышал тихий ропот, недовольство тем, как идут дела. Было в этом недовольстве достаточно и личного — не все мечты исполнились,— но все время ощущалось, что за всем этим стоит какая-то большая объективная правда — правда о том, что высокие идеалы Восстания рассыпаются под руками, словно им не хватило дыхания на три этих года или словно кто-то неотступно душит их. И каждый мыслящий человек, независимо от партийной принадлежности и убеждений, очень скоро мог заметить, что их и впрямь душили... Самые прекрасные идеи и замыслы, возникшие в ходе Восстания, освященные революционным энтузиазом, означавшие и до сих пор означающие бесспорный шаг вперед для нашего народа, постепенно становились мишенью для насмешек, предметом базарной торговли и по-

литических спекуляций, о каких во время Восстания и слыхом не слыхали. Кто же насмехался, кто начал вокруг них торговлю? В эти тревожные дни мы убедились, что все это делали люди реакционной ориентации... К примеру, если во время Восстания о разделе церковного землевладения говорили как о чем-то само собой разумеющемся, то теперь в реакционных газетах можно прочитать, что не будет благословения тому государству, которое покушается на церковные земли.

Но в эти февральские дни, вновь укрепившие веру в осуществление идей и идеалов Восстания, новая энергия влилась в души старых борцов, и выражение их лиц ясно показывает, что здоровые идеалы революции будут осуществлены. Будет закончен начатый труд. Достойное увенчание нашего Восстания — движение революционного народа основательно проветрит нашу хату, подметет все уголки, выдует всю нечисть из щелей. Стало быть, плоды Восстания имеют большое значение не только для тех, кто специально занимается политикой, но и для всех, кто хочет воздействовать на душу коллектива. Нет нужды объяснять, что в первую очередь я имею в виду людей культуры, чье оружие — слово. Их долг перед народом — как было и во время несвободы, и в период Восстания — особенно велик теперь».

Когда я, написав эти патетические слова, в тот же вечер понес их в редакцию «Народна оброда», я еще понятия не имел, что те самые господа, с которыми мы всего лишь несколько дней назад сидели рядом на заседаниях Национального фронта и чьи «патриотические» речи я старался возможно точнее записать в протокол,— что эти самые господа в это самое время были уже в пути на Запад, что они навсегда покинули свой народ; вторая волна эмигрантов последовала за первой, когда фашистско-людацкие деятели удирали от Советской Армии. Как я и написал в своей статье, Февраль буквально «выдул» из нашей «хаты» всю нечисть. Пан Рудольф Фраштацкий, заместитель председателя Корпуса уполномоченных, нрав которого я имел возможность наблюдать в нашем учреждении, а наглость — на некоторых заседаниях Национального фронта, умчался за своими дивидендами — он был акционером западных фирм: другим, у которых не было такой материальной базы, пришлось похуже.

Нельзя забывать, что для победы в Феврале надо было провести большую политическую работу среди широких масс. Здесь значительную роль сыграли Революционные профсоюзы, организации участников Сопротивления, Союз партизан, а на последнем этапе особенно — народная милиция, зорко следившая за тем, чтоб ни одно предприятие не попало обратно в руки капиталистов и чтоб навсегда была обеспечена власть рабочего класса.

Словацкие работники культуры еще 28 февраля опубликовали свой известный «Отклик», подписанный более чем пятьюстами человек — актеров, композиторов, писателей, художников, ученых, журналистов. «Дни крайней политической напряженности, отмеченные решимостью всего словацкого и чешского трудящегося народа, миновали, ознаменовавшись великой победой демократии и прогресса, исторический смысл которых состоит в осуществлении заветов Словацкого национального и Пражского восстаний»,— говорится в этом «Отклике», а заканчивается он так: «Мы стоим за правительство Готвальда и за новый Корпус уполномоченных, которые ускорят национализацию нашей экономики, со всей последовательностью разделят помещичью землю между крестьянами, наладят снабжение продовольствием, с помощью государственного страхования обеспечат старость и, введя справедливое обложение налогами, облегчат тяготы трудящихся... Мы, как специалисты в области культуры, объявляем себя союзниками народа в строительстве государства, экономики и в создании всеобщего благосостояния. Так хотим мы довершить дело штуровцев [1], которые ровно столетие назад начали революцию словацкого народа за национальную и социальную свободу, за прогресс и справедливость».

В конце февраля и начале марта 1948 года Братислава и другие города Словакии жили бурной жизнью. На многочисленных митингах, собраниях и демонстрациях ветераны боев повстанцы, партизаны выражали недовольство положением дел и решимость воплотить наконец в жизнь все то, за что они сражались с оружием в руках. Не забудется манифестация жителей Братиславы 21 февраля. Главным оратором выступил Густав Гусак, который, в частности, тогда сказал: «...В то время, когда мы сосредоточиваем все силы для решения самых жгучих проблем трудящихся, руководство Демократической партии вступило на путь скандалов, политической охоты, на путь пактирования с национальными социалистами, которые даже не признают словаков нацией, и все это — с целью сколотить единый реакционный блок в республике. Этот реакционный блок теперь вышел из правительства. Руководство Демократической партии рас-

[1] Штур Людовит (1815—1856)—крупнейший словацкий общественно-политический деятель, поэт и публицист. Основоположник романтического направления в словацкой литературе, получившего название штуровского.

считывало править Словакией, несмотря на оппозицию правительству Клемента Готвальда... Мы же исполняем благороднейший завет нашей национальной истории, стремясь обеспечить своему народу мир для построения счастливой Словакии в рамках Чехословацкой республики».

■

Очарованная душа. Не та, что у Ромена Роллана. Моя собственная. Мне даже приходит на ум слово «наваждение», быть может, оно точнее всего выражает тогдашнее мое душевное состояние на самой грани умоисступления. Я никак не мог справиться с этим, да и не хотел, хотя и понимал где-то в глубине сознания, что лечу в пропасть. Жена моя Ланка немедленно почувствовала, что со мной гворится неладное, только не знала еще, насколько я отдалился от нее, далеко ли ушел действует ли еще ее магнетическое поле, или я уже за его пределами, другими словами — близок ли я к катастрофе. А я приближался к катастрофе, но осенью того революционного года яблоко моего греха еще не созрело. Оно созрело лишь три года спустя, осенью 1951 года.

Осень... Как странно, во мне, например, весна никогда так не пробуждает страсть, как осень. Страсть любовную или творческую — обе они у меня как-то сливались, да, пожалуй, и не у меня одного. И так было не только в более позднем, более зрелом, даже старческом возрасте. Ведь именно в самые цветущие для мужчины годы, вокруг сорока лет, самым творческим периодом у меня всегда были осенние месяцы. Видно, я и впрямь поздний сын природы, еще связанный с нею незримыми узами, которых не отринешь, — можно только, пускай бессознательно, повиноваться им, исполнять их стихийные веления. Весной я мог, правда, вспыхнуть. загореться, вдохновиться — но только осенью как бы дозревала во мне решимость к действию — все равно любовному или творческому. Будто действительно что-то заставляет человека отдать дань природе, и он, предчувствуя увядание и гибель перед надвигающейся зимой, торопится произвести на свет последние плоды, как бы горьки они ни были. Часто задумывался я об этих отношениях между природой и человеком, намеренно избегая мыслей всяких мудрецов, не желая, чтоб они повлияли на мой собственный опыт. Оба мои брата умерли на пороге весны — и в расцвете лет: стало быть, неправа поговорка «март на пороге — старикам в путь-дорогу». При всем том я далек от какой-либо мистики, от каких-либо культов или пророчеств. Просто я думаю, что творческая сила человека приобретает наибольший размах как в ожидании красоты и счастья, так и при угасании, исчезновении их. И тогда решающую роль в процессе созидания играет собственное страдание.

Но вернемся к той осени. А осень в тот год стояла прекрасная, особенно октябрь. Вообще октябри, если они хороши, если они залиты солнцем и игра света создает настоящее пиршество ярких и буйных красок, то они проникают в самые сокровенные недра чувств человека, туда, где родится ощущение блаженства и душевного добра, граничащего с желанием отдавать всего себя целиком. Словно это — вершина зрелости, которая с наслаждением предлагает свои плоды, трепеща под дуновением осеннего ветерка, как трепещет сама бесконечно обновляющаяся природа. И в ней, в этот час, всего податливей бывает человек.

Таким был и тот октябрь. Сияющий, манящий, весь в бархате, в трепете созревшей природы, когда еще не ложатся туманы и ясен горизонт.

Созрела и моя любовь. Яна была в том возрасте, когда в душе женщины еще живет отзвук девичьей беззаботной веселости, но годы уже отметили ее болью материнства, которое придает ее взору выражение счастья и печали, боязливости и отваги, осторожности и восторженности. Такой взгляд встретишь, пожалуй, только у ланей, если тебе удастся заглянуть в их глаза, пока они не наполнились страхом — единственно, чем выражается у ланей инстинкт самосохранения. У Яны были точно такие глаза, когда я нечаянно поймал ее взгляд — не было в нем ни намека на настороженность или опаску. Но как только я захотел завладеть этим взором — глаза ее тотчас сузились от робости, стыдливости, даже от какого-то опасения или чего-то в этом роде, оставшегося в нас еще со времен первого грехопадения и его последствий. А цвет ее глаз разыгрался акварельными переливами, от темно-карей, чуть ли не черной радужной оболочки к фосфоресцирующему острию зрачка, пронзающего душу до самой глубины. На диво длинные ресницы взмахивали и опадали как крылья ворона в поднебесье, стараясь потушить блеск глаз,— но все это без малейшего признака самоуверенного женского кокетства, которое всегда только отталкивало меня. В Яне, напротив, меня привлекала поразительная естественность, даже какая-то стихийность ее жеста, взгляда, что подтверждалось и ее словами. Все это не давало мне покоя, хотя в то время покой был мне нужнее всего. Поистине очарована была моя душа, и спасения не было.

Яна везде была со мной. И со счастьем моим, и с грустью, и с горем, которого в то бремя у меня хватало с избытком. Яна скользнула, вкралась в мою

жизнь именно в то время, когда так остра была моя печаль по брату Юло — и вот вдруг вошла она в ту комнату моей души, которая только что опустела. Не было у меня друга, способного заменить мне брата,— но явилась женщина. И не просто женщина, а прекрасная женщина. Никто даже особенно не удивился, мужчины завидовали, женщины шушукались и перестали говорить мне правду. Что ж, не я первый, не я последний оказался в такой ситуации.

Я познакомился с Яной в семье наших старых знакомых, Мартаев, у которых я гостил. Да, такие встречи не забываются. Ко всему прочему выяснилось, что Яна родом из Спишской области, и спишский отзвук ее речей напоминал мне маму. Яна так же не различала долгих и кратких гласных и так же путала «г» с «х»: она, например, произносила «хонорар». В общем, меня будто околдовали — пойман со всеми потрохами, до смерти!

Однажды поехали мы с Яной в Будмерицы. Октябрь приближался к концу, уже облетела листва, одни дубы еще сопротивлялись осени, быть может, потому, что и весной они чуть ли не последними распускают листья. Великолепный пышный граб недалеко от замка, у дорожки в лес, пылал огромным факелом; когда мы возвращались, Яна остановилась под ним, сказала:

— Я словно в церкви...

Я ничего не ответил, только подумал: «Да — как мадонна, спишская богоматерь...»

Ниже, у ручья, желтели клены и два вяза, на старых дубах с полузасохшими ветвями зеленели густые клочья омелы, коварного паразита, высасывающего последние соки из великанов, росших тут без малого сотню лет. Эх, нам бы их память!

— Пойдем, милая, дай похвалюсь перед тобой — сколько я знаю о деревьях! Многого набрался я за долгие годы — от лесников, от крестьянских парней, а кое-что узнал и из книг. Но то, что из книг, я скоро забыл, а вот то, чему научил меня наш лесничий в Сухой долине, не забуду никогда. Мы к нему за елочками ездили каждую зиму, хоть уже и не верили в младенца Иисуса. Ой, где оно, то время... Тебе-то что, ты еще молодая. Ну, не ворчи, не ворчи — насколько же ты моложе меня? На одиннадцать лет. Достаточно для того, чтобы быть правой, но мало для моей опытности. Видишь, как умно я сказал! Попробуй-ка спорить со мной!

Спорить она не стала, только улыбнулась легонько и нашла мою руку. Потеребила ее, глазами сказала — как она рада, как ей хорошо.

— А почему говорят: дрожишь, как осина? Отчего осина всегда дрожит?

Вопрос был задан так, что требовал немедленного, без увиливаний, ответа. О, как благодарил я мысленно нашего лесничего, который давно когда-то объяснил мне это! Я мог теперь отличиться...

— Видишь,— я поднял с земли осиновый листок,— листья у осины — вроде маленьких лопастей, а приглядись к черенку— смотри, какой он плоский. Чуть всколыхнется воздух, коснется черенка — а он своей плоскостью и подхватывает воздушную струйку, не дает ей проскользнуть мимо, направляет на листок. Вот и зашевелятся листья осины, засеребрятся монетками, казалось бы, при полном безветрии. Но полное безветрие бывает очень редко. Другие деревья стоят неподвижно, а осина между ними трепещет, привлекая наше внимание своим переливчатым пышным убором, шурша тихонько, чтоб не нарушать тишины, которой природа окутала лес...

Мы сделали еще небольшой полукруг вдоль молодого сосняка, срывая кое-где перезрелые ягоды ежевики, и закончили прогулку в ложбине около самого замка, под молодым кленом, который словно благословлял нашу нежную осеннюю задумчивость своими прозрачно-желтыми ладонями. Как жаль, что в парке и в соседнем лесу мало кленов, да и буки встречаются здесь редко. Ведь именно эти два дерева придают необычайную красоту осенней палитре — клен своей стыдливой светлой желтизной, бук — пышно-красной, чуть ли не кровавой краской последнего своего сопротивления, последней судороги прощания с теплом, столь безжалостно уходящим от него.

Яна со своими черными волосами стояла под молодым кленом, словно живой контраст между человеком и преходящей осенне-желтой красой; и снова я глубоко задумался над вечной истиной: ничто так не подчеркивает красоту природы, как прекрасная женщина И наоборот.

Утром я проснулся — было уже светло, а в конце октября рассветает довольно поздно. И хоть спал я очень мало, усталым себя не чувствовал, и настроение было отличным — прямо петь хотелось. Я открыл окно, надышался свежим воздухом, долго смотрел в парк, где солнышко уже играло на смуглых листьях великанов дубов. День опять обещал быть чистым, прозрачным. Конечно, это тоже было причиной моего хорошего настроения, но еще больше был ею вчерашний день, весь вчерашний день, и вечер, и ночь. Ах, боже, плодоносная осень...

А Яны не было. Не было нигде в замке. Только уж от сестры-хозяйки я узнал, что та видела Яну утром в аллее — шла, видно, к автобусной остановке. Да, с сумкой. Уехала.

И сразу грустным показался мне замок. Заглянул в гостиную, в библиотеку — везде уже прибрано, огромные окна отворены — проветривали помещение, где мы вчера накурили. И в эти огромные окна словно ушла безвозвратно вся вчерашняя атмосфера: незримая, как утренний воздух, она оставила в нашей душе след, осязаемее крупного града.

Я спустился в парк, ходил по вчерашним следам. Нет, то была уже не та, не вчерашняя красота, хотя день стоял такой же чудесный и солнечный. Но словно солнцу вдруг стало не для кого светить, не для кого красоваться осенней роскоши...

Я вернулся в Братиславу автобусом, но пошел не домой а в ресторан «Дакс», где в ту пору играл цыганский оркестр Дежо Цибульки. Я очень любил этого скрипача — он, как редко кто, умел играть и мою любимую «швигровскую».

И вот сижу я в «Даксе», сижу да думаю. Цибулька играет — то для танцев, то просто так, чтобы посетители послушали музыку. Двое-трое знакомых хотели подсесть ко мне — я не разрешил. В таком расположении духа я предпочитаю одиночество: тогда я иной раз набрасываю заметки—на клочке бумажки, на ресторанном счете,— если мысль, пришедшая мне на ум, стоит того. Бывает, запишу одно-единственное слово... В тот раз я думал о женщинах, об их миссии на земле — воодушевлять нас, о конфликте с условностями общества, даже о кантовском категорическом императиве! Я тогда уже пришел к выводу, что влюбленность вовсе не сразу вдохновляет меня на поэтическое слово, на непосредственное отображение глубоких чувств, душевного волнения. Скорее так: все, что я интенсивно переживал, обогащало мир моих чувств, и только уже после черпал я из этого источника, жил им долгие годы — до самой старости, когда у человека ничего не остается, кроме воспоминаний. Вот почему у меня сравнительно мало стихов о любви. Большая часть их посвящена моей жене Ланке, которая и больше всех намучилась со мной. Но сильное любовное чувство, переживание, исполненное наслаждения или трагизма, вовсе не обязательно изливается в любовных стихах. Оно возбуждает поэта, однако мысль его может уйти совсем в другую сторону. Поэт, как и всякий человек, существо общественное; будучи сильной индивидуальностью, он несомненно в какой-то мере оказывает влияние на общество, в котором живет и действует, но никакими силами не может он — хочет он того или нет — избежать решающего влияния общества на него самого, на его жизнь и творчество, причем происходит это даже тогда, когда он этого совершенно не осознает.

Покинув «Дакс», я не пошел домой. Ноги понесли меня на улицу, где в небольшом одноэтажном домике жила Яна. Окно ее было темно, штора задернута — значит, наверняка дома. Свет луны и газового фонаря напротив отсвечивали в стекле, а я стоял и раздумывал довольно долго. Прошелся даже перед домом. До полуночи было недалеко, на улице царила непривычная тишина — обычно-то в это время здесь то и дело попадались подвыпившие прохожие: несколько винных погребков и кафе были в двух шагах. Постучать или нет?

Я постучал. Сначала тихонько, потом погромче.

Не открыла. К счастью.

■

Издательству «Татран» я отдал без малого двенадцать лет, причем не самых легких в его истории. После февральской победы надо было, как мы говорили, закладывать фундамент социалистического общества. Издательство «Татран» было создано осенью 1947 года при уполномоченном по делам информации — первоначально как акционерное общество. Это произошло через сто лет после того, как Людовит Штур на той же самой Михальской улице, где теперь здание «Татрана», выступил в парламенте Венгрии[1] за то, чтобы, в согласии с его тогдашним требованием «образованность в стране распространять», получила бы распространение и литература. «Жизнь нации для развития своего, а нация — для образования и просвещения своего нуждаются в литературе,— воскликнул тогда Людовит Штур.— Литература же, чтоб быть действенной, чтоб сообщать жизненность образу мышления нации, нуждается в распространении, в том чтобы неустанно изливаться в жизнь. Мы не можем обойтись без литературы, так же как не может обойтись без нее никто и нигде. Но чтобы литература стала возможной, она должна иметь средства к своему существованию».

И вот сто лет спустя я стал одним из тех, кто воплотил в жизнь эти мудрые, пророческие мысли нашего Людовита. В начале 1949 года меня назначили воз-

[1] В то время части монархии Габсбургов, включавшей в себя Словакию.

главить «Татран». Одно время мы помещались на площади им. 4 Апреля [1]. Теснились в нескольких комнатах, по четыре-пять человек, пока не отвоевали целое здание на Михальской, принадлежавшее ранее братиславскому Общему кредитному банку.

Я до сего дня рад, что мне удалось убедить тех, от кого это зависело, чтоб после ликвидации банка здание отдали «Татрану». Мне казалось, место такому издательству — в центре старой Братиславы, там, где сосредоточена ее классическая архитектура, недалеко от здания бывшего венгерского парламента и по соседству с домом, в котором жил некогда уроженец Братиславы, изобретатель Сегнер; да, место «Татрана» именно там, у Михальской башни, и ни в коем случае не в каком-нибудь современном дворце новых кварталов.

И я рад, что помогал закладывать основы этого издательства и что посвятил ему изрядную часть своей жизни. Пожалуй, не напрасно. А в этом — величайшая радость для человека.

Без малейшего преувеличения могу сказать, что годы, проведенные мной в «Татране», полны добрых и радостных воспоминаний. Много было встреч с хорошими — и гораздо, гораздо реже с менее хорошими людьми (бывают у нас и такие). То были плодотворные годы, когда мы, полные энтузиазма, подчас бывали слишком нетерпеливы и стремились собрать урожай прежде, чем он созрел,— впрочем, так уж оно бывает с неопытными энтузиастами.

Да, многое можно вспомнить такого, чем гордишься по праву, не из пустого бахвальства, не из спесивого самовосхваления — а просто гордишься, испытывая глубокую душевную радость от хорошо сделанной работы в сотрудничестве с другими самоотверженными людьми. Мы не произносили пустых или «патриотических» речей, не мололи языками, мы были одержимы стремлением действовать и не находили покоя, пока запись в плане не реализовывалась в виде новой книги, и мы рассматривали ее, еще «тепленькую», и ощупывали, как мать новорожденное дитя: нет ли изъяна на ножке, на пальчиках, не косит ли, не дай бог, не глухо ли... Да, слава богу, книги наши не были глухими, они нашли тысячи читателей, сделались им близкими и добрыми друзьями — и мы, создавшие их, радовались вдвойне.

Счастья же тебе и процветания, наш достойный «Publishing House», издательский дом на старинной Михальской улице! Исполняй жаркую мечту Людовита Штура, даря народу книги, умные и прекрасные, открывай новые горизонты познания, сближай народы средствами благородной красоты, а своему народу беспрестанно помогай идти вперед, чтоб не отстал он от других, идущих к счастливому будущему...

БРАТИСЛАВСКАЯ ДУМА

Ежедневно хожу на работу по старой Михальской
мимо дома, где Сегнер
свое колесо сконструировал.
Чуть поодаль Матей, дальновидный король,
основал Академию, а позднее
где-то здесь простучали копыта коней,
увозивших Петра от России...
Их сменили со временем пальцы Моцарта,
что скользили по клавишам, чуть прикасаясь,
будто капли росы — по листкам, лепесткам...
Аромат менуэтов струился из окон барочных,
а выше,
на куртины кремля, что среди виноградника
вырос, вспоенный лозой,
оседала зловещая копоть столетий, въедаясь
в сановитые бороды и парики.
На Михальской, на сейме, устами строптивого
Штура
подневольный мечом инвективы рассек,
нет, не цепь, а всего лишь звено опостылевшей
цепи...
Ежедневно хожу мимо этого сейма,
как и сотни других горожан,
что спешат в магазины за модной новинкой
или в винный подвальчик шутиху веселья
поджечь,
прикоснуться к живому, но стылому телу веков,
каменеющих в сводах.
А куртины кремля, что среди виноградника
вырос, вспоенный лозой,
заалели кирасами нови.
Наша гордость, воспрянув, растет от корней
давних дней,
не подвластных ни времени, ни измышленьям,
Гордо в Рыцарском зале звенит
«Братиславская дума» достойного Краля
и пророческий гимн короля Сватоплука.

[1] 4 апреля 1945 года Братислава была освобождена от немецких оккупантов Советской Армией во взаимодействии со словацкими регулярными войсками и партизанскими отрядами.

На куртинах трубят наши новые горны,
и потомки рабов раскрывают бутоны сердец,
как соцветья свои — абрикосы и персик,
что по склонам цветут под стенáми кремля.
Укрепляются корни истории нашей.
наливается в сочных плодах наша гордость
под дождями и солнышком нового лета,
предвещающего урожай.
Первозданную смутную радость вина наших дней
мы укроем под своды веков, чтоб созрела
в искрометную мудрость для внуков и правнуков.
Пусть веселыми, мудрыми будут хотя бы они!

(Перевод И. Ивáнова)

При всех своих служебных обязанностях,— которых было вовсе немало с тех пор, как я стал директором «Татрана»,— я продолжал писать. В конце 1949 года вышел сборник моих рассказов «Возвращение Петра Хуганя». Первый из них, давший название сборнику, я задумал вначале как киносценарий, по заказу киностудии. Книга вышла в «Татране» с иллюстрациями известного чешского художника Вацлава Сливки. Меня очень порадовало издание сборника — снова книга прозы, к которой я не обращался уже несколько лет. Первые три рассказа посвящены теме Восстания, следующие два — повествованию о «заклейменных» людях деревни, а последний — история несчастливого охотника, построенная тоже на «деревенских» мотивах, более того — на судьбе конкретной личности, мелкого помещика и знаменитого охотника из деревни Брница, жизнь которого действительно трагически оборвалась. Рассказ о пане Миклоше тоже написан с реального лица: прототипом героя послужил обедневший дворянин Иов Микулаш, некогда главный нотарий жупы [1], председательствовавший на историческом первомайском митинге рабочих и трудящихся Липтовского Микулаша в памятном 1918 году.

Рассказы о Восстании тоже созданы на реальном материале — только я, естественно, подчинил его своему художественному замыслу. Удалось ли мне этот замысел осуществить, уже другой вопрос. Сейчас, много лет спустя, я отлично понимаю, что торопился при написании этих рассказов больше, чем то было на пользу делу, и слишком давал волю своему увлечению, открывая тем самым дверцы для напиравшего в то время схематизма. Понятно, многие из нас, активных участников Восстания и борьбы против фашизма, были еще охвачены высоким пафосом и воодушевлением, и хотя чувства эти уже начали к тому времени угасать — мы все еще старались воскрешать и раздувать их при исполнении различных задач строительства государства, считая их необходимым, самым действенным двигателем во всяком деле, в том числе и писательском. Это было ошибкой: особенно в писательской работе куда полезнее пользоваться такими чувствами только как редкой приправой — в интересах художественного, а также и идейного воздействия литературы. Что ж, теперь мы стали умнее и даже способны давать мудрые советы. Только их не всегда слушают... Точно так же, как не слушали и мы тогда.

Страдает этим недугом и следующая моя книга стихов «Зеленые побеги», хотя критика встретила ее с исключительным пониманием и надлежащей оценкой. Сборник этот был приурочен ко II Всемирному Конгрессу мира в Варшаве, что и объясняет отчасти концепцию и направленность книги. Ее объединяет тема борьбы за мир, и писал я эти стихи, так сказать, на одном дыхании, в первые месяцы того самого 1950 года, в ноябре которого они уже вышли в свет тиражом в 20 000 экземпляров — небывалым во всей истории издания стихов в Словакии.

Эпиграфом к сборнику «Зеленые побеги» я взял последнее четверостишие «На развалинах» из моего сборника «Огни в горах»:

О, человек, мне руку дай —
увериться в твоем тепле...
Теперь скажи мне, ад иль рай
воздвигнуть хочешь на земле?

А потом уж я даю говорить простыми, безыскусственными словами моим героям — пастуху, школьнику, рабочему, могильщику, учительнице, шахтеру, под конец и самому поэту, чтоб каждый из них по-своему выразил свою жажду мира и правды. Социальное значение этой моей книжки было в самом деле немалым, задачу, поставленную мной, она бесспорно выполнила в полной мере, вошла в сознание широких читательских масс — следовательно, я мог быть вполне удовлетворен. А я не был! Успеху я, конечно, радовался, но только... Вот это самое «только» и не давало мне спать еще долгие годы, когда уже выходили и следующие мои книги — пожалуй, исключая три-четыре последних. Несомненно, были

[1] Жупа — административный округ в венгерской части Австро-Венгрии, нотарий — правительственный чиновник тех времен.

и всегда будут писатели, которые вдруг вспыхнут метеором, да сразу и погаснут. И пусть они оставляют очень скромное по количеству наследие — зато художественное воздействие его невероятно сильно. Примеров тому много и в нашей и в мировой литературе. А есть такие творческие натуры, в которых художник созревает долгими десятилетиями, в течение которых его жизненный опыт приобретает все большую интенсивность, проходя порой через трагические коллизии,— зато и разрешаемые более счастливо — и так до первых примет старости. Видно, я отношусь к этой второй категории, более того, не стыжусь признаться, что не раз — особенно в кругу друзей, за чаркой вина — мне казалось, будто и не было у меня того долгого периода мудрой зрелости, которая стыдится своего «переходного возраста» и знать еще ничего не желает о старости.

Опасность схематического, упрощенного видения мира и такого же отображения его грозила тогда не одной литературе, но и всем областям искусства. И, к сожалению, не только искусству. Конечно, крики «ура» очень подбадривают в атаке, в бою, а возгласы «раз, два, взяли!» — в строительных работах, но строить искусство, даже одно небольшое произведение, только с их помощью — мягко говоря, напрасный труд. Как я уже писал, еще играло в нас воодушевление от того, что победно окончилась ужасная мировая война; да, воодушевление необходимо при восстановлении нормальной жизни, при реконструкции, созидании, и было бы грешно не использовать его. Но мы открыли ему двери в интимный мир наших чувств, и оно, громогласное, нередко заглушало движения души, тихий звон, робкий и несмелый, легонько трогающий струны сердца — и тем не менее стремящийся найти свое собственное выражение. Слишком много было шума, славы, плакатов, лозунгов и пения. Конечно, энтузиазма — тоже. Но этот энтузиазм оказался самой тучной почвой для произрастания схематизма. Я хотел видеть все таким, каким желал, чтоб оно было. Энтузиазм порождал желание, и желание водило нашим пером. Достаточно часто, к сожалению, если и не всегда. Избыток патетики в конце концов глушит, как сорняк, даже подлинный, художественно оправданный пафос, который ведь не рассчитывает на отклик. И так, увы, случалось часто. А критика во вред делу, замечала это слишком редко.

Истины ради надо сказать, что еще в начале пятидесятых годов поднимались голоса против схематизма, устраивались семинары, конференции, обсуждения — но ведь никакими констатациями и декларациями положения в творческой практике не улучшишь, хотя, конечно, они означали хоть первый шаг к этой цели. Ухудшил положение и оказал длительное влияние на литературу пресловутый актив писателей, состоявшийся 30 марта 1951 года в Клубе словацких писателей под лозунгом. «Против буржуазного национализма и космополитизма в искусстве и литературе». Актив этот исходил прежде всего из Постановления ЦК КПЧ от февраля 1951 года, в котором содержались серьезные обвинения в адрес ведущих партийных работников и общественных деятелей, таких, как Шлинг, Швермова, Клементис и другие, в том числе одного из крупнейших словацких писателей, Лацо Новомеского. На активе этом подверглись критике и другие наши видные писатели — Александр Матушка, Владимир Минач, Михал Хорват и еще некоторые. Правда, критика эта делалась под непосредственным сильным нажимом некоторых руководящих лиц в области литературы и искусства и принесла большой вред как самой литературе, так и личным отношениям в среде писателей, что также вовсе не шло на пользу дальнейшему развитию нашей литературы. Многие из нас, неопытные в подобного рода делах, поддались этому нажиму, тем более что он аргументировался якобы доказанными фактами вины и признаниями самих обвиненных: гораздо позже мы узнали, какими способами вынуждались эти признания. Тот актив останется несмываемым пятном на нашей культурно-политической жизни пятидесятых годов, его последствия ощущались еще долго.

Вскоре затем начались знаменитые судебные процессы, в том числе против таких писателей и видных политических деятелей, как Лацо Новомеский, Иван Хорват и Данё Окали; дыхание перехватывало, мысль отказывалась понять, металась, не в силах поверить тяжким обвинениям,— и лишь многие годы спустя выяснилось, что эти обвинения были ложны.

■

Не упомню другую такую прекрасную осень, как в пятьдесят первом году. Я вернулся из поездки в Венгрию и, нетерпеливый, помчался в Быстрицу —узнать, как там Яна. Она за это время переехала туда из Братиславы, получив там выгодную работу. Яна поддерживала дружеские отношения с родителями Оты, вдовы моего брата, которые жили на тогдашней окраине Быстрицы; у них я мог узнать что-нибудь о ней.

Итак, прекрасным сентябрьским днем я ехал в Быстрицу, проклиная медлительность поезда, который долго стоял в Зволене, что совершенно невыносимо для человека, сгорающего от нетерпения. Как забилось сердце, когда вдали пока-

зались мачты радиостанции в Радване! Как терзал меня вопрос, переполнявший все мое существо: да или нет?

Дело в том, что в Венгрию я ехал уже свободным человеком. С Ланкой мы развелись — мирно, но не без горького чувства; она перебралась к родителям в Нитру, и мы с сыном Иваном остались одни в большой братиславской квартире. День, когда мы с Ланкой оформили наш развод, навсегда останется черным днем в моей жизни, но тогда я ничего не мог поделать. Я не хотел, чтобы любовь моя к Яне была чем-то подпольным — яростность этой любви не раз бросала меня в самые критические положения, и я, презрев условности, несся, как по полой воде, чуть ли не буквально стукаясь лбом о препятствия, не видя людей, которые старались дать мне какие-то советы, не провидя неведомое, совершенно немое будущее, взблескивающее блуждающими огоньками перед моим внутренним взором Я был в отчаянии — и счастлив, полон тревог, опасений — и отваги, решимости, готовый к схватке с кем угодно,— в общем, как всякий влюбленный, воображающий себя сильным и даже непобедимым. Такой человек не слушает никого, такому никакие советы не в прок, и помощи ему нет.

Перед тем как уехать в Венгрию, я просил Яну подумать о том, как нам жить дальше. Незадолго до этого она отказалась выйти за меня замуж, выставив довольно сомнительный аргумент — она, мол, по характеру своему не создана для супружества и еще какие-то подобного рода бессвязные отговорки, которым я не придавал никакого значения. Но я не мог себе представить, как буду жить без нее, тем более теперь, когда остался совсем один. А Яна, будучи, конечно, умнее меня, этого и добивалась хотела испытать меня одиночеством, посмотреть, как я буду себя вести, как проживу один хоть несколько месяцев. Она хотела вывести меня из состояния ошеломленности, вернуть в обычный, хоть и наполненный любовью, день. Но терпение и снисходительность никогда не относились к числу моих добродетелей.

Итак, я ехал в Быстрицу за ответом «Да — нет, да — нет» — перестукивались колеса вагона, мелькающие телеграфные столбы, даже полосы полей, тогда еще разделенных межами,— все вокруг словно твердило в такт колесам: Да? Нет?

Едва заняв комнату в Народном доме и наскоро приведя себя в относительный порядок, я поспешил к родителям Оты. К моему приятному удивлению, я застал Оту дома и сразу приступил к ней с расспросами... Ота сперва попыталась увильнуть от ответа — мол, ничего она не знает, с Яной не виделась недели две, но я-то сразу прочитал по ее глазам, что это она просто так, хочет меня помучить. Сердце мое сильно забилось, охваченное непомерной радостью, и я, не дожидаясь более четкого «да», бросился к Оте, обнял ее и, совсем потеряв голову от счастья, воскликнул:

— Так свадьба будет!

— Будет, Андрей,— медленно, серьезно произнесла Ота, и ее картавое «р» прозвучало мне ангельским пением. Еще бы!

Мы вышли в сад, сели было на лавочку, но я не мог усидеть. Встал, заходил под деревьями, взбежал на горку и снова спустился, сорвал несколько астр и бросил их Оте на колени. Солнце уже закатилось, после жаркого дня по саду разлилась приятная прохлада — как славно для моей разгоряченной головы, для тревоги моей...

(Продолжение следует)

Литературное наследие

Из китайской классической поэзии

■

Перевод с китайского и вступление Л. ЭЙДЛИНА

Представленные в журнале четыре поэта: Мэн Хао-жань (689—740), Лю Цзун-юань (773—819), Лю Юй-си (772—842) и Бо Цзюй-и (772—846) — заняли своею жизнью больше ста пятидесяти лет, половину времени существования танского государства (618—907). Они тесно связаны между собою. Трое — современностью и дружбой. Все трое почитали Мэн Хао-жаня и были в силах продолжить уже им прославленную танскую поэзию. «Я, поэта любя, навещаю его страну»,— говорит Бо Цзюй-и, приехав в мэнхаожаневский Сянъян. Любя давно покинувшего мир Мэн Хао-жаня, как любимы им живые его друзья-поэты.

У всех у них были общие темы. И одна — времена года. Времена года — это, конечно, не просто одна тема: она объемлет собою все множество тем китайской классической поэзии. Поэты «с древности и до нас» (как сказал бы китаец) задумывались над движением времени. Они знали и запечатлели еще в «Древних стихотворениях» начала нашей эры, что «человеческий век промелькнет, как краткий приезд». Времена года помогали отсчету жизни человека. «Времена — все четыре — за одним другое на смену, /И уже вечер года с быстротой какой набегает»,— сказано в тех же «Древних стихотворениях», а в IV веке у Тао Юань-мина: «Солнце с луною никак не хотят помедлить, /Торопят друг друга четыре времени года».

Весна, лето, осень и зима олицетворяют собою быстро пролетающее время. В китайской поэзии одушевлены они больше, чем во всей остальной мировой лирике. Они приходят к людям и возвращаются к себе. К ним может обратиться поэт как к другу («Это чувство, с которым проводил сегодня весну, /Это чувство — как будто я расстался с другом моим»), а иной раз и как к врагу («...дурман весенний и от него безумье»). Времена года — тот фон, на котором поэт выражает и настроение свое, и взгляд на мир.

Китаец не знал привычного для нас непрерывного линейного счета исторического

времени, наращивавшегося в его сознании циклически, и те тысячи осеней, те десятки тысяч годов, о которых говорили поэты, по-видимому, не воспринимались протяженно, а далеко ушедшая древность была где-то рядом и явственна как идеализированное настоящее. Времена года направляли мысль человека на прошлое, потому что они-то, в отличие от самого человека, вечны: приходят к людям и отправляются к себе все те же весна и лето, осень и зима. Побывав на юге, идет весна на север, и сосланный в Линлин чиновник и поэт Лю Цзун-юань поручает ей сны свои о возвращении домой: пусть хоть они взглянут на родной Циньюань. А Лю Юй-си, тоскуя по умершему другу, глухо напоминает об этом его стихотворении, говоря, что «в час урочный пришла весна», уже не заставшая Лю Цзун-юаня. Одна луна освещает всю Поднебесную, и одна весна шествует по ней с юга на север. Она соединяет в себе прошлое, нынешнее и будущее человека, живущего в едином ряду с небом и землей.

Для Лю Юй-си во все времена «одинаковы те печали», для Бо Цзюй-и в мире нет такого угла, который не напоминал бы о прошлом, будь это Цзиньгуский сад в Золотой долине, посаженный богатым поэтом Ши Чуном в III веке, или Тяньцзиньский мост через реку Ло, построенный при суйском Ян-ди, который правил с 605 по 617 год. Да и осень увлекает в далекое прошлое. У Бо Цзюй-и «так чиста и светла она, как, наверное, в старину», когда жил во времена Восточной Цзинь современник Тао Юаньмина буддийский наставник Хуэй-юань «и все те, кто с ним».

Но все же прошлое, живущее рядом, не может утешить человека в его непреодолимом движении к «превращению», к уходу в небытие, то есть в то состояние, когда он сам становится прошлым для поколений, которые ему уже «не застать», как ему «не настигнуть ушедших». Вот почему, провожая весну, Бо Цзюй-и не может отрешиться от мысли об уходе времени, его собственного времени с исчезновением весны. Нет в жизни несчастий, с которыми нельзя было бы справиться или от которых нельзя было бы убежать. «От единственной только дряхлой старости, как придет, /В человеческом мире не укроешься никуда...» Философия старости и смерти чуть не во главе угла старой китайской лирической поэзии. Но общие рассуждения приобретают в ней и самый конкретный характер после наступления сорокалетнего возраста, когда уже есть право стареть, когда «болезни и дряхлость» начинают, как кажется поэту, притуплять в нем вкус к радостям весны. Еще в «Древних стихотворениях»: «Я нигде не встречаю того, что здесь ранее было,— /Как же можно хотеть, чтоб движенье замедлила старость!» Человеку свойственно отгонять от себя мысль о смерти, художник же, а особенно художник тех веков, когда на поэзию возлагались задачи науки, и главная из них — осмысление жизни, такой художник думает не только о себе, он в заботе о людях.

Понимание жизни человека как пути, отмечаемого временами года, тоже пришло из древности: «А живет человек между небом и этой землей /Так непрочно, как будто он странник и в дальнем пути». Общий путь человеческий может соединиться и со своим, не аллегорическим, мучительным в зимнюю пору, как у Мэн Хао-жаня в «Моих чувствах в последнюю ночь года» или у Бо Цзюй-и, тоскующего по дому зимой в Ханьдане. Зима у поэтов принесла нам и сведения о жизненной неустроенности тех времен: холод подушки и одеяла, сиротливый светильник, несметенная с кровати пыль. (А может быть и так, что все эти обстоятельства кажутся малоуютными лишь нам через тысячелетие?)

В пристальном наблюдении за ходом времени поэты старались забыть о пылающем лете и студеной зиме, предпочтя им весну и осень. Как и во всей мировой поэзии всегда находились и сторонники, и противники весны и осени. «С древности самой встречали осень скукою и печалью. /Я же скажу, что осени время лучше поры весенней»,— писал Лю Юй-си. У большинства китайских поэтов радости и печали весны не заслонили собою радостей и печалей осени, что видно и по стихотворениям, публикуемым нами. Видно и то, что в старой китайской поэзии нет голого любования временами года. Времена года всегда лишь некий усилитель, необходимый при размышлениях о законах жизни, о движении человека в этой жизни, при воспоминании о друге-единомышленнике, с кем встречи и расставания стоит уподобить встречам и расставаниям с весною, которая все-таки остается символом подъема человеческого духа.

Времена года

МЭН ХАО-ЖАНЬ

Начало осени

Еще незаметна осень в начале,
а ночи уже длинней.

Порывами ветер прохладный веет
и свежесть с собой несет.

И жаром пылавший зной отступает,
и в доме тишь и покой.

И листья осоки внизу у ступеней
от капель росы блестят.

Мои чувства в последнюю ночь года

И тяжел, и далек
путь за три горных края Ба
По опасным тропам
где идти десять тысяч ли.

Средь неравных вершин
на проталине снежной в ночь
С одинокой свечой
из иной страны человек.

Отдвигается вдаль
кость от кости, от плоти плоть,
И на месте родных
верный спутник мальчик-слуга.

Где же силы терпеть
эту в вечных скитаньях жизнь?
С наступлением дня
начинается новый год.

ЛЮ ЦЗУН-ЮАНЬ

Ранняя весна в Линлине

Спрошу весну
о том, когда она

Направится
отсюда в Циньюань,

Чтоб с ней послать
мои о доме сны:

Пусть хоть они
войдут в родной мне сад.

ЛЮ ЮЙ-СИ

Скорблю о Потоке Глупца

Мой друг Лю Цзун-юань, когда был сослан в Юнчжоу, нашел прекрасное место, где построил свой скромный дом, посадил огород, запрудил ручей и сделал озерко, на котором возвел беседки и башенки, и назвал ручей и всю усадьбу Потоком Глупца. Прошло уже три года с той поры, как не стало учителя Лю. Один буддийский монах, побывавший в Линлине, сказал мне, что Поток Глупца теперь в запустении. Когда я услышал слова монаха, меня охватила неодолимая грусть. Об услышанном мною написал я в семисловных стихах, дабы выразить свою печаль.

I

Воды потока прозрачно-чистые;
в час урочный пришла весна.

В доме отшельника нет хозяина —
только ласточки проснуют.

Сквозь занавеску из дома виднеется
двор пустынный с густой травой,

Горный гранат, в своем одиночестве
расцветающий, как и встарь.

II

Несколько строк знаменитого мастера,
сохранившихся на стене.

Тысячью веток сад апельсиновый
окружает соседский дом.

Перед селением над воротами
с именами славных доска.

В грустном безмолвии ранних сумерек
возвращается дровосек.

III

Ивовый вход с бамбуковой улочки
существует и до сих пор,

Мохом зеленым и дикими травами
зарастая день ото дня.

Лишь иногда соседу захочется
на свирели здесь поиграть.

Кроме него из былых товарищей
кто приходит сюда еще!

Провожаю весну

Ведь вчера еще только взошел на башню,
поздравляя весну с приходом,
А сегодня поднялся на башню снова,
чтобы с ней уже попрощаться...

И цветы орхидей в увядшем уборе
сбереженной росою плачут.
Ивы длинными рукавами веток
налетевшему ветру машут.

И красавица в гладком зеркале видит,
как лицо ее изменилось.
Чуский гость у речного берега знает,
что надежды его напрасны...

И за десять тысяч веков и доныне
одинаковы те печали.
Остается вином допьяна напиться
и забыть обо всем на свете.

Осень

I

С древности самой встречали осень
скукою и печалью.

Я же скажу, что осени время
лучше поры весенней.

Светлая даль, журавль одинокий
в небе над облаками

Могут поднять мое вдохновенье
прямо к лазурным высям.

II

Ясные горы, чистые воды,
с ночи лежащий иней.

В яркой листве краснота деревьев
тронута желтизною.

Если к тому же взойти на башню —
свежесть проникнет в кости.

Это не то что дурман весенний
и от него безумье.

БО ЦЗЮЙ-И

Брожу в ущелье у Шимэньцзянь~ Потока Каменных Ворот

К водопаду в ущелье
нет протоптанных давних троп.
Продираясь сквозь чащу,
я ищу былого следы

И все время встречаю
осень ясную гор и вод —
Так чиста и светла она,
как, наверное, в старину.

Говорят, что когда-то
Хуэй-юань и все те, кто с ним,
Написали стихи свои
на огромной этой скале.

Облака их накрыли,
мох нарос и спрятал от глаз.
За зеленой стеною
не узнаешь, где их найти.

Негустыми рядами
обступает дикий бамбук
Обнаженные ветром
груды тысячелетних камней.

С той поры, как исчезло
государство Восточной Цзинь,
Никогда уже больше
не проходит здесь человек.

Безраздельно в Воротах
лишь осенний звучит поток,
И бурлит, и клокочет
в пустоте он и день и ночь.

После прощанья с поэтом Юань Чжэнем мои чувства

Горечь тоски
в дожде среди листьев туна.
Веет унынье
ветер в отцветшем цзине.

О, как грустна
начальной осени дума,
Что возникает
в тихом уединенье.

Если еще
добавить разлуку с другом,
Тут уж и вовсе
нет на душе веселья...

Не говори:
«Меня провожать не надо».
Сердце идет
с тобой к городским воротам.

Разве друзей
чем больше, тем они лучше?
Было бы только
с ними во всем единство.

С сердцем моим
один человек уходит.
Я ощущаю
город Чанъань пустыней.

Осенней ночью

Так листья шумят
и падают, словно дождь.

И светит луна,
как иней совсем бела.

И ночь глубока —
я только собрался лечь.

Найдется ли кто
смахнуть мне с кровати пыль.

Провожаю весну

В третьем месяце года
на последний, тридцатый день
Нас весна покидает
и опять вечереет день.

Опечаленный этим,
я весенний ветер спросил:
«Значит, ветер, ты завтра
с нами больше не будешь жить?»

И весну провожая
над Цюйцзяном на берегу,
Я с тоской и с любовью
мир оглядываю вокруг.

Но одно лишь я вижу —
как устлали воду цветы.
Так их много повсюду,
что не ведаю им числа...

Человек в своей жизни
словно странник в спешном пути.
Он идет шаг за шагом,
забывая передохнуть.

Каждый день он шагает
по дороге, что перед ним.
Перед ним же дорога
как протянется далеко?

Беспорядки и войны,
да и воду, да и огонь —
Те несчастья все можно
побороть иль от них бежать.

От единственной только
дряхлой старости, как придет,
В человеческом мире
не укроешься никуда...

И взволнованный мыслью,
я задумался о себе,
Прислонившись в безлюдье
молча к дереву у воды.

Это чувство, с которым
проводил сегодня весну,
Это чувство — как будто
я расстался с другом моим.

Иду ночью под редким дождем

Все небо укрыв,
осенние тучи нашли.

Подкравшись во мгле,
явился холод ночной.

Лишь чувствую, как
халат на мне отсырел,

А капель дождя
и шума их тоже нет.

Ночной снег

Я вдруг просыпаюсь:
постель холодна как лед.

Глаза открываю —
бумага окна светла.

Глубокая полночь...
Наверное, снег тяжел:

Я слышу порою —
ломаясь, хрустит бамбук.

В осенний дождь дарю Юань Чжэню

Я не вытерплю красных опавших листьев,
почерневший мох на земле,

Да к тому еще долгий холодный ветер,
нестихающий дождь с небес.

Удивляться не надо, в стихах услышав
только горечь осенних дум:

По сравненью с тобой я все-таки ближе
к ждущим нас годам седины.

В храме Хуаянгуань во время цветения персика. Приглашаю Ли Шестого выпить вина

В даосском храме Хуаянгуань
волшебный персик расцвел.

Возьмем вина, поглядим на цветы,
чтоб в сердце покой вселить.

Как можно во время цветенья нам
не выпить с тобой вдвоем:

Ведь завтра уже, послезавтра уже
все ветви будут пусты.

Вторю стихам друга о весенних чувствах в Лояне

Ты не печалься, когда в Цзиньгуском
саду стоишь под луной.

И ты не вздыхай, когда на Тяньцзиньском
мосту встречаешь весну:

Если ты множеством чувств охвачен
и полон о прошлом дум,

Какой уголок в человеческом мире
не ранит твоей души!

Гуляю в храме Юньцзюй~ Обители Облаков. Му Тридцать Шестому~ хозяину этих мест

В затерянном месте в скопленье вершин
дорога к храму Юньцзюй.

Мы вместе сегодня идем по цветам,
и радуюсь я весне...

Землею, что славна в веках красотой,
не волен владеть никто,

А горным просторам хозяева все,
кто любит бродить в горах.

Снова по служебным делам приехал на станцию Локоу

Вот приехал сюда я в этом году —
белы летние облака.

А когда приезжал в минувшем году,
был багряным осенний лес.

Оба раза в Локоу при виде гор
испытал я глубокий стыд:

Для одних государевых срочных дел
эти горы я посетил.

Проходя по улице Тяньмэньцзе

Сошел уже снег. На горе Чжуннань
весна наступает снова.

Любуюсь я издали голубизной
над суетной красной пылью.

Повозок не счесть, десять тысяч коней
на всех девяти дорогах.

Чтоб взор свой к горе Чжуннань обратил,
нет ни одного человека.

В Ханьдане
в ночь зимнего солнцестояния
тоскую по дому

В Ханьданьской почтовой станции я
встречаю праздник зимы.

Колени обняв, сижу при огне —
со мной неразлучна тень —

И думаю: так же дома у нас
глубокой ночью сидят,

Беседу ведя, конечно, о том,
кто странствует вдалеке.

Ранняя весна на Южном озере

Ветер ходит кругами, исчезли тучи,
только что прекратился дождь.
Отражается солнце в озерных водах,
потеплело и ярче свет.

Воздух в далях как будто усеян алым —
абрикосы цветут в горах.
Полосами простерлась новая зелень —
окаймил берега камыш.

Низко крыльями машут белые гуси,
тяжело летят, как зимой.
Языки недвижимы у желтых иволг,
не ведут они разговор.

Этим я не хочу сказать, что в Цзяннани
уж не так хороша весна:
Год за годом болезни мои и дряхлость
ослабляют влеченье к ней.

В опьянении перед красной листвой

Открытое ветру
дерево осенью поздней.

За винною чарой
некто в летах преклонных.

У пьяного щеки
словно под инеем листья:

Хотя и багряны,
но не весна их красит.

Третий день третьего месяца

Последних красот вечерней весны
в третьем месяце третий день.

Прошедшего времени жизни моей
половина от ста годов.

Хочу, все заботы забыв, гулять,
только спутника-друга нет.

Я на середине реки загрустил
и направил лодку домой.

Осенняя прогулка

Я сошел с коня и без цели хожу
над водою реки Ишуй.

Свежий ветер и чистая даль кругом,
право, лучше видов весны.

Почему же от древности и до нас
у поэтов за все века

Так немного сказано добрых слов
о лоянских осенних днях!

■

Критика

РАДКО ПЫТЛИК

КНИГА, ОБРАЩЕННАЯ К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ

Вступление и перевод с чешского С. ВОСТОКОВОЙ

Пятьдесят пять лет назад вышла в свет книга, вызвавшая множество споров и самых противоречивых оценок — от яростного отрицания до восторженного признания. Она оказалась опасной: правительства ряда стран не раз запрещали ее и конфисковали — и все же книгу читали миллионы людей во всех уголках земного шара. Книга эта — «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны».

Споры вокруг романа Ярослава Гашека продолжаются и до сих пор. В то время как буржуазная критика стремится всячески опорочить и «Похождения», и их автора, марксистские исследователи творчества писателя показывают неумирающее революционное значение его произведения — уничтожающей сатиры на империализм,— открывая в многоплановой и многогранной эпопее черты, созвучные нашему времени.

Эту же цель преследует и публикуемая статья известного чешского литературоведа Радко Пытлика. Не ставя задачей подробный анализ романа, он обращается, главным образом, к той его стороне, которая в наши дни, когда борьба за предотвращение войны, разрядку напряженности и взаимопонимание между народами стала священным долгом всех прогрессивных сил мира, приобретает особенно актуальное значение. Речь идет о «позитивном заряде» сатиры Гашека — о ее интернационалистской направленности, проповеди дружбы народов, гуманистическом послании, заключенном в образе бравого солдата Швейка.

Р. Пытлик дает бой попыткам некоторых критиков сознательно исказить обличительный смысл знаменитой книги, отождествить самого Гашека со Швейком, а Швейка — со «швейковщиной». Справедливость требует пояснить, что в пору юношеского увлечения богемой Гашек «швейковал» иногда — чтобы избежать преследований со стороны австрийских властей. Но автор «Похождений», прошедший сквозь горнило революции и гражданской войны в России, был уже другим человеком, сознательным коммунистом и создавал свой роман во имя разоблачения несправедливого социального строя, думая о светлом будущем своего народа. Образ бравого солдата, воплотивший в себе народный здравый смысл, стихийную критику империалистических порядков, образ Швейка—обличителя империалистической войны никак не может быть сведен к тому, что называют «швейковщиной» — показному усердию при практическом саботаже порученного дела. Для гашековского героя «швейковщина» — своеобразный метод борьбы, протеста. Выдавая Швейка за того, кем он всего лишь прикидывается,— за бездельника и труса, заботящегося только о спасении собственной шкуры,— упомянутые критики старались низвести роман до уровня смешного и нелепого фарса.

Полемизируя с такого рода взглядами, Р. Пытлик подчеркивает решающее значение революционных воззрений писателя, определивших идейную концепцию романа и его глубокий социальный смысл. Автор статьи высветляет в характере бравого солдата черты подлинной человечности, которые и делают его носителем идей взаимопонимания между людьми и народами, своего рода глашатаем активного гуманизма нашей эпохи.

Чешские писатели-коммунисты всегда выступали в защиту главной книги Гашека. Помимо цитируемых в статье И. Ольбрахта, Ю. Фучика, великолепную отповедь мещанской трактовке «Похождений» дал в свое время Эгон Эрвин Киш: «Смейтесь, читая «Швейка», но не забывайте при этом думать». Статья Радко Пытлика как бы подхватывает призыв «неистового репортера», помогая современному читателю уяснить идейно-проблемное богатство романа Гашека, столь нужное и близкое нам сегодня.

Еще в 1921 году, вскоре после появления первых выпусков «Похождений бравого солдата Швейка», писатель-коммунист Иван Ольбрахт отмечал в газете «Руде право»: «Я прочел несколько романов о войне и даже сам написал таковой, но ни в одном из них мерзость, бессмысленность и жестокость мировой войны не раскрыта так явственно, как в книге Гашека. Всех нас война как-то оглушила; она засела у нас в мозгу и, когда мы писали, словно давила на наши головы. Если же нам удавалось распрямиться, то лишь ценой величайшего напряжения воли и мысли. Гашеку не нужно было превозмогать в себе войну. Он с самого начала стоял над нею. Он над ней смеялся».

Ольбрахт прозорливо указал, что смелость, с какой Гашек изобразил первую мировую войну, определялась его способностью — столь необходимой подлинному сатирику — видеть вещи и события в их широчайших реальных взаимосвязях. Проблематика гашековского романа тесно связана с особенностями истории чешского национального сознания: чехи всегда оказывались в критической ситуации, когда поддавались ощущению своей «малости» и одиночества, но успешно преодолевали воздвигаемые историей преграды, когда связывали судьбу с идеями прогресса и освобождения человечества.

Понять истинный смысл «Швейка» и определить его место в чешской культурной жизни непросто, ибо порой для этого нужно побороть в себе условности, привычки и слабости старого мышления, научиться ориентироваться в современном мире, участвовать в борьбе за мир без войн и уничтожения людей. Не сразу обрел и Ярослав Гашек способность видеть действительность трезво и критически. Долог был его путь и полон тяжких обид. Но он пробился к правде, хотя и ценой величайших жертв, на какие способен человек. Наверное, именно поэтому книги Гашека, его воззрения, творческий путь будут всегда поучительными и актуальными.

Чешская буржуазия и ее идеологи не скрывали своего резко отрицательного отношения к писателю, не желая примириться с тем, что Швейк воспринимался за границами страны как представитель чешского народа. На защиту романа Гашека встали многие видные писатели и публицисты. Иван Ольбрахт, Курт Конрад, Юлиус Фучик, Лацо Новомеский подчеркивали не только народность, оптимизм, социальную направленность «Швейка», его прогрессивный смысл, но и выдающиеся художественные достоинства романа.

«Нет более социально значимого чтения, чем «Швейк»,— писал в 1926 году Фучик.— Он обращается к людям и рождает смех, который громким эхом отдается в обществе».

В недавние кризисные годы мы оказались свидетелями нападок на Швейка со стороны некоторых писателей и критиков, провозглашавших в качестве нравственного идеала индивидуалистическое понимание свободы. Швейк был противопоставлен другому литературному типу — Дон Кихоту: на одном полюсе оказался трагический идеалист, а на другом — бравый солдат, изображаемый существом тупым, приземленным — этакий средний обыватель «общества потребления»! Закулисной стороной подобной «актуализации» Швейка было неприятие прогрессивного революционного мышления и скрытая антипатия к социализму. В основе этой нечестной операции (якобы чисто литературоведческой) лежала подтасовка: истинное содержание образа Швейка подменялось субъективистски-моралистической критикой нашего общества, а созданный Гашеком литературный тип — социологической схемой. Швейк отождествлялся со швейковщиной, трактовался как бездельник, прячущийся за лозунг «Спокойствие прежде всего!» («To chce klid!»), хотя этого выражения в тексте романа вообще нет.

Выявляя действительное современное значение произведения Гашека, нельзя опираться на отдельные выражения и цитаты; речь должна идти об интерпретации литературного явления во всей его широте, в его общественных и художественных взаимосвязях.

Прежде всего зададимся вопросом: кто же такой Швейк? Это простой человек из народа, который в определенной исторической ситуации, перед лицом опасности, не поддается малодушию, страху и панике, не падает на колени, но сохраняет человеческое достоинство, общительность и оптимизм. Он не является носителем индивидуалистических идеалов или романтического энтузиазма. Трезвый скепсис прочно связывает его с реальностью. «Героическими» качествами Швейк не обладает; его отношение к действительности определяется не какой-то теорией, а практическим опытом, поданным с юмором и непосредственностью. Швейк не знает и не понимает причин мировой катастрофы, но очень отчетливо ощущает на себе тяжесть исторической ситуации. И находит из нее совершенно

РАДКО ПЫТЛИК

КНИГА, ОБРАЩЕННАЯ К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ

необычный выход: прикрываясь шутовской маской идиота, он как бы просто не принимает эту ситуацию во внимание.

Образ Швейка буквально завораживает: из самых запутанных положений выпутывается бравый солдат, называя вещи своими именами. В минуты отчаяния и паники он выступает как выразитель человеческой надежды.

Создавая Швейка, Гашек по-своему продолжал линию фольклорных героев — наивных (на самом деле не столь уж наивных) простаков, которые, проявляя в нужный момент природную сметку и сообразительность, побеждают драконов, разгадывают труднейшие загадки или освобождаются от злых чар.

Герой Гашека живет в куда более сложной обстановке современного мира с его кризисами и конфликтами. Именно поэтому он не может оставаться таким бесхитростным и простодушным как герой фольклорный. Поэтому-то и носит он гротескную маску идиота которую И. Ольбрахт метко определил афоризмом «гениальный идиот». Гениальность гашековского художественного открытия состоит в том что в образе Швейка своеобычно сочетаются притворный кретинизм, прикрывающий его иронию и сарказм, и действительное неведение простачка с его отличительными свойствами — непосредственностью, веселым нравом, неискоренимым оптимизмом.

Веселый роман о войне — явление само по себе достаточно парадоксальное. Чтобы создать его, нужно было подняться над трагизмом военных переживаний массовых страданий. Для этого и понадобился персонаж, объединяющий в себе наивного дурачка и лукавого плута. Диалектика образа Швейка необычайно пластична: каждая его фраза каждое выражение заставляют нас снова и снова спрашивать — кто же он Швейк? А все дело в том, что бравый солдат, в зависимости от обстоятельств, то снимает, то надевает свою маску; и диапазон его речи простирается соответственно от жгучего сарказма до дурашливого гротеска. Швейк представляет собой мудрого глупца, который в шутках и болтовне, как бы мимоходом, высказывает суровейшую правду об окружающей действительности, открывая ее подлинный гнетущий смысл. Но делает он это неотразимо комически — и никакое начальство не может его уличить или привлечь к ответственности.

Мудрость глупца полна неожиданных поворотов.

Создавая образ Швейка, Гашек опирался — сознательно или бессознательно — на традиции плутовского романа. Ведомый несложной фабулой странствия, герой подобного произведения словно становится сатирическим скальпелем при помощи которого обнажается истинное лицо различных слоев общества. Таков и Швейк. При ближайшем рассмотрении можно установить, что его маска лишь кажущаяся, это скорее прием, позволяющий срывать маски с других. Швейк представляется идиотом только среди действительных идиотов.

Одна из основных особенностей романа, важнейшая составная часть его идейной структуры — интернационализм Швейка. Вспомним сцену с венгерским солдатом на вокзале в Таборе, столь ярко изображающую разложение австро-венгерской империи, этого конгломерата народов и народностей. Постоянная вражда между ними, раздуваемая шовинистической пропагандой (в условиях невежества масс), была главным принципом Габсбургской монархии, где столетиями руководствовались правилом: «Разделяй и властвуй!» Жертва подобной пропаганды, а также собственной политической незрелости и отсталости, сапер Водичка выражает свою точку зрения на национальный вопрос скептической фразой: «Швейк, ты не знаешь венгров!»

Вопреки господствующим националистическим предрассудкам в Швейке все же побеждает истинная человечность. Посреди военной сумятицы, милитаристского угара его дружеское и теплое участие к раненому венгерскому солдату, одетому в старую военную шинель, «в которой была видна дырка от пули, влетевшей в его тело во славу венгерского короля», выглядит как проявление неподдельно чистого отношения к человеку.

И все же Швейк в любых обстоятельствах остается комической фигурой, остроумным, неутомимым юмористом и рассказчиком. Его сопротивление войне не выливается в какую-то определенную программу, оно проявляется стихийно, полуинстинктивно. Поэтому общественная активность бравого солдата перемещается, главным образом, в плоскость оценок и наблюдений. Он умеет совершенно безошибочно ориентироваться в самой неясной и хаотической обстановке. Его идиллический флегматизм отнюдь не препятствует поразительному умению распознавать противоречия действительности. Анализируемая нами диалектичность образа Швейка, думается, объясняется тем, что Гашек изобразил человека из народа на определенном этапе его исторического развития — в преддверии гигантских перемен, на пороге самосознания. К Швейку в полной мере относится то, что писал Бертольт Брехт в примечании к пьесе «Мамаша Кураж и ее дети»: «Не то важно, чтобы мамаша Кураж поняла и осудила войну. Важно, чтобы ее вредность понял зритель».

Швейк очень точно различает ценности: осмеивает официально-бюрократические авторитеты и символы, всей душой стоит за единение и солидарность простых людей. Недаром уже Иван Ольбрахт относил роман Гашека к пролетарской литературе. В одной из анкет он заявил: «Я считаю «Бравого солдата Швейка» — произведение, проникнутое пролетарским мировоззрением и мироощущением,— вершиной чешской пролетарской литературы».

Правильное истолкование «Швейка» предполагает понимание идейно-эстетических убеждений его автора. Прежде всего сле-

дует уяснить, что Гашек — отнюдь не Швейк. Словацкий поэт Лацо Новомеский очень верно сказал по этому поводу: «Швейку ошибочно приписывают какой-то фатальный нигилизм, порой забывая о том, что автор «Швейка» Ярослав Гашек, в известной мере являвшийся прообразом этой исключительно комической фигуры, был серьезным и энергичным там, где жизненные интересы людей были близки его жизненным интересам. Был же Ярослав Гашек, как свидетельствуют исторические документы, одним из лучших революционных комиссаров в Сибири».

Не будем описывать советским читателям большую дорогу Гашека — начальника интернационального отделения Политотдела Пятой армии — от Уфы, через Омск и Красноярск, до Иркутска: она известна по работам советских исследователей. Стоит, однако, напомнить, что Гашек встал на сторону пролетарской революции и вступил в большевистскую партию в самое тяжелое для Советской России время — в марте 1918 года. Об отношении к Гашеку советских читателей прекрасно сказал, выступая в 1973 году по пражскому телевидению, Леонид Новиченко: «Гашек — писатель мирового значения. В Советском Союзе его любят уже несколько поколений читателей. Он был верным другом советских людей, мы считаем его «своим» писателем».

В настоящей статье хотелось прежде всего показать значение революционных воззрений Гашека для его творчества — без этого вряд ли можно понять и правильно объяснить «Швейка».

Гашек начал сближаться с рабочим движением уже перед войной, выступал в рабочей печати, хотя, как и ряд других деятелей культуры, не стал членом социал-демократической партии: его отталкивало равнодушие этой партии к национальному вопросу.

Мировая война и участие в революции помогли Гашеку произвести переоценку предвоенного увлечения богемой. Его понимание национально-освободительной борьбы, мыслившейся раньше лишь как сопротивление Австрии, без определенной исторической перспективы, в ходе событий постепенно связывается с перспективой социалистической революции.

Революционный этап жизни Гашека дает возможность осмыслить его предвоенную антибуржуазную сатиру и его послевоенные иронические мистификации — «исповеди», написанные по возвращении на родину (в них-то и зародилась гениальная идея — образ бравого солдата Швейка). Рассматривая Швейка как воплощение чешского национального характера, нельзя не подчеркнуть заключенный в этом образе революционный смысл. Ведь и сам Ярослав Гашек собственной жизнью доказал, сколь богатый запас революционной энергии таится в чешском народе.

Разумеется, художественное творчество — процесс весьма сложный. Оценивая творческий путь Гашека в целом, необходимо установить правильное соотношение между Гашеком — представителем предвоенной пражской богемы и Гашеком — революционером. Как случилось что человек, который во времена австро-венгерской монархии прославился своими эксцентрическими выходками, эпатируя буржуа оскорбительными сатирами и пародиями, стал в ходе революции ее сознательным бойцом? Эти парадоксы характера Гашека — лишь кажущиеся. Писатель связал свое гигантское творческое усилие с мечтой об изменении мира, а последовательно революционный образ мыслей и темперамент борца привели его к активному участию в этом процессе. Нападать ли на ненавистную буржуазию, вооружившись пером или винтовкой,— Гашек не видел здесь особого различия. Он всегда отстаивал права народа, интересы пролетариата — они были его собственными интересами. По убеждениям и социально-критической направленности творчества он принадлежит, подобно Ивану Ольбрахту, Марии Майеровой, Станиславу Костке Нейману, Ярославу Кратохвилу, к пионерам социалистической литературы.

Непоколебимая и неподкупная воинственность писателя придает революционное звучание нарсдности Швейка; герой Гашека предстает как активный защитник человеческих прав и ценностей от произвола, царящего в империалистическом мире. И когда он, казалось бы идиллически, вспоминает о своем «тыле» в пражских трактирах и южно-чешских деревнях, то это не столько швейковская ностальгия, сколько напоминание о неисчерпанных резервах сопротивления и революционной энергии, скрытых в простом человеке.

Роман «Похождения бравого солдата Швейка» не просто пародия на предвоенную Австро-Венгрию, он несет в себе нечто гораздо большее, чем послевоенный пацифизм. Гашек высмеивает абстрактный индивидуалистический протест; своей активной защитой человечности он вмешивается в мир конкретных социальных ценностей провозглашая необходимость дружбы народов, интернациональной солидарности, противостоящих влиянию мелкобуржуазного национализма и изоляционизма, потребительскому стереотипу жизни. Общественная роль героя швейковского типа выявляется, пожалуй, всего ярче в моменты социальных потрясений и военных конфликтов — в этих обстоятельствах Швейк своим неистребимым оптимизмом возвращает людям веру в будущее, помогает преодолевать страх и чувство безнадежности. Когда другие теряют голову, Швейк остается человеком, доказывая необходимость человечности в любое время и во всех жизненных ситуациях.

Книга Гашека, проникнутая идеями интернационализма и взаимопонимания между людьми и народами, утверждающая активный гуманизм нашей эпохи, обращена к сегодняшнему дню. И в этом ее непреходящее значение.

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ

ЭТИКА И КОСМОС

Свет и тени научно-технического прогресса в англо-американской научной фантастике семидесятых годов

Давно прошло то время, когда научная фантастика — как литературный жанр — нуждалась в защите и оправдании, давно уже она стала неотъемлемой и важной частью современной культуры. Идеи, образы, понятия научной фантастики присутствуют в сознании современного человека, независимо от его литературных пристрастий и антипатий. Образы научной фантастики расковывают мысль, расшатывают немало устоявшихся, но уже устаревших представлений, помогают осознать новое, подготавливают человека к встрече с будущим. Но главное — «взгляд из космоса» открывает в настоящем многое, что скрыто от непосредственного наблюдателя. Это верно и в прямом и в переносном смысле слова. Взгляд «со стороны» и метод мысленного эксперимента дают научной фантастике особые возможности художественного исследования реальности.

Истоки предубеждения многих взыскательных читателей против этого «специфического», якобы «второсортного» жанра (речь идет сейчас о западной фантастике) — в том, что он, пожалуй, резче других отмечен штампами буржуазной «массовой культуры». Среди псевдолитературной продукции, забивающей книжный рынок, весьма приметны обложки, на которых разной степени раздетости красотки соседствуют с роботами, космическими кораблями, инопланетными монстрами и прочей парафернали́ей «научно-фантастического» литературного хозяйства... Все это, конечно, чтиво, жвачка, но жвачка далеко не безобидная. Зачастую с этими книжками проникают в незащищенные умы развращающие идеи моральной вседозволенности, культ «сильного человека», различные варианты расистских мифов, яд антикоммунизма и антисоветизма. В лучшем случае эти ремесленные изделия, в которых «наука» столь же примитивна, сколь убога «фантазия», служат целям дешевого эскейпизма — бегства в мир лубочных иллюзий,— вызывая атрофию способности и желания думать.

Литература такого типа и назначения, как феномен социологический, заслуживает особого рассмотрения. Однако нам придется коснуться ее, так как она является частью общей панорамы научно-фантастической литературы на Западе, ставшей ареной острейшей идеологической борьбы по кардинальным вопросам нашего сегодняшнего бытия. Другие книги, о которых пойдет речь в данной статье, принадлежат писателям, которые при всей разноречивости своих взглядов — подчас совершенно для нас неприемлемых — представляют научную фантастику Запада как серьезный литературный жанр, являющийся предметом исследований и советских и зарубежных критиков.

Читая книги западных фантастов, нередко сталкиваешься с парадоксами. Скажем, сборник научно-фантастических рассказов называется «Наука против человека». Или еще интереснее: «Секс и научная фантастика». А если исходить из содержания, то многие произведения такого рода можно озаглавить: «Научная фантастика против науки», она же — «против прогресса», «против разума», «против морали» и даже... «Научная фантастика против человека».

С точки зрения классических законов жанра все это фантастично, немыслимо, абсолютно невозможно! Увы, оказывается,

возможно. Как же это случилось? Не углубляясь в историю вопроса, обратимся к англо-американской фантастике семидесятых годов.

...Марсианские ученые пришли к выводу, что Земля населена четырехколесными разумными существами, которым прислуживают двуногие рабы... Этот иронический образ появился как-то сразу у американских фантастов, публицистов, карикатуристов. Странно? Удивительно? Пожалуй, нет. Видимо, в определенное время художественные символы, как и научные идеи, «носятся в воздухе». Знаменательно, что это — образ научно-фантастический и что воплощена в нем одна из главных проблем, над которой мучительно бьется современная английская и американская фантастика,— научно-технический прогресс и его последствия для человеческого общества. Ядром этих размышлений в последнее время, естественно, стали вопросы нравственные. Обостренное внимание к ним отвечает духу времени и свойственно, конечно, не только научной фантастике. Из общего круга моральных проблем фантастика отбирает прежде всего ту его часть, которую можно назвать «нравственность и научно-технический прогресс» или, пользуясь метафорой Артура Кларка, «этика и космос». Об этом яростно спорят в своих книгах английские и американские фантасты различных идейно-художественных направлений. О некоторых из этих книг пойдет речь ниже.

■

Страшный опыт Хиросимы придал небывалую остроту проблеме гражданской ответственности ученого, моральной оправданности научного эксперимента и применения технического открытия. Особенно горестно звучат эти мотивы в книгах, в том числе научно-фантастических, принадлежащих авторам-ученым.

Американский писатель Майкл Крайтон, врач по образованию,— автор двух научно-фантастических романов, переведенных на русский язык [1]. В романе «Штамм «Андромеда» (1969) речь идет об опытах с бактериологическим оружием. В романе «Человек — компьютер» (1972) Крайтон обращает внимание читателей на опасность «модификации поведения» с помощью электростимуляции мозга. В книге описана нейрохирургическая операция, сходная с теми, которые действительно проводятся при экспериментах над обезьянами. В результате ее герой становится человеком, управляемым компьютером. При этом возникают непредвиденные и неконтролируемые последствия. Попытка управлять эмоциями и поведением человека оканчивается катастрофой.

Крайтон выступает против экспериментов по электростимуляции человеческого мозга не столько с медицинской точки зрения, сколько с точки зрения нравственной, справедливо считая совершенно недопустимым насильственное вторжение в сознание и душевный мир человека.

Книга охватывает целый ряд психологических, этических и социальных проблем. Автор объясняет моральную безответственность своих героев-ученых прежде всего корыстью, честолюбием, конкуренцией, узкопрофессиональным прагматизмом. Ученые в романе Крайтона рассчитывают чисто научно-техническими методами устранить социальное зло: они предлагают проводить электростимуляцию мозга у преступников и тем самым покончить с преступностью. Именно в этом заключается их основная ошибка и причина поражения. Такая проницательность делает честь автору. Действительно, стремление подменить решение социальных проблем неправомерным применением открытий науки и техники может стать лишь «источником повышенной опасности».

Сами опыты по управлению сознанием Крайтон считает одним из способов подавления человека техникой, приметой «технологического общества». Герой Крайтона — жертва современной машинной цивилизации Запада, и его бунт — бунт человека против враждебного ему могущества техники, против превращения человека в придаток машины. Писатель поднимается до гуманистического отрицания «цивилизации потребления», с яростью и отвращением говорит он об унижающей человека «массовой культуре», о нелепом и неестественном «автомобильном обществе», изолирующем каждого от других и разрушающем глубинную человеческую потребность в общении и единении.

И все же антибуржуазная тенденция романа оказывается намертво спаянной с технофобией. Одиночество и отчуждение человека в буржуазном мире выступают как некий итог научно-технического развития. Отчаянный призыв остановить наступление науки и техники сталкивается с сознанием, что затормозить этот процесс невозможно. Отсюда трагическое звучание книги.

■

Роман-предостережение Крайтона можно отнести к тому довольно широко распространенному направлению мысли, которое иногда называют неоруссоизмом. Прогресс науки сам по себе не избавил человека Запада от социальной несправедливости. Этим в значительной мере и объясняется характерный для неоруссоизма недифференцированный протест, в котором возмущение буржуазным миропорядком сливается с враждебностью науке и технике. Угроза ядерной войны и гибели человечества, нарушение равновесия между человеком и природой, развращающее воздействие на психологию человека «общества потребления», унификация мышления, обезличива-

[1] Крайтон М. Штамм «Андромеда». М., «Мир», 1971; Крайтон М. Человек—компьютер. М., «Мир». 1975.

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ

ЭТИКА И КОСМОС

ние человека — все это воспринимается как автоматическое следствие научно-технического прогресса. Но призыв «вернуть джинна в кувшин» столь же реакционен, сколь и утопичен.

Более того, у некоторых писателей социально-критическая линия вообще сходит на нет и остается лишь отрицание науки. В западной публицистике такого рода идеи получили название «антинауки».

Недоверие к ученым, враждебность науке распространились на Западе в последнее время. Существование «военно-академического комплекса», близость научно-технической элиты к правящей олигархии, далеко не бескорыстная служба «большой науки» большому бизнесу — все это способствовало дискредитации науки и ученых в глазах довольно широких общественных кругов, в первую очередь, молодежи. Однако «антинаука» меняет местами причину и следствие, создает искаженную картину действительности.

Перенесение вины и ответственности за кризисы, переживаемые Западом сегодня, и за опасности, угрожающие миру в будущем, на науку и ученых объективно становится оправданием современному буржуазному обществу и его правящим кругам. Именно поэтому «антинаука» постепенно стала штампом буржуазной пропаганды, и в этом качестве ее подхватила «массовая культура» и в особенности «массовая научная фантастика».

В западной научной фантастике идеи «антинауки» и «антитехнологии» — то, что, так сказать, «носят в этом сезоне». У многих английских и американских фантастов воплощением научно-технической революции оказывается вышедший из повиновения робот, а науку представляет ученый-злодей. Извращение роли науки буржуазным государством оборачивается, в частности, извращенным, «противоестественным» отношением научной фантастики к науке. Вот поэтому и появляются книги с программным заглавием «Наука против человека».

«Обличение» науки и ученых нередко связывается в западной фантастике с реакционным мифом о человеке как «скверном животном», «голой обезьяне». Понятия: жизнь — человек — разум — наука предстают как ступени все возрастающего зла. Такой беспросветно мрачный взгляд на мир высказан и в романе английского писателя Филипа Оукса «Эксперимент в Прото» (1973).

Группа ученых, движимых тщеславием и корыстью, проводит бессмысленные и заведомо безнадежные, с точки зрения автора, эксперименты с целью обучить шимпанзе человеческому языку и установить с ними контакты. Для ускорения процесса «обучения» экспериментаторы прибегают к насилию, в свою очередь животные, при малейшей оплошности людей, отвечают им тем же. Не меньшая жестокость проявляется и в отношениях людей друг к другу. Кровь, смерть, разрушение — финал «эксперимента».

Научный центр Прото, по мысли писателя, некий сколок с человеческого общества. В этой картине есть и социально-критические детали, но в целом «Эксперимент в Прото» — не сатира, обличающая ради исправления. В том-то и дело, что исправить ничего нельзя, ибо люди хуже зверей,— внушает автор читателю. Книга насыщена сценами насилия, секса, жестокости, которым придается принципиальное, чуть ли не философское значение. Такую же роль играет и кошмарное нагромождение катастроф: безумный, страшный человек в безумном и страшном мире получает то, чего он заслуживает.

■

И по идейному комплексу, и по образной структуре «проходной» роман Оукса весьма характерен для той части англо-американской фантастики, которая обнаруживает симптомы кризиса, свойственные современной буржуазной культуре в целом. Показательно в этом отношении движение так называемой «новой волны».

Во второй половине шестидесятых годов этот термин относили к авторам английского журнала «Новые миры», поставившим целью «обновление» содержания и формы научной фантастики, а затем он был распространен на широкий круг писателей, главным образом американских. Из их круга вышли произведения, обращенные «против науки, против разума, против морали». У данного направления много общего с искусством абсурда, «черным юмором», его по справедливости можно назвать «черной фантастикой». Исходная идея неизбежности мировой катастрофы и гибели человечества влечет за собой проповедь вседозволенности, крушения нравственных норм. В фантастику вводится изображение секса, насилия, разного рода патологии. Отрицание науки, враждебность разуму открывают путь теологии и мистике. В поисках необычных форм фантасты «новой волны» обращаются как к усложненности модернистского искусства, так и к маскам и штампам «массовой культуры».

Подобный симбиоз оказывается возможным вследствие глубинной идейной общности. Парадоксальным образом тотальный пессимизм и нигилизм «черной фантастики» превращаются в буржуазную апологетику. Как это происходит, можно увидеть в романах известного английского фантаста Брайена Олдиса, принадлежавшего к кругу писателей «новой волны».

Опасности и нежелательные последствия, связанные с развитием науки, возникают по двум главным причинам. Во-первых, в условиях антагонистического общества возможно сознательное и преднамеренное использование мощи современной техники во зло, во вред человеку. Во-вторых, существует опасность непредсказуемых и неконтролируемых результатов научного эксперимента, причем эта опасность возрастает или сводится к минимуму в зависимости от социальных обстоятельств.

Еще в романе Мэри Шелли «Франкен-

штейн, или Новый Прометей» (1818) непредвиденные последствия научного открытия, выход из-под контроля сил, развязанных человеком, воплощаются в грозном символе — чудовище Франкенштейна. Неудивительно, что в эпоху резкого обострения противоречий научно-технического прогресса многие публицисты и художники Запада возвращаются к образу Франкенштейна. «Освобожденный Франкенштейн» (1973) Брайена Олдиса также представляет собой вариации на темы романа Мэри Шелли.

Философские рассуждения о противоречиях научно-технического и исторического прогресса автор пытается сочетать с развлекательностью «массовой» литературы. Приключения, погони, тайны, катастрофы, сцены насилия, мистика — чего только нет в этой небольшой книжке. К тому же — бластеры, автомобили с ядерным двигателем, смещения времени, параллельные реальности... Помимо всего прочего, это еще и «исторический» роман, с почти карикатурными фигурами Байрона, Шелли и Мэри Шелли в качестве действующих лиц.

Как же решается в романе Олдиса проблема — нравственность и научно-технический прогресс? Стремление к познанию объявляется безнравственным по самой своей сути. Познание опасно, ибо человек порочен,— так можно обозначить главную мысль книги. Ученый поэтому — злодей вдвойне. Наука, утверждает роман Олдиса, высвобождает безграничные и неудержимые силы зла, дух Франкенштейна бессмертен, зло неистребимо, торжество его неизбежно.

Но есть в книге и встречный мотив: развитие науки и техники полезно и необходимо. Так, герой романа, американский сенатор, попавший из 2020 года в 1816-й, побеждает и уничтожает Франкенштейна и его чудовищное творение с помощью техники более высокой. «Слава двадцать первому веку!» — восклицает он. Эта фраза имеет в романе принципиальное значение. Здесь Олдис вступает в полемику с историческим пессимизмом «новой волны». Научно-технический прогресс, осужденный и проклятый в образе Франкенштейна и его зловещего создания, в другом плане книги трактуется как основа исторического развития. В пространных рассуждениях героя история, в соответствии с буржуазно-либеральной концепцией прогресса, предстает как эволюционное движение к буржуазной демократии. Завершаются эти рассуждения прямой апологией существующего общественного порядка.

Либерально-апологетическая линия никак не согласуется с основной, пессимистической, «антинаучной» тенденцией романа. Два облика научного прогресса совершенно не связываются между собой. Если для Мэри Шелли и ее современников причины зла были еще объективно неясными, то писатель нашего времени закрывает глаза на очевидные социально-исторические основания возможных трагических последствий развития науки и техники. Отсюда искусственное сближение с «готическим» романом, игра с иррационализмом, религией, мистикой.

Свой следующий роман «Восьмидесятиминутный час» (1974) Олдис демонстративно назвал «космической оперой». Обычно так именуют пустые, низкопробные книжки, содержащие элементы научной фантастики. Олдис, однако, вкладывает в это название иной смысл: он сознательно стремится объединить научную фантастику с сатирически-фарсовым началом и развлекательностью. «Восьмидесятиминутный час» — во многом пародия на научную фантастику. Вдобавок это еще и мюзикл: герои поют, танцуют, исполняют сатирические куплеты. Опереточно-кинематографическому стилю соответствует быстрая смена места действия, перебивки, наплывы, обилие персонажей и сюжетных планов. Выделить в этом калейдоскопе ведущие сюжетные линии довольно трудно.

Действие начинается в 1999 году, вскоре после окончания третьей мировой войны, в Европе, частью разрушенной, частью затопленной. Большинство государств Земли объединено в некий союз и управляется «компьютерным комплексом» (КК). Чтобы полностью подчинить себе человечество, КК намерен ввести час длиною в восемьдесят минут и соответственно изменить естественный календарь. Герои романа пытаются оказать сопротивление КК. В один прекрасный день, независимо от их усилий, «компьютерный комплекс» исчезает, все управляемые им компьютеры, роботы, киберы, компаналоги распадаются на составные части. Причины этого непонятны, но, во всяком случае, человечество спасено. В замке главного героя устраивается пир.

Несмотря на множество комических и пародийных моментов, повесть Олдиса — не сатира. Ирония автора далеко не всегда заключает в себе отрицание, многое он в той же гротескной форме утверждает и отстаивает. Его «космическая опера», или скорее оперетта, буквально нашпигована разнородными, не согласованными между собой, зато модными идеями. Сюда входят и демагогическая теория «конвергенции» капитализма и социализма, и «антинаука», и отрицание материализма и рационализма, и заигрывание с религией и мистикой.

Один из главных персонажей, разумеется, злодей-ученый. В авторских рассуждениях Олдис оправдывает современное «искусство ужасов», которое будто бы соответствует природе человека, изначально присущей ему агрессивности и инстинкту разрушения, и тут же, не переводя дыхания, трансформируется в защитника строгой традиционной морали. Хотя в этой истории достаточно секса на грани порнографии и всяческих ужасов, но в итоге приключений героев порок наказан, добродетель торжествует.

Переход от минора к мажору многозначителен. Мотивы апологии буржуазного образа жизни, прозвучавшие еще в преды-

---

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ
ЭТИКА И КОСМОС

дущем романе Олдиса, здесь преобладают. При этом они перекликаются с модным сейчас «ретро» — реакционно-романтической идеализацией прошлого. «В моду входят старомодные вещи — например, помолвки»,— замечает автор. Действительно, ностальгия по добропорядочности, викторианской морали стали частью мечты о возвращении «золотого века» буржуазного процветания. И вот вырисовывается умилительная и очень приятная для мещанина перспектива: после всех передряг и катастроф на земле установится респектабельное буржуазное общество — это обещает «космическая опера» Брайена Олдиса.

■

Буржуазная мораль, как известно, двойственна: за фасадом респектабельности скрывается циничная, хищническая сущность. Буржуазный аморализм без маски, без прикрытия в последнее время тоже весьма энергично вторгается в западную фантастику. Вот, например, изданный в Нью-Йорке и упоминавшийся выше сборник рассказов американских и английских фантастов «Странные партнеры. Секс и научная фантастика» (1972).

В книгу включены произведения очень разные: здесь и поэтичные новеллы о любви, и апокалипсические видения, и комедия нравов, и рассказы, в которых фантастика — лишь предлог для размазывания грязи. Но есть в этом сборнике и определенная идейная доминанта. По существу большинство авторов объединяет мрачный взгляд на мир и человека. А секс представляется как какой-то выход, как путь к спасению. В этом существенное отличие книги от романа Филипа Оукса.

Секс — воплощение естественного начала — противостоит «неестественной» машинной цивилизации и полицейскому государству. Природная, биологическая основа, утверждают авторы сборника, поможет человеку преодолеть опасности, вызванные научно-техническим прогрессом, и выжить в убийственных обстоятельствах стандартизации и механизации жизни, контроля над мыслями и управления поведением. Героями многих рассказов становятся «мутанты» — люди с незапланированными чертами характера и свойствами личности, возникшими в результате мутации. Именно в них воплощено то природное, свободное начало, которое не в силах уничтожить технократическое общество.

Однако если все надежды возлагаются на природу, на спонтанную мутацию как единственное средство спасения человечества, это свидетельствует о полном моральном и социальном пессимизме. Кроме того, отделить биологическое начало в человеке от сознания, от морали, от социального контекста невозможно. Носителем природной жизненной силы на поверку оказывается «сильная личность» в привычном сочетании физической выносливости, жестокости, беспринципности, аморализма. Таков герой рассказа американского писателя Джо Горса «Преступник». Этот «мутант» вырывается из-под контроля технократического государства и ценой насилия и преступления спасает грядущие поколения. Выход, по мысли автора, в том, что естественная жестокость и насилие победят жестокость и насилие машинной цивилизации.

Таким образом, в научной фантастике трансформируется буржуазный миф о «сильной личности», сверхчеловеке, освобожденном от моральных норм. Агрессивный буржуазный индивидуализм возводится в закон природы. Бюрократической системе буржуазного государства противопоставляется анархический бунт личности, абсолютному контролю и подчинению — его же оборотная сторона: абсолютная вседозволенность. Смысл этого направления довольно точно определил известный американский фантаст А. Азимов: «Молодежи может показаться, что это смелая и новая идея. Но когда мой прадедушка был мальчиком, это называлось нигилизмом».

Современный нигилизм все же намного страшнее нигилизма прадедушкиных времен. Свидетельство тому — научно-фантастический роман американца Кейта Мэноу «Мост» (1973).

Мэноу — автор пяти романов, в которых обыгрываются в духе «черного юмора» темы насилия, секса, религии и смерти. Новый роман Мэноу можно назвать и философской повестью, и притчей, и антиутопией. Речь в нем идет о том, может ли человечество выжить и если может, то — как.

Центральная часть книги — сатирическое описание отнесенной к XXI веку «экологической эры», когда люди, чтобы не нарушать равновесие природы, полностью отказываются от техники, от медицины (ибо все живые существа, в том числе болезнетворные микробы и вирусы, имеют равное право на существование), от речи (дабы сохранить тишину) и т. п. В конце концов правительство экологов принимает решение уничтожить человечество, так как в процессе дыхания людей погибает слишком много ни в чем не повинных бактерий. Начинаются массовые убийства и самоубийства. Выживает только сильный, агрессивный, жестокий, не брезгующий и людоедством Доминик Прист — герой книги. Он и его десять жен продолжают род человеческий.

Возрожденное человечество в будущем — через шестьсот лет — восстанавливает (правда, не полностью) техническую цивилизацию, сочетая ее с каннибальскими обрядами и поклонением обожествленному Доминику Присту. Такова в изображении Кейта Мэноу история нового Ноя, Ноя-каннибала.

Мэноу старается привлечь читателя насмешками над крайностями «экологии», над призывами к защите природной среды от вторжения техники, которые западные средства массовой информации уже успели превратить в штамп. Однако в действительности научно-технический прогресс как таковой мало интересует автора, и не с

целью защиты науки доводит он до абсурда идеи неоруссоизма. По существу его раздражает и возмущает у писателей типа Крайтона не их недоверие к технике, а их неприятие буржуазного образа жизни, хищнической буржуазной морали.

В конце концов, герой Мэноу прекрасно обходится без науки и техники. Идея уже знакомая: выживает сильный, хитрый, аморальный человек-зверь, выживает и тем самым спасает человечество.

«Мост», вынесенный в заглавие книги, это и остатки разрушенного моста через Гудзон, по которым герой перебирается на другой берег, и символический «мост варварства», необходимый для продолжения жизни человечества. «Мы были смертельно цивилизованы. Нам нужна свежая кровь, кровь зверя»,— заявляет один из персонажей. «Либо каннибализм, либо самоубийство», — подтверждает другой. Фантастический роман Мэноу возвещает приход нового варварства.

Антиутопия Мэноу направлена против идей социального прогресса. Всякое стремление сделать человека и человеческое общество лучше неизбежно ведет к худшему, настаивает автор. В этом реакционная суть его проповеди. В символическом образе «экологического общества» цинично осмеиваются идеи равенства, демократии, социальной справедливости, гуманизма. Осмеивается, среди многого другого, и запрещение конкуренции. Для Мэноу конкуренция («съесть или быть съеденным») — естественное состояние общества, норма поведения человека. Автор представляет буржуазный миропорядок со всеми его пороками как единственно возможную всеобщую реальность. Если человечество выживет, доказывает Мэноу, оно непременно восстановит буржуазную цивилизацию, только в более «жизнеспособном» виде — без «предрассудков» демократии, либерализма, гуманизма.

Фантастика Кейта Мэноу — попстине «против человека». Антигуманизм пронизывает всю его книгу. Презрение и отвращение к человеку звучит в каждом эпизоде, в каждом образе, в каждом претенциозном авторском афоризме. Бесконечные сцены жестокости, смерти, описания уродств, извращений сделаны с холодным цинизмом, если не смакованием. И природа, и человек в фантазии Мэноу беспросветно безобразны и отвратительны. Мир, каким его видит Мэноу, даже и не заслуживает спасения.

Реакционная, антигуманистическая притча Кейта Мэноу — по-своему логичное завершение линии «черной фантастики». От нее тянутся нити к идеологии неофашизма. Таков смысл зловещих парадоксов о каннибалах — спасителях человечества.

■

Проблема соотношения нравственности и научно-технического прогресса получает совершенно иное наполнение в произведениях патриархов англо-американской фантастики — Артура Кларка, Айзека Азимова, Рэя Брэдбери и некоторых других близких к ним по духу писателей, продолжающих традицию гуманистической фантастики.

Роман англичанина А. Кларка «Свидание с «Рамой» (1973) предположительно должен стать первой частью трилогии, над которой писатель работает уже много лет. В 1974 году этот роман Артура Кларка был отмечен премией «Небьюла», ежегодно присуждаемой Ассоциацией американских научных фантастов. Недавно роман вышел в переводе на русский язык[1].

Пружина сюжета — появление в 2130 году в пределах Солнечной системы гигантского межзвездного корабля, названного «Рамой». Выдвигаются три варианта поведения людей по отношению к «Раме»: первый — во избежание опасности не приближаться к таинственному кораблю, второй— уничтожить, третий — обследовать его, не повредив. Автор отстаивает третий вариант.

Большую часть книги занимает полное опасностей и неожиданностей путешествие героев внутри «Рамы». Здесь реализуется ведущая мысль романа Кларка о синтезе научного познания и морали.

В романе о будущем много воспоминаний о путешественниках, исследователях, великих ученых прошлого. И это не случайно: мысль о преемственности традиций мужества и героизма на пути к познанию очень важна для Кларка. Понятие «этика и космос» у писателя включает в себя и нравственность науки, и нравственность человечества в целом. Герои Кларка постоянно думают о том, чтобы достойно представить Землю и землян. Если, рисуя контакты с инопланетными цивилизациями, многие западные фантасты распространяют и на космос свойственные их обществу расизм, агрессивность, стремление к вселенскому господству, то Кларк мечтает об утверждении гуманистических принципов человеческого общежития и на земле и в космосе. В иронически-остраненном виде предстает в его романе лицемерие буржуазной дипломатии, находящей различные способы оправдания агрессии.

Кларка страшит — и не без оснований — «технологическое варварство». Писатель не считает (это очевидно и в романе «Свидание с «Рамой»), что развитие науки и техники само по себе есть гарантия благоденствия человечества. Однако он в то же время вовсе не предлагает затормозить технический прогресс. «В фантастике прошлого было слишком много наивных оптимистов, зато теперь избыток наивных пессимистов»,— пишет Кларк. Впрочем, и его собственная позиция не лишена наивности и ограниченности. По концепции Кларка научно-технический и нравственный про-

[1] Кларк А. Свидание с «Рамой». М., «Мир», 1976.

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ
ЭТИКА И КОСМОС

гресс не связан с изменением структуры общества. Идеал писателя — «дотянуть» моральное состояние человечества до уровня его технической цивилизации. Утопия? Да, конечно, коль скоро исключается необходимость глубоких социальных преобразований для нравственного обновления земли. Позитивистские воззрения, несомненно, сковывают мысль автора, и все же этическая направленность романа по сути своей верна и справедлива.

«Род человеческий должен жить по совести. Выжить — еще не все»,— говорит герой Кларка. Чтобы отстоять эту простую как будто бы истину, от человека требуются твердость, выдержка, способность пойти против течения.

Рядом с книгой Кларка хочется поставить роман его знаменитого американского собрата, ученого и фантаста А. Азимова «Сами боги» (1972). Он был отмечен двумя литературными премиями за лучшие научно-фантастические произведения — «Хьюго» и «Небьюла»; роман Азимова вышел и на русском языке [1].

В основе сюжета — фантастическое изображение XXI века, «Электронный Насос», снабжающий Землю энергией из другой, «параллельной» Вселенной. Разумные существа «паравселенной» в свою очередь получают энергию с Земли. Выясняется, что функционирование Насоса грозит гибелью Солнечной системы. В конце концов появляется возможность устранить опасность путем создания на Луне своего рода нейтрализующей установки.

Названия трех частей романа — три части цитаты из драмы Шиллера «Орлеанская дева»: «Против глупости...»; «Сами боги...»; «Бороться бессильны?», а название второй части служит заглавием всей книги. Вопросительный знак, поставленный Азимовым в конце знаменитого изречения, имеет особый смысл. Все развитие романа должно показать, что глупость (понимаемая очень широко — и как неразумие, и как социальное зло, и как пороки и слабости человеческие) в конечном счете не всесильна, причем победу над глупостью одерживают не «боги», а сами люди.

Столкновение преуспевающего бездарного честолюбца — «Отца Электронного Насоса» — и самоотверженных неудачников, стремящихся предостеречь человечество от опасности, движет сюжет в первой и третьей частях романа—на Земле и на Луне. Однако особенно интересна в книге вторая часть — своего рода сказка о «паравселенной» и «паралюдях».

Описывая сказочных инопланетян, Азимов достигает индивидуализации, психологической убедительности и — как ни парадоксально это звучит — жизненности образов. Удивительные существа, придуманные писателем, обладают всей полнотой человеческих чувств. Именно в этой части наиболее остро ставятся моральные проблемы, именно здесь рассказывает автор притчу об опасности холодного, расчетливого и корыстного рационализма, не согретого человечностью.

Оказывается, правителям «параллельного мира» известно, что Насос смертельно опасен для землян. Но это их не останавливает, так как после гибельного для человечества взрыва нужный им источник энергии не только не иссякнет, но станет еще более мощным. Об опасности людей предупреждает прекрасная, самоотверженная и мудрая героиня; как в сказке, этическое и эстетическое, добро и красота сливаются воедино.

Азимова нередко упрекают в сухости, умозрительности. Тем примечательнее, что на сей раз, по его словам, «произошло нечто такое, чего обычно со мной не бывает: повествование вырвалось из-под контроля и помчалось вперед...». Эти естественность, непроизвольность, поэтичность чувствуются как раз во второй части романа.

Страстный популяризатор науки, Азимов остается им и в научной фантастике. Создавая фантастические образы на основе идей смелых, подчас головокружительных, таких, как идея обмена энергией между «параллельными» Вселенными, писатель вводит нас в круг новых проблем и гипотез современной науки.

Из этой линии вырастает другая — социально-этическая. К каким результатам приведет великое научное и техническое открытие? От чего зависит, чтобы его последствия были благотворными? Как и Кларк, Азимов видит выход в соединении познания и морали, разума и совести, не связывая решения этой проблемы с вопросом о социальном устройстве, но мораль, против которой он предостерегает,— это эгоистическая мораль мира собственников.

Азимов решительно возражает против нигилизма по отношению к науке. Было бы глубоким заблуждением отождествлять защиту научного и технического прогресса с буржуазной апологетикой. В том-то и заслуга таких писателей, как Кларк и Азимов, что они умеют отделить науку, пренебрегающую человеком, от науки, направленной на гуманные цели. Защита науки и утверждение творческого разума человека — важнейшее достоинство этих художников-гуманистов.

Творчество другого яркого и глубоко человечного американского прозаика, поэта и драматурга Рэя Брэдбери пользуется популярностью, выходящей за пределы круга читателей научной фантастики. На русском языке несколько раз издавались его «451° по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Вино из одуванчиков» и другие произведения.

«Я безусловно и прежде всего моралист»,— говорит Брэдбери о себе. С этими словами вполне согласуется и другая его самохарактеристика — «человек, который рассказывал сказки». Действительно, большинство произведений писателя — научно-фантастические сказки с глубокой социально-этической проблематикой.

Такова, например, и его пьеса «Вельд» (из сборника «Чудесный костюм цвета сли-

[1] Азимов А. Сами боги. М., «Мир», 1976.

вочного мороженого» (1973) — переработка рассказа того же названия. В ее фантастических ситуациях доведены до логического завершения реальные тенденции настоящего. Дети, убивающие своих родителей,— так представлен здесь итог морали «общества изобилия», «общества потребления». То, о чем рассказывает Брэдбери, и страшно, и печально. Жестокость современного человека писатель уподобляет бездумной жестокости детей: в чудовищном преступлении юных героев пьесы повинны не только они, но прежде всего обстановка родительского дома,— и все же случившемуся нет и не может быть оправдания. Диалектика вины и ответственности человека и обстоятельств, личности и общества раскрывается автором в форме трагического гротеска.

Не обходит Брэдбери и такие острые вопросы, как нравственность и техника, нравственность и машина. В последний изданный у нас сборник произведений писателя [1] вошла повесть, заглавием которой послужила строка знаменитого стихотворения Уитмена «О теле электрическом я пою». Это рассказ о людях и добром роботе — Электрической Бабушке, наделенной многими прекрасными человеческими свойствами. Все эти качества заложены в машину человеком; машина сама по себе чужда нравственности, она ни добра, ни зла, утверждает автор, все зависит от того, для чего она создается.

Техника становится опасной для человека, когда служит сотворению мира иллюзий, искусственного рая. Об этом идет речь в рассказе «Марсианский затерянный Город». В Городе каждому уготовано мнимое исполнение желаний: скажем, стареющая красавица видит себя в зеркалах двадцатилетней. Но тот, кто поддается этому соблазну, кто отказывается от истины и реальной жизни, навсегда остается замурованным в Городе и погибает. Опасность превращения человека в раба машин, как и опасность сделаться рабом иллюзий, существует, но ее можно и должно преодолеть — такова суть предостережения писателя.

Своего рода противовесом мрачной философии таких книг, как «Странные партнеры» может служить и изданный в Нью-Йорке сборник рассказов «Удивительные женщины» (1975). Авторы помещенных в нем двенадцати рассказов — американские писательницы, главные персонажи — тоже женщины. Однако участницы сборника не стремятся создать особую «женскую фантастику», а ставят философские, социальные и этические проблемы, общие для всего жанра. Хотя в этих произведениях тоже звучат тревога и опасения за будущее, хотя в них немало грустных размышлений о настоящем, всеохватывающий и пассивный пессимизм здесь сменяется активным неприятием конкретного зла. В лучших рассказах сборника крупным планом подается аморальность «общества потребления» («Крошка, ты играла потрясающе!» Кейт Уиллем).

Сюжеты и темы книги часто близки «Странным партнерам» — любовь, материнство, наследственность, «мутации»,— но трактовка их иная. Свои надежды авторы сборника возлагают не на биологию, не на инстинкты, а на совесть человека, на его душевную стойкость. И уровень техники здесь ничего не меняет: в любых предлагаемых писательницами обстоятельствах, вплоть до превращения героини в киборга, полумашину-получеловека («Поющий корабль» Энн Маккарти), сохраняются такие нравственные константы, как любовь, верность, доброта, товарищество, готовность жертвовать собой ради других. В ряде рассказов видно своеобразное романтическое отрицание современной западной цивилизации с ее материальным могуществом и бездуховностью. Благородные, поэтические чувства утверждаются в них как естественные для людей.

В защиту моральных ценностей выступает в романе «Оседлавший волну перемен» (1975) английский писатель Джон Брюннер, выпустивший более сорока книг, главным образом — научно-фантастических. Несколько его рассказов переведены на русский язык. Брюннер известен также участием в движении сторонников ядерного разоружения, выступлениями против расизма. Вместе с тем в своем творчестве он нередко плывет по течению господствующей моды и пытается соединить совершенно разнородные, несоединимые и путаные идеи.

Роман «Оседлавший волну перемен», как признает его автор, написан по мотивам книги Олвина Тоффлера «Столкновение с будущим» [1]. В романе Брюннера повторяется целый ряд весьма спорных положений Тоффлера. Из его книги взято и название романа. В последнем много говорится об опасностях, которыми чревато будущее, но по существу в гораздо большей мере речь идет о настоящем.

Действие происходит в двадцать первом веке. Герой книги вырывается из-под власти технократически-бюрократического государства не с помощью грубой силы, как например, в упоминавшемся рассказе Джо Горса, а благодаря своему таланту и знаниям. Гениальный программист, виртуоз «игры» на компьютере, он заставляет всю компьютерную сеть, опутавшую Америку и ее жителей, действовать не так, как предусмотрено государством, а так, как он считает нужным. Героя преследуют, арестовывают, подвергают самоновейшим «электронным» допросам. В дальнейшем, однако он находит единомышленников и добивается свободы не только для себя, но и для

[1] Брэдбери Рэй. Рассказы. М., «Молодая гвардия», 1975.

[1] Сокращенный перевод книги О. Тоффлера опубликован в «Иностранной литературе» № 3, 1972.

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ

ЭТИКА И КОСМОС

целого города, а в перспективе — для всего общества.

Знаменательно, что социально-критическая тенденция в книге Брюннера отделена и освобождена от враждебности к науке, от страха перед техникой.

В конце романа Дж. Брюннер конструирует буржуазно-либеральную утопию. В одном из поселений жертв катастрофического землетрясения в Калифорнии создается некое «идеальное общество». Как понимает читатель, автор далек от идей социализма: главные устои этого справедливого общества, по Брюннеру,— правильная система подоходного налога и «уничтожение всякой бедности, кроме добровольной». Конструкция Брюннера явно искусственна и неубедительна. Однако при всей социальной беспомощности этой утопии в ней чувствуется искренняя тоска по человечности и подлинной нравственности: наибольшую симпатию автора снискали дружеские, братские отношения между жителями города, их доброжелательность, готовность прийти на помощь друг другу.

Опыт Брюннера показателен и в определенной степени поучителен: социальная утопия на основе буржуазно-реформистских идей в сущности невозможна. Может быть, отчасти и поэтому для выражения своего этического идеала некоторые писатели-фантасты обращаются к форме сказки, как это было, скажем, в романе Азимова или у Брэдбери, а также в рассказах сборника «Удивительные женщины». Это не значит, конечно, что без сказочности таким писателям не обойтись, но нравственные устои сказки так прочны, что желание опереться на них вполне естественно. И если уж говорить о сказочности в научной фантастике, то уместно вспомнить американского фантаста Клиффорда Саймака.

Этого писателя у нас много переводили, читатели хорошо знают его книги, но, пожалуй, самая читаемая из них — «Заповедник гоблинов»[1]. В этом романе Клиффорд Саймак соединил образы научно-фантастические и сказочные, фольклорные.

В новой книге «Путешествие в Волшебную страну» (1975) Саймак продолжил эту линию. В повести действуют и взаимодействуют люди из разных времен и «параллельных миров», роботы, пришельцы, гоблины, гномы, тролли, гарпии, великаны-людоеды. Нельзя сказать, что синтез научной фантастики и сказки художественно полностью удался автору, тем не менее опыты писателя интересны.

Символика повести широкая — здесь и силы природы, которые мстят человеку за его беспощадность, и «магия» поэтической фантазии, забытая технологическим веком, и мир благородных чувств, отвергнутый жестким рационализмом. Человечество, утверждают герои Саймака, много потеряло, отказавшись от волшебной страны сказок, поэзии, романтики. Нет, Саймак не упрекает технику и науку: познание для него свято, это величайшее достояние человечества, но знание, поэзия и доблесть должны быть слиты воедино. Люди будущего в сказке Саймака владеют могущественной техникой и в то же время добры, красивы и мудры.

■

В наши дни спор об этике и космосе, о гуманизме и научно-техническом прогрессе — в сущности спор о будущем человечества, более того — о том, есть ли у человечества будущее. Поэтому так значительна заслуга тех западных писателей-гуманистов, которые сумели пойти против течения, противостоять натиску «массовой» «черной фантастики», злорадно утверждающей, что мир людей нельзя спасти и не стоит спасать.

Книги классиков современной зарубежной фантастики — Азимова, Брэдбери, Кларка — и их последователей взывают к уму и совести людей: нужно жить так, чтобы быть достойными своего века — века космоса! И прежде всего — не погасить собственными руками факел жизни и разума на прекрасной голубой планете.

◆

[1] Саймак К. Заповедник гоблинов. М., «Мир», 1973.

Г. ВАСИЛЬЕВА

УРОК ТРУДА И ЛЮБВИ ЭЖЕНА ГИЛЬВИКА

В центре Парижа, в современном многоэтажном доме, живет человек. Он невысок ростом и полноват, но в его движениях чувствуется юношеская гибкость. Маленькая бретонская бородка окаймляет лицо, во рту — неизменная короткая трубка, глаза излучают доброту и лукавство. И еще мудрость.

Утром он встает очень рано и, открыв окно, долго смотрит на пробуждающийся город. Потом опускается в старое кожаное кресло, вынимает из стола синюю тетрадь и неторопливо пишет в столбик крупным детским почерком. Этот человек — Эжен Гильвик, его называют сегодня одним из лучших поэтов Франции...

Вспоминаю первую встречу с Гильвиком в ноябре 1968 года. Париж понемногу приходил в себя после майских событий. Вернулись на прежние места булыжники с развороченных мостовых Латинского квартала, уже вывезены на свалку остовы сожженных автомашин, с древних стен Сорбонны стерты многочисленные лозунги. Но грозовая атмосфера еще ощущалась в воздухе — такие вспышки не проходят сразу, Париж жил еще отзвуками недавней бури.

Моросил мелкий дождь. Без особого труда я нашла в центре Парижа, неподалеку от площади Данфор Рошро и парка Монсури, маленькую аккуратную улицу Эмиля Дюбуа, где живет поэт. Здесь, глядя с двенадцатого этажа на новые высотные здания Парижа из стекла и алюминия, ощущая, как в нем «шевелятся электроны», он писал «Город», одну из своих последних книг.

Гильвик открыл сам. Он был в просторной вельветовой куртке — добрый, широкий, домашний. Усадил в кресло у окна — как оказалось, его любимое место. Он без конца шутил, поражал мгновенными каламбурами. Но разговора о творчестве не получалось. Поэт готов был говорить о чем угодно, кроме своей поэзии. Настойчивые просьбы «вернуться к нашим баранам» он обрывал вопросами вроде: «А в Москве много снега в ноябре?» В конце концов я спрятала оказавшийся ненужным блокнот и осторожно предложила увидеться завтра.

Утром я спешила на встречу с Гильвиком в книжный магазин «Глоб» на улице Бусси. Не желая терять ни минуты, поэт назначил мне немыслимо раннее время — восемь часов утра. Когда я пришла, он уже о чем-то тихо беседовал с директором, свежий, элегантный, торжественный: через два часа его ждали на Празднике марксистской книги, организованном Французской компартией. Предстоял разговор с рабочими и студентами Парижа — с теми, для кого он писал. В руках Гильвика я увидела миниатюрный томик из серии «Поэзия», выпускаемый издательством «Галлимар», и вдруг поняла причину его вчерашнего подъема и ликования. Ведь это было переиздание первой книги поэта «Из воды и глины», написанной почти тридцать лет назад.

Французский критик Рене Лакот, пораженный быстротой, с какой был распродан на празднике книги тираж сборника, очень большой для Франции — двадцать пять тысяч,— писал: «Гильвик не раз сокрушался по поводу того, что во Франции поэтов не читают. Но это факт: на его стенде уже нет ни одной книги. Из книжного магазина ответили, что и там пусто, и этот триумф означает, что тираж разошелся! Но упрямый, как камни Карнака, Гильвик не хочет в это поверить».

... Вечером в крохотном, переполненном туристами кафе на Монмартре Гильвик сам заговорил о поэзии:

— Я пишу, только когда мне хочется. Когда приходит вдохновение. Обычно это бывает вечером или поздно ночью. Часто — когда отдыхаю. Я стараюсь сразу все записать — иначе стихи уходят и уже не возвращаются. Порой долго мучаюсь, ищу нужное слово. У меня всегда с собой наготове тетрадь. Из нее я переписываю на листы. Листы складываю в папку. Время от времени перебираю их, вношу поправки, многое зачеркиваю. Я не спешу, отделываю годами. Если стихотворение кажется мне готовым, переписываю его начисто. Я никогда не печатаю на машинке. Часто у меня бывает по нескольку вариантов одного стихотворения. И всегда помечаю даты последних исправлений.

Я дружен со многими поэтами. Больше других — с Андре Френо и Жаном Фолленом. С Фолленом нас связывала многолетняя дружба — его смерть явилась для меня тяжким ударом. Мы часто встречались. Иногда вместе ездили в деревню, например, в Этамп, в шестидесяти километрах от Парижа. Там нам хорошо дышалось, говорилось. Мы с Фолленом понимали друг друга.

Из современных поэтов высоко ценю Анри Мишо. Он не любит показываться на людях, известность ему не нужна. Но это, по-моему, один из самых талантливых нынешних поэтов. Он изображает реальную жизнь. У него на редкость динамичный, энергичный язык. С годами все больше люблю Робера Десноса. Он был мало известен при жизни, слава пришла к нему посмертно.

Долгое время я жил в сердце старого Парижа, в квартале Сен-Жермен де Пре, на улице Грегуар де Тур. Здесь написано большинство стихотворений из сборников «Карнак», «Сфера», «Вместе», «Эвклидовы мотивы». Я жил в очень старом доме, построенном в XV—XVI веках, и очень любил его, да и весь квартал, напоминавший мне о прошлом. Потом переехал в современный дом, где живу сейчас. Но старый дом нравился мне гораздо больше...

На отдых стараюсь ездить в Бретань — страну моего детства. Но не в Карнак — там сейчас слишком много народу. Обычно уезжаю на маленький дикий остров Иль де Груа. Ловлю здесь рыбу удочкой. Провожу так целые часы, и никого кругом, как будто бы нет цивилизации. Только море, скалы, ветер да чайки над морем.

■

Он родился в Бретани, в маленькой деревушке Карнак. Дед его был крестьянином, и Гильвик никогда не забывает об этом.

Гильвика-поэта нельзя оторвать от Бретани — суровой и недоброй, с колючими ветрами, серыми скалами и острыми камнями-менирами, страны, полной средневековых преданий. Мифология родного края, фантастические персонажи — домовые, демоны, вампиры, водяные — будут постоянно оживать в его книгах.

Бретонское происхождение Гильвика (даже свою фамилию он произносит на бретонский лад: не Гийевик, как следовало бы по правилам грамматики, а Гильвик) наложило особый отпечаток на большинство его произведений.

Чудо поэзии открылось для Гильвика не сразу. Экономист по образованию, он начал писать стихи довольно рано («С восьми лет — и очень серьезно, я не шучу», — говорит поэт), но первый поэтический сборник опубликовал лишь на рубеже своего сорокалетия.

— Почему я так долго ждал? Меня об

этом часто спрашивают. Просто я должен был быть уверен, что создал что-то действительно значительное.

В юности Гильвик испытал немалое воздействие немецкой поэзии — стихи Гёте, Гёльдерлина, Рильке он знал наизусть. Немецким языком он владеет свободно — долгое время жил вдали от Парижа, в местах, где говорили либо по-немецки, либо на бретонском диалекте. Лишь в двадцать лет, во время военной службы в Безансоне, Гильвик — по сути дела заново — начал учиться французскому языку. Это обстоятельство сыграло важную роль, отсюда, пожалуй, умение Гильвика открывать во французском те грани, которые для других давно уже стерты долгой привычкой.

Успех и известность Гильвику принес сборник «Из воды и земли» (1942). Напряженно-суровые, колючие, беспощадно правдивые стихи, гневно обличающие палачей со свастикой, обрывистая, до предела сжатая строка, бережное обращение со словом — завоевали признание критиков, зачисливших его в разряд поэтов оригинальных и «трудных».

Когда создавалась книга, поэт с горечью и отчаянием переживал события 1936—1939 годов в Испании, поражение революционных сил, террор в Мадриде и Барселоне. Именно здесь ключ к разгадке тех основных мыслей и настроений, которые питали его сборник, определили его трагизм и острую новизну.

Гильвик писал «Из воды и земли», когда над Европой сгущались тучи. Наступление фашизма, приближение мировой войны поэт воспринимал как нашествие мрака и хаоса, как надвигающуюся катастрофу:

Когда черный гигант,
Спящий среди ископаемых чудищ на дне морском,
Поднимается и глядит,
Звездам во впадине неба становится холодно,
И они сбиваются потеснее, чтобы согреться.
Мертвые очи ста тысяч мертвых
Падают в реки,
Плывут[1].

Образы сборника жестоки. Холмы напоминают автору «муравейники, ошпаренные кипятком», земля — «воспаленную глотку, жаждущую молока», «одинокую женщину, тоскующую по мужчине»; осень «тяжко валится на землю раненым телом, медленно пропитывая подлесок рыжей своей кровью».

Поэт говорит о вещах — писать о людях он пока избегает, хотя именно они стоят за его вещами. Его «il» — обобщенный образ кошмаров и «чудищ» ночи — нечто безличное, безмолвное, почти неодушевленное, хотя в то же время и как будто живое, агрессивно-затаившееся, вечно угрожающее.

Вещи Гильвика пришли к нему из повседневной жизни — шкаф, стул, тарелка, яблоко, пруд, камень... Поэт стремится постигнуть их скрытую суть. Но для этого надо «дотронуться», «проникнуть» в вещь, «овладеть». «Лучшее средство познать яблоко — съесть его», — любит повторять поэт.

Сборник открывается знаменитым стихотворением «Шкаф». В нем отчетливо проявился своеобразный подход Гильвика к вещи — осторожный, с опаской, с постоянным вопросом. Вот шкаф — он сделан из дуба. Он закрыт. Что в нем? Быть может, там спрятаны мертвецы? Или хранится хлеб? Обе версии для поэта равно вероятны. Шкаф несет в себе свою тайну.

Природа сразу же занимает большое место в поэзии Гильвика. Философ и созерцатель, он хочет раствориться в ней. Ему присуща манера «очеловечивать» вещи и явления природы. Его звезды и скалы — что-то «знают». Камень «улыбается», стены «кричат». Поэт мечтает «говорить научиться, как камни».

Уже в первой книге складывается характерный для Гильвика стих — сжатый, собранный, предельно насыщенный при внешней простоте. На белом пространстве бумаги его стихи занимают очень мало места. «Островки слов» (ilôts de paroles) — назвал его манеру французский критик Жак Борель. В ту пору поэт чаще всего пишет «свободным стихом», редко пользуется рифмой. Стихи его отличаются четкостью логических построений, каждая строка продумана и тщательно отделана.

Стихи Гильвика называют «очищенными», «оголенными». Они почти совсем лишены эпитетов. Редки сравнения. Метафоры сжаты и афористичны. Но при этой бросающейся в глаза, «свирепой», как отмечают критики, экономии Гильвик тем не менее довольно часто повторяет одни и те же слова и этим повторам придает большое значение. Спустя два десятилетия после выхода первого сборника в интервью корреспонденту «Юманите» Гильвик скажет, что эти повторы, «возвраты к одной и той же мысли», помогают ему уяснить мысль, четко очертить ее, дойти до сути.

Поэт не ищет новшеств, не стремится поразить находками. Он говорит о вещах обычных, даже банальных. «Гильвик молчалив,— замечает поэт Жак Гошерон,— как молчаливы крестьяне, у которых с трудом удается вырвать одно слово, но это будет именно то слово, которое придает смысл их молчанию».

В 1940 году, когда гитлеровские бронированные танки вошли в Париж, Гильвик без колебаний выбирает Сопротивление. В 1943 году, когда за одно только подозрение в сочувствии коммунистам фашисты карали смертью, Гильвик становится членом Французской коммунистической партии.

[1] Здесь и далее переводы стихов Э. Гильвика кроме оговоренных, принадлежат М. Ваксмахеру.

Г. ВАСИЛЬЕВА
УРОК ТРУДА И ЛЮБВИ ЭЖЕНА ГИЛЬВИКА

Вместе с Полем Элюаром он сотрудничает в подпольной печати, подписываясь псевдонимом Серпьер. Полю Элюару Гильвик посвятил сборник «Исполнительный лист» (1947). Элюар стал не только большим его другом, но и во многом — учителем, мэтром (он был старше Гильвика на двенадцать лет. Когда они познакомились, Гильвик готовил к печати первую книгу, а Элюар был уже известным поэтом). Гильвик скажет однажды, что Элюар «дал ему урок нежности и мужества».

«Исполнительный лист» — это поэма о мщении, о возмездии, выносящая беспощадный приговор врагу. И вместе с тем это стихи о победе жизни над смертью, о счастье. Поэт поверил в способность людей «сделать из ночи ласковый день». Он услышал «крик прорастающих зерен», почувствовал желание «вырастить розу во владениях льда»:

Мы творцы.
Мы страх уничтожим. Из ночи
Мы сделаем ласковый день.
И будет нам нужно одно:
Ощущать под ладонью
Тепло человеческой кожи.

В первые послевоенные годы, когда истерзанная, обожженная огнем его страна понемногу залечивает раны, поэт пишет о мире. В его книгах звучит голос новой Франции, отражены ее мечты и надежды, ее тревоги и беды. На рубеже 40—50-х годов Гильвик выступает как поэт большой политической темы, поэт-гражданин, поставивший интересы родины и народа превыше личных.

В сферу изображаемого Гильвиком постепенно входят люди, человеческие отношения, причем эти отношения раскрываются как классовые. Сказанное относится прежде всего к циклу «Тресты» (1947). Он написан человеком, пережившим и осмыслившим мировую войну, ее причины и скрытые механизмы. В центре внимания поэта — капиталистические монополии с их «зловещими щупальцами», опутавшими мир.

Во Франции Гильвика называют поэтом-философом, поэтом-исследователем. Для него слово — инструмент, орудие знания. Оно дает ему возможность проникнуть в тайную суть вещей. Долгая борьба в одиночку, один на один со словом в конце концов поможет поэту «подчинить непокорное слово», приблизит его к ясности, к свету. «Раскапывать неведомое и протягивать людям то, что добыто ломом и лопатой слов»,— так определит он позже задачу поэзии.

В стихотворении «Я видел, как столяр...» из сборника «Земля для счастья» (1952) Гильвик размышляет о труде поэта, о творчестве. Наблюдая за тем, как столяр колдует над свежим тесом, ласково перебирая пахучие доски и поднося к ним рубанок, как «поет столяр, доску к доске подгоняя», поэт приходит к выводу, что «их ремесла схожи».

«Обычно поэты пишут о любви. А вот Гильвик о ней не пишет,— отмечал Жак Гошерон.— В его сборниках нет «любовной лирики», и все же любовь здесь во всем, она целомудренно упрятана в мозаику слов... Гильвик — из породы мальчиков с пальчик. И потому, будучи поэтом серьезным, он, бросая вдоль дороги свои камешки-слова, сеет надежду...»

Очень верно определил творческую манеру Гильвика французский критик и поэт Жан Руссело, сказавший, что «поэзия Гильвика — это урок труда, терпения и великой любви».

Эти слова как нельзя лучше характеризуют сборник «Земля для счастья». Он был благосклонно встречен и критиками, и друзьями поэта, они ждали от него новых книг. Но Гильвик вдруг замолчал и за два года — 1952 и 1953 — не опубликовал ни одной строчки.

«Суть тупика, в котором я в то время оказался,— скажет поэт двадцать лет спустя,— заключалась, как мне кажется теперь, в противоречии между новым содержанием, тем потоком, фонтаном слов, которого оно требовало, и прежней формой, неспособной вместить это содержание. Старый как мир конфликт — между содержанием и формой!»

Конфликт этот разрешился обращением к классическому рифмованному стиху, равностопному и четко ритмическому. «Гильвик, один из самых уважаемых французских поэтов, уже вложивший в стихи новое содержание,— говорил Луи Арагон на II съезде советских писателей,— отказался от своей прежней манеры — от стиха без ритма и рифмы, ибо сама логика его искусства привела его к национальной форме французского стиха, в частности, к сонету. Это сделало более выпуклым реалистическое содержание его творчества».

Сонеты, которые Гильвик публикует на протяжении 1954 года, и особенно его сборник «Тридцать один сонет» вызывают бурные споры, вылившиеся в целую «дискуссию о поэзии»,— в нее включились многие видные французские поэты.

В сущности, полемика вокруг сонетов Гильвика стала спором о путях развития реализма во Франции. Сонеты Гильвика, в которых поэт правдиво и в диалектическом развитии запечатлел окружающий мир, буржуазные критики назвали «фальшивыми» и «помпезными». На сонеты нападали прежде всего за их политическую злободневность.

В статье «Давайте объяснимся по поводу сонета», опровергая обвинение в том, что сонеты сочинены якобы «по приказу» партии, Гильвик писал: «Сама логика развития моей поэзии совершенно естественно привела меня к традиционному стиху». Отстаивая сонет как национальную форму французской поэзии, обращаясь к сонетам Ронсара и Дю Белле, Гильвик доказывал, что этот поэтический жанр, переживший столько веков и поколений поэтов, «отвечает потребностям французского духа». Ценность своих сонетов Гильвик усматривал в том, что они «говорят правду».

Нельзя не согласиться с критиком Жаком Дюбуа, утверждавшим, что их автор

«открыл новые области реального». Заслуга Гильвика заключается в том, что он сумел возродить жанр сонета, наполнив его новым, реалистическим содержанием.

Вместе с тем обращение Гильвика к сонету явилось отражением общего интереса к классическому наследию, который в то время испытывали многие прогрессивные французские поэты (вспомним «Глаза и память» Арагона, последние поэмы Элюара). Последующее творчество Гильвика показало, что сонет отнюдь не был для него неким абсолютом формы.

Во второй половине 50-х годов в творчестве поэта намечаются противоречия, звучат ноты пессимизма («Путь», «О моей смерти»).

Всегда нелегко разобраться в причинах кризиса, переживаемого художником. И все же о некоторых из них можно судить. Натура впечатлительная, остро откликающаяся на боль и страдания народа, Гильвик трагически воспринял разлад между надеждами и мечтами о послевоенном будущем страны и действительностью Франции 50-х годов. К трудностям творческим прибавились и житейские — поэта преследует постоянная нужда: вплоть до 1967 года ему приходится служить инспектором в министерстве финансов, чтобы хоть как-то просуществовать. Времени на творчество остается мало — только ночи, только конец недели.

Но, пожалуй, главной причиной беспокойства, неудовлетворенности и даже смятения поэта явилось наступление модернизма во французской литературе 50—60-х годов. Обнаруживший свою несостоятельность в период Сопротивления модернизм пытается вернуть былые позиции. Относительное единство, возникшее на базе патриотического подъема Сопротивления, сменяется острой идейной борьбой, захватившей и литературный процесс. С одной стороны, по-прежнему ощутимо воздействие французской демократической традиции с ее народностью и гуманизмом, в частности, влияние поэзии Сопротивления, а с другой — отчетливо проявляется стремление переосмыслить и принизить поэзию Сопротивления, представить ее как «отклонение» от главной линии национальной поэзии. Все чаще раздаются утверждения, что реализм «устарел» и не соответствует «уровню познания, достигнутому в XX веке», что он развивается «по нисходящей линии». Современным же считается язык и стиль, далекий от классического, традиционного, отсюда — особый интерес к структуре языка, к чисто формальным поискам, бесчисленное множество лингвистических опытов.

Эксперименты «школы письма», опыты поэтов, объединившихся вокруг авангардистского журнала «Тель-Кель», оказали определенное влияние и на Гильвика, но к чести его надо сказать, что в 60-е годы поэт — среди тех представителей французской интеллигенции, кто пытался приостановить наступление модернизма, борясь за возрождение демократизма и гражданственности во французской поэзии. В противовес хору голосов, провозглашавших «кризис литературы» и «конец поэзии социалистического реализма», он сохраняет верность гуманистическим идеалам, острую заинтересованность в решении важнейших проблем современности.

Вместе с другими крупными литераторами Франции (Эльзой Триоле, написавшей роман «Розы в кредит», Жоржем Переком, автором романа «Вещи», и другими) Гильвик в 60-е годы выступает с критикой «цивилизации потребления», против внедрения в жизнь Франции стандартизованной «массовой культуры». Разоблачая зависимость западного искусства от бизнеса, Гильвик мучительно размышляет над тем, как вернуть современному искусству утраченную цельность и величие. Одновременно — и столь же напряженно — продолжает он свой творческий поиск.

В одном из интервью тех лет поэт признавал, что «вдруг почувствовал тоску по прежней форме». И вот Гильвик, обогащенный опытом сонета, в сборнике «Карнак» (1961), вновь возвращается к прежним лаконичным двустишиям и трехстишиям, к свободному стиху.

Пожалуй, эта книга стала самым значительным успехом Гильвика со времени выхода цикла «Из воды и земли» — с ним прежде всего связывают его имя. Литературные журналы вновь заговорили о поэте, о котором на время забыли после дебатов вокруг его «Сонетов».

В «Карнаке» Гильвик предстает перед читателем как поэт-маринист. В центре — многоплановый диалог с морем, по воле поэта в него включаются земля, солнце и ветер. Беседа поэта с морем перерастает иногда в разговор мужчины и женщины, жизни и смерти, бытия и небытия. И за всем этим — раздумья о значении и смысле поэтического творчества, они-то в конечном счете и являются главными в сборнике.

Эту же тему — назначение поэзии, роль художника в обществе — Гильвик развивает в статье «Поэт и социальный мир» (1966): «Как материалист, я признаю, что мы существуем в объективном мире и что только от нас зависит, чтобы «жизнь, какой она должна быть», все более и более становилась реальностью». Тонко и вместе с тем весьма определенно излагает он свое понимание творческой самостоятельности художника слова: «Когда поэт замышляет, переживает, пишет свое произведение, вступает с ним в борьбу, одобряет его, отвергает, принимает, он делает это в одиночестве; носитель всеобщих чаяний, борец, сражающийся во имя всех, говорящий обо всех и от имени всех — и все же одинокий. Отсюда проистекают его скромность и его гордость».

Параллельно с работой над стихами и статьями Гильвик создает короткие басни, песни, стихи-миниатюры о животных, про-

---

Г. ВАСИЛЬЕВА

УРОК ТРУДА И ЛЮБВИ ЭЖЕНА ГИЛЬВИКА

должающие традиции аполлинеровского «Бестиария», диалоги. Диалоги — его излюбленная форма.

— Я пишу диалоги на разные темы,— говорит поэт.— О политике и влюбленных, о вещах и явлениях. Это своего рода философские миниатюры, где что-то утверждается или оспаривается. У этой формы видимость шутки, пустяка, на поверхности все просто. Но надо вдуматься.

■

Сборник «Город» (1968) Гильвик посвятил жене, актрисе Марианне Орикосте.

— Эту книгу немало ругали, в том числе Френо, Тортель,— признается Гильвик.— Ты стареешь, а люди хотят видеть тебя прежним — таким, каким ты был двадцать — тридцать лет назад. Они не отдают себе отчета в том, что поэт может в чем-то измениться, что его творчество развивается... Как сборник возник? Меня мучил шум в городе. Тянуло в деревню. Я переживал что-то вроде кризиса. Потом написал книгу, и мне сразу сделалось легче. Город стал мне другом... Мой «Город» носит черты Парижа и других городов, которые я видел — Нью-Йорка, Монреаля, Тбилиси. После Нью-Йорка Париж показался мне маленьким. Нью-Йорк—это чудовище, монстр, ревущий зверь, переплетение величественного со страшной нищетой и грязью, предельное выражение дегуманизации... Мой город — это прежде всего Париж.

Почему он пишет о городе?

Ответ все тот же: чтобы «овладеть». Но гораздо в большей степени — чтобы «понять». Город превращается для Гильвика в объект исследования, сумму вопросов, которые он без конца задает — городу, читателю, себе. Как всегда, его «допрос» серьезен, обстоятелен, многогранен.

Поэт стремится определить свое отношение к городу, этой «вещи», вызывающей у него целую гамму сложнейших ощущений. Он не скрывает, что чувствует себя здесь чужим, чем-то вроде «касательной к окружности». Многое, очень многое в современном городе его отталкивает. Человек задыхается в его «квадратных метрах», ему не хватает «дыхания полей», «дрожания моря». Поражают контрасты—«обилие детских колясок и катафалков». Отвратительна мысль, что в городе «все продается». С грустью и иронией Гильвик констатирует, что горожане, живущие в век кибернетики, научно-технического прогресса, сами становятся похожими на машины и транзисторы.

В городе поэт подмечает «конфликт» между жаждой пространства и отказом от него. Город «суров к тому, что тянется по горизонтали». Он растет «вверх — по вертикали». «Вопрос места»,— философски заключает Гильвик.

И все-таки город притягивает. Против воли он «проникает» в душу поэта, полонит ее. Временами на улицах города ему чудится пение флейты. В такие мгновения поэт видит над городом «сияние улыбок», оно обещает «самые прекрасные дни».

В «Городе» Гильвик много — по сравнению с другими своими книгами — пишет о людях. И почти всегда с новой интонацией. Ему, родившемуся в Карнаке, где люди молчаливы, как скалы, кажется, что горожане «слишком много говорят». Может быть, для того, чтобы «заглушить шум»?

Люди у Гильвика — прежде всего созидатели. Это они построили город, вымостили его, одели в гранит набережные. И поэт, почувствовавший себя «одним из них», с достоинством говорит от их имени — «мы». Он пишет о «власти контор» и о «власти улиц», о цифрах, которые «выплевывает город».

Но что это? Лица людей полны гнева. Демонстрация.

Идут они рядом. К плечу плечо
От Бастилии до площади Наций.
Тысячи их. Неба простор[1].

Гильвик не называет ни дня, ни месяца, ни года, но каждый парижанин безошибочно скажет, что речь идет о демонстрации парижских трудящихся против ОАС 8 февраля 1962 года. Гильвик восторгается изумительным чувством братства, объединившим этих людей. Стремительная, широкая строка с паузой посредине передает четкость шага демонстрантов. Это ритм наступления. Но внезапно строка сжимается, словно цепенеет:

И вдруг — молчание.
Долгий марш.

Поэт не описывает расстрела демонстрации. Он говорит лишь о том, что невозможно смыть кровь погибших с мостовой у метро Шарон. И еще о том, что толпа осиротела и город разделил ее скорбь...

■

Жаркий июнь 1971 года. Облокотившись на гранитный парапет, поэт задумчиво смотрит на Москву-реку.

— Вспоминаете Сену? Или думаете о Карнаке?

Взгляд его сквозь очки лукав, насмешлив.

— А вот и не угадали: я сочиняю ораторию о счетной машине!

Это третья поездка Гильвика в СССР. Он приехал для участия в Пушкинских днях поэзии. Восемь лет назад французский поэт был гостем Киева, где в то время отмечалось 150-летие со дня рождения Тараса Шевченко. Именно благодаря Гильвику французские читатели впервые познакомились с творчеством украинского поэта — он перевел на французский язык избранные стихи Шевченко (1964) и написал к ним предисловие.

— Шевченко — великий поэт,— говорит Гильвик.— Не было, наверно, на свете большего мечтателя, чем этот бунтарь! Огром-

[1] Переводы стихов из сборника «Город» принадлежат автору статьи.

ной силы пламя бушевало в нем. Как и другие великие поэты своего времени — Мицкевич, Петефи,— Шевченко принадлежит своему народу, вошел в его историю как поэт и как герой, точнее, может быть — как герой-поэт...

Два года спустя Гильвик посетил Грузию в связи с 800-летним юбилеем Шота Руставели. Поэт вспоминает, что там его неотступно преследовал образ Прометея.

— Я так и видел его среди скал. Персонажи из мифологии обступали меня, гипнотизировали... Девушки в горах прекрасны, как принцессы... Вспоминая Грузию, я ощущаю острую ностальгию, честное слово!

А Москва сильно выросла. Помню Москву 1964 года — в ней было гораздо меньше машин. Ритм жизни, мне кажется, стал еще энергичнее, активнее. Я обратил внимание на публику в музеях и на выставках: среди посетителей много рабочих и крестьян. Меня всегда глубоко волнует их желание приобщиться к большому искусству. В Советском Союзе народу предоставлен широкий доступ к культуре.

В качестве переводчика Гильвик принимал участие в подготовке антологии русской поэзии, вышедшей в 1965 году под редакцией Эльзы Триоле. Ему принадлежат, в частности, переводы басен Крылова, стихотворений Дениса Давыдова, Батюшкова, Баратынского, Кольцова, Фета, Некрасова, а также советских авторов Анны Ахматовой, И. Эренбурга, Тихонова, Кирсанова, Слуцкого, Сосноры. Переводил Гильвик и грузинских поэтов.

«Иные стихотворения,— признается он,— переводить сложнее, нежели писать собственные». Гильвик никогда не был равнодушным переводчиком; он стремится прежде всего «сохранить дух оригинала, передать тон стихотворения и его движение, внутреннее озарение отдельных образов». Для перевода он отбирает лишь тех поэтов, с кем ощущает внутреннее родство.

Уже много лет он руководит «Клубом книги имени Дидро» — это издательство создано при партийном «Центре по распространению книг и журналов». Как рассказывает Гильвик, его цель — «пробудить у читателей интерес к книге, познакомить с лучшими произведениями французской литературы».

Коммунист Гильвик активно участвует в политической жизни страны, в манифестациях и митингах, организуемых его партией.

У меня хранится газетная вырезка, на которой запечатлена фотография демонстрации в Париже 29 мая 1968 года. В первом ряду — поэт Эжен Гильвик. Его лицо одухотворено. Рядом Арагон, Триоле, Андре Стиль...

В этом году Эжен Гильвик отмечает свое семидесятилетие. Принято считать, что семьдесят лет — возраст мудрости. Не этой ли светлой мудростью наполнены строки поздних книг поэта «Стена» (1970), «Зарубки» (1971) и прежде всего — «При сем прилагается», написанной в 1973 году.

Гильвик удивительно верен себе. Его никогда не спутаешь с другими. Все те же «островки слов» на белом листе, сжатая, напряженная, математически выверенная строка. Все то же предельно бережное отношение к поэтическому слову, та же вера в его великую силу и власть.

Из сборника «ПРИ СЕМ ПРИЛАГАЕТСЯ»

Когда ты пишешь стихи,
Ты находишься
В центре пространства,

И поэтому стихотворение
Выстраивается вокруг центра.

Стихотворение
Требует центра,

И поэтому нужно писать стихи
В центре пространства.

Твой долг — сделать так,
Чтобы два этих центра совпали.

■ ■ ■

Трепет,
Которым в стихах
Пронизаны слова и пробелы,

Трепет, которым пронизано все,
Что стихи позволяют увидеть и угадать,
Пронизано даже пространство,
Открываемое стихами,

Этот трепет
Вызывается, может быть, тем,

Что два центра гонятся друг за другом,
Слиться мечтают —

Боятся
Слияния.

■ ■ ■

Как относиться к словам?
Да так же, наверно,

Как к деревьям и травам,
К домам и дорогам — ко всему, что
равнина
Раскинула перед твоими глазами,
Чем она манит тебя.

Пусть живут, как хотят,
Своей собственной жизнью,

Не надо их ни к чему принуждать,
Лучше их приручать потихоньку
И самому приручаться,

Дать им выговориться, но при этом —
Легко, без нажима, не вызывая у них
подозрения,—
Заставить их высказать больше,
Чем сами они хотят,
Больше, чем знают,—

Пробудить в них
Древние соки,

Оживить то густое и терпкое,
Что вложило в них время[1].

[1] Переводы стихов из сборника «При сем прилагается» выполнены М. Ваксмахером для данной статьи.

◆

Заметки на полях

ДОКУМЕНТ ЭПОХИ

Вынесенный на всенародное обсуждение проект новой Конституции Советского Союза вызвал огромный интерес во всем мире. И если в некоторых западных странах объявилось немало охотников извратить ее смысл и значение, поставить под сомнение подлинно демократический характер Основного закона советского государства, то в братских социалистических странах этот документ нашел горячую поддержку, вызвал чувство гордости за первую в мире страну, где человек располагает не мифическими, а реальными правами и свободами, где закон стоит на страже великих социальных завоеваний, достигнутых за 60 лет Советской власти.

Активно обсуждают проект новой Конституции СССР наши болгарские друзья. В одном из недавних номеров еженедельника «Народна култура» опубликована большая статья профессора Бориса Спасова «Советская конституция и культура». Видный болгарский ученый обращает внимание на включенную в проект главу «Социальное развитие и культура».

«Эта глава дает повод и основание для размышлений о прямой зависимости между социальным прогрессом и культурой. Культура — историческая категория. Она появляется одновременно с возникновением человеческого общества и развивается в прямой зависимости от изменений в производственных отношениях. Классовый характер культуры четко разграничивает ее на социалистическую и капиталистическую. В эпоху империализма буржуазная культура переживает агонию. Это особенно ярко проявляется в области искусства, которое на Западе изолировано от народных масс, является продуктом культурной деградации и чаще всего подчинено коммерческим интересам».

Упадку духовной жизни Запада автор противопоставляет достижения социалистической культуры, он пишет о тех завоеваниях социализма, которые стали предпосылками для рождения, развития и становления культуры иного типа. Б. Спасов отмечает социальную однородность нашего общества, стирание различий между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, сближение наций и народностей Советского Союза.

«Социалистическое общество развивается по восходящей линии и имеет гуманистический характер. Это определяет и его культуру. Она прогрессивна и народна, целиком поставлена на службу трудящимся и призвана способствовать осуществлению коммунистических идеалов нашего общества. Такая культура — продукт социалистического способа производства».

Борис Спасов делает вывод, что новая Конституция позволит расширить возможности приложения творческих сил, способностей и талантов людей, особо подчеркивает те статьи проекта, где говорится, что государство поставило своей целью отказ от тяжелого ручного труда за счет комплексной механизации и автоматизации производства, осуществление программы превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального, неуклонный курс к повышению заработной платы и увеличению реальных доходов трудящихся, развитие государственной системы здравоохра-

нения, социального обеспечения, бытового обслуживания, общественного питания и коммунального хозяйства. Эти статьи, по его мнению, являются социальными предпосылками для дальнейшего расцвета социалистической культуры.

«Важное предназначение государства, о чем говорится в проекте Конституции,— это забота об охране и умножении духовных ценностей общества, широкое их использование и повышение культурного уровня советского человека. В Советском Союзе поощряется всемерное развитие как профессионального искусства, так и народного художественного творчества. Здесь же нужно отметить и общенародный характер социалистической культуры, что является ее существенной особенностью. Включение новой главы «Социальное развитие и культура» не исчерпывает значения проекта новой советской Конституции для развития культуры страны. Уже сам текст Конституции имеет большую культурную ценность. Он отражает определенную степень культурного развития общества и закрепляет его в законодательном порядке. По нему можно судить о характере и степени развития социальных отношений в стране, а следовательно, о ее материальной и духовной культуре».

Разбирая права советских граждан, оговоренные новым законодательным документом, болгарский ученый пишет о том, что советская действительность гарантирует их осуществление на практике. В этом Спасов также видит черты высокой социалистической культуры.

«Проект новой Конституции предполагает, что в соответствии с целями коммунистического строительства советским гражданам гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием искусства. Государство создает все необходимые для этого материальные предпосылки, оказывает поддержку добровольным обществам и творческим союзам. Эти статьи имеют исключительно важное политическое и социальное значение. Они гарантируют свободу научного и культурного творчества в Советской стране. Они дают достойный отпор империалистической идеологической диверсионной пропаганде, ставящей под сомнение свободу творчества на благо социализма. В действительности именно социалистическое общество создает условия для истинной свободы, в том числе и в области культуры».

Пропагандистская машина капиталистических стран пытается сейчас не только очернить проект Конституции СССР, свидетельствующий о новом этапе развития советского общества, она ставит под сомнение все демократические завоевания социализма. Особенно усердно разглагольствуют «советологи» о «третьей корзине», то есть о положениях Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, касающихся договоренностей в гуманитарных областях. Вот что думает по этому поводу профессор Спасов:

«Согласно статье 46-й граждане СССР имеют право на пользование достижениями культуры. Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в государственных и общественных фондах, развитием и равномерным размещением культурно-просветительных учреждений на территории страны, расширением культурного обмена с зарубежными государствами».

Борис Спасов считает проект нового Основного закона Страны Советов показателем высокого уровня общественного развития нашего государства. Статья его посвящена культуре, ее зависимости от социального прогресса общества. Однако ученый постоянно подчеркивает и обратную связь — важную роль культуры в коммунистическом строительстве.

«Это зрелое социалистическое общество, в котором не существует антагонистических отношений, отсутствует эксплуатация человека человеком, национальная вражда; в нем средства производства представляют общественную собственность, а высшей целью общества является полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей человека. Общество, в котором господствуют принципы «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» и «От каждого — по способностям, каждому — по труду». Именно такому обществу соответствует высокоразвитая культура. Ее основная функция — служить народу, утверждать социалистические принципы жизни, способствовать созданию духовных предпосылок для перехода к коммунистическому общественному самоуправлению».

М. ШАШКОВА

◆

Публицистика

ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Зарубежные писатели о проекте Конституции СССР

Петер Шютт

ФРГ

ДВА КОММЕНТАРИЯ К СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

1. Чему я был свидетелем

Не так давно я вернулся к себе в Гамбург после 25-дневной (третьей по счету) поездки по Советскому Союзу. Эти заметки содержат самое существенное из моих путевых впечатлений.

В то время как у нас развитие во многих сферах жизни остановилось или даже обратилось вспять, в Советском Союзе движение вперед не знает ни кризисов, ни вынужденных пауз. Я бывал в этой стране и раньше — в 1970 и 1973 годах,— и мне сразу бросились в глаза разительные перемены. Исчезли традиционные платки, которыми искони повязывались деревенские женщины; повсюду, как грибы после дождя, растут новые жилые кварталы; везде ощущается активная созидательная деятельность, поиски новых решений. Чувствуется, что люди здесь еще на шаг приблизились к своей цели, в них нет ни нашей загнанности и суеты, ни нашей агрессивности и надменности. Повсюду, от Москвы до Байкала, меня окружала атмосфера дружелюбия, гостеприимства и солидарности; буквально все двери были для меня открыты — двери деревянных домиков на Байкало-Амурской магистрали и заводские ворота в Волгограде, двери академических институтов и вестибюля резиденции муфтия — духовного главы всех магометан Советского Союза. Именно беседа с муфтием, рассказавшим мне о правах верующих в этой стране, доказала со всей очевидностью, что Советский Союз — это общество осуществленных прав человека. Там нет угнетения национальных меньшинств, нет запрета на профессии, нет безработицы, нет роста цен на жилье, нет страха за завтрашний день. Дети и старики — предмет всеобщей заботы, общество никого не выбрасывает за борт. Женщины здесь реально пользуются равными правами с мужчинами—не только по закону, но и в действительности— на работе, в повседневной жизни. Нет конфликта между разными поколениями: старые и молодые живут в мире друг с другом.

Советская молодежь удивительно уверена в себе, склонна к самостоятельному мышлению и критическим оценкам в положительном смысле этого слова: в их основе лежит прочная убежденность в правоте социалистических принципов. Молодые не знают никаких табу, с ними можно дискутировать о чем угодно, их горячность в споре произвела на меня огромное впечатление. Я свободно беседовал со многими советскими людьми и о взглядах так называемых диссидентов, вокруг которых у нас в стране поднимают такой шум. Но я не встретил никого, кто бы разделял эти взгляды. У советского народа совсем другие проблемы, проблемы совсем другого уровня, несравненно более важные, чем те, о которых мы слышим из уст господ диссидентов. По всем этим вопросам советские люди имеют ясное и прежде всего свое собственное мнение, а господа диссиденты не имеют никакого или в лучшем случае—мнение тех, кто впрягает их в свою колесницу.

В этой стране повсеместно бросается в глаза высокий уровень политического, литературного и общего образования. Книжные магазины здесь живут по законам овощного рынка: что поступило утром, в полдень уже распродано. Толстые литературные журналы выходят стотысячными тиражами. В то время как у нас периодические издания по вопросам культуры закрываются одно за другим, в СССР появляются все новые и новые. Но и иностранные газеты и журналы можно приобрести в любом городе. В Гамбурге не так-то легко купить даже «Унзере цайт», не говоря уж о «Нойес Дойчланд» [1], а в газетных киосках от Москвы до Иркутска можно приобрести за несколько копеек прогрессивные газеты всех стран Европы. О событиях, происходящих за пределами своей страны, советские люди достаточно хорошо информированы, и о ФРГ они знают гораздо больше, чем наши сограждане о Советском Союзе. Я беру на себя смелость утверждать, что произведения Гейне и даже современных писателей ФРГ Бёля и Вальрафа в этой стране пользуются большей известностью, чем у нас. Среди людей, с которыми я встречался, многие знали стихотворения Гёте и баллады Шиллера наизусть.

Самое большое впечатление произвело на меня знакомство с множеством национальностей, населяющих Советский Союз. Пятьдесят лет назад Эгон Эрвин Киш — в какой-то мере я старался повторить маршрут его путешествий по этой стране, описанных в книге очерков «Цари, попы, большевики»,— писал о «весне народов Азии». Теперь с полным правом можно говорить о поре зрелости азиатских народов СССР. Каждый из них — будь то эвенки, насчитывающие всего 25000, или 3,5-миллионный таджикский народ — имеет свое лицо, свою культуру, литературу, школу, свой язык, свой собственный образ жизни, свои специфические кушанья и способы заварки чая. В Узбекистане, Таджикистане и Казахстане я увидел социализм, окрашенный в яркие тона среднеазиатского своеобразия, овеянный аравийскими ароматами и излучающий прелесть «Тысячи и одной ночи». Моя цель — коммунизм — приобрела благодаря этому новую доказательность и притягательную силу.

У нас распад и разложение в области культуры угрожают начисто уничтожить сокровища национальной культуры. В Советском Союзе именно средства массовой информации, которые у нас используются только для разрушения культурного достояния, служат целям сохранения своеобразия и особенностей культуры всех народностей, включая самые малые. Даже небольшие национальные сообщества, например уйгуры, корейцы или немцы в Казахстане, имеют свои собственные газеты, издательства и прочие средства массовой информации. В этом многообразии мне видится истинная модель будущей культуры мира, которую я не могу представить себе иначе, как национальной по форме, гуманистической, демократической и социалистической по существу.

Кульминационной точкой моей поездки было посещение строительных площадок БАМа. Меня привели в восторг не только — и не столько — выдающиеся трудовые свершения, энтузиазм и изобретательность, с которыми бамовцы преодолевают все трудности, связанные с суровым климатом и особенностями почвы. Еще больше понравились мне возникшие на этой стройке новые формы жизни и работы — «друг с другом» и «друг для друга», творческие методы совместной работы, учебы и жизни, которые при капитализме просто немыслимы. Поэтому мне кажется, что бамовцы не только технически, но и морально закладывают фундамент подлинно гуманного сообщества людей, а это стоит затраченных усилий и пролитого пота. Если посмотреть в этом ракурсе, то я нашел в Советском Союзе многие черты прекрасного нового мира, нашел страну, в которой будущее человечества, мое, наше будущее уже началось 60 лет тому назад.

2. Несколько соображений по поводу проекта новой советской Конституции

Кое-кто пытается утверждать, что Советский Союз является государством, в котором нет свободы. От свободы, которой я пользуюсь в своей стране ежедневно, на Востоке в самом деле не осталось и следа. Директора фабрик лишены свободы в том смысле, что они не могут по своему усмотрению увольнять рабочих. Управляющие домов не имеют права обращаться с жильцами домов, как им захочется или в соответствии с законами рынка, а тот, кто, как это часто делают наши менеджеры в экономике, попробует для поднятия цен сжечь пшеницу, перепахать плантации с неубранными овощами или выбросить сухое молоко на свалку, будет привлечен к уголовной ответственности.

Такой общественный строй вызывает страх и ужас у каждого сторонника «свободной демократии», присущей капитализму. Не удивительно, что наши «объективные» средства массовой информации либо с глубокомыслием обходят молчанием проект новой советской Конституции, либо говорят и пишут о нем с

[1] «Унзере цайт» — орган ГКП (ФРГ). «Нойес Дойчланд» — орган ЦК СЕПГ (ГДР).

нескрываемой злобой. Тем, кто сами здесь, у нас, все больше и больше урезают демократические права и даже под давлением кризиса капиталистической системы отрекаются от собственных записанных в конституции принципов, совсем ни к чему, что по ту сторону границы, разделяющей две системы, принимается конституция, которая дает людям больше прав и свобод, чем их когда-либо получал народ за всю историю человечества. Поэтому у нас, чтобы отвлечь внимание от текста советской Конституции и от содержащихся в ней реалий, раздувается кампания борьбы «за права человека», кампания, которая по уровню клеветы не имела себе равных. О том, кто является крестным отцом этой кампании, я смог получить представление, когда наблюдал, как горланили неофашистские провокаторы перед советским генеральным консульством в Гамбурге, размахивая начертанными на транспарантах лозунгами — требованиями «свободы» для военного преступника Рудольфа Гесса, вооружения бундесвера нейтронной бомбой и «осуществления прав человека в Советском Союзе». Вместе с ними в демонстрации участвовали такие люди, как полковник Рудель, чья вина в массовых убийствах, совершенных фашистами, известна всему миру.

Насколько морально опустился наш общественный строй, насколько он стал циничным, лучше всего, пожалуй, позволяет убедиться то, как здесь у нас глумятся над понятием «права человека». При этом действительных причин, чтобы с тревогой говорить об элементарных правах человека, ущемляемых в нашем мире, более чем достаточно: миллионы девушек и женщин не имеют равноправия, иностранные рабочие, как скот, проживают в тесноте в сараях и подвалах, трудящиеся не имеют права на труд, демократы и социалисты лишены возможности работать по своей специальности, не имеющим над головой крыши отказывается в жилье, многие юноши и девушки не в состоянии получить ни образования, ни равных шансов на трудоустройство. Вовсе не помышляя о том, чтобы революционные завоевания декретом парламента были перенесены из одной страны в другую, я на один миг хотел бы представить себе, что наш бундестаг на своей первой сессии после летних каникул вдруг принимает проект советской Конституции. Условия моей жизни изменились бы коренным образом. Управляющий домом был бы вынужден аннулировать все последние повышения квартирной платы — начиная с 1967 года моя квартплата возросла с 245 до 708 марок,— а также отремонтировать за свой счет крышу, которая протекает над моей кухней — при том, что лето в этом году было очень дождливое. Тогда, хочет она этого или нет, газета «Бильд-цайтунг» была бы вынуждена прекратить ежедневно печатать ложь, прекратить смаковать на своих страницах известия о самых свежих, самых изощренных преступлениях — каждое утро продавец взывает к читателям: «Новое преступление! Читайте газету «Бильд-цайтунг»! — и публиковать самые низменные и унижающие достоинство человека порнографические снимки, тогда она вместо этого ввела бы рубрику, в которой бы рассказывалось о культурной жизни, в которой она, возможно, напечатала бы одно из моих стихотворений. Тогда девушки не стали бы бояться ходить домой без сопровождающих. Тогда фильм о Гитлере, который показывают в кинотеатре за углом, вообще не стали бы демонстрировать, а проститутки, которые в переулках поджидают клиентов, смогли бы зарабатывать деньги более достойным путем. Шпингеры, владельцы банков и преступники хотели бы видеть Гамбург городом, где можно беззаботно заниматься разного рода черными делами, а я, больше всего любящий свой родной город, хотел бы, чтобы он превратился в рай на земле. Но от осуществления этой мечты, от претворения в жизнь человечных законов существования, таких, которые изложены в проекте новой советской Конституции, нас отделяет пропасть. советский общественный строй отделен от нашей социальной действительности громадным расстоянием, он опередил ее на целую эпоху.

И все-таки если самая передовая нация человечества расширяет и совершенствует демократические принципы своего основного закона, это имеет значение и для нашей борьбы за свободу и достоинство человека. Если страна, против которой все еще направлена большая часть агрессивных устремлений «сильных мира сего», обязательство проводить политику мира, разрядки и сосуществования объявляет непреложным принципом своей Конституции и делает это в такой яркой и наглядной форме, какой не знали прежде документы подобного рода, то это вдохновляет нас на борьбу за мир и взаимопонимание между народами. Наша борьба за претворение в жизнь прав человека и гражданина облегчается тем, что одно из самых влиятельных государств мира в законодательном порядке утверждает право на труд, на образование, на жилище, на охрану здоровья, на равенство мужчин и женщин независимо от социального происхождения, национальности или социального положения. У нас многие из этих прав даже не записаны на бумаге, не говоря о том, что десятки тысяч людей — как иностранные рабочие, их жены и дети, например,— никогда не пользовались ни одним из этих прав.

Проект советской Конституции вновь доказывает: более человечного общественного строя, чем социализм, нет! Ни одна другая система не в состоянии

гарантировать подлинно демократическое развитие народа. У нас свобода постепенно отмирает, а в Советском Союзе социализм создает все предпосылки к тому, чтобы возможности свободного развития отдельной личности, а также и всего общества постоянно расширялись. Буржуазные законы и постановления, являясь ни к чему не обязывающими прокламациями, прежде всего преследуют цель установить границы определенных прав и свобод и оградить государство от притязаний граждан. А социалистическая Конституция СССР исходит из прав человека и направляет работу всех государственных и общественных организаций таким образом, чтобы они служили претворению в жизнь этих прав.

Гамбург

Роже Шатонё

ФРАНЦИЯ

ОТВЕТ РОДИНЫ СОЦИАЛИЗМА

Единство. Единые права для всех народов, отделенных друг от друга тысячами километров, от Камчатки с ее вулканами до самого Туркестана, для француза он — сказочное видение, чудеса «Тысячи и одной ночи». Единение, невзирая на огромную разницу вековых, а порой и тысячелетних исторических традиций, на бесконечное многообразие обычаев, нравов, языков и культур. Единение в праве на жизнь и на счастье — и для тех, кто только что появился на свет, и для тех, кто уже прожил долгую жизнь. Единение всех — независимо от того, в какой мере наделила вас природа силой, умом, красотой и кем она вас сотворила — мужчиной или женщиной. Единение в труде, который делает нас, людей, плацдармом и в то же время творцами непрерывно совершенствуемой цивилизации. Единство — вот слово, что властно звучит в каждой строке новой Конституции Союза Советских Социалистических Республик.

Единение. Единство всех — от металлурга до математика. От астронома в его высокогорной обсерватории до моряка, уходящего в плавание сквозь шторм и туман. Единство песков и лесов, снегов и пустынь, надежды и борьбы, терпения и уверенности.

«В один прекрасный день...» — говорится в старых сказках, и дети слушают их раскрывши рты. Но историю человечества не расскажешь так быстро. Нужны годы чтения и учебы, чтобы понять, как сотни тысяч лет тому назад крохотные группки людей пытались побороть холод, голод, ночь, хищников, страх. И все же не такая уж это древняя история. Даже сегодня голодают люди — сотни миллионов людей. Для них каждый день — это день отчаяния, боли, агонии. Еще и сегодня существуют народы, которые не умеют читать. Еще и сейчас, когда я пишу эти строки, можно найти такие уголки на нашей земле, где слабый и бедный не имеет никаких прав — кроме права ждать смерти в надежде, что она поскорее наступит.

Детям всего не расскажешь, да и взрослые-то не всегда знают, что в истории было около пятнадцати тысяч войн. Пятнадцать тысяч, а сколько же было жертв?! Историки думают, что эти войны унесли приблизительно столько людей, сколько их населяет сегодня земной шар. Свыше трех миллиардов людей — убитых, сожженных за пять тысяч лет. Массовая резня, которой тешились завоеватели. Религиозные войны. Колонизация. Вывоз рабов. Геноцид в Азии, Африке, истребление индейцев в Америке. В Санто-Доминго, когда Христофор Колумб открыл Америку, было миллион жителей. За двадцать пять лет все они были истреблены. В исторических архивах хранятся ведомости о рабах, которых перевозили через европейские порты: 6 миллионов африканцев погибли при перевозке из Африки в Новый Свет. Глава одного африканского государства считает, что только его континент за два-три века колонизации потерял двести миллионов человек.

И, невзирая на все это, в сердцах великих философов и революционеров всегда жила мечта о том, что настанет время, когда человек человеку не будет волком. Иные шли в своих мыслях дальше и выше, но их мечта казалась уж вовсе безумной и неосуществимой — создать такое общество, где каждый человек обладал бы всей полнотой жизненных прав.

Новая Конституция Союза Советских Социалистических Республик сделала борьбу за мир, за безопасность и международное сотрудничество одним из основных законов страны.

Из двухсот пятидесяти восьми миллионов советских граждан добрая половина, а то и больше половины либо еще не родились в 1945 году, либо были малыми детьми. О том, что такое война, они знают по рассказам учителей или родителей, по романам, стихам, кинофильмам. Они знают, что есть инвалиды

войны, они видели памятники, военные и гражданские кладбища. Они могут прочесть репортажи о военных конфликтах, которые не раз вспыхивали с тех пор в разных уголках земного шара, о героической и необходимой борьбе людей за правое дело. Но где найти такие слова, которые помогли бы им понять, что даже к самой справедливой войне можно прибегнуть только тогда, когда полностью исчерпаны все остальные средства, и что народы всеми способами должны избегать этой крайней меры, потому что война — это невообразимый, неописуемый ужас. Советская Конституция напоминает людям, что мир — спасительный заслон для человечества и что, свято храня в сердце священное патриотическое чувство, каждый народ должен стремиться к тому, чтобы покончить с вековым варварством — войной.

«О, цивилизации! — писал французский поэт Поль Валери.— Мы знаем теперь, что вы смертны». С тех пор мы узнали, что и земля уязвима. Мы знаем теперь, что можно отравить воздух, и моря, и реки, уничтожить деревья и птиц. Американский биолог Рейчел Л. Карлсон написала книгу под названием «Молчаливая весна», в которой она предупреждает нас против преступного легкомыслия, ибо дело может дойти до того, что погибнет все плавающее и все летающее, все, создающее красоту природы, и навсегда умолкнет песня кузнечика и дрозда.

Тысяча девятьсот семнадцать... Тысяча девятьсот семьдесят семь... Сейчас, в преддверии шестидесятой годовщины Октябрьской революции, все граждане и гражданки, все народы Союза Советских Социалистических Республик обсуждают проект новой Конституции, которая определит основные права и обязанности всех мужчин и всех женщин первого социалистического государства на земном шаре.

Шестьдесят лет... Не такой уж долгий срок в многотысячелетней истории человечества. За это время едва успевает вырасти большое дерево. Куда больше лет требовалось когда-то сосне, чтобы стать большой корабельной мачтой. Да и в жизни человека шестьдесят лет протекают так быстро, так стремительно быстро.

Когда я писал эти строки, мне вдруг захотелось узнать, где находился Ленин в первые дни августа 1917 года, какая природа его окружала, какая тогда была погода. Возможно, это — всего лишь поэтическое любопытство, но поэзия не может жить в стороне от политики и истории. Из одной книги я узнал, что Ленин находился в то время неподалеку от финляндской границы, на берегу озера, в шалаше посреди луга, где косили траву. Он работал там от зари до темноты, готовя великие дни Октября... И внезапно эта картина оживает передо мной, точно в кинофильме. Я представляю себе северное лето, слышу запахи трав: утро рождения новой зари человечества...

А потом вдруг пошли дожди. Наверное, это не имело существенного значения для Ленина. Но мне приятно представить себе, как он вслушивается в звуки сельской жизни, столь дорогие русскому сердцу,— впрочем, они дороги и сердцу французов — сыновей такой же древней крестьянской нации.

Эти картины имеют для меня свой особый смысл. Отправляясь порой от образа снежинки или колоска, мы приходим к мыслям о всеобщей справедливости, о строительстве нового мира. И Ленин провидел то, что мне, пожалуй, дороже всего другого: превращение СССР в страну, где издают больше всего книг. Книг политических и философских. Книг исторических и научных. А также больше всего романов и поэм.

Новая Конституция верна мысли Ленина, она отмечает новый прогресс революционного духа, утверждая и подчеркивая с особой силой право каждого человека на приобщение к культуре, предоставляя ему возможности для проявления своих способностей и всестороннего творчества. Все мы люди, и мы любим мир, жизнь, цветы, многогранную красоту природы и искусства. По-моему, не должно быть такого человека на земле, которого — даже если он не является советским гражданином и не во всем исповедует философию Маркса и Ленина — не радовал бы прогресс дела, начатого шестьдесят лет тому назад в Петрограде, и несомненные успехи этого дела, нашедшие отражение в новой Конституции.

В Нью-Йорке издательство «Даблдэй» недавно опубликовало книгу в тысячу страниц, повествующую об одном безумце, который хотел уничтожить человечество «во имя спасения культуры». Этого фанатика звали Гитлер. «Я сотру Москву с лица земли,— говорил он,— и на ее месте прикажу сделать озеро». Для него коммунизм отождествлялся с варварством. Сегодня от Гитлера не осталось и следа. А в Советском Союзе со времени его смерти опубликованы миллионы книг. Среди них — шедевры немецкой культуры, которые были запрещены в Германии во времена нацизма. И советские школьники читают Шиллера, Гейне и Томаса Манна на своем родном языке.

Таков ответ родины социализма. Таков ответ и новой Конституции всем тем, кто хотел бы вечно держать людей в нищете, изоляции, невежестве, страхе.

Париж

■

СОФИЙСКИЙ ДНЕВНИК

Интервью, взятые Е. СТОЯНОВСКОЙ у участников международной писательской встречи

I

Тревоги мира, долг художника

1. ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

ДВА ВОПРОСА ОРАТОРУ

Константин Симонов
СССР

Насколько я понял, вас интересует, с каким запасом мыслей и чувств я ехал сюда, в Софию, и как готовился к своему выступлению на конференции... По правде говоря, я заранее не думал над выступлением. Мне хотелось сначала увидеться с людьми, которые сюда съедутся из разных концов мира, почувствовать, что они думают, в чем мы сходимся, в чем расходимся. И когда я летел в Софию, я вспоминал другие свои встречи и другую нашу конференцию — в позапрошлом году в Москве, посвященную примерно той же теме, что и эта: «Вторая мировая война и ответственность писателя». Тема была несколько уже, и потому состав участников конференции тоже был более узким: за редким исключением там сошлись люди, когда-то участвовавшие в войне и опиравшиеся на свой собственный жизненный опыт...

На той конференции было сказано много искреннего — одновременно и тревожного, и обнадеживающего. И помня это, я решил взять с собой в Софию стенограмму выступлений, которые слышал там, в Москве...

Приехав в Софию и узнав, что мне готовы предоставить слово на конференции, я в первый день не писал ни слова — только разговаривал с другими, такими же, как я, писателями. В общем-то они приехали сюда за тем же самым, за чем приехал и я:

чтобы сделать хоть что-то, что в наших силах и возможностях, в пользу мира. Кстати сказать, борьба за мир — она ведь самыми разными ручейками сливается в один поток. Вот только недавно, за месяц до Софии, я был в Берлине в связи с тридцатилетием издательства «Фольк унд вельт». Оно очень широко печатает в переводах на немецкий язык нашу советскую литературу, в том числе и наши книги о минувшей войне... Принимал там участие в вечерах вопросов и ответов.

Немецкие читатели задавали мне вопросы, связанные с проблемами войны и ее изображения, с проблемами мира и его сохранения... Так уж выходит, что сейчас, наверно, просто-напросто невозможно оторвать в нашем сознании одно от другого, да сама наша память о войне есть не что иное, как один из инструментов борьбы за мир... Там, в Берлине, я участвовал в книжной ярмарке. Самая длинная очередь читателей стояла к Герману Канту — он сейчас тоже приехал сюда, в Софию. Так вот, ему пришлось поставить на своей новой книге, наверно, несколько тысяч автографов... Книга эта еще не переведена у нас, она совсем недавно вышла, и я еще не имел возможности прочесть ее по-русски. Но там, в Берлине, я встретился со Стефаном Хермлином, который не только подробно, но, я бы добавил, с большим волнением рассказывал мне о новой книге своего коллеги Канта. В сущности, почти весь вечер ушел у нас на разговор об этой книге, хотя мы со Стефаном Хермлином ровесники: он — участник боев в Испании, участник Сопротивления во Франции, я — участник войны, и у нас были, естественно, и другие темы для разговора... И однако, мы весь вечер говорили о новой книге Канта: в годы фашизма и в годы войны он был совсем мальчик и в силу этого, по мнению Хермлина, раскрывает совсем по-иному, по-своему корни фашизма, рассказывает о том, каким видело фашизм не то поколение антифашистских бойцов, к которому принадлежал Хермлин, а то поколение мальчиков, к которому принадлежал Кант... И знаете, что интересно? В этом разговоре Стефан Хермлин вспоминал Михаила Ромма с его «Обыкновенным фашизмом» и в некоторых аспектах сближал то, что было показано у Ромма, с тем, что написано у Канта. Во всяком случае, в ощущении Хермлина разоблачение этого «обыкновенного» фашизма через его первое восприятие детьми и подростками необычайно актуально: те зародыши реваншизма и фашизма, которые существуют сейчас, на его взгляд, тоже очень важно увидеть не только глазами закаленных в антифашистской борьбе людей, но и глазами тех, кто только начинает к этому присматриваться, только начинает в этом разбираться. Анализируя книгу Канта, Хермлин то возвращался к минувшей войне, то переходил от нее к современным проблемам, к современной, персонифицированной — и в определенных политических партиях, и в определенных политических деятелях — опасности новой войны, которая существует сегодня...

Этот разговор был в Берлине в последний мой вечер там. А на следующий день я оказался на мирной конференции в Варшаве. Там, в Варшаве, как и здесь, в Софии, собрались люди со всех континентов. Среди хозяев я видел Ярослава Ивашкевича, к сожалению, из-за нездоровья он не смог приехать сюда, в Софию. А среди гостей оказался еще один участник софийской встречи — уругвайский писатель Альфредо Гравина. Двадцать лет назад, в 1957 году, мы ездили вместе с ним по его стране. Уругвай тогда считался самой традиционной страной парламентской демократии на всем Южно-Американском континенте, или точнее — одной из двух таких стран, второй тогда считали Чили... Так вот, мы ездили с Гравиной по этой стране парламентской демократии; действительно, здесь была легальная коммунистическая партия, была гласность, наличествовали буржуазные свободы, но я как-то особенно остро воспринимал там обнаженную власть капитала, все то гипертрофированное значение, которое приобретает в глазах других людей человек, обладающий богатством... И знаете, что больше всего поразило меня тогда там, в Уругвае, в обстановке буржуазно-демократической легальности? Нелегальная власть богатства, способная ничто превратить в нечто, нравственную пустышку с туго набитыми карманами превратить в сосуд добродетелей и образец для подражания... Тогда меня волновало это. И вот сейчас, через двадцать лет, я встретился здесь с Альфредо Гравиной, чья родина из страны парламентских свобод превратилась в страну политического террора; с Гравиной, который был вынужден эмигрировать из Уругвая, который живет на Кубе и у которого разорвана на куски семья... Тогда, двадцать лет назад, после Уругвая я полетел в Чили — то, что произошло с тех пор в Чили, слишком хорошо известно; вот вам контрасты эпохи, отнюдь не единственные, а лишь одни из многих!

А заговорил я о Чили потому, что вспомнил, просто не мог не вспомнить Пабло Неруду: и тогда — у него на родине, в Чили, и потом — в разных случаях жизни и в разной обстановке, в том числе и на многочисленных трибунах, с которых он вел борьбу за мир — не только с трибун, разумеется, и в том-то его сила, что не только с трибун, и в том-то и сила других писателей, что не только с трибун!

Я увидел здесь, в Софии, очень многих людей, которых я знал и видел раньше — и у себя, и у них дома. И подобно тому, как сейчас, вот в нашей с вами беседе, нет системы,— может быть, и в наших разговорах на конференции тоже нет какой-то единой системы, какой-то строгой последовательности,— наверное, это совсем не самое главное! Главное в том, что люди приехали сюда, оторвавшись от своих книг, от своей работы, с общим ощущением беспокойства за то, что происходит в мире. Вот

об этом, в сущности, после всех разговоров в первый день приезда мне и захотелось сказать с трибуны конференции.

Мне показалось существенным сказать, что та работа, которую мы делаем здесь, есть лишь частица нашей постоянной работы над нашими книгами; то, о чем мы говорим здесь, не может противоречить нашим книгам,— просто здесь мы выбираем иной способ и иную форму высказывания, чем в своих книгах, ибо если мы в книгах пишем одно, а вылезаем на трибуны и говорим другое, то в этом есть некая странность, для меня, во всяком случае, мало приемлемая, хотя иногда такое бывает. Иногда доводится читать авторов, пафос чьих книг очень уж не совпадает с пафосом их ораторских выступлений на разные политические и общественные темы,— и не потому, что в своих выступлениях они «левые», а в книгах — «правые»; я говорю не о двурушничестве, а просто создается ощущение, что когда этот человек садится за свою книгу — его интересует в жизни одно, а когда он выходит на трибуну — его интересует в жизни совсем другое, что его книга не стоит за тем, что он говорит с трибуны. А ведь очень важно, чтобы за сказанным с трибуны стояла книга, и важно прежде всего с точки зрения людей, читавших эту книгу.

Иногда бывает так: выступает какой-то литератор на писательской конференции; он отнюдь не оратор, не столь складно говорит и не делает с трибуны особых открытий, говорит истины уже известные, которые могли бы сказать и другие: что война— это плохо, а мир — это хорошо. А потом, когда читаешь такую речь, сказанную в пользу мира, для тебя весьма существенно, и даже наиболее существенно, не то, с каким — бóльшим или меньшим — блеском эта речь сказана, а то—кто это говорит: с каким жизненным опытом, с какими книгами за душой этот человек, выступающий в пользу мира. Если говорит, например, Шолохов, за спиной которого «Тихий Дон» — книга, в которой показано, что такое война, и показано со всей суровостью, со всем ее трагизмом,— то правдивость его книги имеет дополнительное значение для человека, слушающего или читающего его слова в пользу мира.

Я говорю сейчас более пространно то, о чем можно сказать и короче. Так или иначе, книги остаются нашим главным делом, и, работая над ними, мы не вправе забывать о положении в мире и о том, что́ больше всего нужно людям. А людям больше всего нужен мир, и эту истину здесь, в Софии, по-моему, никто не оспаривал. На этом все сошлись.

У нас тут состоялся в эти дни маленький «круглый стол», вел его Чингиз Айтматов, а участвовали в нем кроме нас и наших болгарских хозяев в лице Любомира Левчева, турецкие писатели Азиз Несин и Яшар Кемаль; ГДР представлял Герман Кант, а Соединенные Штаты — наш американский коллега Гор Видал.

Так вот, за этим «круглым столом» Видал сказал о том, как важно, чтобы писатель был честным барометром времени, чтоб он не стремился показать «хорошо» в том случае, когда «плохо». А я к этому добавил, и, как мне казалось, мою точку зрения разделили мои коллеги, что писатели действительно барометры, барометры разные, один показывает, что в мире хуже, другой показывает, что в мире лучше, и у каждого это связано с его собственным самоощущением, но все же, если мы, все мы — эти барометры — собрались здесь все-таки вместе, то, очевидно, собрались потому, что у нас есть ощущение, что в мире все обстоит отнюдь не достаточно хорошо для жизни человека. Мы по-разному оцениваем это: на одних барометрах погода получше, на других — похуже, но если говорить о том, что нас соединяет, так это стремление, во всяком случае, сделать погоду хотя бы несколько получше, чем она есть! Видимо, в этом и есть смысл нашей конференции.

Свое выступление на конференции я все-таки написал [1], хотя, разумеется, лучше говорить без бумаги перед глазами. Но я, к сожалению, это просто плохо умею: говорю в таких случаях вдвое, даже втрое длинней, чем позволяет регламент.

Откровенно говоря, я позавидовал даже, когда слушал на конференции Джона Чивера, который выступал без бумажки перед глазами — очень искренне, очень взволнованно, очень точно и очень коротко. Он сказал и о положении писателя в его стране, и о своих чувствах по отношению к тому факту, что мы съехались сюда, преодолевая профессиональное писательское одиночество, которое, как я понял из его слов, он остро ощущает. И когда я слушал его, я подумал о своем, уже написанном к тому времени выступлении: как хорошо бы сократить его раз в пять и постараться сказать все то, что я хочу в нем сказать, раз в пять короче. Однако, как известно, самое трудное для писателя — это сокращать свои, даже отнюдь не совершенные, манускрипты, а тем более делать это в последнюю минуту.

И выйдя на трибуну, я говорил именно то, что я заранее написал. А с собой в Софию, предполагая, что я буду выступать, я взял кое-что из того, над чем я думал последнее время,— а впрочем, не только в последнее, в общем-то, давно уже больше всего думаешь все о том же самом — о круге вопросов, связанных с борьбой за мир и с необходимостью избежать войны. Взял я с собой, в частности, некоторые выписки, которые сделал, читая письма Томаса Манна.

---

[1] Текст выступления К. Симонова на Международной встрече писателей в Софии опубликован в «Литературной газете» 22 июня 1977 г.

И когда, открывая конференцию, Пантелей Зарев говорил о Манне и привел его слова о том, что гуманизм и политика неразрывны, я отметил для себя, что эта мысль Манна была записана и у меня, и это только естественно...

В последние годы я довольно много занимался Блоком, перечитал его насквозь, сделал из него много выписок и некоторые из них взял с собой сюда, в Софию. Думаю, что Блок был одним из самых пронзительно думающих о будущем своей страны и всего человечества русских писателей двадцатого века.

Одно из этих, выписанных мною, размышлений Блока о настоящем и будущем я привел в своей речи; мысль Блока о том, что невозможно отказаться от политики, что отказ писателя от политики есть, в сущности, капитулянтство перед теми, кто хотел бы, чтобы писатель ею не занимался,— мне показалась особенно интересной в устах поэта столь глубоко и подлинно лирического, как Блок. В речи не нашлось для этого места, но, листая свои выписки из Блока, я обнаружил там еще одно удивительное высказывание — сейчас я вам его разыщу,— в котором Блок просто-напросто прямо говорит о бомбе, и говорит это, по-моему, где-то в десятые годы, в период шатаний, разброда и смутного предчувствия будущих событий. Вот, послушайте эти его слова:

«...Словом, как будто современные люди нашли около себя бомбу; всякий ведет себя так, как велит ему его темперамент: один вскрывает обойму, пытаясь разрядить снаряд; другие только смотрят, выпучив от страха глаза, и думают, завертится она или не завертится, разорвется или не разорвется; третьи притворяются, что ничего не произошло, что круглая штука, лежащая на столике, вовсе не бомба, а так себе — большой апельсин, а все совершающееся — только чья-то милая шутка; четвертые, наконец, спасаются бегством, все время стараясь устроиться так, чтобы их не упрекнули в нарушении приличий или не уличили в трусости.

Однако никто не шутил, никто не хотел ни напугать, ни позабавить. История, та самая история, которая, говорят, сводится попросту к политической экономии, взяла да и положила нам на стол настоящую бомбу...»

Согласитесь с тем, что даже удивительно, как в одном, в том же самом направлении работает мысль очень разных людей, занимающихся писательским трудом, в разные десятилетия, в различной обстановке, но одинаково озабоченных благополучием человечества и одержимых тревогой за его завтрашний день... Повторяю: думаю, что тревога за завтрашний день человечества и составляет главный смысл нашей нынешней конференции.

Я ощутил эту тревогу, выраженную разнообразно — длинно, коротко, докторально, сильно, символично, схематично,— иначе оно и не могло быть на конференции, где выступают люди разных взглядов, темпераментов и индивидуальностей. Однако при разной форме выражения и при той разрозненности усилий, о которой, в частности, упоминали наши западные коллеги, все же явственно обнаруживается у писателей некая тяга к единству в этом самом коренном вопросе — тревоге за будущее человечества. И это единство в таком коренном вопросе — без всякого упрощения стоящих перед нами проблем — все-таки дает нам возможность думать и о дальнейшей солидарной работе писателей в этом направлении, и об их солидарных занятиях той политикой мира, которой они не только вправе, но и обязаны заниматься, ибо политика мира — единственно разумная и единственно нужная людям, в том числе и читателям любого из нас — присутствующего или не присутствующего на этой конференции.

Мне хочется ответить на тот вполне естественный вопрос, который, как я чувствую, вы мне сейчас зададите и который я сам себе задавал в ходе конференции: имея известный опыт в этом деле, я задумывался над тем — сколько же усилий пришлось потратить нашим хозяевам, нашим болгарским друзьям, для того чтобы и подготовить эту конференцию, и преодолеть все препятствия, которые предшествовали ее созыву, и провести ее в той свободной, раскованной атмосфере дружелюбия и гостеприимства, в которой она происходила. Думаю, что усилия эти были очень велики и они и определяют меру нашей общей благодарности.

Мне показалось очень симптоматичным, что тот — заключительный, что ли, употребляя привычную терминологию,— документ, который под общие аплодисменты собравшихся приняла конференция, оказался не совсем обычным, оказался просто-напросто нашим коллективным письмом, адресованным нашим болгарским хозяевам, письмом, в котором, сказав, для чего мы сюда приехали, мы выразили им признательность не только за заботу, но и за тот высокий душевный настрой, в котором произошла в их стране эта встреча в пользу всеобщего мира.

Когда председатель Международной ассоциации литературных критиков — наш французский коллега Робер Андре — обратился к нашим болгарским хозяевам с текстом этого адресованного им письма, ставшего нашим общим документом, мы аплодировали ему с полной мерой искреннего единодушия. Да, конечно, мы живем в трудное время, и забывать об этих трудностях не приходится никому, в том числе и писателям, но все-таки вот сейчас, когда закрылась наша конференция, я думаю, что погода в мире должна улучшиться, что эта вот хитрая стрелка, болтающаяся на барометре где-то между войной и миром, должна все-таки сдвигаться в сторону мира, а не в сторону войны. Во всяком случае, я верю в это, и наша встреча в Софии еще раз укрепила во мне эту веру.

Миколас Слуцкис
СССР

Я вернулся сейчас с одного — можно его назвать случайным — литературного вечера, впрочем, в жизни многое случайно, верно ведь? Так вот, вышла у меня тут, неожиданно в Варне, встреча с детьми,— приехал я в Болгарию, как вы знаете, совсем по другому делу — тому самому нашему общему делу, о котором у вас в журнале уже высказывались мои коллеги [1].

Ну и вот, после всей программы, когда устал, рук и ног, можно сказать, не чувствуешь и голос сорван, болгарская поэтесса, имя у нее такое смешное — Ваня... Ваня — есть у болгар такие женские имена — Ваня, Федя,— прямо атаковала меня: «Обязательно поезжайте, вот тут рядом есть лагерь пионерский, дети советских работников отдыхают, просят рассказать о писательской встрече».

Вот из этого лагеря я только что и вернулся. Ну, лагерь как лагерь, сад прекрасный, розы, дети — не идиллические какие-то дети, а вполне обычные; «мертвый час» у них кончился, подняли их по сигналу, не очень они были в восторге — немножко не вовремя появился товарищ писатель: спать-то сначала не хотят, а потом не поднимешь... Долго-долго вставали, собирались; смотрю, есть и большие уже ребята... С чего же начать? Откуда я появился, откуда свалился к ним? Еще представили: «Московский писатель». Вот с этого, пожалуй, и начну — почему московский? Рассказал им коротко: не только, мол, я, литовец из Советского Союза, но и люди из более далеких стран — с Латиноамериканского континента, из Индии, из многих-многих стран — разными путями приехали в Софию разные люди, разные писатели. Принялся как-то объяснять, для чего мы собрались, о чем толковали там...

Ну, дети так спокойно слушают, но я чувствую — нет контакта; понимают они, значит, что бороться за мир и писатель может. Все это прекрасно, но как их заставить почувствовать это — слов-то они слышат дай бог сколько...

И что-то ко мне вдруг подступило — бросил я свои объяснения и начал просто рассказывать о своем собственном детстве; даже не отдавал сначала отчета в том, что это имеет прямое отношение к теме,— хотел рассказать, кто я такой, каким образом отважился стать писателем.

Говорю о детстве: все мы детство свое, мол, идеализируем, даже если оно было плохим, как у меня, трудным, бедным. И почему писать начал, говорю, имея в виду показать, как может все трудно в жизни складываться, а иногда вдруг эти трудности становятся какой-то почти чудесной силой для будущих твоих всех устремлений, для твоих работ... Говорю и чувствую — тоже что-то не то. И тут вспомнил о том, как я один раз забыл о существовании своей сестренки: ей было девять лет, мне — двенадцать. И случилось это в первый день войны, в суматохе страшной. Я как раз... И тут меня, знаете, понесло: как я встретил войну, или как война встретила меня и сотни таких, подобных мне ребят...

Я жил в Паланге — тогда на самой бывшей советско-германской границе. Сейчас это курорт, новый первоклассный курорт, как говорится, союзного значения. А тогда это была деревушка небольшая, а курорт известен был в одной Литве. До освобождения генералы, министры здесь отдыхали, бизнесмены, а рабочие или дети рабочих, как я, и ногой не ступали. И вот... дети — собранные со всей Литвы, бывшие оборвыши, беднейшие дети, дети рабочих... Нам это подарили, все эти виллы. Мы еще не привыкли ни к стенам шикарным, ни к кроватям с пружинами... Несколько дней-то всего мы там и пробыли: море было еще холодное, правда, мы лезли в воду, даром что 12 градусов всего было.

И вот однажды, под утро, слышим мы какие-то всплески — это я пионерам рассказываю,— какие-то шумы. Что такое? Один говорит: «Маневры, наверно»,— догадливый уж очень. Ну, большинством голосов решили: «Нет, буря на море, завтра будет много янтаря на берегу, наберем кучу, если раньше всех встанем...»

И вдруг как ударит — прямо угол нашей комнаты срезало,— вилла была двухэтажная. И сразу вся комната наполнилась дымом — белым, густым, как молоко. И вот уже где двери, где окно — не видно. Кто лежал ближе к двери—они нащупали. Стекло хрустит под ногами. Добрался я на ощупь до окна — благо стекла все вылетели,— ринулся вниз со второго этажа, тогда мне двенадцать лет было, сейчас бы царапинами не отделался...

Выбрались, смотрим — ужас, тихий ужас: еще в мире солнце светит, но дым такой стелется, клубится, противный такой, вонючий. И первое, что увидели,— раненые. Одного помню мальчика — бровь так и срезало, и сквозь эту, понимаете, вот самую прореху кровь течет, но самое страшное — страшнее с тех пор я в жизни не видел — это мозг, мозг обнажился... Потом вижу — другой паренек знакомый, еще все завидовали ему: у него была спортивная рубашка с вытканной красной звездой, у нас в Литве тогда таких еще не было. Так вот, поверите — осколок прямо ему в эту самую звезду угодил. И вот мы смотрим...

[1] Речь идет о выступлениях писателей в рубрике «К Софийской международной встрече писателей» («Иностранная литература» № 6, 1977).

все расширяется, расширяется пятно крови. Мы этого паренька под дерево положили. Ну, что мы могли сделать? Паника ужасная. Взрослых вокруг нет, а если есть, так они испуганы еще больше детей — они-то, возможно, понимали, что все это значит... И в этот момент, понимаете, я позабыл совершенно, что у меня есть сестра.

Кто-то из старших мальчиков сказал: «Надо бежать отсюда, здесь пропадем». А все это время вокруг снаряды падают, мины. Ну, мы побежали. Куда? Просто подальше от выстрелов... Бежим мы, бежим, добежали до автобусной станции — стоит какой-то автобус, маленький автобусик, довоенный. Набились мы в него, как сельди в бочке... И вдруг я слышу прямо сквозь этот рев, и шум, и выстрелы писк — моя сестренка. Мы оба были в этом лагере, правда, она жила далеко от меня. Я был там заядлым общественным деятелем: поднимал флаг по утрам, выпускал стенную газету лагеря — в общем, очень занятой был человек, некогда было заниматься девятилетней сестрой...

Что делать? Вот уеду сейчас, а она останется — значит, я ее уже не увижу; почувствовал я это, сам не знаю почему... и каким-то чудом спрыгнул, схватил ее и втащил в этот самый автобус. Ну, тут она упала в обморок. Я не знал, что с ней, думал, ранена. Оказывается, ничего, просто обморок — воздуха не было, испугана была страшно. Сейчас-то она уже взрослая, учительница. Преподает немецкий язык в Минске. До иностранного еще один факультет окончила...

Ну, этот, значит, автобус так называемый, нас везет; километров пять проехал и встал — все. То ли шофер немцев ждал, то ли сам испуган был — не хотел уезжать, семью оставлять. «Вылезайте, ребята,— говорит,— и идите дальше,— показал на Кретингу,— а я поеду за другими,— говорит,— надо всех вывозить». Больше мы его не видели, и, конечно, тех ребят мы тоже больше не видели, никого он не вывез...

Ну, мы от войны идем, а война за нами, даже впереди нас; видим, вот уже и тут трупы лошадей, воронки от бомб прямо на дороге, война быстрее нас шла все же, быстрее. Но мы, мы топаем, топаем, идем, тащим маленьких: кроме моей сестренки еще один был малыш — тянул чемодан тяжеленный; мы все по очереди — дураки же мы были — тащили вещи. В общем, тащились, тащились, кто-то нам помогал, чаще всего солдаты; они сами были тогда не очень-то в хорошем настроении — отступали с боями, окапывались и стреляли, немец на них шел лавиной, танками, а у них окопчики, понимаете... Кто даст кусок хлеба, кто — сахару колотого, большие такие куски... Иногда подвозили нас немножко на машинах.

И однажды мы идем, сил уже нет, видим — машина катит с боеприпасами, с ящиками, наверно, отходит куда-то. Просим, в глазах наших просьба — русского не знали совсем... Ну, они говорят: ладно, дайте нам ваших маленьких, мы их возьмем. И я свою сестренку забросил на эти ящики — думал, уж никогда ее больше не увижу, но хоть она-то выживет. Долго мы шли, шли, ночуя где попало, все думали, вот война кончится. А война по пятам; на пять— десять километров — больше нам никогда не удавалось оторваться от нее.

Почти две недели прошли мы, уже оказались в Латвии, пришли в Елгаву, латышский городок небольшой с довольно крупным железнодорожным узлом. Во всяком случае, так нам казалось. Застекленный перрон, крыша. Только мы подошли — бомбежка. Запрыгало все, крыша — на наши головы. Смотрим — эшелон, большущий эшелон. Набитый до отказа. Пытаемся куда-то втиснуться. Нас отталкивают — каждый хотел жить, там же были не мужчины — старики были, женщины, дети...

Ну, а тут вагон для тяжелораненых, обмотаны кое-как, смотреть ужасно на них. Но деваться нам некуда, жмемся около этого вагона. И какой-то командир все говорит: «Нет, нет». Мы понимаем, что это касается нас: «Нет, нет, нет». Но не уходим — кто лежит, кто стоит. И вдруг эти раненые, тяжелораненые, зовут нас — они выпросили, чтобы нас посадили в их вагон. И мы оказались среди этих солдат, многие из которых по дороге умерли. Мы останавливались, их закапывали, ветки клали...

Вот это, значит, я и рассказывал пионерам, отдыхавшим в Варне. Далекое что-то такое рассказываю, может, уже и неточно, может, что-то меняю — я потом когда-то писал об этом, и может быть, некоторые детали уже по написанному рассказываю... Смотрю я на своих слушателей и вижу, что больше не нужно уж и говорить ничего. Слушают, переживают дети, которые уже выросли, можно сказать, только на героических фильмах о войне. На Штирлице, который всю победу добыл уже, что называется, почти единолично... Вижу, все до них доходит, все они понимают про войну...

Рассказал им еще о том, как сестренка обо мне узнала. А каким образом узнала? Из одной литовской газеты в эвакуации, мы тогда уже жили около Вятки, в Кировской области. Однажды в детском доме был какой-то вечер: я и там активистом был — председатель редсовета, редактор стенгазеты,— выступал с каким-то докладом, сам не помню, по какому поводу. И вот в литовской газете кто-то в хронике сообщил, что докладчиком был мальчик по фамилии Слуцкис.

Из этой газеты сестренка и узнала о моем существовании: с тех пор как мы с ней на дороге расстались, я не знал, жива ли она, она не знала — жив ли я. Она жила в другом литовском детском доме в Горьковской области. Вроде бы и близко от нас, но во время войны никакого сообщения не было. Пройти пешком это расстояние — девочке — возможно ли? Но представьте, ее отпустили. Котомку привязали, дали краюху хлеба, что-то еще, какой-то крупы, картошки и отпустили.

И вот она уже второй день сидит на вок-

зале в Горьком, уже чуть не умирает. И опять солдат, понимаете, появился какой-то, солдатик даже, я бы сказал. Потом я уж с ним познакомился — Янис Лукошис, тоже литовец. Он после ранения ехал в наш детский дом, там работала его мать: у него еще оставалось время, и он ехал ее проведать.

Вот он ее спас. Прямо на руках нес этот путь. Без него она бы погибла. Он ей клей варил, срезал с сапог, понимаете, кусок кожи, варил ей, одним словом, так. Выкапывал из земли какие-то овощи — а уже заморозки, земля голая почти стояла...

Пришли они, вошла она в детский дом, и разнесся клич: «Сестра Слуцкиса приехала!» Я выхожу, ищу глазами сестру, которую оставил на дороге — и вижу старуху. Представляете, маленькая такая, а вместо лица — словно дыра черная... И еще помню, вот здесь на лбу такая, понимаете, складка. Смотрит она на всех нас и не понимает, куда попала. И я не мог узнать, понимаете, свою сестру, хотя не так-то и много лет прошло — в 41 году мы с ней расстались, а в 43-м встретились.

Ну, вот, ребята вскочили, где-то разыскали турнепс, суют ей — хотели, чтобы она сразу поправилась, чтобы прошла, исчезла старушечья маска с ее лица. Но это не скоро сбылось, долго она все кричала по ночам, все дергалась... понимаете. Вот так все вышло...

Дети слушают, прямо вместе со мной переживают. И весь этот ужас, и эту боль, и эту радость, и это, понимаете, это удовлетворение по поводу того, что она жива сейчас, к тому же и сама уже мучает ребят — она ведь учительница, да еще иностранного языка. Эти учителя всегда вредные, грамматику требуют и все такое...

И, честно говоря, понимаете, я уже сам сознаю, что не между прочим и не совсем уж просто так я все это рассказываю советским ребятам, отдыхающим здесь, в болгарском городе Варна, среди этих роз. Видимо, все это еще живет, живет не только во мне, а и в них живет, так сказать, памятью моей и их родителей, может быть, уже дедушек даже, у некоторых родители молодые совсем. Не отошло это ни на йоту никуда, это все еще важно, живо и как-то требует тебя всего...

Ну, потом я уже с ребятами говорил, конечно, смелее, я им был уже свой, и они мне были близкими; особенное это чувство для писателя — когда ты видишь все у них в глазах, все твои слова... Ты-то знаешь, как слова делаются, не в эту минуту, конечно, там я об этом не думал, но на бумаге-то мы делаем, обтачиваем как следует. И каждый раз надо по-новому. Так что требовать, чтобы это без артистизма делалось и без, так сказать, рационального подхода, нельзя. Умные критики, даже умные читатели не требуют сейчас от писателя такой бездумной «непосредственности», первозданной наивности ягненка, которого ведут на заклание,— такого никто от нас не требует...

И вот когда я думаю о нашей писательской встрече, которая проходила на литературном, политическом, эстетическом уровнях — в вариантах, так сказать, уже более опосредованных, не таких, как моя беседа с пионерами, я понимаю, что все, о чем я рассказывал им, и есть подоплека, подоплека того, ради чего мы собирались в Софии. Чего мы хотели, собственно говоря? В основном, чтобы не было вот этого, о чем я рассказал ребятам, чтобы никогда больше не возникло потребности такие вещи рассказывать — это ведь и есть главное, наверно.

А с детишками мы простились друзьями — не хотели отпускать, пирогом угощали...

Боюсь, мы часто отходим от самой, так сказать, сути проблемы — отходим, загораживаемся словами, пусть даже умными, хорошими, писательскими, о том, что нужен мир и т. д. и т. п. А художнику не дано такого права — расслабиться, когда речь идет о войне и мире; напряженным, как струна натянутая, оставаться надо, никакого, так сказать, спуску себе не давать. Я понимаю, конечно, что это не обязательно значит, что, вернувшись домой, я уже ни о чем не буду писать, кроме как «люди, давайте не будем воевать». Конечно, я расскажу, что здесь было, что говорили писатели, слово их здесь очень важным было—слово писателей, которые приехали издалека, всегда как-то вроде бы более весомо звучит...

Как-то я ночью блуждал по улицам Будапешта, чувствуя себя вдруг одиноким, а потом написал рассказ «Приглашение к танцу в полночь». И сегодня подумал, что был он тоже о войне, хотя там и о другом речь идет... Это — комплекс переживаний всего моего поколения, а может быть, и более старшего поколения, и более младшего; по существу, мы жили все эти годы в мире, но настоящего, безмятежного мира еще не было, такого, что приносит полный покой душе. Я знаю, сотни, тысячи, миллионы людей пережили гораздо больше моего, и, конечно, у них это чувство может быть еще острее... Вот почему я считаю, что это — главное, хотя мы говорим и о других делах, и не только говорим — делаем эти дела. Жизнь идет, и прекрасно, что она идет и что в ней так много граней...

Вчера вечером любопытный произошел здесь разговор у нас. Я тут познакомился с американским, индейского происхождения, писателем Скоттом Момадеем. Я слышал о нем раньше, и вот представилась возможность побеседовать. И в это время к нам зашел еще один писатель, очень интересный — Луис Родригеш, приехал он из Португалии — страны, которая заново начинает жить. И вот, понимаете, все трое мы примерно одного поколения, почти одних лет — нам всем по пятьдесят. И оказалось, когда мы начали выяснять, что и в творческой... не манере, конечно, манеры у нас разные — это зависит от тысячи причин, да-

---

же географии,— но в сути, так сказать, в каких-то внутренних своих побуждениях, в том, чего мы ищем в литературе, в том, что мы хотим вложить в литературу,— у нас есть общее, есть то, что нас роднит. И это действительно поразительно. Переводчица, которая нам помогала беседовать, обращалась к двум языкам — я не знаю английского и французского, Момадей не знает французского, Родригеш знает французский, но не знает английского,— того и другого приходилось для меня переводить на русский, а мои слова, сказанные по-русски, переводить на два языка. Несмотря на эту сложность, мы очень интересно обсуждали творческую профессиональную проблему — соотношение элементов романтического и психологического в литературе. Страшно интересная тема, жаль, что никто не записывал. Любопытнейшие вещи мы открывали, бросая взгляд на свои — такие разные — литературы. Правда, скажем, португальскую литературу мы знаем меньше, но с американской-то, слава богу, знакомы неплохо. Особенно интересно было открывать аналогии: Момадею мы рассказывали про Юван Шесталова, первого писателя своей народности — профессионального писателя высокого уровня (Момадей заметил, что народ, имеющий своего писателя, уже не умрет). Мы вспоминали творчество Хемингуэя, Фолкнера, искали аналогии во французской литературе, отличающейся особой трезвостью взгляда,— иначе говоря, расширяли границы лирического, романтического. Момадей сказал, что, по его мнению, Фолкнер — лирик, романтик, писатель, я запротестовал: одержимость страстью, своей идеей — не то же самое, что романтизм. Кто-то из нас сказал, что Достоевского можно назвать лириком, опять пришлось возвращаться к исходным дефинициям... Говорили, говорили, а в конце-то пришли к тому, о чем я детям в пионерлагере рассказывал, понимаете... Пришли к тому, что все явления, которые мы разбирали, все разговоры о них лишь потому возможны, что, в общем-то, хотя в мире все время остается напряженность, хотя мы из-за этого приехали, волнуемся тут, спорим... что, в общем-то, все бы это не имело уже никакого значения, если бы вдруг заговорили пушки... Все предсказания Библии, вместе взятые, не способны дать и отдаленного представления о том, что произошло бы, случись это...

И вот, понимаете... Даже наш чисто профессиональный, интеллектуальный разговор, в котором мы нащупывали возможности друг друга,— все это тоже связано с главным: нет, нет в мире ни проблем, ни цели, которые бы не были связаны с темой нашей встречи в Софии... Ибо случись вот это — заговори пушки, ракеты,— все другие проблемы, сколь сложны бы они ни были, сколь бы они ни были насущны, они все сразу обратились бы в ничто, потеряли бы все свое значение. И чтобы не оказаться перед дилеммой «быть или не быть», мало одних эмоций, приветствий деклараций, мало даже тысячи усилий... Добьемся мы этого только тем, что вовлечем в орбиту решения проблемы мира все тысячи своих нерешенных вопросов...

Помните, мы сидели в зале и слушали речи о заботах литературы — в тонах почти академических, на уровне, понятном французу или американцу, представителю европейских высокоразвитых стран; или, скажем, японцу — у них уже многое лежит в истории, они уже многое прошли, мы тоже многое прошли, мы тоже можем поддержать обсуждение на этом теоретическом уровне, и вдруг встает писатель, даже не далекой нам страны, молодой турецкий писатель, поэт, и так это спокойно заявляет с трибуны, что он живет в стране, где 60% неграмотных. Понимаете? По-моему, это самое прямое, непосредственное отношение имеет к разговору о мире. Потому что пока есть вот такие огромнейшие различия, пока есть такая пелена на глазах у целых народов, действительно, самое первое дело — предпринять все, чтобы снять эту пелену.

А еще, помните, выступал перуанский писатель... Антонио Сиснерос. С какой болью, с какой силой прозвучали его слова о том, что не только для творчества нет условий на его родине, а и для самой жизни — до того она бедна. Вот о каких разных уровнях обсуждения идет речь...

Я как-то по-особому реагировал и на сам, так сказать, внешний облик нашего зала заседаний. В каком-то смысле это было зрелище, на мой взгляд, уникальное. Писатели, каждый из них работает поодиночке. Их труд в какой-то мере отъединяет их от людей, делает в чем-то беспомощными; мне интересно было даже просто посмотреть, как они сидят, как друг на друга глядят, как говорят друг с другом,— это очень интересно, по-моему. И главное, думаешь: мир для Перу — это прежде всего элементарные человеческие условия существования... Мне показалось, что многим именно на этой конференции, хотя тут не только единомышленники собрались, стала ясной эта вот суть. Мне кажется, наши оппоненты на Западе ее не видят, а вернее — не хотят видеть, притворяются, что не видят,— я думаю, и детишки в Варне, если бы я им рассказал о том, что говорил этот перуанский писатель на трибуне, поняли бы сразу, о чем речь. В этом все дело. Правда, есть одно «но». Можем ли мы встать на такую позицию — сначала одеть, накормить всех, постепенно, поочередно решая насущные проблемы, а потом будем говорить о мире. Мой земляк по происхождению, американский писатель Филлип Боноски, цитировал одну американскую газету — рекламное объявление со строками о пальце, который лежит на кнопке атомного оружия. Раз этот палец на этом курке, значит, не можем мы поочередно, постепенно заниматься преодолением трудностей, отложив «на потом» проблемы мира. Мы должны договориться об этих проблемах сейчас. Это вот мы и пытались делать здесь, в Софии. Когда я говорю «мир», то думаю в первую очередь о небе над головой чи-

стом — остальное уж от нас будет зависеть. Хотя у нас и немало трудностей: и мещанин, и хапуга, и бюрократ живучи еще, да мало ли чего еще есть, чего не должно остаться. Но у нас есть основа, слава богу, есть. Другие тоже как-то со своими национальными бедами справятся. А вот ждать-то никому из нас нельзя, не ждет дело мира. Вот почему так неотложно это — договориться о том, как жить в мире, как преодолеть реальные трудности, которые возникают, как отмести специально сооружаемые трудности, которые создаются с коварной целью отвлечь всех нас от главной проблемы.

Специально, так сказать, выдумывают препятствия, специально заостряют... ну, например,— «третья корзина», конечно, с ней много хорошего может быть связано... обмен, контакты, взаимосвязи. Но вот я вспоминаю, как выступал здесь мой давний друг — венгерский писатель Имре Добози, как он говорил о том, что́ Венгрия, такая маленькая, делает для культурного обмена и что Запад делает для ознакомления с культурой Венгрии. Это ведь, знаете, смех просто. Эти все громогласные декларации по поводу того, что якобы социалистические страны против обмена,— они же не выдерживают никакой критики, ничего общего не имеют с действительностью.

Должен вам признаться, я и до Софии знал, конечно, насколько сложны международные проблемы, как трудны они, но слово «мир» мне все же представлялось каким-то более или менее гладким понятием... то есть я ощущал реально, так сказать, верхний слой; зная о многих слоях, я как-то их не связывал, понимаете, не связывал в тугой жгут, в какой сплетены они нитями всей многосложной современности нашей, жизни людей и народов. Не связывал. А сейчас я увидел, понимаете, именно такой узел... И я не смогу уже теперь поверхностно о таких вещах говорить, мимоходом не смогу рассуждать о них. Это — с одной стороны. А с другой — меня обрадовало, что определилась так явственно задача; хоть и очень сложная, но очень важная — можно сказать, задача жизни самой. И раз мы — часть этой жизни, наши клетки должны выделять вот это, эту функцию, эту постоянную, так сказать, озабоченность миром, постоянную нашу готовность к диалогу и налаживанию контактов во имя самого главного. И думать о сотне дел, которые это главное поддерживают в равновесии, в таком согласии, к которому вчера вечером пришли мы — трое очень разных писателей и в чем-то похожих: пока не заговорили пушки (так раньше говорили, правда, сейчас говорят — «пока не заговорили ракеты»), не поздно найти конструктивное решение, не поздно все отладить.

У меня был очень дорогой друг: он был не только моим другом, он был другом многих, многие его знали, но меня с ним связывали двадцать три года такой близости — творческой, духовной, личной, семейной, когда все было, можно сказать, пополам...

В «Дружбе народов» я писал о том, как работал Стасис Красаускас над своим последним произведением — циклом «Вечно живые». И там я вспомнил о том, что как-то полушутя, полусерьезно я однажды заметил: Стасис, у тебя на каждом листе под землей лежит солдат, ну, правда, в вариациях тем, но все же он лежит — на каждом листе. Может быть, ты все же немножко себе упростил задачу? Может быть, на каждом листе надо было все же что-то изменить, хоть немного? И он, который всегда так любил светлые стороны жизни, любил жизнь, как редко кто другой,— он, понимаете, мне сказал,— я это тоже написал, это есть в моих заметках, стоят мои слова, я за них в ответе,— он сказал: «Знаешь, браток,— говорит,— это я сам, это я сам, сам лежу там, сам лежу!» Понимаете, я думаю, подспудно в нем тоже жило то самое, о чем я говорил уже выше — об этой страшной войне. Он тоже пережил это. Правда, я — в начале войны, он — в конце. Среди того, о чем он мне рассказывал, что он пережил, были и такие эпизоды, которые я еще пока не готов воспроизвести, не пришло еще время...

Конечно, эти листы — гипербола, метафора, ассоциация, далекий, так сказать, отблеск. Но ведь если есть отблеск, то и огонь где-то есть или свет, не бывает без этого. Да, вы правы, именно так можно здесь выразиться — пепел Клааса стучит, стучит в сердце...

А с другой стороны, мы знаем, он рисовал прекрасных людей, прекрасных женщин, нагих, и, кстати, ни у кого не возникало никогда ничего, так сказать, дешевого при взгляде на них, ничего. Он отдавал дань прекрасному... Можно вспомнить еще его цикл... В «Стене» Марцинкявичюса—какой там ужас, в этих листах! Этот ужас — война... Кстати, я только сейчас подумал об этом, раньше у меня поэма Марцинкявичюса и иллюстрации Стасиса Красаускаса к ней располагались как-то по отдельности... И от пути одного, и от пути другого Марцинкявичюсу эти мотивы больше вроде бы подходили, но Стасису Красаускасу, рисовавшему такие грандиозные, прекрасные фигуры «Из песни песней», эти тела, сплетенные в объятиях любви, целомудренные при этом?.. Однако в нем это тоже, оказывается, жило и требовало выхода наружу. И это я чувствую во многих писателях — своих сверстниках, да даже у тех, кто моложе меня, и они со страстью пишут,— кажется, уже не о войне, но это подспудно и у них тоже — лежит где-то, лежит кто-то...

СОФИЙСКИЙ ДНЕВНИК

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Пьетро А. Буттита

ИТАЛИЯ

О чем думал я, отправляясь в Софию? Я готов был отправиться хоть к черту на кулички, лишь бы повстречать людей, с которыми можно разговаривать. Иначе говоря, я приехал в Софию, как поехал бы в любое другое место, где есть возможность общаться с порядочными людьми, с которыми можно обменяться мнениями и даже поспорить, если мнения расходятся. Но важно не различие мнений, важно, чтобы люди высказывались, а не пускали в ход палку, не так ли? Мы — писатели, то есть люди, имеющие привычку и потребность оперировать словом. А оперируя словом, мы не можем не понимать друг друга, ведь само наше ремесло, наш труд есть средство коммуникации. Собственно, ежедневно мы все свое время употребляем на то, чтобы сделать совершеннее наше взаимное общение — между собой и между всеми людьми, между различными культурами и разными мировоззрениями, вероисповеданиями, философскими системами. И София предоставила нам для этого очередную возможность. Я лично приехал сюда охотно и, повторяю, поехал бы куда угодно, лишь бы получить возможность встретить коллег, друзей, товарищей, с которыми возможен свободный, открытый, честный разговор...

Как смотрю я на предназначение писателя? Пожалуй, кое-кому из коллег мой взгляд не понравится, ибо идет вразрез с известными декларациями даже некоторых классиков, противоречит давно бытующему в определенных кругах представлению о писателе как некоем избраннике, существе особого рода. Так вот, мне этот тип писателя не по душе. По-моему, писатель — тот, кому удается выявить в себе и в других нечто такое, что было забыто. В древности не существовало явной грани между писателем, философом, врачом, чародеем, ученым, зачастую один человек воплощал в себе все эти качества. Я думаю, что, в сущности, это буржуазия довела до бесконечности «специализацию», в результате которой разделение труда распространилось, согласно образцам, сформулированным буржуазной критикой, и на писательское дело: так возникли писатель, пишущий романы, писатель, пишущий рассказы, писатель — автор стихов и писатель — автор длинных стихов, то есть поэм; есть писатели-эссеисты, писатели такие, писатели сякие... А я думаю, что писатель — это обыкновенный человек, без особых примет, за исключением одной: все свое время он посвящает человековедению, то есть факторам, объясняющим само назначение человека на земле, делающим человека существом особого рода, не похожим на другие живые существа.

Что я хочу этим сказать?.. Я хочу сказать, что нет такой особой разновидности человека — «писатель»; в том смысле, что у писателя те же проблемы, те же потребности, что и у всего рода человеческого. Я хочу сказать: максимум, что может отличать писателя от других людей, это то, что он острее, чем кто бы то ни было, вникает в нужды и потребности, которые испытывает человечество, чтобы выжить на этой земле и продолжать свое поступательное движение. Позвольте мне сказать одну вещь — надеюсь, вы меня правильно поймете: писатель, каждый писатель, если это хороший писатель, работает в области, близко примыкающей к гуманитарной сфере, то есть к той группе дисциплин, которые имеют дело с проблемами личности, ее отношений с обществом. В противном случае писатель лишь понапрасну терял бы время. Как нам с вами известно, великие писатели понапрасну времени не теряли. Возьмем для примера Достоевского и Толстого — один больше углублялся в психологию отдельного человека, другой предпочитал разрабатывать проблему соотношения личности и истории, но что они оба делали? Пытались объяснить нам, помочь нам понять, что означали некоторые вещи в тогдашней России, показать, что означал крах определенного взгляда на личность и что означал крах исторический, иначе говоря, необходимость исторических преобразований в России, сыновьями которой они оба были — сыновьями и одновременно отцами, ибо каждый великий писатель не только порождение культуры своей страны, но и творец ее грядущей культуры. Только так я мыслю себе позицию писателя. Не знаю, можно ли считать великим того писателя, который стоит у окна и смотрит на облака или сидит в четырех стенах и вглядывается в облака, витающие в его собственной голове. В любом случае, это писатель не мой. Мой писатель — тот, кто умеет связать воедино то, что у него в голове, с тем, что он видит на небе, с тем, как на эти «облака» реагируют другие люди. Ну и, конечно, вряд ли кому-нибудь из нас хочется выступать самому перед собой — если писателю есть что сказать, он говорит с расчетом на то, что его выслушают, что его слушают. Каждому из нас хочется, чтобы вселенная становилась все шире и шире; вот почему я беру на себя смелость утверждать, что писатель по натуре своей — человек мирный. Когда царит мир, можно говорить с большим количеством людей, во время войны не разговаривают, во время войны пускают в ход палку...

Итак, единственное, что нас отличает,—

это то, что мы люди, оперирующие словом; следовательно, мы — люди мира, люди, корнями своими уходящие в самую глубинную толщу мира. Недаром говорится в Священном писании: «Вначале было слово». Слово! Сначала — божье, а потом и человеческое. Мы не знаем, как произошел этот переход от бога к людям. Мы хорошо знаем лишь одно: в слове заключено величайшее могущество, слово — это важнейший ключ, с помощью которого открываются все двери мира. Совсем другое дело — палка, ею причиняют боль, ею наносят ущерб, палкой наносят человечеству вред. Стало быть, у писателя — огромные возможности. Повторяю, не что-то такое, что отличает его от других людей, а просто огромные возможности: способность использовать слово чаще, чем другие, и лучше, чем другие. И еще одно хочу сказать: оперируя словом больше других и лучше других, писатель делает и еще нечто — он добивается, чтобы и остальные овладевали словом. Может быть, он рубит сук, на котором сидит? Нет, это обманчивое впечатление: писатель сознательно содействует постоянному расширению связей, углублению взаимопонимания, росту могущества слова в мире. Ведь чем прочнее будет могущество слова, тем человечество станет счастливее, не правда ли? Не знаю, настанет ли такой день, когда люди будут поистине счастливы, но я знаю твердо, что счастье людям необходимо...

Как я оцениваю нашу международную встречу? На мой взгляд, эта конференция в Софии очень полезна. Я встретил здесь много друзей, с кем-то из них я встречался всякий раз, когда нам надо было собраться всем вместе, причем цель наших встреч, по сути, была всегда одна и та же: совместно выработать единую волю, единое желание. В чем его суть? Мы не хотим, чтобы победили силы войны. Вот почему так важна эта наша встреча в Софии. Сегодня, в обстановке, когда надо всеми нами, судя по всему, нависает новая угроза миру, взаимопониманию, разрядке, важно, что столь многочисленная группа писателей встретилась в столице небольшого государства, что столько писателей приехали, чтобы возвысить свой голос, громко сказать: «Мы не желаем терпеть, чтобы человечество жило под дамокловым мечом, мы — часть человечества, и мы не хотим, чтобы нашей жизни, жизни людей, грозило уничтожение». Вот для чего мы собрались в Софии — в данный момент, на мой взгляд, это было просто необходимо. Это не значит, что после конференции мы перестанем встречаться, напротив, мы должны постоянно изыскивать возможности и поводы для все новых и новых встреч...

РЕПЛИКА ТЕОРЕТИКА

Ян Штевчек
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Ответить на ваш вопрос о том, с какими мыслями приехал я в Софию, мне легче в плане почти теоретическом — ведь сам я литературовед, профессор Братиславского университета, к тому же проблема «писатель и мир» интересует меня уже давно.

Начнем с того, что дает право писателю компетентно высказываться по таким важным вопросам... Попробуем существо проблемы представить в трех аспектах — эстетическом, моральном, общественном. Каждое значительное художественное произведение — это чудо творческого гения человека, это дар человечеству, это нечто столь ценное и редкое, что мы прежде всего должны ценить как таковое. Что оно несет с собою читателю? Представление художника о мире, которое он желает внушить читателю, расширяя, обогащая, облагораживая его отношение к действительности.

Разумеется, писателя нет, он не существует вне произведения, вне конкретного, единственного, неповторимого художественного мира, который он создал. При этом беру на себя смелость утверждать, что писатель каким-то образом — именно своей личностью — как бы дает гарантию на этот художественный мир. Сама личность писателя находит отражение в его произведении даже тогда, когда он как будто бы в нем не присутствует. Более того, я предложил бы парадокс: иногда присутствие писателя как личности значительно ощутимее именно в том случае, когда он сам не говорит о себе, стремясь лишь создать определенное представление о мире, определенный образ мира. Но если это так, если писатель — не только созидатель эстетических ценностей, но и личность, с эстетической, моральной стороны гарантирующая подлинность, правдивость и аутентичность своего художественного мира, то это значит, что он имеет не только право, но и обязанность — и не только в художественном произведении — высказывать суждения по вопросам, которые интересуют читателей. Другими словами, мы можем сказать, что хотя мир художественного творчества, художественного произведения — это мир эстетический, он становится миром моральным в тот самый момент, когда мы начинаем принимать во внимание личность писателя. Следовательно, граница эстетического передвигается здесь в направлении моральной сферы... Кроме эстетической и моральной сферы, активность писателя про-

является еще в одной области: я бы назвал ее областью общественной практики.

Конференция в Софии — не что иное, как сфера приложения этого третьего типа активности писателя. Мы знаем, правда, встречаются и такие писатели, которые не только ограничивают сферу творческих интересов областью «чистой морали», считая при этом возможным критиковать тех своих коллег, для которых долг, а то и насущная потребность — участие в общественной жизни, позиция борца. Критикуют их чаще всего с позиций не общественной практики, а абстрактной морали. Конкретный пример? Ну, хотя бы рассуждения — абстрактные рассуждения — по поводу таких проблем, как свобода творчества, свобода писательской личности применительно к Чехословакии. Бесспорно, каждый значительный писатель, писатель-творец, имеет право ставить такие вопросы. Но мне представляется не совсем логичной и последовательной позиция тех литераторов, которые, сами замыкаясь в «искусстве для искусства» или в сфере схоластически трактуемых моральных проблем, осуждают писателей, занятых социально значимыми проблемами и деятельностью. Я считаю, что писатель — существо общественное и в этой своей ипостаси должен быть по меньшей мере последовательным и логичным.

Следующий ваш вопрос — в чем вижу я специфику нынешнего этапа писательского участия в борьбе за мир.

Тема «писатель и мир», понятно, не нова. Не нова и тема «писатель и конгресс в защиту мира». Конгрессы такого рода известны истории. Однако сегодня, в 70-е годы XX века, ситуация качественно новая, иная: вопросы мира теперь уже не носят локальный, ограниченный характер, они касаются фактически всего мира. То есть говорить на тему «мир и будущее» — значит говорить на тему о будущем в с е г о мира, в с е г о населения планеты. Вот почему возникает необходимость собрать вместе писателей, стоящих на различных эстетических, моральных и идеологических, политических позициях, объединить на базе общей для всех писателей без исключения ответственности за судьбы человечества.

Можем ли мы на этом основании говорить, что борьба идей, которая находит воплощение в литературе, прекратилась или перестала быть острой? Наоборот, справедливее было бы другое положение: в той мере, в какой проблема мира становится всеобщей, в такой же степени возрастает ее драматизм. Потому так обостряются, в частности, идеологические нападки на социалистический мир. Возьмите хотя бы то, что наговорено на Западе за последний год о положении писателя в Чехословацкой Социалистической Республике... Например, говорят о том, что в Чехословакии некоторые писатели якобы не могут писать. И вот тут я хотел бы внести ясность в основной вопрос: а существует ли в Западной Европе, да и в капиталистическом мире вообще хоть одно государство, которое потерпело бы, чтобы активность писателя или какого-либо любого деятеля культуры представляла опасность для политического режима этого государства? И можно ли рассуждать о свободе писателя, игнорируя этот факт?

Возможны ли заключения о свободе самовыражения того или иного писателя, отвлеченные от контекста, позволяющего судить, будет ли он помогать силам, реально отвечающим за судьбы мира и прогресса, или он будет им препятствовать? Если я сказал, что это ситуация качественно новая—и для писателей моей страны, например, достаточно драматичная,— то эти, отнюдь не риторические, вопросы тому подтверждение. Их можно поставить и по-другому: кто и что дает право западным критикам осуждать современного чехословацкого писателя за то, что он выражает свое позитивное отношение к тем политическим реальностям, которые в современной Чехословакии имеют место? На каком основании позволяют они себе морально дискредитировать такого писателя — даже и с позиции так называемой свободы творчества?

Вы спрашиваете, могу ли я привести примеры постепенного обретения ясности в этих вопросах теми, кто некогда заблуждался? Могу. Я лично знаю нескольких писателей, у которых уже сравнительно долгое время наблюдаю процесс установления некой гармонии между тремя факторами, о которых я здесь говорил.

Скажем, есть два-три значительных словацких прозаика, драматурга, которые в сфере идеологической какое-то время не находили верного пути или ошибались, но их личные моральные качества — гражданская честность, размышления об истинном смысле своей миссии писателя — в конце концов внутренне привели их к осознанию того, что путь к творческому успеху, к читателю, к пониманию и признанию неотделим от фактора восприятия аудиторией направления и смысла общественной деятельности, общественного лица писателя. Наблюдать в непосредственной близости этот внутренний процесс во всей его сложности чрезвычайно интересно и чрезвычайно поучительно, потому что это связано и с теми общими вопросами, о которых мы с вами только что говорили. Должен сказать, что большая часть талантливых писателей Чехословакии пришла к позиции, позволяющей им воспринимать мир не только на уровне своего творчества, но на уровне, значительно более широком. Согласитесь, что один этот факт опровергает ложные априорные истолкования, а иной раз и простую неосведомленность о конкретной литературной ситуации в Чехословакии, об идейной ситуации в литературе Чехословацкой Социалистической Республики.

Я двадцать пять лет профессионально занимаюсь словацкой (и шире — чехословацкой) литературой, слежу за ее развитием как критик. Мне кажется, я понимаю внутренний смысл, логику словацкой современ-

ной литературы, литературы Чехословакии вообще; я хорошо знаю многие книги, которые анализировал, что называется, профессионально, знаю, понятно, и многих творцов этих произведений, многих писателей. И если мы, отвечая на ваш вопрос о динамике наших процессов, обратимся к панораме словацкой и чешской литератур современных, сравнивая с тем, что было несколько лет назад, то увидим,— а это первый признак здорового развития,— что, будучи цельной, единой, она сейчас гораздо богаче дифференцирована внутренне, являет собой прямую противоположность тому, что мы недавно называли схематизмом. Это значит, что писатель, его личность получают адекватное выражение, что в полной мере проявляется его неповторимость, индивидуальность стиля.

Какие дискуссии ведутся в нашей критике в последнее время? Необычайно живые, и не столько вокруг общих эстетических проблем, сколько по поводу интересных конкретных произведений, как, скажем, о романе Яна Йоната «Одиннадцатая заповедь». Не только литературные критики, но и читатели, и широкая культурная общественность проявили интерес к этой книге. Что они искали в ней? Прежде всего — самих себя, хотя это роман исторический. Но вы ведь понимаете, хороший исторический роман не «умещается» строго в прошлом, прошлое часто позволяет более пластично увидеть современные события. В романе Йоната это тем более интересно, что его тема вроде бы возвращает нас к романам пятидесятых годов, которые мы условно называли схематичными. Йонаш попытался обновить тему перехода деревни к социалистическому хозяйствованию. Значительно больше внимания уделено тут сфере интимных чувств, личных отношений. Иногда даже чрезмерно много, и именно об этом велась дискуссия: соответствуют ли эпические характеры, которые есть в романе, эпохе, с одной стороны, и современному образу мыслей людей — с другой. Особенно интересными были мнения читателей, и это вполне понятно, поскольку образованный читатель смотрит на произведение без некоторой нашей профессиональной предвзятости, а воздействие на жизнь, восприятие, отклик на книгу иногда способен оценить и понять более тонко и верно, чем критики. Я не хочу хулить свою профессию, хочу лишь в должной мере оценить потенциал читателя. Ибо, скажем, у нас в Чехословакии — и это уже давно — мы имеем дело с очень развитым, серьезным читателем, и такой читатель — самый верный критерий подлинной ценности художественного творчества...

Ваш следующий вопрос я понимаю так: почему в мире, в котором мы живем, не только писатели пишут, но и читатели читают произведения — романы или исторические драмы,— которые так или иначе касаются войны? На первый взгляд это парадокс. Но его легко объяснить. В литературе о войне выпуклее всего предстает драматизм ситуации, напряжение всех сил человека, рискующего жизнью. Например, в Чехословакии—и особенно в Словакии— очень популярна и снова и снова издается повесть Бондарева «Батальоны просят огня». Я знаю из собственного опыта, из практики работы со студентами в университете, что эта повесть вызывает у многих читателей просто потрясение, прежде всего у тех, которые сами не пережили войну. Это молодые люди, которые родились после второй мировой войны. Рядом назову такую вещь, как роман словацкого прозаика Винцента Шикулы «Мастера». Тут писатель, который не пережил войны, возвращается к проблематике войны. Проблематика войны в романах — это широкая и комплексная картина жизни, она, собственно, диктуется обостренным стремлением людей к миру, ведь, в конечном счете, романы о войне — не что иное, как катарсис, повторное переживание трудностей и мук, страданий войны, освобождение от этих чувств. Следовательно, как ни парадоксально, роман о войне — это роман о мире, в глубинном смысле этого слова, если не фетишизировать тему.

Попробуем поставить вопрос: что дает основание — как писателю, так и современному думающему, эмоциональному читателю,— дать и получить возможность взглянуть на судьбы мира, на картины, изображенные в романе, новыми глазами? Мы должны будем констатировать, что за такими серьезными произведениями, как повесть Бондарева, как роман нашего Шикулы, скрывается основная мысль о человеке, который мечтает жить нормальной жизнью. Правда, это вовсе не означает жизнь без проблем. Если мы будем понимать мирную жизнь, мир как отсутствие проблем, считать, что мир — значит жить менее драматично, менее интенсивно, это будет ошибкой. Я считаю, что человек современного мира, нашего времени, а равным образом и писатель, сознательно или подсознательно руководствуется инстинктом или идеей мира, которая гарантирует ему нормальный расцвет личности, точнее сказать — ей лишь присущего, индивидуального понимания и восприятия мира.

И наконец отвечу на ваше пожелание услышать несколько слов в связи с приближающейся торжественной датой — 60-летием Октября.

Для словацких писателей, да и не только для словацких, главным сегодня является вопрос: находит ли писатель в мире моральную основу для веры в будущее человечества? Мне кажется, что такой глубокой моральной основой в современном мире являются те необыкновенно живые идеи, которые мы ощущаем как очень современные—я говорю об идеях, родившихся фактически шесть десятилетий назад. Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года означала для России того време-

---

СОФИЙСКИЙ ДНЕВНИК

ни идейный и моральный поворот — не только для писателей или, скажем, для той культурной среды, о которой я говорю, но и создала принципиально новую ситуацию в мире вообще, потому что выработала новый ключ, новые критерии для оценки этого самого тонкого, самого человеческого, самого личного вопроса об основе для надежд. Сегодня идеи Великой Октябрьской социалистической революции в жизни людей ощущаются не как нечто прекрасное и возвышенное, но привнесенное извне, существующее вне их жизни; это идеи, которые органично вошли в их жизнь. Можно было бы сказать, опять-таки обратившись к парадоксу, что Великим Октябрем живут и те люди, которые этого не осознают в достаточной мере, ибо, в конечном счете, Великая Октябрьская социалистическая революция в переводе на современный язык означает одно — мирную жизнь.

НА ТОМ СТОЮ...

Тибор Череш

ВЕНГРИЯ

Как человек, принимавший участие во второй мировой войне, принимавший в ней участие в качестве солдата, я утверждаю и готов вновь и вновь настаивать — и в своих книгах и в выступлениях — на одном и том же: не должны повториться те ужасы, которые стали судьбой народов во время второй мировой войны. Нет другой цели борьбы, столь же неотложной и важной, как предотвратить войну; каковы бы ни были обстоятельства — мы должны ее предотвратить во что бы то ни стало. Нынешняя встреча здесь, в Софии,— одна из возможностей этого оборонительного наступления; с такой мыслью принимает участие в этой конференции делегация венгерских писателей.

Что я думаю об ответственности писателя в вопросах войны и мира? Ответственность писателя подразумевается самим его призванием, его совестью. Она должна заявлять о себе в каждом его произведении — и в том, в котором речь идет как будто не о великих вопросах судеб человечества, не только о войне и мире, а и о повседневных моментах человеческого бытия, обычных человеческих чувствах. Они тоже должны содержать уверенность, которую писатель внушает миру: от нас зависит отстоять будущее, доброе будущее, в котором сбываются надежды. Ответственность писателя в том, чтобы внушить людям веру в эту возможность. Если его книги служат этому — значит, он выполняет свой долг.

Недаром утверждает старая пословица— «когда говорят пушки, музы молчат». Только мир позволяет писателю осуществлять свое предназначение — открывать нечто жизненно необходимое для своего читателя, помогать протягивать рвущиеся нити духовных связей между народами, способствовать утверждению духа согласия и взаимопонимания на земле. Разве не об этом в глубине души мечтает каждый писатель— неважно, высказывает ли оч эту мечту в словах или подразумевает в подтексте? Как и другие участники нашей встречи, я тоже считаю, что положение в мире сегодня далеко не так благополучно, как нам хотелось бы этого. Миру и сегодня грозят немалые опасности — иначе говоря, опасность грозит всему земному шару. Однако никакое самое эффективное оружие, никакие самые мощные средства уничтожения, которые изобретаются сегодня, не должны позволить нам сложить руки. Несмотря на все коварство сил агрессии, мы должны верить в то, что войну, возможность которой чуть ли не ежедневно витает над нашими головами, можно и должно предотвратить.

...С советским народом я впервые встретился в книгах, и на основании прочитанных мною книг советский народ, русский народ расположил меня к себе еще до войны. В войну на неправой стороне, против Советского Союза, бросили меня правители, но ни я, ни мои товарищи не испытывали ненависти к советским людям. После войны я несколько раз бывал в Советском Союзе в качестве гостя и встретился с гостеприимством народа, много выстрадавшего, но уверенно глядящего в будущее, созидающего его собственными руками. Наблюдать это было необыкновенно радостно.

Что хотел бы сказать я в связи с юбилеем Великой Октябрьской социалистической революции? Для нас, венгров, значение революции обрело плоть уже в 1919 году, когда в Венгрии, пусть на короткое время, но осуществился первый шаг к социализму — пролетарская революция. Хотя державы Антанты подавили ее, память о ней не исчезла, и когда сегодня мы вспоминаем о ней, то мы, венгры, обращаем свою мысль сразу к двум датам — 1917 году и 1919-му, две эти даты неразрывны в нашем представлении — без них не осмыслить и результатов социалистической революции, неотделимых для нас от идей мира во всем мире, от надежд увидеть осуществленными в рамках социалистического содружества наций самые высокие стремления и чаяния венгерского народа.

ФОРМУЛА ОБВИНЕНИЯ, ФОРМУЛА ДОВЕРИЯ

Альфредо Гравина

УРУГВАЙ

Вы спрашиваете, какие моменты нашей софийской встречи показались мне наиболее существенными, что более всего взволновало лично меня.

Всякий раз, когда собираются люди доброй воли, чтобы сказать свое слово о мире,— это событие. К выводам и соглашениям, к которым они приходят, прислушиваются на всех континентах. Что же говорить о созыве такого грандиозного международного писательского совещания? Я уверен, что значение и пользу его для дела строительства прочного мира трудно преувеличить. Разрядка жизненно необходима, необходимо покончить с гонкой вооружений — в этом мы все придерживаемся одного мнения, и наша конференция — убедительное тому свидетельство. Для меня самыми волнующими моментами нашей встречи были те, когда писатели, представители различных стран, отчетливо заявляли, что главный враг мира — в их собственных странах, таких как, например, Кипр, Турция,— империализм, вмешивающийся в дела других стран, не останавливающийся перед организацией военных переворотов. Когда писатели говорили об этом, я понимал, что речь идет о том, что и для нас, латиноамериканцев, более всего насущно.

Я думаю, что не только меня, но и других моих коллег взволновало то, что мы знали и прежде, разумеется, но что прозвучало здесь с особой отчетливостью и резкостью: что, например, между турецким народом, народом Кипра и греческим народом н е т противостояния и н е т проблем, кроме тех, которые навязываются им империалистическими силами, в частности североамериканским империализмом и теми империалистическими силами, которые владычествуют в Западной Европе. Писатели этих стран подчеркивали, что у их народов нет недоброжелательства друг к другу, нет ненависти, нет ничего похожего на эти чувства, которые навязываются им извне, подогреваются извне всеми возможными и невозможными способами с целью разобщить народы этих стран, натравить друг на друга. Но писатели верят, что эти трудности будут преодолены самими народами, они верят в чувство солидарности, в братскую помощь Советского Союза, других социалистических стран, которые всегда служат опорой в борьбе за идеалы справедливости. Все это я воспринимал так, как будто речь шла и о моей личной судьбе, и о судьбе народов моего континента. Я вспоминал о разобщенности, которая существует между нациями в Латинской Америке, о войнах между Перу и Боливией, спровоцированных империалистическими нефтяными компаниями, о войнах за передел границ, всегда вызывавшихся интересами империалистических держав. И сейчас, когда какие-то наши страны еще живут в изоляции от остального мира, это происходит не потому, что народы их не хотят познакомиться с жизнью и обычаями других народов, не ценят достоинств их культуры, не стремятся к контактам, но потому, что иностранные монополии, национальные и иностранные империалистические круги, осуществляя политическое давление в собственных корыстных интересах чинят препятствия, постоянно ставят преграды великому стремлению народов к взаимному познанию, к миру, любви,— другими словами, стремлению народов нашего континента обогатить себя и, в свою очередь, внести свой вклад в цивилизацию человечества. Вот какие мысли волновали меня на этой встрече писателей мира.

Вы хотите услышать более подробные суждения о Советской стране... Сейчас, в канун юбилея Октября, я скажу о том, что давно известно, но, думаю, повторять это необходимо: Советское государство с самого своего рождения стоит за мир и борется за мир, это неизменный фактор его политики. Даже в самые суровые и трудные моменты холодной войны, когда она грозила превратиться в доподлинную войну, Советский Союз придерживался своей линии — сохранить мир, укрепить мир, с тем чтобы в будущем прийти к согласию между нациями... Сосуществование, мирное сосуществование капиталистической и социалистической систем возможно — это, как мы знаем, одно из теоретических положений ленинизма. И на практике это теоретическое положение, как мы видим, сбывается. Разумеется, трудности очень велики, потому что существуют могущественные силы, которые противятся миру, прежде всего — крупные международные компании, наживающиеся на производстве вооружения. Но правда состоит в том, что эта твердая, последовательная политика, отвечающая самым сокровенным чаяниям не только советского народа и народов социалистических стран, но и народов всего мира, эта политика с каждым днем приобретает все более широкое признание.

Я убежден, что гуманизм советских идей так или иначе ощущают все люди, населяющие Землю. И мы, с давних пор следившие за политикой Советского Союза, и те, кто только сейчас знакомится с ней, понимаем, что Советский Союз для всех нас — опора, надежда, гарантия мира. Мира, о котором все мы мечтаем: мира без войн, мира прочного, справедливого, свободного, где каждый человек прежде всего будет иметь хлеб и кров,— а без этого чего стоят все разговоры о свободе?

СОФИЙСКИЙ ДНЕВНИК

Я уверен, что повсюду в мире, даже там, где правят режимы чуждые, противоположные советскому строю, есть люди — многие из них пока вынуждены жить и работать в подполье,— которые встретят 60-ю годовщину Октябрьской революции как праздник, как историческое событие в жизни всего человечества...

Что же касается Болгарии — народа и земли, к которым вы возвращаете вашим вопросом мои мысли... я встретил тут своих старых друзей, за это короткое время подружился — и никогда не забуду их — с новыми друзьями... Одни говорят по-испански, с другими я говорил по-французски или с помощью переводчика. Говорили на самые разные темы — о литературе, о мире... Я воскресил свою давнюю любовь к болгарской литературе, к тому, что я знаю из этой литературы в переводах на испанский или французский язык. К старым впечатлениям добавились новые: открытое и сердечное чувство товарищества, которым окружили меня болгарские писатели, да и не только меня, как я вижу — решительно всех гостей писательской встречи. И это тоже не переставало волновать, согревало душу...

3. ОПЫТ СОБСТВЕННЫЙ, ОПЫТ ОБЩИЙ

ВЗАИМНО, КАК ПОЦЕЛУЙ

Джон Чивер

США

Для меня было очень большой радостью и честью получить приглашение Союза писателей Болгарии приехать в Софию. Я очень люблю общаться с писателями и всегда рад, когда удается побеседовать с ними — будь то дома, в Америке, или в зарубежных поездках. Правда, у нас с условиями для такого общения дело обстоит неважно: у нас ведь нет специальных клубов, кафе или союзов писателей — поэтому, чтобы побеседовать со своими коллегами, приходится отправляться в другие края.

Союз болгарских писателей выказал, на мой взгляд, немало смелости и изобретательности, собрав в Софию со всех концов света сто пятьдесят писателей, чтобы обсудить проблемы мира на земле.

Что может зависеть от писателя? Признаюсь, я не слишком искушен в политике, ведь я пишу романы, а такое занятие, по-моему, едва ли оснащает человека тем, что необходимо для участия в политике. Не так-то просто бывает определить, какова та мера политической ответственности, которую вправе взять на себя романист.

Упрочению мира писатель, как мне представляется, может способствовать, укрепляя у своих читателей ощущение независимости, надежности, уверенности в себе. Вероятно, когда роман или рассказ по-настоящему удался, он дарит читателю чувство обновления, возрождает в нем мужество, вселяет в него чувство умиротворенности, чувство собственного достоинства. Это главное. В общем, если и есть такая социальная проблема, к которой я субъективно ощущаю свою кровную причастность, то это, конечно, проблема войны и мира. А в остальном, повторяю, меру социальной ответственности, которая ложится на литературу, определить, по-моему, весьма и весьма нелегко. Другое дело — война, тут мы знаем твердо, как никто не знал до нас: война повлекла бы за собою гибель нашей планеты.

Моя страна никогда не была оккупирована, ее никогда не бомбили, в отличие от большинства европейских стран, она никогда не видела зверств на своей земле, так что, в известном смысле,— впрочем, не «в известном смысле», а просто по сути дела,— мы вовсе не испытали на себе, что это значит, когда чудовищно жестокая сила войны обрушивается прямо на твой дом, на твою семью. И тем не менее для меня, как писателя, в социальном плане возможна, я уверен, лишь одна твердая позиция: и эта позиция — отвращение к войне.

...В Советский Союз я прилетел первый раз лет десять-одиннадцать тому назад и, кажется, не успел ступить на землю, как услышал с разных сторон: «Чивер!» Меня это просто потрясло —ничего подобного я в жизни не испытывал, а ведь я был уже не молод, мне было в то время за пятьдесят! Это было чувство любви, симпатии к себе, которые я всегда встречаю в России, ощущение доверия, теплоты. Пожалуй, это было моим первым впечатлением от России.

Мне очень понравились писатели, с которыми я беседовал, понравились встречные, с которыми довелось говорить на улице. Русские — в числе тех, кого я отношу к самым близким и дорогим своим друзьям.

Кого я знаю из советских писателей? Мой добрый старый друг — Евтушенко. Он пишет стихи, можно сказать, созданные для перевода и доступные читателям в самых разных уголках Земли. По-моему, его книга «Яблоко», где он любовь сравнивает с ароматом украденных яблок,— просто превосходна... Андрей Вознесенский тоже мой близкий друг, на мой взгляд, это выдающийся поэт. Я хорошо знаком с Беллой Ахмадулиной, недавно мы с ней виделись в Соединенных Штатах. Я радуюсь каждой встрече с такими русскими писателями, как Аксенов, Симонов, Юрий Казаков,— правда, когда я последний раз был в России, его мне, к сожалению, не удалось

увидеть. Вашу литературу я нахожу полной жизненных сил, такой же растущей, как ваш народ.

Что бы я мог сказать в связи с вашим приближающимся юбилеем? Вот уже более полувека, как вы, русские, совершили революцию и сумели отстоять ее завоевания — я могу лишь поздравить вас с этим...

Вы спрашиваете, с какими мыслями я отправился в это путешествие. Конечно, они были связаны с тем, что я сейчас пишу: писатель, поэт всегда думает прежде всего о том, над чем работает. Я только закончил роман — всего полгода, если не меньше, как он вышел в Америке, и сейчас собираюсь сесть за новый... О чем он? Нет, пока я не поставил точку, не могу — не мог никогда — рассказывать о книге. Вероятно, отчасти это суеверие — страх, что, если начнешь говорить, может не выйти, как задумано, во всяком случае, пока я над чем-то работал, никогда не мог говорить об этом... Сколько времени уходит на книгу? Видите ли, обычно я пишу роман за четыре года, а вот на этот, последний, не ушло даже одного. Жене и детям за это время пришлось набраться терпения — в домашней жизни я все это время почти не участвовал: зимою ходил на лыжах, летом плавал, а так весь год только сидел над книгой — и больше ничего. Ужасно, невероятно волновался, когда кончил ее: в Соединенных Штатах она пользуется огромным успехом, во всех странах собираются переводить. Конечно, меня это радует — и не из-за славы или денег,— радует сознание, что в разных концах света живут люди, которым важно услышать, что скажет им про свою жизнь, про мир, каким он его видит, серьезный и полный тревоги человек... Читатель, я убежден, не менее важен для писателя, чем писатель — для того, кто его читает. Мне кажется, что когда вещь удалась, тот и другой сливаются в ней, как в поцелуе...

Главный предмет, главное содержание написанного мною? Пожалуй, все мои книги — все рассказы и романы — прежде всего о некоем ощущении разобщенности и в то же время о духовной, а случается, что и о физической способности человека эту разобщенность преодолеть, торжествовать над нею победу. Думаю, что больше всего мне, быть может, удалось передать это в последнем романе, о котором я вам говорил: действие его происходит в тюрьме, из которой главный герой совершает побег на волю...

Вы спрашиваете о романе «Буллет-парк», который знают советские читатели, о том, что меня побудило его написать. Если говорить о побуждении, то с этой книгой дело обстояло так же, как с другими. Откуда-то приходит настоятельная потребность во что бы то ни стало рассказать безвестному читателю,— а у нас в Америке действительно совершенно не представляешь себе, что за люди твои читатели,— что ты знаешь и думаешь о жизни. Присутствует ли в романе доля автобиографического? Мне кажется, что в художественном произведении элемент автобиографический играет роль, очень схожую с той, какую играет в сновидениях действительность. Вам снится, будто вы на корабле, которого никогда в жизни не видели, мимо проплывают неведомые берега, зато рядом стоит не кто иной, как ваша жена, и одеты вы тоже во все свое, привычное,— то ли подсознательное, то ли еще не познанное смешение воображаемого и подлинного...

Роман повествует о двух мужчинах, чьи имена сопряжены друг с другом, как, предположим, слово «молоток» со словом «гвоздь», и о любви одного из них к своему сыну. По замыслу этот роман — как, надеюсь, и все, что мне, в меру моих скромных возможностей, удалось написать,— призван воспеть силу любви. Кроме того, в нем рассказано, как второй из героев хочет убить юношу.

Завершение у книги самое библейское. Злодей повержен в тот самый миг, когда пытается сжечь отрока на церковном алтаре, а отец с сыном удаляются под заключительные слова романа «по счастью, по счастью, по счастью». Кстати, восприняты в моей стране они были как чистой воды ирония, хотя не скажу, чтобы я вложил в них одну лишь иронию. Согласен, не о безоблачном счастье я вел тут речь, и, однако, не все здесь ирония.

В моей стране — вернее, не в стране, конечно, а в английском языке — самое трудное, пожалуй, изъясняться в приподнятом стиле, говорить о возвышенном. Кажется, у меня это получилось в последнем романе, который завершают слова «возрадуемся, возрадуемся, возрадуемся», а не трижды повторенное «по счастью»...

Вы спрашиваете, что для меня самое трудное в работе? Видите ли, способность писать есть, как мне кажется, особое свойство мозга, своего рода творческая сила, присущая мозгу и еще не познанная. Писать — мое любимое занятие, я не задумываюсь над тем, трудно ли это. В моих глазах это один из видов полезной деятельности, та область, в которой я способен приносить наибольшую пользу.

Что я думаю о поиске в области формы? У нас в английском в ходу слово «novel», не знаю, какое соответствие находят ему в русском. В Европе всякий вид художественной прозы поныне именуют «romance». Естественно, что английское «novel» непременно предполагает нечто новое либо в смысле поисков новой формы, либо — что, надеюсь, окажется справедливым по отношению к моему новому роману — в смысле общей нешаблонности, несхожести с привычным.

И еще одно я хотел бы сказать вам в связи с тем, что вы коснулись вопроса о языке, попыток вдохнуть новый смысл в слова, стертые от частого употребления. В том-то, мне думается, и состоит, помимо всего прочего, подлинное величие литера-

---

туры, что она говорит на традиционном, общепринятом языке — о сердечной боли, например, точно теми же словами, какими пользуются, покупая билеты на самолет.

Ведь что мы, литераторы, в сущности, делаем? Ведем разговор, обращаем наши слова к другим мужчинам и женщинам, которых связывает с нами общность опыта, накопленного в течение поколений. Потому-то, мне кажется, и сумела литература столь удивительным образом войти в самую плоть повседневной жизни, что мы, в отличие от художников и музыкантов, не позволяем себе безоглядно поддаваться искушениям какой-нибудь диатонической гаммы или сюрреалистических приемов. Мы обязаны считаться с языковыми традициями. Ведь когда, все равно на каком языке, мы говорим поутру: «Здравствуйте!» — это нельзя назвать пожеланием, это скорее некая «заклинательная» формула, некий звук, которым чужие люди обмениваются при встрече, как бы просто в подтверждение того, что дышат одним воздухом, ступают по одной земле, делят друг с другом это утро и так далее. Эти «заклинательные» свойства языка я нахожу в высшей степени любопытными. Есть у нас в Соединенных Штатах писатели, которых особенно занимает эта языковая магия, писатели, которым кажется, что стоит лишь оседлать фразу — и она унесет нас за пределы того, что мы хотели сказать. Однако чрезмерное увлечение фразой подобно жонглированию, и тогда — прощай, книга! Так я думаю и на том стою. Умение строить фразу — основа основ для писателя, но я считаю, что фраза — не самоцель, ею нужно пользоваться к месту, а не ставить ее в литературе во главу угла. Такова, по крайней мере, моя нынешняя точка зрения. Фраза, как таковая, для меня — не венец творения — не более, чем любопытная задачка...

Как на меня влияет время? Я льщу себя мыслью, что время прибавило мне зрелости, а впрочем, пожалуй, самому об этом судить трудно. Движение времени я ощущаю, главным образом видя, как растут мои дети. Растут деревья, подрастают дети, меняются места вокруг загородного дома, в котором я поселился лет двадцать пять тому назад, в котором прожил большею частью минувшие с той поры годы и в котором живу по сей день. Самого же себя я, по сути дела, не воспринимаю как составную в потоке времени, быть может, это как раз свидетельство моей незрелости? Я не воспринимаю себя как данность во временных пределах «от» и «до»...

Кто из писателей особенно дорог? Этот вопрос мне задают часто, и ответить на него я могу лишь одно: перечень писателей, которых я ценю — реже люблю,— включил бы в себя тысячу имен, и это самое малое... Кстати, неверно было бы, на мой взгляд, говорить, что кто-то добился успеха в литературе. Можно просто сказать, что кто-то внес в нее свой вклад, приумножил необъятное литературное наследие, созданное человеком с тех пор, как он появился на Земле. Но я все возвращаюсь про себя к вашему вопросу о времени. Пожалуй, точнее всего сказать, что оно является мне в том же образе, что и Бергсону,— поток, который мчится то тише, то быстрей, петляет, и не всегда заметишь его извивы простым глазом. Да, время мыслится мне потоком, быстротекущим потоком воды... Что же касается миссии писателя, она ясна: по мере сил бороться за то, чтобы из хаоса возникала гармония...

Что приносило огорчения, что радовало? Боль не оставляет четкой памяти в моем сознании — да и много ли найдется таких, с кем дело обстоит иначе. Если мне что-то причиняет острую боль, я склонен забыть об этом. Зато очень ясно помню моменты счастья! Иначе говоря, любая попытка воссоздать задним числом минуты боли или счастья приведет к существенным искажениям. И это опять возвращает нас с вами к тому же образу: поток, быстротекущие воды... А меня расковывает — я начинаю говорить свободно. Дело в том, что я американский писатель, но к тому же и уроженец Новой Англии. Мои родные места — северо-восток Соединенных Штатов, та часть Нового Света, на которой в XVII веке обосновались англичане, к той давней поре, как известно, восходит наша традиция — скупость на слова, немногословие, доходящее до формализма. Окончательно преодолеть это обыкновенно не удается, хотя как писатель я, конечно же, стремлюсь к этому. Я неизбежно говорю под диктовку своих хромосом, своих генов, а им чужда цветистость речи, свойственная выходцам из других краев моей огромной, моей бескрайней родины.

Скажу вам в заключение нашей беседы одну вещь, которая, как писателя, особенно поражает меня в моей стране. Пользуясь помощью компьютеров, у нас могут вычислить и выделить по заданному признаку какую угодно группу людей. Могут определить, кто покупает пиджаки и галстуки, кто и какую купит обувь, кто отдает предпочтение сыру, а кто — виски. Электронно-вычислительная машина сообщит вам о них все: сколько их, много ли у них денег, какие им по вкусу цвета и какие запахи. И одна лишь группа людей, сколько я знаю, совершенно не подвластна компьютеру — это читатели, те, кто проявляет серьезный интерес к литературе как наиболее острому или, во всяком случае, одному из наиболее острых и проникновенных средств выражения, интерес к тому, что несет им слово других мужчин и женщин, к тому, как они, эти другие, стремятся выразить свои сокровенные представления о сущности любви, страха, смерти... Какого писателя оставит равнодушным сознание, что в его стране есть немалый отряд людей — у нас в Америке их, вероятно, около миллиона,— которых нехитрая весть о том, что вышла новая книга, появилась серьезная книга, в любую погоду погонит за нею в книжную лавку, и ни дождь, ни снег им не помеха! Эта группа не поддается четкому определению, никому не ведомо, кто такие эти люди, они

словно некая душа страны, большая и загадочная, и сознание, что они существуют, придает мне силы...

Самое сильное впечатление от этой конференции? Дружелюбие, во-первых — делегатов, во-вторых — болгарского народа.

Нас было здесь полтораста писателей, говоривших на разных языках, у каждого за плечами свои обычаи, свой образ жизни, свой народ с его особой историей. И по-моему, все мы с очень большой пользой и очень большим удовольствием общались друг с другом; были споры, но не было ссор, ни с чем, кроме — по крайней мере так показалось мне,— кроме дружелюбия и радости, мы здесь не сталкивались...

Мои впечатления о Болгарии, естественно, насквозь пронизаны обезоруживающим гостеприимством, которое оказали нам Союз писателей и простые люди этой страны. Единственное, на что я мог бы пожаловаться,— ну, разве что я прибавил в весе... (*смеется*).

В СИСТЕМЕ ПАРАДОКСОВ

Гор Видал

США

Для меня самые важные проблемы сейчас не творческие, больше всего тревожит меня перенаселенность. В мире слишком много людей, слишком мало пищи, слишком мало энергии. Ни идеология Востока, ни идеология Запада, ни Севера, ни Юга—никто не знает, как эту проблему всерьез решить. Между тем надвигается ужасный кризис. Вполне возможно, что род людской прекратит свое существование из-за болезней, голода или случайной войны. Не исключено, что мы живем в последний период цивилизации, и эта мысль больше всего тревожит меня. Я выступаю перед телевизионными аудиториями в Америке, говорю с миллионами людей именно об этом, это моя главная тема, тема очень мрачная, но думать об этом необходимо.

Не вижу ли я хоть сколько-нибудь конструктивных подходов к проблеме? — спрашиваете вы. Боюсь, не слишком ли поздно быть конструктивным, боюсь, что в результате перенаселенности планеты уже нанесен непоправимый ущерб. Как вы знаете, численность населения растет в геометрической прогрессии, а темпы роста сельского хозяйства — в арифметической. Таким образом, численность населения все удваивается и удваивается. Сейчас она составляет четыре миллиарда человек, а лет через двадцать достигнет восьми миллиардов. Если бы все мировые запасы продуктов питания были поровну и абсолютно честно распределены среди всего населения земного шара, калорий хватило бы, чтобы прокормить всех, но не хватило бы витаминов. Поэтому значительная часть человечества все равно погибла бы — из-за недостатка витаминов... Это мне кажется более тревожным, чем все остальное, о чем здесь шла речь.

Вас, судя по всему, шокирует то, что вы называете моей склонностью к парадоксам? Но в самом деле... Мне это *действительно* кажется более важным, чем все остальное. А мир — ведь вроде бы все за мир, особенно те, кто хочет обеспечить его путем войны (*смеется*). Таков парадокс. Гитлер обожал мир, но устроил невиданную бойню, чтобы установить мир по своему образцу. Наполеон тоже вел войны, чтобы изменить мир по своему желанию. Мир — это нечто вроде флага, которым размахивает каждый, кому не лень. Ну вот и получается, что мир — факт и война — факт, и разве конфликт, собственно говоря, не извечное состояние человека? Смысл цивилизации состоит, видимо, в том, чтобы научиться управлять агрессивными устремлениями человека, его склонностью к соперничеству и использовать их в дарвиновском смысле слова — так сказать, в мирных целях, будь то игра или творческое состязание: кто лучший прозаик — я или Фолкнер, кто лучший поэт — Евтушенко или Оден... **(В этом месте я напоминаю Гору Видалу о том, что некоторые его соотечественники убедительно возражают против теории врожденной агрессивности, которые он отстаивает.— Е. С.)** Я принимаю к сведению ваше несогласие с этой концепцией, знаю, что и в журнале вы с ней систематически полемизируете. Но ведь в самом деле, если бы не соперничество между нашими двумя странами, разве вы или мы вышли бы когда-нибудь в космос? Таким образом, в этом соперничестве есть определенная творческая сторона, верно? Самое главное, чтобы, продолжая соперничать в космосе, мы не уничтожили бы друг друга здесь, на земле. А так вообще-то соперничество, состязание — одно из средств сублимации агрессивных побуждений, а они заложены во всех нас. Когда они выходят из-под контроля, начинается война. И неразумные общества — а я думаю, что большинство обществ в мире весьма неразумно,— при усилении напряженности не прочь взглянуть на войну как на выход из трудного положения. В Соединенных Штатах, а я уверен, что это относится и к другим странам, всегда, когда возникает кризис внутри страны, начинают говорить об опасности извне. Чтобы люди не подумали, что внутри их общества что-то неладно, говорят о проблемах, существующих вне его. Мы называем это «трансфе-

ренцией»; такая «трансференция» способна привести к войне, когда все поубивают друг друга, но нет... Я не думаю, что дело дойдет до войны. Думаю, что все ограничится баталиями из-за нефти, энергии, сырья...

Мои романы... В Соединенных Штатах я более известен как политический деятель. Правда, многие читают мои книги, но гораздо больше людей слушают меня по телевидению, когда я выступаю по вопросам о народонаселении, сырье, энергии... Эти темы интересуют меня, и я известен благодаря им.

Вы спрашиваете о моих романах. Я никогда, или почти никогда, не говорю о литературе, хотя время от времени и пишу критические статьи. Впрочем, как мне кажется, широкая аудитория не проявляет к ним большого интереса. Короче говоря, если вы умеете писать книги, зачем писать о книгах? Как вы знаете, я пишу книги, и если люди хотят читать их, то они читают, а если не хотят, никто не заставляет их это делать.

Как был задуман «Бэрр»? Когда я учился в школе, меня просто тошнило от американской истории, как ее преподносили в учебниках... Я находил интересной историю Рима, историю других стран, но только не историю США: она казалась мне смертельно скучной. Потом я стал политиком. Баллотировался в конгресс США, был лидером новой тогда американской партии — Социалистической американской партии, заинтересовался проблемами управления страной, потом — ее прошлым: как она стала такой, какова сегодня. И засел за книги. Это было году в 1963-м или 1964-м. Я провел за этим занятием десять лет — и в итоге появился «Бэрр», с которым вы сейчас как раз в вашем журнале знакомите своих читателей. Я изучил первые пятьдесят лет истории Соединенных Штатов, и хотя эта книга — роман, история в нем отражена, по-моему, очень точно. Я хочу показать, что основатели страны были совсем не такими, какими их изображают в школьных учебниках. Прежде всего это были живые люди, в каких-то отношениях лучше, в других — хуже, нежели их изображают в учебных пособиях.

Сюда же относятся книги «1876» и «Вашингтон, округ Колумбия». Таким образом, в трех книгах охватил всю историю Соединенных Штатов — от революции вплоть до начала президентства Кеннеди. Замечу, что каждая из этих трех книг была в Соединенных Штатах «бестселлером» номер один, каждую называли самой популярной книгой в год ее выхода. И это при том, что все в них противоречит школьным учебникам. Я считаю, что это повод для оптимизма, если люди, никогда не интересовавшиеся историей своей страны, вдруг увлеклись ею — в том виде, как я ее преподносил, как я ее постигал... Потому что, постигая ее сам, я, так сказать, и преподавал ее — не как великий профессор-специалист я выходил к читателю, а, скорее, тоже как читатель, стремящийся докопаться до сути вещей...

И вот результатом всего этого оказалась огромная ответственность — шутка ли! — сознавать, что за все сведения среднего американца из истории Соединенных Штатов отвечаешь персонально ты! Есть от чего прийти в ужас (с м е е т с я). А вдруг я неправ? Так вот, я думаю, что в каком-то смысле эти книги могут вызвать интерес у вас в Советском Союзе: любой советский гражданин, прочитав «Бэрра», будет знать об истории Соединенных Штатов ровно столько же, сколько и американец, читающий книги. Вы понимаете, что я не имею в виду специалистов, профессоров, ученых. Но что касается средне образованного человека в Соединенных Штатах, то он знает не больше и не меньше того, что содержит «Бэрр». Таким образом, советский читатель окажется с ним на равных...

Знаете, чем хороши, по-моему, американцы? Тем, что у них нет вообще никакой идеологии. Что? С этим вы тоже не согласны? Тогда попробую уточнить. Многие представления просто «закладываются» в них с детства, со школы, потом их никогда не ставят под сомнение: ненависть к коммунизму, например, просто поразительна. И корни ее — столетней давности... Действие во втором томе моей трилогии, в книге «1876», происходит именно в 1876 году — это дата знаменитых выборов. Знаете ли вы, что коммунизм был предметом спора в Америке еще на выборах в 1876 году? Это было задолго до того, как появился Советский Союз. Это было вскоре после того, как прекратила свое существование Парижская коммуна... Специфическое американское отношение к собственности, империализм, который я осуждаю, возникли и развивались вместе со страной...

А идеологическая обработка — «промывание мозгов» — против коммунизма, против социализма началась, по сути дела, уже в шестидесятые—семидесятые годы прошлого века: те, кто правил страной, по понятным причинам, не желали мириться с профсоюзами рабочих; им вовсе не хотелось упускать прибыли **[Обращаю внимание собеседника на противоречия в его рассуждениях об «отсутствии идеологии».— Е. С.]**. В общем, сложная страна — Соединенные Штаты: что-то в ней от социализма, что-то от коммунизма, что-то от империализма, что-то от религии — в определенном отношении это очень религиозная страна... В ней нелегко разобраться в двух словах, потому-то и ушло на мою попытку понять ее суть целых три объемистых тома...

Вас интересует, что я думаю о софийской встрече... Я никогда раньше не участвовал в таких конференциях, но согласился присутствовать на этой: писателям очень интересно знакомиться друг с другом — это самое важное — открываются каналы общения, происходит обмен информацией. Почему бы, в самом деле, нам самим не разобраться в том, что происходит в других частях земного шара? Думаю, что хорошие писатели быстро понимают друг друга...

Несколько минут назад, кажется, немецкий писатель (не помню, как его зовут) выступил перед нами с речью. Он сказал, что

известные писатели Востока не знакомы читателям Запада только потому, что между частными издательствами капиталистических стран существует сговор... Я так не думаю, я думаю, что корень зла — в нашем провинциализме. Соединенные Штаты, по сути дела, интересуются только самими собой — они представляют собой как бы отдельный замкнутый мир. Долгое время, правда, Соединенные Штаты считали, что стоят на более низкой ступени по сравнению с Англией. Еще сто лет тому назад в Америке преобладали английские книги. Теперь в Англии преобладают американские книги... Впрочем, чтобы у вас не болела душа, замечу, что ни один французский писатель, за исключением Поля Сартра, не пользовался успехом в Америке. Ни один немецкий писатель не популярен у нас, у нас не читают даже Генриха Бёля, хотя он и лауреат Нобелевской премии. Его книги переводятся, но не читаются. Не пользуется популярностью также и ни один итальянский писатель, кроме Моравиа, да и его читают мало. Не пользуется популярностью и ни один писатель Латинской Америки, хотя она и находится непосредственно рядом с нами, исключение составляет, пожалуй, за последнее время Гарсиа Маркес. Он — единственный, кого хоть немного знают в Соединенных Штатах. Вы говорите о политических предубеждениях наших издателей, я уверен, ради денег они готовы напечатать все, что угодно, они опубликовали бы книги самого сатаны, если бы знали, что сумеют их сбыть. И довод ваш о популярности русской классики я тоже склонен попытаться опровергнуть. Мы знакомы с русской литературой благодаря случайности. Некто Констанция Гарнет перевела на английский язык Толстого, всего Достоевского, многие произведения Тургенева, хотя в основном Тургенева мы получили от французов. Таким образом, поколение Фолкнера действительно воспитывалось на русской литературе. Еще до революции, приблизительно в 1910 году, в Англии стали читать русских. Это, а кроме того, и побывавшая в Париже и Лондоне балетная труппа Дягилева и еще Стравинский сделали свое дело. Россия вдруг превратилась в самую значительную и интересную страну в культурном отношении. Не удивительно, что стали зачитываться русскими романистами, жившими лет за тридцать до этого. Ну, а сейчас как-то уж сложилось мнение — не спорю, быть может, и ошибочное,— что наследники Толстого и Тургенева сильно им уступают. Правда, вы, в свою очередь, тоже можете утверждать, что мне, скажем, далековато до Марка Твена (с м е е т с я). Рано или поздно, конечно, книги советских писателей будут опубликованы, я уверен. Впрочем, кое-кого из ваших нынешних писателей у нас знают: у русских поэтов большая аудитория в Америке — у Евтушенко, Андрея Вознесенского много поклонников, в то время как у американских поэтов их вовсе нет. Должен сказать вам, в Америке из романистов тоже мало кто пользуется успехом. Здесь, на конференции, присутствует один американский романист — Джон Чивер. В общей сложности нас, серьезных писателей, пять-семь — не более того. И еще с десяток писателей средних — уровня Гарольда Робинса. Вот, пожалуй, и все. Книг появляется великое множество, а читает их лишь около двух процентов населения. Правда, многих писателей и я не читаю, чтение романов — отнюдь не мое любимое времяпрепровождение, если, конечно, речь не идет об очень хороших романах. Вообще средний американец примерно 8 часов в день проводит у телевизора. Дети воспитываются на телевизионных передачах, а не на книгах — родители ведь не читают... Легче включить телевизор, усадить перед ним ребенка — вместо соски, чтобы уж приковать к экрану. Нелегко будет пристрастить потом к чтению такое дитя... И в этом смысле нам угрожает кризис, у нас может вырасти поколение, понятия не имеющее о литературе, поколение, которое не будет уметь ни читать, ни писать... Но вот вы говорите, что у вас читают много. Простите меня за мои слова, я полагаю, что в этом смысле Россия — старомодная страна, нет, этим я вовсе не хочу обидеть вас, вашу страну или хозяев нашей встречи, потому что то же я думаю и о Болгарии — она живет еще как будто в XIX веке, в 1895 году! Семейная структура та же, люди все еще много читают, к культуре относятся с огромным пиететом и так далее. Соединенные же Штаты словно живут в другом тысячелетии — в каком-то отношении лучше, в каком-то хуже. В общем, ничего схожего. И принимая к сведению ваши возражения, я все же остаюсь при своем мнении.

Перспективы культурных обменов? Я считаю, они могут быть хорошими. Думаю, что препятствия возникают из-за бюрократизма каких-то контор. Во всяком случае, то, что делается в рамках Организации Объединенных Наций или ЮНЕСКО, выглядит неплохо, мне кажется. Наши правительства просто должны платить за переводы книг. Я хочу сказать, что, видимо, советскому правительству стоит платить своим переводчикам книг советских писателей на английский язык, так как в Америке, пожалуй, не найдется достаточно хороших переводчиков с русского языка, а потом, может быть через посольства, консульства, пытаться заинтересовать американских и английских издателей... чтобы издатели смогли прочитать книги на английском языке, причем в хороших переводах; наверно, так легче добиться расширения публикации...

Вы любезно полагаете, что, быть может, за своей иронией я пытаюсь спрятать гуманизм... Не знаю, как насчет гуманизма, скорее, я реалист: в том смысле, что если бы, допустим, президент Никсон воровал деньги, то я так и сказал бы — что он их ворует. И отстаивал бы свое мнение. Между прочим, мой «Бэрр» вышел в период Уотергейтского дела, когда у Никсона были

трудности. Все стали проявлять огромный интерес к прошлому своей страны, интерес к конституции, к тому, что представляли собой другие президенты, что они делали. Неожиданно у меня появилась огромная аудитория — «Бэрр» стал одной из популярных книг у нас...

Что я написал за последнее время? Второй том трилогии — «1876». «Вашингтон, округ Колумбия», написанная в 1967 году,— ее напечатали в вашем журнале,— собственно говоря, представляет третью часть трилогии. Затем я написал первую книгу — «Бэрр» и, наконец, вторую часть — «1876». Вы спрашиваете о книге, которую я сейчас заканчиваю? Ну, здесь речь идет о настоящем конце света. Очень занятный роман. Из моей черной серии. Вы говорите—Оруэлл? Да, что-то в этом роде, только еще резче сатира, еще убийственнее, я бы сказал. Действие? В очень недалеком будущем. Собственно, я уже закончил его, собираюсь публиковать, как только вернусь домой. Не знаю, будет ли эта вещь бестселлером, вряд ли. Сейчас думаю уже над новым романом, опять историческим. И еще только что издал книгу своих критико-политических эссе. Представьте, распродано двадцать тысяч экземпляров — ни одна книга этого жанра не распродавалась в таком большом количестве — и всего лишь за два месяца...

Что мне труднее всего дается в смысле профессиональном? Пожалуй, найти верный тон: если он найден — рассказывайте какую угодно историю, она дойдет, ей поверят. И еще дело в том, чтобы точно выбрать рассказчика. Сейчас я стал писать от первого лица, поэтому для меня так важно точно выбрать персонаж, от лица которого велось бы повествование. В первом варианте моей новой книги это повествование вел не тот герой — и получилось ужасно. Пришлось все переписывать...

Однако вы все хотите отыскать во мне гуманиста? Ну вот, черный роман мой заканчивается на довольно-таки веселой ноте, веселой — ну да, как в «Механическом апельсине», пожалуй, верно, только еще чернее... Да, чернее... Еще чернее... Индиго (с м е е т с я)... Да, наверно, чтобы очень уж напугать перспективой конца света. Может, тогда он, в конце концов, не наступит?

ПРИЗНАНИЕ В ВЕРНОСТИ

Чарльз П. Сноу
АНГЛИЯ

Писатель и война, писатель и мир... Не знаю, известно ли вам, что в 1935 году я был участником конгресса писателей в Париже — молодой, начинающий литератор,— как раз в то время я закончил свой первый серьезный роман «Поиски». Он переведен на русский язык— правда, тогда особой известности он мне не принес... А потом — Испания... В тридцатые годы Испания была для нас проблемой номер один. Вы спрашиваете, что бы я сделал, повторись ситуация вновь? Убежден, повел бы себя точно так же. Друзья, которых я приобрел тогда, остались у меня на всю жизнь. Я не принадлежу к тем людям, которые отворачиваются от своей юности...

Ну что вам сказать об атмосфере тех лет? Ужасное, кошмарное было время. Все ощущали неизбежность войны. Испания стала своего рода прелюдией к ней. Мы были уверены, что если проиграем войну в Испании, то проиграем в будущем и войну с Гитлером в Западной Европе. А этого нельзя было допустить — вот одна из причин, почему нас так тревожили события в Испании. Многие думали тогда о войне — какой она будет, однако реальность заставила взглянуть на все по-иному. Что касается меня, то я подходил к происходящему с практической точки зрения — я понимал, что придется воевать, поэтому нужно было овладевать военным искусством...

С кем из советских писателей я встречался на Парижском конгрессе? Помню, что разговаривал с Алексеем Толстым. Да, конечно же. Он уже был в то время патриархом. Он произвел на меня очень большое впечатление. Встречался с Михаилом Кольцовым. Если не ошибаюсь, там же был и Илья Эренбург — во всяком случае, смутно помнится, что он прекрасно выступал, лучше, чем мы все...

И вот теперь — София. Честно говоря, я никогда не допускал мысли, что две державы — СССР и Соединенные Штаты Америки — могут когда-нибудь выступить друг против друга. И даже не столько из-за объективных или морально-этических причин, сколько из-за простого здравого смысла, в который я очень верю. Здравый смысл часто правильно руководит поступками людей, он заставляет подумать о той, например, ответственности, которую взвалит на себя страна, начни она войну. Сложившаяся сейчас в мире ситуация не имеет ничего общего с тем, что было в середине тридцатых годов. Тогда был кошмар...

Сейчас, когда я думаю о Советском Союзе и Соединенных Штатах, то все больше утверждаюсь в мысли, что мирное сосуществование держав с разным социальным строем — социалистическим и капиталистическим — реальная возможность. Практически самое важное — сохранить мир между СССР и США. Еще нужно препятствовать распространению ядерного оружия. Полагаю, что это возможно, здравый смысл должен победить. Он, как я уже говорил, оказывается сильнее многих намерений. Правда, я не думаю, что сложившаяся в мире ситуация кардинально изменится в ближайшие тридцать—сорок лет, во всяком случае, я не доживу до этих изменений. На

данный момент расстановка сил вполне определенна, достигнуто равновесие. Вряд ли, конечно, США в обозримом будущем могут превратиться в социалистическую страну, существование этой крупной, сильной капиталистической державы — объективный факт. И существование СССР — такой же объективный факт. Поступательное развитие, успехи СССР имеют огромное международное значение, получившее резонанс во всем мире. СССР — могучая держава, с которой должен считаться весь остальной мир...

Вы напоминаете мне о моем ответе на анкету вашего журнала к 50-летию Октября, где я назвал Октябрьскую революцию заглавным, решающим событием нашего века... Да, Октябрьская революция изменила весь мир и продолжает менять, хотя сейчас, естественно, процесс перемен не такой быстрый, как это было вначале, когда сдвиги носили кардинальный характер... Что можно еще добавить сегодня, 10 лет спустя к этому заявлению? Повторяю, СССР утвердил себя как мощное, развивающееся, крепнущее государство, в котором постоянно растет благосостояние граждан. СССР — крупная военная держава. СССР — страна, в которой развивается прекрасное искусство, одно из самых ярких искусств в мире. Приезжая к вам, ощущаешь отчетливое потепление интеллектуально-духовного климата, несомненный рост материального уровня жизни советских людей, это видишь когда просто идешь по улицам и смотришь, как одеты люди. Думаю, что Советскому Союзу еще многое в этом смысле предстоит усовершенствовать — например, в области химической, легкой промышленности; здесь есть чему поучиться у Америки, хотя прогресс технический, научный вовсе не отменил там нравственных проблем, наоборот, за последнее время они встают все острее и резче...

Вас интересует, что я думаю по поводу антисоветской кампании в западной прессе, под видом «защиты прав человека» вмешивающейся в чужие дела? Я полагаю, что такие кампании неизбежны. В значительной степени они связаны, на мой взгляд, именно с возросшей мощью Советского Союза. К этому всегда была тенденция. Просто раньше она не была столь явно выражена...

Над чем я сейчас работаю? Собирался писать новый роман, центром его должны были стать проблемы нравственно-этического поведения врача: в связи с болезнью жены в последнее время мне часто приходилось сталкиваться с медиками. Однако месяцы, проведенные в больнице, оказались настолько тяжелыми, что я изменил свое намерение. Сейчас работаю над книгой эссе. Пишу эссе биографического и критического характера, посвященные нескольким писателям, особенно мне дорогим. Все они представляют классическую реалистическую традицию: Троллоп, Стендаль, Бальзак, Диккенс, Достоевский, Толстой, Гальдос. Почему Гальдос? Действительно, он довольно мало известен. Родился в 1843 году и умер в 1920-м. Этого испанца плохо знают за пределами его родины. Но я ставлю его очень высоко, для меня это, если хотите, испанский Бальзак. В книгу войдут также эссе о Генри Джеймсе и Прусте. Главная задача этой книги? Рисуя психологические и биографические портреты, попутно объяснить моим современникам, что такое реализм. Показать — это актуально для нас,— что реализм — это не натурализм. Реалистическое искусство — значительное, серьезное, масштабное искусство.

Что именно мне самому кажется современным в этой новой книге, чем я хотел бы отличить ее от аналогичных своих работ прежних лет? Признаюсь, я не верю в прогресс искусства. Не думаю, чтобы мы писали лучше, чем художники прошлого. Напротив, мы пишем много хуже. Великая эпоха реалистического романа, на мой взгляд, состоялась между 1820 и 1920 годами. Единственным великим романом после этой эпохи я назвал бы «Тихий Дон» Шолохова, во всяком случае его можно сравнивать с классическим реалистическим романом XIX века... В целом же я убежден, что искусство не улучшается автоматически с наступлением нового века... Нельзя писать лучше Пушкина, хотя наука и совершила неслыханный скачок вперед.

Как я объясняю свою привязанность к русской культуре? Мне действительно очень дороги и близки русское искусство, русская литература. Русский характер привлекает меня широтой, глубиной, свободолюбием. Все это я нахожу в великих русских романах, где показано также умение русских людей, живя в самых разных условиях, всегда находить способ для выражения, для утверждения своей личности. Я думаю, что это, пожалуй, вообще основная тема не только русского искусства, но и всей русской жизни. Тема в своем роде вечная. Она будет существовать в России всегда. В ней объяснение моей любви к русской литературе, которая дорога мне с детства. Русская литература — часть русской души, выражение этой души. И я полагаю, что советская литература этой цепи не разрывает, традиции классики, по-моему, живут сегодня в ней. Мне кажется, Чехов, создавший лучший короткий рассказ в мире, гордился бы живучестью своей традиции в советском искусстве...

Последняя прочитанная мною книга советского автора? Превосходный сборник рассказов Солоухина. Эта деревенская проза, рассказы о крестьянах, по своей проблематике далекие от меня, написаны с такой простотой, с таким тактом... Несомненно, явление — творчество Трифонова, на мой взгляд... Нахожу ли я общие черты в творчестве известных мне советских писателей? Пожалуй, что да. То, как они при-

---

СОФИЙСКИЙ
ДНЕВНИК

нимают мир, как воспринимают жизнь, как выражают свою любовь к миру. Советская литература более сердечна, более человечна, более внимательна к природе по сравнению с западной. Я уж не говорю о массовой культуре современного Запада — я считаю ее существенным и весьма опасным фактором в жизни нашего общества, для меня масштабы и сила ее воздействия у нас — показатель неблагополучия в обществе. С другой стороны, в смысле технологии ремесла западные писатели, пожалуй, более профессиональны. Мне кажется, у нас больше экспериментального творчества. Этому, я думаю, советским писателям можно поучиться у Запада. А у вас нам нужно учиться человечности. Ведь самая великая традиция — это традиция русской литературы. Затем, наверное, идет французская, потом — английская...

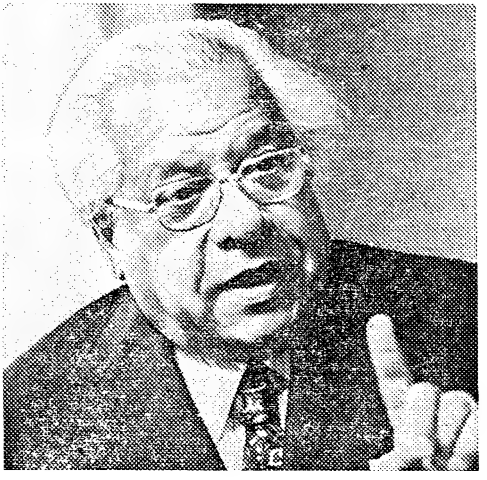
Очень важно, чтобы на Западе лучше знали современную советскую литературу. Лично я делаю все от меня зависящее, чтобы как можно больше произведений советской литературы переводилось на Западе. Тогда можно будет говорить о взаимопонимании. Важно, чтобы на Западе люди узнавали, как живут в Советском Союзе, не из газетных статей, но из книг, созданных советскими писателями, теми, кто живет в СССР, а не за его пределами. Такие «встречи» будут учить людей с той и с другой стороны терпению, такту, научат их любить и понимать друг друга.

Что я думаю об ответственности писателя, как она выражается в его творчестве, когда я сам всерьез осознал значимость этой проблемы для себя? Это очень интересный вопрос. Я убежден, что писатель пишет прежде всего для себя. Если написанное не нравится самому себе, сомнительно, чтобы оно понравилось кому-нибудь другому. Если вы не увлечены тем, о чем вы пишете, вы не заинтересуете никого. Поэтому в начале творческой деятельности особенно резко проявляется эгоцентризм — так, во всяком случае, было со мной. В какой-то мере эта особенность прослеживается на протяжении всей жизни. Но постепенно, в процессе творчества, конечно если ты честный художник, начинаешь сознавать, что существует еще н е ч т о, помимо твоего искусства и тебя самого, что требует выражения твоей причастности. И хотя твои произведения всегда прежде всего проявляют тебя самого, твою личность — в этом суть искусства, суть творчества, конечно, если человек рожден художником,— все же чувство, сознание ответственности, ответственности гражданина, причем не обычного гражданина, а такого, к которому прислушиваются немножко больше,— заявляет о себе. Само же искусство тоже, мне кажется, имеет два ориентира: художественное совершенство и в то же самое время предельная правдивость. И еще: своими произведениями писатель должен способствовать изменению мира: пусть действительность хоть немного улучшится от его усилий. Я надеюсь, что мне в какой-то мере удавалось стремиться к этому. Как вы знаете, в течение долгого периода времени я старался улучшить взаимопонимание между вашей страной и Западом. Всеми способами — путем личного вмешательства, личных дружеских связей, пытаясь объяснять то, что людям на Западе бывает трудно понять в жизни вашей страны... Мне эта деятельность нравится, мне она кажется стоящим делом. Полагаю, что до сих пор в этом смысле я вреда не принес,— большего, пожалуй, не осмелюсь сказать (с м е е т с я). Это — о гражданской, общественной деятельности. Что же до присутствия идеи ответственности в самом творчестве — случается, что эта идея излишне ощутима в книгах. У меня самого так было, и сейчас я об этом сожалею. Иной раз я выступал своего рода проповедником оптимизма, в который на самом деле сам не слишком-то верил. Правда, тогда мне казалось, что я был искренен. Я был слишком увлечен своими идеями, всей своей деятельностью. И мною руководили лучшие порывы, я старался ради хороших, благородных целей. Но все же так не должно быть в искусстве: результат может оказаться плачевным. В общественной практике какое-то выпрямление, преследующее благие социальные цели, порой неизбежно и даже необходимо. Но когда это случается в искусстве, результатом может стать ложь. А художник не должен лгать. Вы говорите, что имеете в виду вовсе не упрощенное искусство, желая установить, осознает ли художник гуманистическую цель своего произведения,— иначе может произойти то, что случилось, например, с Эзрой Паундом... Согласен с вами — упрощение, прямолинейность могут быть продиктованы разными причинами: низкими и благородными. Писатель не должен вставать ни на ту, ни на другую сторону. Но, безусловно, первое хуже, чем второе, тут вы совершенно правы. Когда Эзра начинал писать, он был очень талантлив как поэт. В этом нет никаких сомнений. И он бурно развивался как поэт. Но с ним случилось то, что произошло со многими современными писателями, особенно с теми, кого мы называем модернистами. Он погрузился в какую-то социальную слепоту, а может быть, даже и художественную...

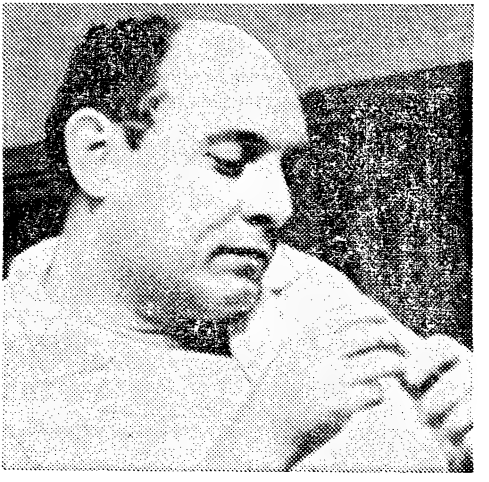
О земле наших хозяев на этой встрече? Мне очень нравится эта страна. Болгария— одна из моих любимых стран в Восточной Европе, наверное, даже во всей Европе. У меня здесь много друзей. Я встретился здесь со многими моими коллегами, особенно моими советскими коллегами И со своими англо-американскими коллегами тоже. Иногда бывает нужно приехать на такую встречу, чтобы повидать друзей. Мне, например, удалось увидеть здесь Джона Чивера, Гора Видала, которых я встречал до этого только случайно. Мы прекрасно поговорили...

(Продолжение следует)

Наши гости



Николас Гильен



Луис Суардиас

(КУБА)

В редакцию «Иностранной литературы» Николас Гильен приходит как старый друг и давний автор. Журнал подарил советскому читателю многие его произведения. Сразу воцаряется атмосфера непринужденного праздника. Звучат смех, веселые шутки.

Но нам хорошо известен и другой Гильен — суровый, непримиримый, боевой.

Все мы знаем дорогу,
Каждый смазал винтовку.
Смирно! Наизготовку!
В ногу![1]

Николас Гильен давно выбрал свою дорогу в жизни. Поэт, журналист, с 1935 года связанный с Коммунистической партией Кубы, с 1937 года — коммунист (он стал им в сражающейся республиканской Испании, где принимал участие в Международном конгрессе писателей в защиту мира и культуры), член Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы депутат Национальной ассамблеи, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Вместе с Гильеном у нас в гостях другой видный кубинский поэт, секретарь Союза писателей и деятелей искусств Кубы по международным связям Луис Суардиас. Они приехали в Москву после международной писательской встречи в Софии.

— Встреча эта не была обычной,— рассказывает Николас Гильен.— На ней не работали никакие комиссии, никого не ограничивали в выступлениях. Господствовала абсолютная свобода слова. Если даже оратор выходил за рамки регламента и засе-

[1] Перевод О. Савича.

дание уже подходило к концу, выступление просто переносилось на следующий день. И многие выступления были по-настоящему интересными.

Я испытываю большое удовлетворение от того, что во встрече принимала участие большая группа латиноамериканских писателей. Мы смогли в полный голос рассказать о нашей борьбе, о том, что нас волнует. Припоминаю, как однажды один писатель с тоскою заметил, что сегодня якобы нет объектов для изображения. Мы отвечаем: наш объект — Человек. Ведь мы ведем борьбу не за то, чтобы иметь возможность описывать, например, шахты, где добывают олово, а за то, чтобы освободить Человека, работающего на этих шахтах.

Софийская встреча имела огромное значение. С врагами мира нужно бороться решительно, а не евангельскими методами. И в распоряжении писателей действенное оружие — наше перо. Мне вспоминается эпизод из истории Эквадора. Когда был убит президент Эквадора диктатор Морено, писатель Хуан Монтальво воскликнул: «Его сразило мое перо!» Софийская встреча наглядно показала нам, что мы можем активно сражаться с противником и наши перья тоже могут разить насмерть. Писатели обязаны защищать человечество и его культуру, поэтому должны приложить максимальные усилия для достижения полного и всеобщего разоружения. Если каждый из нас направит свои стрелы против общего врага, мы сделаем большой шаг вперед к всеобщему и прочному миру.

— Встреча была очень представительной,— вступает в разговор Луис Суардиас,— мы встретились со старыми друзьями, приобрели новых. Для меня лично особо приятными были встречи с советскими литераторами. Интерес к советской литературе возрастает на Кубе с каждым днем. Только за последний год три новых имени советских писателей вошли в духовный мир кубинского читателя. Это Чингиз Айтматов (его повесть «Первый учитель» была почти мгновенно распродана), Иван Ефремов (переиздан его роман «Туманность Андромеды», и вышел сборник рассказов) и Юлиан Семенов.

Беседа естественно переходит на проблемы поэзии и на творчество наших гостей. Николас Гильен в «Письме к моим советским читателям», предваряющем книгу его стихов, вышедшую в 1957 году, писал: «Я люблю ритм, ищу всегда наиболее точное слово, которое нельзя выбросить без того, чтобы не исчезла поэтичность стиха... Мне кажется бесплодным поэт, который не в силах передать через лирику содержание манифеста или программы. Предпочитаю публиковать одну книгу в три года, чем три книги в один год».

Мы напоминаем ему эту последнюю фразу. Он весело смеется и как бы в опровержение раскрывает новую, недавно вышедшую на Кубе книгу стихов и начинает читать. Впрочем, Гильен каждый свой приезд радует нас чем-нибудь. То это лирические стихи, то политический памфлет, то сборник эпиграмм. Работает он много и в разных жанрах. Вот и сейчас он показывает нам два тома своей публицистики. Еще в 1962 году у него вышла книга, которой Николас Гильен дал заголовок «Спешащая проза». Он и теперь постоянный сотрудник газет и журналов, как кубинских, так и зарубежных.

— Я только что завершил работу над новой книгой стихов для детей «Вдоль берегов Антильских плывет бумажный кораблик». Заголовок — это две строчки из моего давнего стихотворения «Песня для антильских детей».

— А что вы расскажете о своем творчестве? — спрашиваем мы Луиса Суардиаса.

— Два года тому назад у меня вышла книга под названием «Как тот, кто возвращается из дальних странствий». В нее вошли стихи из пяти предыдущих сборников и, конечно, новые. Кстати, более тридцати стихотворений написано в Советском Союзе за время моей работы на посту советника посольства Кубы. А сейчас в типографии находится мой новый стихотворный сборник. Я назвал его «Легенда о справедливой красоте».

— А ваше самое последнее стихотворение?

— «Мальчик, которого звали Володя». Это небольшая поэма, написанная для специального номера журнала «Унион», посвященного 60-летию Октябрьской революции. На Кубе показывали по телевидению хронику, и меня поразил рассказ о семилетнем школьнике, живущем в далекой сибирской деревушке и страстно любящем лошадей. Однажды он проходил мимо закрытой конюшни и увидел, что начался пожар. Он бросился к воротам, сумел открыть их и вывел лошадей. Один, без взрослых. На его примере я показываю как бы историю духовного роста советских людей за годы Советской власти. Этот мальчик воплощает для меня лучшие качества советского человека. Я не расслышал его имени и дал ему символическое имя Володя — имя Ленина, имя Маяковского.

Время беседы подходит к концу.

— Я улетаю в Гавану,— говорит Гильен,— но мысленно я остаюсь здесь, с вами. Эти слова не просто любезность. Мы знаем, что Куба, Кубинская революция, кубинский народ пользуются подлинной любовью советских людей. Мы высоко ценим помощь Советского Союза, не только материальную и техническую, но и моральную. Я остаюсь здесь с советским народом, с советской культурой. Без Октябрьской революции не было бы и Кубинской революции. В мире еще долгие и долгие годы не было бы социалистической революции вообще. Октябрь дал власть классу, который подвергался эксплуатации и не имел никаких перспектив культурного развития. Придя к власти, этот класс сделал культуру всеобщим достоянием. Да здравствует еще раз, еще тысячу раз да здравствует великая страна социализма!

Н. БУЛГАКОВА

Дан Хэуликэ
Ион Яноши
Аурел Мартин
Габриэл Димисяну

(РУМЫНИЯ)

Дан Хэуликэ, литературный критик, вице-президент Международной ассоциации искусствоведов, главный редактор журнала «Секолул 20» («XX век»), Ион Яноши, литературовед, заведующий кафедрой эстетики Бухарестского университета, Аурел Мартин, директор издательства «Минерва», и Габриэл Димисяну, литературный критик, заместитель главного редактора литературного еженедельника «Ромыния литерарэ», приезжали в Москву по приглашению журнала «Вопросы литературы» в связи с подготовкой этим журналом специального номера, посвященного румынской литературе.

Наши румынские коллеги рассказывают, что появилось примечательного за последнее время в румынской прозе и поэзии. Опубликован ряд романов, с большим интересом встреченных читателями и критикой, что свидетельствует, по мнению Г. Димисяну, о развитии реалистического направления в румынской литературе, о зрелом мастерстве авторов. К такого рода произведениям относятся романы «Королевская охота», «Царь туч», «Дождь на той стороне времени» Думитру Раду Попеску, «Галерея, увитая диким виноградом» Константина Цою, «Лики молчания» Аугустина Бузуры, «Зерно, упавшее на добрую почву» и «Мраморный монолит» Александру Симиона, «Прозрение» и «Рак» Александру Ивасюка, трагически погибшего во время землетрясения в марте этого года. Из румынской поэзии Дан Хэуликэ выделяет сборники стихов Никиты Стэнеску, Марина Сореску, Иона Александру, Штефана Аугустина Дойнаша.

Ион Яноши отмечает успехи румынской литературной критики, повышение ее профессионального уровня. Он считает, что за последнее время вышло немало серьезных, интересно написанных работ, в частности, книги Дана Хэуликэ «Духовная география» и Флорина Михэилеску «Понятие критики в румынской литературе».

С большим подъемом, говорят наши гости, литературные и издательские работники Румынии готовятся к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Аурел Мартин подчеркивает, что издательства гуманитарного направления в преддверии юбилея Великого Октября тесно сотрудничают между собой. Выходят книги, в которых показано значение сотрудничества с Советским Союзом для экономической, политической, культурной жизни Румынии, рассказывающие об участии румын в гражданской войне на стороне молодой республики Советов. Уже выпущено около пятнадцати поэтических двуязычных изданий, где параллельно дается русский текст и румынский перевод. В прошлом году издана антология грузинской поэзии, в этом появится антология армянской поэзии. Намечено издание новой антологии советской поэзии в целом.

«Мне думается,— заключает свой рассказ Мартин,— самой большой данью уважения Октябрьской революции являются наши постоянные публикации советских художественных произведений о современной советской действительности».

В каждом номере «Ромыния литерарэ», говорит Г. Димисиану, можно найти материалы о культурной жизни СССР. На страницах журнала печатаются рецензии на недавно вышедшие советские книги, рассказывается о спектаклях и фильмах, публикуются путевые очерки румынских писателей, посетивших Советский Союз, переводы советской прозы и поэзии с комментариями румынских писателей. Наши читатели всегда в курсе событий вашей культурной жизни. Несомненно, что в номере, посвященном Великому Октябрю, жизнь советского народа будет показана особенно широко.

Дан Хэуликэ поделился с нами планами журнала «Секолул 20»:

— Специальный номер журнала будет посвящен символу Октябрьской революции — Ленинграду. Наш замысел—показать город Ленина в решающие моменты истории: в 1917 году, во время гражданской и Отечественной войн. В номере будут документальные материалы и воспоминания. На страницах журнала выступят писатели и поэты, побывавшие в героическом городе Ленина. Мы надеемся, что этот номер станет одним из лучших номеров нашего журнала.

А. ЧУГУНОВА

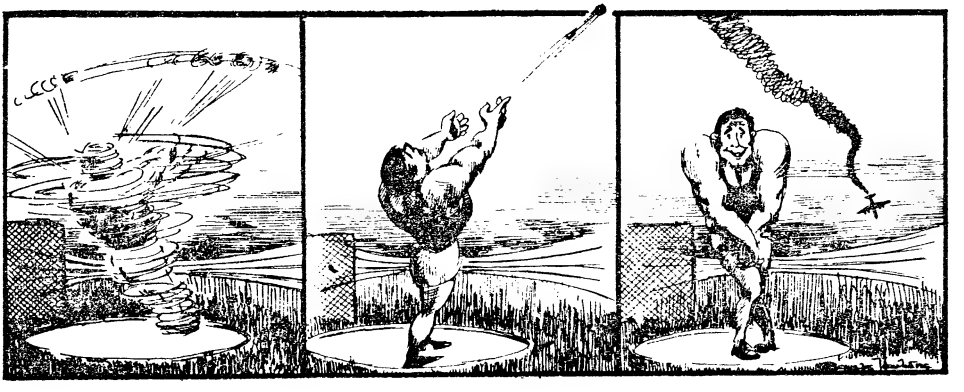
◆

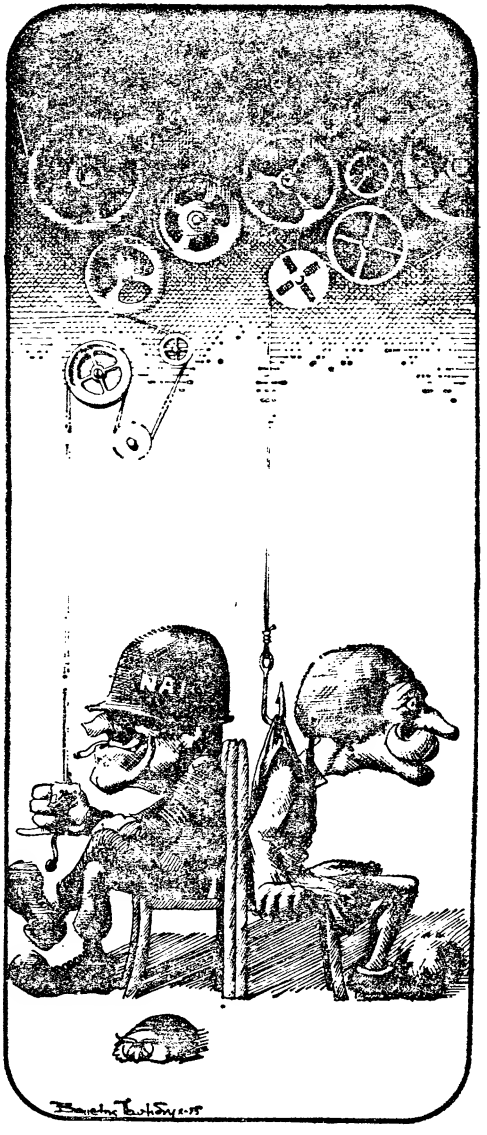
ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА ВАНГЕЛИСА ПАВЛИДИСА

(ГРЕЦИЯ)

Справедливость за работой

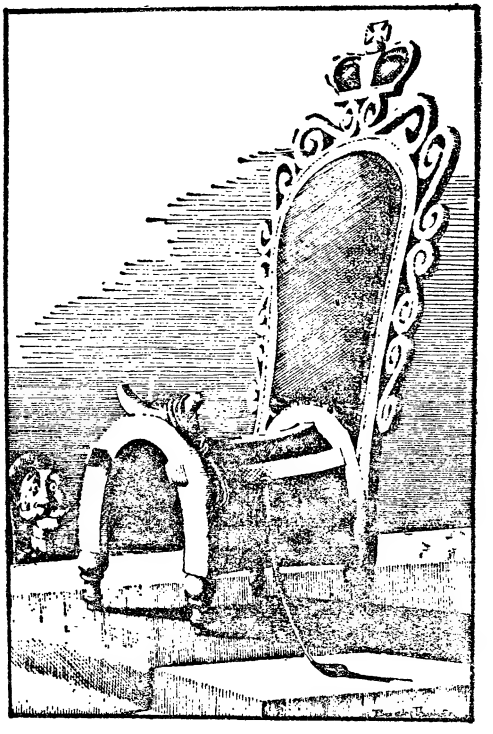
Метатель молота





▲
НАТО—Греция и их «странные» отношения

▲
Музыка — это вещь...



▶
Трон

Из нашей почты

Почта «Иностранной литературы» нередко приносит нам письма не только от соотечественников, но и от зарубежных наших корреспондентов — авторов журнала, писателей, деятелей культуры, наконец, просто от читателей, владеющих русским языком и познакомившихся с нашим изданием в своих странах.

Редакция рада, когда та или иная публикация журнала вызывает сочувственные отклики не только у советских читателей, но и у наших зарубежных друзей. Это заставляет лишний раз убедиться, что и журнальное дело может хорошо служить задаче укрепления мира и сотрудничества, расширения культурных связей между народами.

Ниже публикуется несколько писем зарубежных корреспондентов из нашей текущей почты.

Я получил первый номер «Иностранной литературы», где напечатаны стихи наших молодых поэтов.

Здесь произвело большое впечатление то, что им дано первое место в первом номере. «Работническо дело» (это — наша «Правда») на тридцати строчках в одной колонке похвалила подборку. Сами поэты ходят юбилярами.

Сам я должен сказать, что вы сделали хорошее дело. Это — талантливые люди, и они станут большими поэтами. Чувствую некоторое неудобство, что так долго тянул со врезкой, что не хватило времени и нервов сделать ее лучше.

Через вас хотел бы поблагодарить Лорину Дымову и Винокурова, которые уделили этой подборке столько творческого времени и с такой любовью подбирали и переводили.

С приветом,

искренне ваш
АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ.

г. София, Болгария

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ
НЕЗАВИСИМОСТЬ — СВОБОДА — СЧАСТЬЕ
ХАНОЙ

Уважаемая редакция журнала «Иностранная литература»!

Я был очень тронут и рад, когда на стр. 279 майского номера вашего журнала за 1976 год прочитал статью о книге «Кукольный театр во Вьетнаме», вышедшей под моей редакцией в ханойском издательстве «Культура».

Я шлю вам свою искреннюю благодарность и желаю вам доброго здоровья, желаю журналу больших успехов в расширении культурных связей между нашими и другими братскими странами.

Жаль, что я поздно узнал об этом, поэтому не успел купить этот номер журнала для использования в работе и

в качестве сувенира на память, так как магазин уже давно их распродал.

Я прошу вас, если можно, пришлите мне один-два экземпляра журнала, я был бы очень вам благодарен.

До свидания,
НГУЕН ХЮЙ ХОНГ.

г. Ханой, СРВ

Дорогой господин Федоренко!

Я хотел бы поблагодарить Вас за роль, которую Вы сыграли в издании превосходных переводов моих стихов, столь удачно опубликованных Вами в 11-м номере журнала «Иностранная литература».

Передайте, пожалуйста, мою благодарность автору вступления господину Звереву и переводчику господину Олегу Чухонцеву.

Я уверен, что эта публикация будет способствовать многочисленным проявлениям развивающегося сотрудничества между нашими двумя странами в культурной, так же как и во многих других областях.

Искренне ваш,
Р. А. Д. ФОРД. Посол Канады.
Дуайен Дипломатического корпуса.

Дорогие друзья!

Сердечно благодарю за присланный мне номер «Иностранной литературы», в котором опубликован мой роман «Переплывешь реку...».

Мне очень приятно сотрудничать с вашим журналом. Я весьма дорожу этим.

Благодаря вашему журналу моя проза попадает в руки многих читателей в Советском Союзе. Это доставляет мне огромное удовлетворение.

Руководству журнала и всем его работникам: редакторам, переводчикам — я шлю вместе с благодарностью горячие пожелания всяческих успехов.

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ.

P. S. Сердечная благодарность переводчикам моей книги — М. Игнатову и К. Старосельской.

Польша, г. Варшава

◆

Среди книг

Издано в СССР

ОБЛИК ВРЕМЕНИ И ДУША НАРОДА

Современная монгольская повесть. Перевод с монгольского. Вступительная статья М. Колесниковой. Составитель Г. Матвеева. Москва, «Художественная литература», 1974.
Современная монгольская новелла. Перевод с монгольского. Составитель и автор вступительной статьи К. Яцковская. Москва, «Прогресс», 1974.
С. Дашдоров. Синие горы вдали. Повести и рассказы. Перевод с монгольского. Составление К. Яцковской. Предисловие В. Бильдушкинова. Москва, «Прогресс», 1976.

«...Позади остались низкие горы, протянувшиеся между Алтаем и Гоби, и теперь чередою проплывали долины и степи, причудливые впадины и котловины. Весна была в разгаре; ее теплое ласковое дыхание чувствовалось уже повсюду. В такую пору особенно хорошо скакать по степи...»

Так начинается новелла монгольского писателя Б. Бааста «Степные рябчики» из сборника «Современная монгольская новелла». Казалось бы, пейзаж этот мог быть нарисован столь же поэтично и полвека, и век назад: все те же долины и все та же степь, но, вглядевшись в облик сегодняшней Монголии, видишь: и пейзаж изменился, и люди, и сама их жизнь.

Было время, когда изучали древнюю историю Монголии, знакомились с ее географией, природой, с многовековой давности бытом. Известны заслуги в этой области русских путешественников и исследователей Центральной Азии Н. М. Пржевальского и П. К. Козлова. Еще в прошлом веке изучал монгольскую литературу например, крупнейший монголовед А. М. Позднев. Широко известны его работы «Образцы народной литературы монгольских племен» (1881), «Монгольская летопись «Эрдэнийн Эрихэ» (1883), «Монголия и монголы» (1896—1898).

Новая, социалистическая Монголия является исключительно интересным объектом для исследований и в области экономики, и в области права, и философии, и культурного строительства. Представить себе духовный рост монгольского народа сегодня невозможно и без его литературы.

По объему и чисто формальным признакам не все, что входит в книгу «Современная монгольская повесть», можно отнести именно к повести. Некоторые произведения — например «Первый Новый год» — скорее развернутый рассказ (автор Д. Тарва). Но стремление к точным психологическим характеристикам, к большей, нежели в обычной новелле, многоплановости приближает это небольшое произведение к жанру повести.

«Первый Новый год» Д. Тарвы знаменателен тем, что в нем показана жизнь рабочего класса, появившегося в Монголии после революции 1921 года. Молодые шахтеры угольного карьера Шарын-Гол — это люди нового мира, с широкими интересами, с оптимистическим мироощущением, и для них встреча Нового года по общепринятому мировому календарю, а не по религиозному — еще один шаг на пути духовного прогресса.

Судьба девушки Нямжав, долгие годы батрачившей у богатого скотовода Балдана, но под влиянием одного из руководителей местной народной власти, Сомона, ушедшей в город и ставшей работницей

(Н. Банзрагч, «Праздничная ночь»), тесно связана с рождением рабочего класса в стране, не имевшей ранее ни одного промышленного предприятия. Работая в шерстомойном цехе, в дружном коллективе, девушка находит себя и как человек труда, и как гражданин нового, свободного общества, здесь же она находит и свое личное счастье.

Идут годы, многие невзгоды остаются позади. Нямжав, которой уже под пятьдесят, задумывается о жизни своей дочери, и понятия не имеющей о том, что значит батрачить: «Наши дети приходят нам на смену. На фабрике дня не проходит без изменений: новая техника, новые машины... растут умелые, знающие рабочие... у каждого — своя судьба, свой характер».

Внимание читателя несомненно привлекут и такие произведения, как «Год синей мыши» С. Эрдэнэ[1], «В Галбын Гоби» Б. Чойндона, «Юндэн из Красной юрты» С. Дашдорова. Каждое из них отличает своеобразная документальность и историчность. В этом смысле, пожалуй, наиболее значительна повесть «Год синей мыши». Попытка бурятского князя Дунгара бежать от революции в России не удалась: революция настигает его и в Монголии. Народная власть, преодолевая сопротивление злобных и коварных феодалов, уничтожает эксплуататорский строй и выводит на первое место в обществе аратов — трудовой народ. Этот процесс показан автором и в острых поворотах сюжета, и в развернутых характеристиках персонажей.

Книга «Синие горы вдали» знакомит читателя с одним из популярных современных писателей Монголии — Сормуниршином Дашдоровом. В более ранних сборниках — «Восхваление Гоби», «Аргамак», «Радуга в степи» — он предстает перед нами как одаренный поэт, истоки творчества которого восходят к богатой народной традиции; в романе-дилогии «Высота Гоби» писатель находит себя и как прозаик. Известен он в монгольской литературе также как кинодраматург и автор книг для детей. Жанровое многообразие творчества Дашдорова — результат поисков наиболее точной и выразительной формы для воплощения в художественном произведении жизненного материала.

Сборник «Синие горы вдали», содержащий ряд рассказов и повестей Дашдорова, начинается повестью «Большая мама».

Название пустыни Гоби происходит от монгольского «говь», что означает «безводная пустыня». Но в повестях и рассказах Дашдорова мы видим Гоби иной.

Гоби, родина писателя, раскрывается перед читателем как мир не яркой, но своеобразной красоты. И люди, населяющие этот край, нам понятны и близки.

Дого, жену старого скотовода Дамирана, шоферы, проезжающие мимо ее, стоящей возле дороги юрты, называют «Большой мамой». Эти молодые парни, иногда грубоватые, иногда душевные, спешащие в новые поселки, в госхозы, на стройки, находят здесь не только приют в непогоду, ночлег, вкусную еду, но и приветливое слово. Вот почему Дого для них не просто Дого, а м а м а.

Когда я читал эту небольшую повесть — по ассоциации вспомнил повесть Флобера «Простое сердце». Великая преданность — навсегда, до конца жизни, верность человеку несмотря ни на что заключена в сердце простой служанки Фелиситэ. В сердце «Большой мамы» — женщины простой, малограмотной — вместились и неиссякаемая доброта, и любовь, и готовность всегда прийти на помощь, и желание обязательно позаботиться о другом человеке. Она как будто схожа с Фелиситэ. Но одновременно есть между ними и существенное различие: для Фелиситэ мир сконцентрирован в о д н о м человеке. Для Дого он — во в с е х людях труда, которые переступают порог ее юрты.

Старая Дого погибает, застигнутая снежным бураном, когда пытается добраться до совсем незнакомых ей людей, затерявшихся в степи. Она несет им пищу и горячий чай, но, обессиленная, падает, не дойдя до цели каких-то пятисот шагов...

Обстоятельства жизни героев Дашдорова подчас совершенно обыденны. Раскрыть образ, его суть через драматизм сюжета удается не всегда, но опять-таки глубокое знание реальности, на которой строится произведение, позволяет писателю обнажить духовную сущность персонажей как бы изнутри.

В повести «Синие горы вдали», рассказывающей о молодом художнике, есть такие слова: «...приступая к новой картине, я каждый раз надеялся, что обязательно одолею далекие синие горы моего детства...» И в этом о д о л е н и и — суть характера героя, его идеалов. С и н и е г о р ы в д а л и — это та великая духовная цель, к которой всю жизнь устремлен человек, если в нем горит огонь служения народу.

В ряде рассказов Дашдорова, помещенных в этой же книге («Двое из одной долины», «Новый год среди звезд», «Предчувствие покоя»), нет четко выраженной концовки. Но эта недоговоренность не случайна. Она как бы служит продолжением внутреннего монолога, к которому герои произведений Дашдорова прибегают нередко. Оставаясь наедине с собой, они порой обращаются к прошлому, ищут в нем истоки собственных ошибок и радостей. Углубленный психологизм свойствен почти каждому из персонажей книги «Синие горы вдали».

Новелла — один из самых молодых жанров монгольской литературы. Однако в пору, когда наблюдалось увлечение крупной прозаической формой, в монгольской литературе ему отводилось едва ли не последнее место. С течением времени внимание писателей обратилось к этому жанру. Здесь уже проявили себя такие опыт-

[1] Впервые повесть была опубликована в «Иностранной литературе» № 11, 1974 г.

ные писатели, как Ч. Лодойдамба, Ж. Пурэв, Л. Тудэв, Ц. Дамдинсурэн, Б. Бааст и другие. Но о хорошем начале свидетельствуют и произведения молодых писателей — Д. Урианхая, Д. Цэдэва, Ч. Алгаа, также помещенные в сборнике «Современная монгольская новелла».

Монгольский эпос, монгольский фольклор содержит в себе множество сюжетов, посвященных неудачной, попранной или отвергнутой любви. Традиции прошлого, религиозные верования и феодальные пережитки лишали женщину права на собственный выбор. Новый быт, настойчиво вытесняющий старые понятия и ограничения, на первый план выводит чувство свободное. Это противоборство нового и старого, эта ломка прежних установлений находят свое выражение в ряде произведений, которые целиком посвящены теме любви. Таковы, например, новеллы Ч. Алгаа «Владелец бархатисто-черного коня» или Ч. Лодойдамбы «Завет».

Ряд новелл сборника — скорее очерки, наброски, основой для них послужил, казалось бы, малозначительный факт. Подобные зарисовки напоминают схваченное на лету движение. Словно это песня кочевника, едущего по степи и поющего о том, что видится вокруг. Но за ними встает жизнь Монголии, ее люди, активно и творчески участвующие во всех сферах жизни. Именно таков главный герой современной монгольской литературы.

Многогранно освещая социальные и духовные процессы, которые характерны для сегодняшнего дня Монгольской Народной Республики, литература страны позволяет нам приобщиться к жизни и устремлениям братского народа. В этом ее сила, ее идейная и художественная ценность.

ЗАХАР ДИЧАРОВ

ВЕНГРИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ПЯДЬ ЗЕМЛИ, СОЛЬ ЗЕМЛИ

Пал Сабо. Пядь земли. Роман. Перевод с венгерского и предисловие Ю. Гусева. Москва, «Прогресс», 1975.

«Пядь земли» — уже второй изданный на русском языке роман недавно ушедшего из жизни Пала Сабо[1]. Воочию видишь, как рядом с известной у нас «Библиотекой венгерской литературы» возникают одна за другой библиотечки малые — Яноша Арань и Бела Балаж, Антал Гидаш и Йожеф Дарваш, Дюла Ийеш и Йокай Мор; теперь Пал Сабо с двумя романами. Знакомство с творчеством Пала Сабо, с этой прозаической поэзией венгерской равнины Алфёлд и ее скромных хуторов, городков и деревень говорит о том, что перед нами писатель, который в разное время говорил о разных ликах жизни, но никогда не заблуждался насчет ее существа.

В романе «Пядь земли» мы встречаемся с жителями деревни на реке Кёреш (где писатель провел долгие годы, там он и похоронен), и благодаря мастерству художника выпукло и зримо предстает перед нами все, что происходит с этими людьми. В полусказочную зимнюю ночь (ее описание любопытно напоминает классический пассаж «А погода великолепная...» из чеховского «Ваньки») ушлый Йошка Гоз умыкает невесту с чужой свадьбы. Местный грамотей Ференц Папп на каждом застолье донимает собравшихся бесконечными декламациями из Петефи. В корчме от непреодолимого и опасного искушения мается, подвыпивши, странный Имре Вад. Вроде бы порядочный с точки зрения властей предержащих гражданин, крепкий хозяин и не забывает о нуждах храма,— но стоит вспомнить давний русский плен, Красную Армию, первую жену-казачку и сына, потерянных где-то то ли на Урале, то ли на Кубани, как он нет-нет да и сорвется: страшно хочется топнуть ногой и во все горло затянуть «Интернационал»... При возведении дамбы жестокая стычка местного крестьянства с озлобленными рабочими-землекопами, которым нечего терять,— потому-то, как вдруг осознает замешанный в дело Гоз, они и побеждают, навязав условия не только господам, но и сельской общине... А вот разбирающий непорядки уездный начальник, обуреваемый желанием непременно «воспарить над пошлостью деревенской жизни». Его воспарения сами по себе смешны и пошлы, они не поднимаются выше карточной игры с «большими людьми» в уездном центре. Но вдруг ловишь себя на мысли: а ведь перед нами совсем не примитивный органчик, а живой человек — он всего лишь чуть-чуть менее венгр, чем другие, вверенные ему властью люди, и досада от проигрыша трехсот пенге не может перебить в нем другого, гораздо более тоскливого чувства: надо бы понять эту нелепую голь, надо бы обязательно понять... Неужели он этого не сможет?

И поверх этой суетной и все менее реальной власти — своеобразная власть земли. Не та, известная по модернистскому крестьянскому роману о деревне «таинственная сила», которая требует или помогает «безотчетно раствориться в Матери-Природе», а предельно человеческая потребность работать на земле, осваивать и возделывать ее. Редко прибегая к образам «тайны» и «бесконечности» в крестьянской жизни (а иногда делая это с легкой иронией), Пал Сабо помогает понять: народ — это осторожно, но настойчиво испытывающий землю ее хозяин.

Перед нами деревня двадцатых — тридцатых годов, деревня венгерская; однако люди, их судьбы и проблемы издавна близки нам. И, конечно, вовсе не потому, что в грезах Имре Вада возникают, как утверждала когда-то критика, «несравненные картины русской жизни». Эти грезы

[1] Роман П. Сабо «Новая земля» (1952) вышел на русском языке в 1955 году.

размыты и в пересказе писателя едва ли точны — как едва ли точна, например, версия, что державший Вада в батраках казак жил на хуторе около... Екатеринбурга. Ощущению близости способствуют не знакомые по литературе и искусству картины столично-праздничной жизни тех лет, протекающей на развалинах габсбургской империи, когда с одной сцены на другую триумфально шагала оперетта, умиляли кинопублику «Петер», «Маленькая мама» и «Мишка-аристократ» — этого мы не находим в книге. Важно и ценно другое — показанное в романе время писатель прожил со своим народом, и народ под пером реалиста выступил не жутковатой или благостной мифологемой и не в умышленном контрасте с суетой «столиц», а проще: самим собой. Размышляя о возможностях взаимопонимания русской и венгерской культур, современник Сабо Ласло Немет высказал однажды мысль о том, что нации, в гуще которых не нивелирована и не затерта такая великая ценность, как народ, с особой легкостью поймут друг друга через свою литературу. То же чувствуешь и при чтении «Пяди земли».

Народ остается «самим собой» — но это вовсе не значит, что народ «не шелохнется». Хотя для автора романа, по шутливому замечанию венгерского критика Михая Цине, было бы достаточно, не мудрствуя, попросту записывать все, что он видел дома, писатель искал и улавливал движение, отмечал начала и в меру сил предугадывал концы. Нарастает злоба против власть имущих; полиция берет на заметку так и не удержавшегося от «Интернационала» Имре Вада; из лихого гуляющего парня вырастает в деревенского вожака Гоз — на него тоже смотрят с опаской господа и полиция, а в голове его и впрямь бродят крамольные мысли и мечты о какой-то по-новому счастливой стране и ее чудесном счастливом народе. Мечты эти наверняка разделяет писатель. Причем ради полноты нового он, пожалуй, взял бы в будущее и многое из жизни старой — и крестьянские «странности», и грамматическую нескладность сочной деревенской речи (здесь, как и вообще в описаниях народного быта, переводчик вполне на высоте), возможно, даже и незадачливого исправника, к которому Гоз, в отличие от писателя, относится всего лишь с холодным презрением.

Хорошо видно, что народный писатель вовсе не «растворен в народе» и хорошо известный ему народ совсем не однолик. Расставаясь с этими разными героями «Пяди земли» накануне больших перемен, мы догадываемся, что и в будущем они неодинаково станут переживать одни и те же события. Кто-то с готовностью сам устремится в будущее. Кто-то, в растерянности оглядываясь назад, замрет на месте. Кому-то, возможно, придется шагать вперед быстрее, чем вчера. Сегодня то, что для довоенного села было неясным, грядущим, стало реальностью. И нынешний день предоставляет нам счастливую возможность убедиться и в том, что каждая пядь не поднятой когда-то целины уже основательно пропахана, и в том, что красота труда, неделанной скромности и правды в жизни людей Алфёлда всецело и бесспорно сохранилась. Для этого немало сделал и сам Пал Сабо.

С. НЕБОЛЬСИН

РАЗНЫЕ ГРАНИ

Венгерский рассказ. Перевод с венгерского. Составители Михай Цине и Лариса Васильева. Предисловие Михая Цине. Москва, «Молодая гвардия», 1975.
В лучах света. Сборник рассказов венгерских писателей. Составитель Иштван Галл. Москва, «Молодая гвардия», 1976.

Трудно, очень трудно составлять антологический сборник рассказов: чтобы представить всех действительно серьезных авторов, сохранить тематическое разнообразие и не допустить, чтобы жесткий алфавитный порядок авторов помешал внутренней гармонии переходов от одного произведения к другому, и еще уйма всяких иных «чтобы». Вдвойне трудно, когда сборник рассчитан на зарубежного читателя: должны быть понятны все реалии и проблемы, которыми насыщена ткань рассказов. Да еще, как заявлено в предисловии Михая Цине, чтобы это было обзором новейшего венгерского рассказа и — одновременно — достоверной повестью о человеке, о созидательной жизни народа.

«Венгерский рассказ» несет некоторые следы этих трудностей: ради тематической широты и из опасения, что не все проблемы будут правильно восприняты, в него попали и произведения не антологической ценности, а то и простодушно сентиментальные.

Но в целом сборник выразителен и многообразен. Если же учесть, что эту основательную книгу словно бы подпирает вышедший вслед за ним в том же издательстве сборник рассказов для молодежного читателя «В лучах света», то картина становится еще полнее, тем более что составитель этого сборника чувствует себя свободнее, раскованнее: его не связывает необходимость представительства. Да и многие рассказчики — Карой Сакони, Лайош Галамбош, Иштван Галл и другие — участвуют в обоих сборниках, и оттого особенности их дарования проступают более отчетливо, определенно.

Что сильнее влечет в таком издании — то своеобразное, что не похоже на привычную для нас жизнь и литературу, или те частицы общего, легко узнаваемого, что приближает к нам иную, со своими обычаями и традициями жизнь? Наверное, и то, и другое.

СРЕДИ КНИГ

И все-таки меня больше затронуло именно общее. Очень интересно понаблюдать, как общий характер социалистической жизни, общие принципы ярко отражаются в ином жизненном материале, в иной художественной традиции. И происходит это в самом широком диапазоне — от героического утверждения идеалов до сатирического взгляда на человеческие несовершенства. В «Неотвязном воспоминании» Гёзы Молнара рассказчик вспоминает о безымянном связном, который, будучи схвачен фашистами, не выдал участников группы, готовившей восстание в столице при приближении советских войск,— сколько подобных художественных свидетельств верности своему долгу знает и наш военный эпос! А в «Протоколе» Габора Годы бурные переживания некоего Кациана в связи с тем, что он не получил приглашения на торжественное заседание, где ему полагалось быть по служебной иерархии, перекликаются с «Друзьями» Г. Бакланова, где архитектор Немировский, опоздав на городской актив, прошел по привычке в президиум, хотя на этот раз он не был избран. Только если у Годы, в соответствии с сатирическим жанром, все заканчивается улыбкой, то в романе Бакланова последствия оказались драматичными для героя. Но в обоих случаях вымороченность бюрократической престижности предстает отчетливейшим образом.

Подобные ассоциации, перекличка отдельных мотивов будут, вероятно, возникать у каждого читателя, немало способствуя эмоциональному восприятию рассказов.

Центром, сердцевиной обоих сборников стал для меня «Один день счастья» Антала Вега. И не потому, что считаю его наилучшим, и не потому, что он так живо напоминает многие страницы В. Распутина и других наших нынешних «деревенских» прозаиков. В этой вроде бы бесхитростной зарисовке (хотя не случайно здесь нет имен, просто: вдова, сын, невестка) талантливо схвачено, как изменилось все в Венгрии на протяжении жизни одного поколения. Здесь налицо и разительный рост материального достатка, и отсутствие у молодых тревоги за «черный день», угроза которого заставляла старое поколение почти инстинктивно откладывать лишний форинт, и столкновение разных психологий — разного отношения к труду к свободному времени, к жизненным ориентирам. Эти глубинные социальные процессы, перевернувшие всю жизнь, самыми разными гранями отражаются в сборниках.

В рассказе Иштвана Сабо «На остановке рейсового автобуса» предстает юмористическая ипостась этого «раздора» поколений. Нет, дело вовсе не в их полной несовместимости — в иных рассказах («Пусть Эржика ходит в школу» Лайоша Надя, «Прыжки через костер» Иштвана Чурки) старые и молодые близки друг другу. Речь здесь идет о ситуациях, наглядно показывающих стремительность и необратимость перемен в сегодняшней жизни. И необходимой нотой в этом эпосе о венгерской нови звучит «Свобода» Лайоша Мештерхази. Это рассказ о поколении, которое было молодым весной сорок пятого: «Мы были неистово веселы и молоды — тоже неистово». Революционная юность была готова немедленно переделать весь мир; подобное происходило в «Ячейке» Б. Горбатова, «Натке Мичуриной» В. Кетлинской и других наших романах 20-х годов о коренной ломке старого мира. И какими странными, несуразными, смешными показались героям Мештерхази слова отставного министерского чиновника, владельца двухэтажного особняка, который они хотели приспособить под районный дворец культуры. Старик почему-то не разделял их радости по поводу того, что его дом пойдет на общественные нужды, а ему с женой хватит и маленькой квартирки привратника. И смешной старик пришел домой и умер от разрыва сердца. Но молодым было не до соболезнования, они жалели совсем о другом: «У него есть коллекции. Жаль. Он мог быть хорошим смотрителем». И только теперь рассказчик понимает, что они, «творя хорошее, совершали немало глупостей», что жизнь сложнее, чем это казалось в веселом неистовстве молодости.

Без этого напоминания о сложности психологических процессов, не совпадающих порой с социально-экономическими, была бы, вероятно, неполной картина происходившего и происходящего в Венгрии: торжества справедливости, уважения к людям, увлеченности созидательным трудом.

Только на этой объемной гуманистической основе, на этой осознанной тяге к достоверности органически вырастают самые разные по жизненному материалу, интонации, художественным приемам рассказы.

Среди них — мощный пласт героических: «Рожика» Белы Иллеша о девушке, отважно выступившей против хулиганствующих молодчиков в пятьдесят шестом году, «Лейтенант» Иштвана Галла о мужественном поступке лейтенанта на учениях в сегодняшней армии, «Маленький человек — большой человек» Имре Добози.

Последний из них — особенно интересен. Рассказчик слушает в придорожной корчме беседу двух селян. Один излагает быль о том, как кузнец из деревни собеседника вынес страшные муки от бывших владельцев кооперативной земли, но не отрекся ни от того, что он коммунист, ни от того, что кооператив есть и будет. А второй все время поправляет, когда первого «заносит»: нет, кузнец был не лихой здоровый мужик, а, наоборот, внешне невзрачный; нет, не расшвырял он тогда этих братьев Межуи, а просто вытерпел все мучения от них и т. д. К концу разговора выясняется, что второй собеседник и есть тот кузнец. Так причудливо сплелись здесь и народное восхищение стойкими борцами за свою идею, и фольклорная гиперболизация героя, и несовпадение внешнего облика и внутреннего мужества. А в самой глубине проходит деликатный намек собратьям по

перу: не нужно расцвечивать геройство, маленький человек становится большим не от приукрашивания, а от достоверности.

Рядом с героическим пластом залегает в сборниках бытовой пласт. Рассказ «В чужом доме» Кароя Сакони — о том, как два друга из заводской бригады подыскали комнатку и помогают переезжать женившемуся товарищу. А он, оказывается, уже дал согласие тестю перейти с завода в артель, где повыше заработки. И хотя он еще верит — во всяком случае, уверяет,— что рабочая дружба не прервется, друзьям-то ясно, что все кончилось: дружба держится на единстве образа жизни и нарушается, если кто-то позарится на легкие хлеба. И эта ясная рабочая совесть создает внутреннее напряжение «обычного» радостного сюжета о появлении гнездышка у новобрачных. Слова в чужом доме — это не только о снимаемой комнатке, а и о сменяемом укладе.

И еще один, может быть самый большой по количеству рассказов, пласт — лирико-романтический. Это «Влюбленные, сотканные из солнечного света» Булчу Берта, где само название выражает тональность рассказа (отблеск которого дал, очевидно, и название всему молодежному сборнику). Это и «Любимая едет на бричке» Эрне Урбана, и «Волшебный сад» Иштвана Сабо, и «Лгунишка» Эндре Фейеша. А Иштван Эркень рассказал о том, как поэт прочитал из телефонной будки стихотворение редактору, а тот попросил написать другое — «повеселее». И будка ночью сорвалась с места, ушла за город и остановилась на цветущей поляне. И теперь те, кто хотят во время прогулки, наткнувшись на будку, позвонить в город, слышат грустные стихи поэта, сохраненные аппаратом. «Власть поэзии» — так и называется этот шутливый, но далеко не шуточный рассказ.

Невозможно ни пересказать, ни прокомментировать, ни даже назвать все рассказы. Да в этом и нет нужды: хотелось лишь показать, с каким изяществом и художественной фантазией воссозданы здесь разные грани сегодняшней венгерской жизни и какая впечатляющая эпическая картина вырисовывается из этой россыпи блестящих точек.

А. БОЧАРОВ

Издано за рубежом

ПОЭЗИЯ РОДНОГО ДОМА

В связи с выходом в свет воспоминаний крупнейшего словацкого прозаика и поэта Андрея Плавки газета «Новое слово» опубликовала его интервью, взятое писателем Любошем Юриком, которое мы предлагаем вниманию читателей. Первая часть мемуаров под названием «Влюбленный в жизнь» печаталась в «Иностранной литературе» (№ 10, 11, 1972 г.), публикация второй части — «Полной чаши» — начинается в этом номере журнала.

— Издание ваших мемуаров явилось важным событием для словацкой литературы. В них, как на киноленте, запечатлены события политической, общественной, культурной и литературной истории Словакии. Одновременно тут ощущается и дыхание европейской и даже мировой истории, хотя в равной мере это и история одного человека. Собственно, это — сага жизни поэта. И наше интервью мы, наверное, тоже могли бы начать с воспоминаний. Первый вопрос: почему вы решили написать мемуары? Что побудило вас к этому?

— Времена, которые сохранила еще моя детская память, были столь драматичны, что оказали большое влияние и на мое творчество. Бушевала первая мировая война, с башен деревенских костелов сбрасывали колокола, чтобы отлить из них пушки; плач женщин, недовольство народа — все это не могло не подействовать на мальчишеское воображение. Ну а потом прежде всего знаменательные дни переворота — я словно ворвался в новый, еще только зарождавшийся мир и вместе с ним переживал все его горести и радости. Шли годы, липтовская деревня начала менять свой облик, и я пытался запечатлеть эти перемены в художественной форме. Разумеется, это не всегда мне удавалось. А когда прошло немало лет и я вдруг заметил, что близится старость, то спохватился и подумал, что было бы нелишне теперь, уже с позиций зрелого человека, оглянуться назад и рассказать молодому поколению о том, как у нас люди когда-то думали, страдали, чувствовали, пели — словом, как жили, а именно этим в значительной мере и детерминировано мышление, образ жизни и характер нашего современника. Тут и следует искать мотивы, побудившие меня написать «Влюбленного в жизнь» и «Полную чашу».

— Такой человек, как вы, много повидавший, много слышавший, много переживший, человек, который много перестрадал и много написал, которому знакомо упоение творчеством, может сравнить и оценить. И мне бы хотелось услышать от вас о переменах, происходящих с вашим краем, с вашим Липтовом. Каким был этот лирический, воспетый в стихах (но в то же время суровый, печальный и в поте лица трудившийся) край во времена вашей юности и каков он сейчас? Какими были ваше детство, ваша юность, как вы воспринимаете сегодняшний, преображенный Липтов?

— Перемены в родном Липтове — и те, что видны с первого взгляда, и те, что заметишь не сразу,— я попытался отразить в своих мемуарах (в них более тысячи страниц); однако мои воспоминания не претендуют лишь на роль документа эпохи, это своего рода художественная проза. Отдельные события из жизни близких мне людей прямо просились на бумагу, требуя художественного воспроизведения,— потому и возникла форма беллетризованных. мемуаров. Замысел автора читатель хорошо понял, доказательством служит интерес к моим воспоминаниям не только со стороны земляков, но и широкой читательской общественности и нашей, и зарубежной.

Впрочем, если хочешь поведать о переменах в моем родном Липтове — именно о контрастах нового и старого, то как не взгрустнуть немного при воспоминании и о старом, поэтическом Липтове с тихими романтическими уголками, чистыми ручьями, полными форели, харпусов, подустов и гольцов. В Липтове прошло мое детство и отрочество, там я встретил первую любовь. Как можно забыть сенокос на лугах и пение травниц [1]; первые печали юности и первые самостоятельные шаги в жизни; обаяние красоты, которая из дали лет кажется еще прекрасней. Старый Липтов ушел безвозвратно, родную деревню затопила вода новых времен, и между липтовскими полонинами и Низкими Татрами разлилась безбрежная зеркальная гладь Липтовской Мары — как самое красноречивое свидетельство огромных перемен, пришедших с новой жизнью.

— Родной дом, Липтов — это ведь и основные мотивы вашей поэзии. В родном краю вы обрели источник вдохновения, смысл и цель бытия. Это ощущается и в вашем поэтическом творчестве: «Три прута Липтова», «Липтовская свирель», «Отчизна моя» или «Горная сосна», да, собственно, и во всех остальных сборниках вы воспеваете родину и Липтов. Не можете ли вы сказать, какой резонанс вызывают в вашей душе теперь эти стихи о родном крае, как вы оцениваете их по прошествии времени?

— Как и для всей моей жизни, так и для моей поэзии Липтов действительно стал «центром securitatis», стал неисчерпаемым источником творческого беспокойства, уходов и возвращений, радостей, огорчений и печалей. Это животворный родник, к которому можно в любой момент вернуться — не только для отдохновения, но и для того, чтобы почерпнуть уверенность и новые творческие силы. Это источник преемственности этической принадлежности к нации, народу, понимания смысла его исторической борьбы во имя будущего. Но было бы вульгаризаторским упрощением сужать эту привязанность к родному краю, видеть в ней лишь какое-то проявление местного патриотизма, считать, что я весь мир вижу только через призму липтовских горных склонов. К сожалению, высказывались о моей поэзии и такие суждения, навешивался ярлык липтовской деревенской доморощенности, как если бы я и впрямь не видел ничего в жизни, кроме липтовских долин. А я меж тем бороздил океаны, познавал мир от Финского залива до Индийского океана, от Лондона до Царьграда и Вавилона, от монпарнасских кафе до мастерских кашмирских тканей у подножья Гималаев. Однако мне всегда был чужд космополитизм, и даже среди попугаев в джунглях я не стал попугаем. Ни в образе жизни, ни в своем творчестве. С таких позиций я и сегодня, спустя много времени, смотрю на свою поэзию — в том числе и на чисто «липтовскую». Да, точно так, как я написал в «Отчизне моей»: «Сквозь призму любви к тебе на белый свет гляжу...»

— Значительным событием, повлиявшим на ваше творчество и оказавшим огромное влияние на вашу жизнь, явилось Словацкое национальное восстание, в котором вы приняли участие. Это закономерно, вы всей своей жизнью шли к тому, чтобы встать на сторону борцов с фашизмом, которые позднее стали строителями социализма. Восстание вдохновило вас на создание двух сборников стихов: «Костры на горах» и «Три воды», но сборники «Слава жизни», «Зеленая ветвь» и вышедший позже сборник «Не погиб на коне» также навеяны восстанием, хотя обращены в будущее. Расскажите, пожалуйста, какое значение имело для вас Словацкое восстание и как оно повлияло на вашу поэзию?

— Словацкое национальное восстание, как все правильно заметили, явилось для меня решающей вехой. Еще и сегодня, спустя столько лет, я сознаю, что именно тогда стал я зрелым гражданином, человеком и поэтом. Ведь в те дни ощутила свою зрелость вся нация, весь народ, а с ним и я — как его частица. В мемуарах я писал, как после долгих лет поисков, жизненных испытаний, заблуждений, ошибок, исканий, долгих лет накопления жизненного опыта — нередко мучительного и болезненного — я пришел наконец к пониманию правды жизни, правды коммунистической партии, в которую я вступил славной осенью 1944 года в Банской Быстрице. Я присоединился к тем, кто в трудные дни восстания не только все помыслы, но и дела посвятил благородной цели — навсегда покончить с фашизмом и его словацкими пособниками. Опыт и традиции вековой борьбы словацкого народа за национальную и социальную свободу в Словацком национальном восстании достигли вершины, и потом это нашло практическое проявление в новом общественном строе, а у художников, разумеется,— в их творчестве. Именно в те дни мы, пожалуй, осознали навсегда, где место писателя, да и вообще любого художника, какова его миссия, долг перед народом. Это было наше

[1] Травницы — песни, которые поются во время сенокоса.

«крещение огнем», поставившее нас в ряды сеятелей правды, идей свободы и прогресса, человечности и стремления к взаимопониманию. Задача была в том, чтобы наиболее сильно, наиболее действенно воплотить эти благородные идеи и намерения. На первых порах в нас и в наших произведениях было много пафоса, нередко и во вред убедительности, но это, пожалуй, было закономерно.

Стихи, написанные во время восстания, я сразу же после Освобождения пополнил новыми и в 1947 году издал в сборнике под названием «Костры на горах». К тематике восстания я возвращался и позднее, особенно в лирико-эпической поэме «Три воды» и в своей последней книге «Не погиб на коне», написанной к 30-летию Словацкого национального восстания.

— Весьма существенной составной частью вашей деятельности в области литературы является и то, что вы — председатель Союза словацких писателей. Как председатель и, разумеется, как художник, который на протяжении десятилетий вносит вклад в создание социалистической культуры, вы имеете возможность следить за развитием нашей современной словацкой литературы, всей нашей социалистической культуры. Что вы думаете о современной словацкой литературе, каковы ее возможности, ее недостатки и достоинства?

— Не сочтите, что это продиктовано самоуспокоенностью председателя Союза или даже своего рода похвальбой, если скажу, что размах нашей современной литературы нельзя сравнить ни с одним предшествующим периодом. Разумеется, не каждый день рождаются и созревают великие авторы. Однако и во времена порабощения у нас были Гнездослав Кукучин и Краско. А наша современная поэзия может гордиться именами Лацо Новомеского, Яна Костры, Павола Горова или Мирослава Валека. Новаторские критические произведения Александра Матушки также вышли за границы нашей литературы. И, к счастью, у него есть последователи (Станислав Шматлак и другие). Наша драматургия также переживает подъем. Лишь проза, как мне кажется, довольно долго готовится к тому, чтобы художественно адекватно отразить глубокие перемены нашей жизни. Жаль, что Владимир Минач не продолжил свою трилогию «Поколение». Но в литературу вступают новые авторы, произведения которых представляют большой интерес, как, например, Ян Ионаш, Петер Ярош и другие. Союз словацких писателей и все наше общество создают сегодня литератору такие условия для создания новых произведений, каких прежде у него никогда не было. Я убежден, что это даст желаемые результаты и спустя некоторое время появятся новые произведения, которые будут достойным художественным свидетельством нашей эпохи.

ФРАНЦИЯ: ПОЛИТИКА И ФАНТАСТИКА

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛЕГЕНДЫ

Roger Bordier. Meeting. Paris, Editions Albin Michel, 1976.

Новый роман известного французского писателя Роже Бордье «Демонстрация» — произведение, весьма характерное для тех процессов, что развиваются теперь в прозе Франции. Сегодня, после периода формалистического экспериментаторства, французский роман поворачивается лицом к реализму, исследованию социальной действительности, все чаще пытается рисовать жизнь и борьбу народных масс.

Автор «Демонстрации» опубликовал в журнале «Эроп» статью, которая многое проясняет в замысле и проблематике его романа. Размышляя о диалектике взаимоотношений героя и народа в творчестве Андре Мальро, оказавшего заметное влияние на французскую литературу нашего века, Роже Бордье утверждает, что в книгах последнего — даже в известном романе «Надежда» о событиях в Испании 1936—1939 гг.,— «отсутствует народ». По его мнению, народ в романах Мальро остается пассивным, не играет активной, ведущей роли в истории, являясь своего рода фоном, на котором показывается трагическая судьба героев-индивидуалистов. Именно в этом усматривает он разрыв Мальро с традициями Виктора Гюго, который видел в народе самостоятельную, деятельно-героическую силу истории и прогресса. Эти два подхода к решению проблемы народа и героя — позитивный или отрицательный — ориентируют, по мысли Бордье, французский роман в наши дни. «Литература так называемого «социального выражения»,— отмечает он,— продолжает многих пугать. Вокруг нее образовался чудовищный заслон культурных предрассудков».

Роже Бордье стремится своим романом развеять эти укоренившиеся предубеждения и, говоря его словами из интервью еженедельнику «Франс нувель», «показать освободительную борьбу масс, борьбу рабочего класса, демократическую борьбу». Поэтому «Демонстрация» стала таким злободневным произведением, хотя в нем не найти никаких хронологических ориентиров и четкой топографии. Но необходимо снова прислушаться к авторскому голосу. «Моей целью,— заявил писатель в интервью газете «Юманите»,— было сделать толпу персонажем романа и в то же время создать обобщенный образ молодой предводительницы народного восстания — Флоры. Этот образ становится зеркалом народного воображения, которое с присущей ему поэтичностью создает легенду на основе пережитой реальности».

СРЕДИ КНИГ

Главной реальностью романа Роже Бордье — этой лирической эпопеи, что, как река ручьи, вбирает множество самых разных проявлений протеста народных масс против несправедливости и бесчеловечности капиталистической действительности, является борьба. Отдельные эпизоды книги словно сошли со страниц газетной хроники, образуя своеобразную панораму борьбы трудящихся против произвола монополий и бесправия человека. Все персонажи романа — даже чуждые настроениям протеста — глубоко ощущают общее неблагополучие современного буржуазного общества, его враждебность прогрессу, подлинной демократии и гуманизму.

Крестьяне во главе с красавицей Флорой, вооружившись охотничьими ружьями, выступают в защиту своего кооператива от посягательств монополий и банков. Они мечтают о том дне, когда «восторжествует справедливость», когда они станут хозяевами земли и труд превратится в радость. Восставшие менее всего напоминают «мятежников», как их аттестует буржуазная пресса. Ведут они себя независимо, с большим достоинством, чувствуя на своей стороне правду истории, правду будущего. Действия крестьян озарены светом высокого идеала. «Идеал,— говорит их предводительница Флора,— это самая будничная реальность, в которой бьются локоть к локтю и, если надо, до смерти для того, чтобы изменить порядок вещей». И хотя крестьянам не удается одержать победу, кооператив их все-таки перестает существовать — основного они добиваются: осознают силу собственного единства в борьбе.

Пример крестьян воодушевляет соседний город, где докеры похищают директора портовых складов, гребуя улучшить условия труда и повысить заработную плату. Даже местная богема, убежденная, что «искусство ничему не служит», с оружием в руках начинает пикетировать свой «Киоск» — здание в стиле «конца века», откуда их хотят вышвырнуть земельные спекулянты и построить на его месте дешевые доходные дома для рабочих-иммигрантов.

Однако в центре романа — грандиозная демонстрация, которую городские профсоюзы, руководимые стойким активистом Венсаном, организуют во время похорон погибшего при пожаре иммигрантских лачуг пакистанского ребенка. Она призвана явить силу рабочей солидарности, мощь «спонтанного братства» людей труда, показать их решимость в битве за справедливость и человеческое достоинство. Пестрая масса участников демонстрации и выступает «коллективным» героем книги.

В романе Роже Бордье точно схвачена одна очень характерная черта сегодняшнего этапа демократической борьбы во Франции. Прежде всего речь идет о настроениях, связанных с гошизмом сторонников «сиюминутной революции». Яркий, выхваченный прямо из гущи жизни образ семнадцатилетнего юноши Кристиана — большая удача писателя. Кристиан жаждет немедленной справедливости, «прямых действий», он потрясен гибелью пакистанского ребенка, но ему еще неведомы подлинные пути социальной борьбы. Участвуя в демонстрации, Кристиан приходит к сознанию, что не бесплодные тирады гошистов, а объединенные усилия борцов могут привести к победе. У него рождается убеждение, что «ключ к счастью» — не в индивидуализме, а «вопреки себе — в коллективе». Пылкий порыв Кристиана находит сочувствие и понимание у закаленного в борьбе профсоюзного активиста Венсана, который считает, что истина, правда истории — в учении В. И. Ленина.

Изобразить массу, что еще не доросла до сплоченного коллектива убежденных борцов, но уже осознала несправедливость и обреченность мира наживы,— это трудная творческая задача, для решения которой писатель привлек необычные художественные средства. Роман, в сущности, не имеет фабулы, персонажи его, не зная друг друга, объединяются только двумя моментами: отношением к Флоре и участием в демонстрации. Пестрые эпизоды «Демонстрации» складываются в случайную, будто в калейдоскопе, картину, причем зачастую они оказываются связанными не внутренними психологическими мотивировками, а прихотливыми поэтическими ассоциациями.

Роман Роже Бордье и его художественный поиск привлекли внимание французской критики, вызвав довольно разноречивые оценки. «Персонажи Роже Бордье обычно неотделимы от экономического или социального движения нашего времени,— отмечала в газете «Монд» Жаклин Пятье.— «Демонстрация» — своеобразное продолжение той эпопеи мятежа, которая проходит через все творчество писателя и особенно ярко выражена в романе «Океан». Для того чтобы найти художественное воплощение темы современной социальной борьбы, Р. Бордье воссоздает слова и мысли множества персонажей, находящихся в разных точках действия, но объединенных единым порывом протеста». Однако правильно поняв замысел книги, Ж. Пятье утверждает, что писатель не сумел найти ему соответствующего эстетического воплощения, греша многословием и фрагментарностью.

Клод Боннфуа, в отличие от критика из «Монд», в еженедельнике «Нувель литерер» отмечает, что «искусная композиция романа переплетает сотню различных действий, в которых раскрываются взаимоотношения между личностью и обществом, индивидуальным и коллективным сознанием. Это — политическая, ангажированная книга». В статье, опубликованной в «Юманите» и красноречиво озаглавленной «Политическая поэма», Андре Вюрмсер пишет, что «книга Р. Бордье — это картина нашего времени, созданная поэтом нашего времени. Богатая ритмами, звучная и образная, «Демонстрация» написана истинным поэтом».

Спор о «Демонстрации» превратился по сути в дискуссию о том, какими путями

нынешний реалистический роман во Франции может воссоздать социальную борьбу масс, каким должен быть герой, стоящий во главе борющегося народа.

Бордье удалось создать впечатляющий образ народной предводительницы Флоры — поэтический и озаренный светом легенды, и он вырастает в своего рода яркий символ народного протеста. Роже Бордье попытался полемически противопоставить образ Флоры той антилегенде, которую разрабатывают буржуазные средства массовой информации, стараясь исказить подлинный смысл героической борьбы народа, свести его к броским, рекламно-пропагандистским клише. Писатель показывает, как все перипетии крестьянского восстания сопровождаются комментариями радио, телевидения и газет, в которых в ложном свете изображается борьба трудящихся.

В конце романа есть выразительная сцена: диалог старого лесоруба и учительницы. «Она ждала любых вопросов, кроме следующего:

— Вы думаете, здесь будет революция?

Что ответить? Она предпочитает не распространяться:

— Да!

— Почему?

— Потому что земля вертится».

Весь роман проникнут этой верой в неизбежность революции и победу народных масс, которые в нашем веке стали главными героями истории. Писатель сообщил, что его роман — начало большого романического цикла. Будем надеяться что Роже Бордье расскажет нам о дальнейшей судьбе своих героев и о том, как крепнут их силы в борьбе за будущее.

Л. ТОКАРЕВ

НЕПОДВИЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Robert Merle. Madrapour. Paris, Editions du Seuil. 1976.

«Не проходит недели без того, чтобы радио, телевидение и газеты не сообщили нам с обилием деталей о происшедшем где-нибудь очередном захвате заложников. Похищение детей, захват самолета. Этот новый вид преступлений приобретает характер подлинного бедствия нашей эпохи»,— пишет Фабиан Грюнер в статье «Инфляция заложников», напечатанной во французском журнале «Сиянс э ви».

Бедствие это становится одновременно и золотой жилой для определенного рода литературы, где эксплуатируются главным образом острые моменты, которыми столь богаты подобного рода сюжеты. В центре таких книг — гангстеры. На разные лады в беллетризированной форме здесь преподносится вывод, сделанный французским психиатром Жаном Ляфоном: «Это преступление — для преступников умных, честолюбивых, умеющих хорошо организовать свои действия, достаточно уравновешенных, чтобы точно рассчитать, выждать, не вдаваться в панику». Не берусь судить, известны ли гангстерам эти лестные для них умозаключения, но авторы детективных историй строго придерживаются такой «инструкции». Не трудно заметить однако, что зачастую они не уделяют почти никакого внимания жертвам.

И, может быть, одна из самых примечательных черт романа Робера Мерля «Мадрапур» как раз в том и состоит, что, положив в основу сюжет, грозящий стать банальным и в силу этого чуть ли не обреченным оставаться за пределами настоящей литературы, писатель создал книгу не столько о похитителях, сколько о похищенных — о тех, кто оказывается в роли заложников. И роль эта рассмотрена под особым углом зрения.

«Цена, придаваемая в наши дни человеческой жизни — по крайней мере в теории,— делает из угрозы убийства оружие почти неодолимое»,— пишет Грюнер в своей статье. Роман Мерля — это своеобразный эксперимент, и его цель — выяснить, какими же реальными человеческими ценностями наполнены жизни, которые, оказавшись во власти похитителей, получают обычно оценку в денежном выражении: миллионы франков, марок, лир, долларов.

Когда речь идет о жизни в биологическом содержании этого термина, опыты могут ставиться in vivo, то есть в условиях обычной окружающей среды, и in vitro — «в стекле», в колбе, в пробирке, где изучаемое находится в относительно изолированном состоянии.

Такие хорошо известные романы Робера Мерля, как «Остров», «Разумное животное», «Мальвиль», — это исследования in vivo, хотя в качестве объекта изучения всегда выступает довольно узкая группа людей, но она не утрачивает связи с окружающим миром и находится под его постоянным воздействием.

«Мадрапур» — опыт in vitro. На суперобложке романа мы видим большой современный самолет, высоко парящий над безжизненным горным пейзажем. Что же в нем происходит? Разобраться в этом — или во всяком случае войти в исходную ситуацию— помогает рисунок-схема, помещенный в начале второй главы. Его набросал для себя герой романа, от имени которого ведется повествование. На рисунке фюзеляж самолета в разрезе. Нечто, действительно очень похожее на пробирку, поскольку крылья отброшены. Туристский класс пустует. В салоне первого класса кресла расставлены необычайным образом — в виде круга. Расположение кресел по окружности позволяет всем хорошо видеть друг друга. Это очень важно, ибо такое взаимное «рассматривание» и есть то, что можно было бы назвать действием в романе.

Сержиус, француз, переводчик в ООН, нарисовавший схему, знает пока о своих

спутниках очень немногое, но если добавить, что по крохам выясняется в дальнейшем, перед нами — включая рассказчика — семь французов: Караман, Пако, Бошуа — представители «деловых кругов», Мишу — девушка, дочь богатых родителей, мадам Эдмонд — содержательница фешенебельного публичного дома и мадам Мюзек — состоятельная вдова; две богатые американки — также вдовы; Крестопулос — грек, запутавшийся в финансовых махинациях при поставке продовольствия в лагеря политзаключенных; Монзони — молодой итальянец, Робби — немец из ФРГ, оба с деньгами, но без определенных занятий; Блаватски — американец, агент ЦРУ. Не будь его и не делись он некоторыми своими сведениями с Сержиусом, автору романа было бы еще труднее вплести в свое повествование, ведущееся от первого лица, какие бы то ни было «ретрохарактеристики» его героев. Но и всеведущему Блаватскому ничего не известно о том, что из себя представляет чета «индусов»,— ставлю в кавычки, поскольку эти два персонажа весьма условны, но именно они объявят всех пассажиров самолета своими заложниками. Это происходит вскоре после того, как выясняется, что у воздушного лайнера нет никакого экипажа, что управление полетом ведется с земли какой-то таинственной силой «Соль» (по-французски — земля, почва) и что в общем-то не очень ясно, куда летит самолет и существует ли на самом деле Мадрапур, некое микрогосударство на севере Индии, куда у всех взяты билеты.

«Индусы» требуют, чтобы «Соль» их высадила, в противном случае заложники будут постепенно по одному уничтожены. В ожидании ответа разыгрывается сцена определения по жребию, кто же должен погибнуть первым. «Индусы» предварительно отобрали у пассажиров деньги и драгоценности. Утрата материального «богатства» и возможная потеря жизни — Мерль очень искусно сталкивает две психологические реакции, и «ограбление» превращается в первое обнажение духовной нищеты пассажиров, чье сознание неспособно отделить «кошелек от жизни и жизнь от кошелька». Во время процедуры жеребьевки маски благопристойности падали не раз, и лица стали виднее. Однако «Соль» сажает самолет, «индусы» его покидают, «награбленное» с презрением выброшено в реку, а полет в никуда продолжается, и заложники остаются заложниками «Соль». Они постепенно и очень смутно начинают понимать, что никто из них не покинет самолета живым. Мотивы притчи о жизни и смерти вплетаются в рассказ, сохраняющий условный реализм применительно к созданной коллизии и расставленным декорациям.

Опыт in vitro достигает одной из своих наивысших точек, когда Бошуа, Пако и Крестопулос извлекают колоду карт и начинают играть в покер. «Я закрываю глаза,— говорит рассказчик.— Мне не хочется следить за этой игрой. Я нахожу ее абсурдной, неуместной и в конечном счете унизительной для всех, включая тех, кто волей-неволей становится зрителем. К этому моменту путешествия Бошуа, я и остальные, как мне кажется, уже не должны позволять себе быть такими пустыми и суетными». Абсурдна, однако, не столько сама игра, сколько то обстоятельство, что она ведется на деньги. «Ограбленные» пассажиры решили изготовить боны. За отсутствием какой-либо другой — в ход пущена туалетная бумага. Предпочтение отдано надежным швейцарским франкам. К концу игры все эти клочки туалетной бумаги оказываются в руках у Крестопулоса, и он требует у проигравших, чтобы значащиеся на бонах 18 000 швейцарских франков были выплачены ему в действительной валюте «при ближайшей возможности». Возникает острейший конфликт, в который так или иначе втягиваются почти все пассажиры. Таким острым моментам, однако, не суждено повториться, так как вскоре «Соль» приказывает, чтобы стюардесса раздала успокоительно-снотворные таблетки «Онириль», и путешественники будут продолжать свое неподвижное путешествие в состоянии полузабытья. Их уже стало на одного меньше: обессиленный Бошуа выгружен в какой-то ледяной пустыне, рассказчик чувствует, что теперь очередь за ним...

Критик Робер Пуле в журнале «Ле спектакль дю монд» пишет о «Мадрапуре»: «Мы понимаем, что это путешествие — жизнь, где каждый отмечен своей судьбой и достигает своего конца, ведомый таинственной силой, которой он сам не может дать определение... Робер Мерль держит в напряжении читателей, все время увеличивая количество разного рода инцидентов и беспрестанно варьируя отношения, складывающиеся между его героями. Он сумел создать вокруг них атмосферу, способную нас увлечь, во всяком случае вначале. Когда острее проступает символизм, когда повествование становится все более метафорическим, не утрачивая тона некоторой фамильярности, мы отстраняемся, наше внимание ослабевает... Чтобы, задев за живое, полностью завладеть нами, необходимо искать какие-то другие глобальные образы человеческого существования, образы пределов и возможностей человека». В словах этих есть некоторая доля истины. Но нельзя согласиться с Робером Пуле, когда он делает вывод, что роман в целом «не удался» и герои его, если перевести дословно, «гибнут ради ничего». Не следует забывать, что перу автора «Мадрапура» принадлежат переводы на французский язык романов Свифта, и определенная «никчемность» пассажиров первого класса сатирически подчеркнута в книге, причем созданная автором «метафизическая» ситуация как никакая другая позволяет именно физически ощутить эту пустоту. Однако к концу книги сатирическая струя действительно ослабевает, и «метафизический» фон, выдвинувшись на пер-

вый план, грозит заслонить от нас полные иронии глаза Робера Мерля, которые мы не переставали видеть по ту сторону его стеклянного самолета.

Позволяет ли предпринятый писателем опыт начертить «глобальный образ пределов и возможностей человека», если повторить слова Робера Пуле? Можно усомниться в том, что автор имел такие намерения. Поставленная им перед собой основная задача сформулирована «индусом». «Вы,— говорит он пассажирам, обвиняющим его в воровстве,—могли бы также считать, что все это — опыт духовного ограбления и раздевания». И много страниц спустя перед началом игры в карты Пако горестно замечает: «Странно, но я чувствую себя голым, когда не ощущаю присутствия моего бумажника во внутреннем кармане пиджака. Да, голым. И как бы еще сказать? (Он подыскивает слова.) Ущемленным в моих мужских потенциях».

Только определенный класс людей, во всех видах отношений между которыми деньги играют доминирующую роль, можно было так «обнажить» с помощью приемов, к которым прибегли «индусы» и автор. Но не по признаку ли именно этой возможности и подобраны специально пассажиры самолета — все они, как говорится, «в своем кругу». Пределы и возможности этого круга раскрываются в романе.

Почти одновременно с «Мадрапуром» Робера Мерля на книжных витринах Франции появилась другая книга — «Никто не знает дня» Габриэля Делонэи. Здесь перед нами тоже заложники — восемь французов, брошенных в тюрьму гитлеровцами. Ночь, которую проводят эти люди в тюрьме, возможно, последняя ночь в их жизни. Герои Делонэи принадлежат к совсем иному кругу, нежели герои Мерля. Здесь есть и фермер, и металлург, и представители разных других профессий. Товарищи по несчастью, все они не знакомы друг с другом. «Мы оставались чужими,— говорит один из них,— мы не разбили своей скорлупы — зеркала внутри, брони снаружи,— как будто мы еще верили, что она нас защищает и создает». На этих внутренних зеркалах перед каждым из заключенных проходит его жизнь. И эти разные и разрозненные песни в чем-то едины. Они могут слиться в одну, подобную тому как хор в древнегреческих трагедиях как бы вбирает в себя голоса всех героев, и от этого яснее и доходчивее становится слово каждого, при всей его неповторимости и единичности. Там, где общность и возможность общения хранятся в бумажнике, не может возникнуть такой общей песни. А без нее —звучащей или безмолвной — даже трагическая ситуация оборачивается фарсом.

В романе Мерля Робби, которому автор позволяет иногда не забывать, что когда-то он держал в руках книги немецких философов, так и говорит своим спутникам: «Вы рассматриваете эту историю на уровне, который ей совершенно несвойствен... Это фарс или урок. Может быть, и то и другое одновременно».

Робер Мерль максимально использует все фарсовые возможности, заложенные в созданной им ситуации. Но надо сказать, что жизнь, там, на земле, почти не видная с летящего в «Мадрапур» самолета, и в жанре фарса смело соперничает с писательской фантазией. Не так давно в итальянских и французских газетах промелькнуло сообщение о том, что с одного из кладбищ в Италии гангстеры похитили гроб с телом незадолго до этого скончавшегося богатого домостроителя. В случае отказа со стороны родственников выплатить миллион лир злоумышленники угрожали выбросить гроб в море. Роман Мерля, заключающийся в нем урок позволяют лучше понять тот мир, где даже мертвый может оказаться в роли заложника, ибо хотя он и утратил уже связи с жизнью, незримые нити по-прежнему тянутся от него к его капиталу. Когда читаешь подобные сообщения, когда задумываешься над этим фарсом «Заложник по-итальянски», кажется, что таинственные «индусы», покинувшие борт самолета, настойчиво продолжают свою деятельность на земле с фанатической уверенностью, что в конце концов им удастся спровоцировать такой взрыв очистительного смеха сквозь слезы, после которого мир «старой скуки», как говорил Блок, уже не сможет собрать и напялить вновь все свалившиеся с него маски.

В одном из интервью Робер Мерль, говоря о тех своих романах, которые критика относит к жанру «политической фантастики», сказал, что назначение этих книг «предупреждать и предостерегать», они подобны пилюлям, где фантастика играет «роль позолоты, позволяющей проглотить содержание горькое, но целительное».

Сам автор не относит «Мадрапур» ни к научной, ни к политической фантастике, но книга явно содержит в себе и предупреждение и предостережение. «Целительность» романа зависит, однако, от скорости, с которой его «проглатывают». Она не должна приближаться к скорости самолета.

НИКИТА РАЗГОВОРОВ

◆

К нашим иллюстрациям

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ЛИРИЗМ

Американское негритянское искусство — неотъемлемая часть искусства Соединенных Штатов Америки. Год от года, шаг за шагом оно отвоевывает право на свое признание и глубокое научное изучение — каких-нибудь тридцать лет назад им занимались лишь одиночные исследователи-энтузиасты, а в конце 60-х годов негритянские студенты выступили с требованиями внести изменения в учебные планы специальных учебных заведений, с тем чтобы в учебных курсах вклад американских негров в изобразительное искусство получил достойное отражение.

Интерес к негритянскому искусству заметно возрос в конце пятидесятых — шестидесятых годах, когда антиколониальное движение в странах африканского континента привело к образованию ряда независимых государств; оно нашло отклик в сознании негритянской интеллигенции Америки. В то же время усилилась борьба негров за свои гражданские права внутри самих Соединенных Штатов.

В последние годы состоялся ряд крупных экспозиций негритянского искусства, среди которых самыми значительными были выставки в «Метрополитэн музеум» в 1969 г. и юбилейная выставка «Два века негритянского американского искусства», открывшаяся в конце 1976 г. в Лос-Анджелесе и демонстрирующаяся в музеях страны по сей день.

Быть и называться в сегодняшней Америке негритянским художником — значит, с одной стороны, осознавать свою ответственность за сохранение традиций культуры негритянского народа и, с другой,—выражать солидарность с социальной программой, связанной с борьбой за гражданские права. Передовые негритянские художники, не стремясь влиться в общее русло американского искусства XX века — движущегося в основном от социальных проблем и реалистических решений к абстрактной и беспредметной форме, часто являющейся самоцелью,— создают символы и образы, которые отражают эстетические и социальные потребности негритянской Америки. Исполнительный директор «Студио музеум» в Гарлеме Эдвард Сприггс назвал семидесятые годы «десятилетием растущего сознания политической и социальной ответственности художников»: все большее число прогрессивных негритянских художников начинает видеть в своем искусстве прежде всего орудие борьбы за духовную и гражданскую свободу.

Художник-трибун негритянской Америки Чарльз Уайт — один из немногих, чья известность давно перешагнула границы Соединенных Штатов. Еще в школе Ч. Уайт был членом маленькой груп-

См. цветные иллюстрации на обложке.

пы учеников, выступавших против расовой дискриминации. (В школьные годы ему дважды присуждали награды за художественные работы, но не вручали, когда высшие инстанции узнавали, что он негр.) Сейчас его произведения хранятся во многих музеях мира, о его творчестве написан ряд монографий. Он участвовал более чем в ста выставках в Америке и на других континентах. В 1968 г. его работы экспонировались в Москве в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и в ленинградском Эрмитаже.

Броская — почти плакатная в страстной целеустремленности своих идей — живопись и графика Ч. Уайта привлекает достоверностью, убедительностью и ясностью художественного выражения. Сам Уайт говорит, что, обращаясь к близкой для него проблематике жизни своего народа, он в то же время стремится выразить чувства общие и дорогие для всех людей. В картине «Только двое» нарочитая жесткость линий, скульптурная резкая выточенность человеческих лиц, напоминающая по стилю африканские ритуальные маски, сочетаются с мягкостью, глубоким лиризмом.

Гневный, отчаянный протест против несправедливости существующего порядка вещей запечатлен и во многих ярких, выразительных работах мастеров молодого послевоенного поколения, необычайно остро реагирующего на дискриминацию. Глубокого трагического звучания достигает молодой художник, преподаватель колледжа Генри Линтон в картине «Одиночество». Фигура, выражающая отчаянье, заполнила все пространство картины: на слепом фоне — как тревожный крик — красное пятно одежды; точной, лаконичной выразительностью художник достигает монументальности звучания. Картина воспринимается не как камерное полотно, а как обобщенный образ отчаявшейся нищей Америки.

Одиночество, отверженность, отчаянье — тем важнее отстоять доброту, чуткость, надежду. Широкое признание снискало к себе доброе творчество Джеймса Уоткинса, проникнутое любовью к негритянским беднякам, сочувствием к их доле. Участник шести Ежегодных атлантических выставок — этот художник каждый раз удостаивался почетных наград. Когда смотришь на «Блюзы для гитары» Дж. Уоткинса, невольно вспоминается старый дядюшка Римус с его сказками. Лицо, изборожденное бесчисленными морщинами, кажется, его изнутри подсвечивает мелодия блюза, преображая старика: добрая лукавость, мудрость освещают его облик. Бережно доносит художник до зрителей обаяние своего дара — несмотря ни на какие испытания, просто радоваться жизни.

Разнообразно творчество негритянской Америки. Сегодня оно широко известно благодаря мастерам, получившим образование в колледжах и университетах. Но есть еще художники, которые, выражая душу своего народа, никогда не учились, которые рисуют на стенах, тротуарах, заборах негритянских гетто. Они пишут летопись бытия современной негритянской Америки без оглядки на западные традиции, согласуясь с собственным укладом жизни, с собственными представлениями и идеями. Эти художники пока что вне научного изучения и пристального внимания общества, они еще ждут признания своего места в искусстве современной Америки.

Ю. БОЛЬШАКОВА

◆

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

НРАВЫ ГРАБ-СТРИТ

Новый сатирический роман Тома Шарпа «Великое преследование», вышедший в издательстве «Секкер энд Уорбург», как пишет рецензент журнала «Лиснер» Джон Меллорз, высмеивает нравы Граб-стрит (месторасположение редакций журналов, газет и издательств), то есть нравы журналистов, писателей, литературных агентов, критиков всякого толка и, наконец, «всеядных» читателей, без разбора поглощающих предлагаемую им продукцию.

Главный герой книги — Френсик, представитель американской книжной корпорации, обладающий «поразительным чутьем на будущий бестселлер». Френсик отбирает произведения по продуманной системе: он отвергает все то, что могло бы удовлетворить Фрэнсиса Ливиса, известного английского критика нравственно-этической ориентации, и, наоборот, все то, что не попадает под критерии Ливиса, объявляется шедевром.

Сюжет романа строится вокруг анонимной рукописи, которую Френсик получает по почте и от которой приходит в полный восторг, так как «эта любовная одиссея не что иное, как грязная история отношений семнадцатилетнего юноши и восьмидесятилетней старухи». Френсик немедленно отсылает рукопись в Америку и выбирает, как пишет Том Шарп, «самого неграмотного издателя в мире». Сам же предвкушает «сумасшедшие доходы» от такой публикации. Однако возникает проблема автора. Френсик уговаривает молодого начинающего английского литератора, Питера Пайпера, полного самых высоких представлений об искусстве, последователя М. Пруста, Т. Манна и Ч. Диккенса, поставить под романом свое имя. За что он гарантирует Пайперу публикацию

В городе Барнстепл, графство Девоншир, прошла выставка новых работ известного художника Кена Спрага, включающая два десятка линогравюр, в которых художник откликается на события 1976—1977 гг. в различных странах мира. Газета «Морнинг стар» пишет об этих работах как об «оптимистической наглядной поэме, посвященной ряду пессимистических событий последнего года». Среди них — воспроизводимые здесь гравюры, рассказывающие о фашистском перевороте в Чили («Вива Альенде!»), а также о борьбе английских шахтеров. Заключительная выставка работ Кена Спрага состоится в Лондоне в конце этого года.

(Газета «Морнинг стар»)

его собственного романа, который, как замечает рецензент, «из-за чистоты мысли и чувства» был отвергнут многими издателями. Пайпер соглашается.

«Блистательно, зло и остроумно, — пишет Дж. Меллорз,— словом, так, как и подобает Тому Шарпу, описаны злоключения невинного Пайпера в Америке. Роман показывает несомненную эволюцию Тома Шарпа: его сатира, лишившись присущего ей ранее зубоскальства, стала гораздо действенней, обретя конкретные социальные цели».

БОЛГАРИЯ

РУССКАЯ И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В БОЛГАРИИ

За три с небольшим десятилетия народной власти в Болгарии, ставшей страной высокой социалистической культуры, особенно быстрыми темпами развивалось издательское дело. Только произведений болгарских писателей за период с 9 сентября 1944 г. по 1 января 1977 г., по данным Народной библиотеки им. Кирилла и Мефодия, было издано 12 707 общим тиражом 223 364 140 экз., в переводе на болгарский язык за этот период в стране были изданы художественные произведения писателей более чем 70 стран.

Особенно широко издаются книги русских и советских писателей — классиков и современников. Огромными тиражами для такой небольшой страны, как Болгария, выходят здесь произведения русских классиков: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, М. Ю. Лермонтова.

Наибольшей популярностью у болгарского читателя, по данным еженедельника «Литературен фронт», пользуются произведения Горького. За годы народной власти здесь вышло 95 отдельных изданий его произведений общим тиражом 1 606 895 экз. Первое место среди них занимает роман «Мать», выдержавший двадцать два издания.

Многократно издавались в Болгарии произведения Шолохова (в частности, «Поднятая целина» имела тринадцать изданий), А. Толстого, Маяковского, Эренбурга, Симонова, Гладкова, Федина, Катаева, Н. Островского, причем роман «Как закалялась сталь» выдержал девятнадцать изданий общим тиражом 520 625 экз.; произведения Паустовского, Фадеева (роман «Молодая гвардия» издавался одиннадцать раз общим тиражом 235 525 экз.), книги Б. Полевого, среди которых особенным успехом пользуется «Повесть о настоящем человеке».

Широко популярны у юных читателей Болгарии произведения детской и юношеской литературы (Гайдар, Маршак, Чуковский, Михалков). Общий их тираж превышает шестнадцать миллионов.

ВЕНГРИЯ

ПЬЕСА ДЮЛЫ ИЙЕША О ШАНДОРЕ ПЕТЕФИ

Широко известна в Венгрии книга писателя Дюлы Ийеша «Шандор Петефи», написанная им еще в 1936 году и с тех пор неоднократно переиздававшаяся. В 1974 году она вышла и в Советском Союзе в издательстве «Художественная литература». На основе этой книги Дюла Ийеш написал драму «Виновник торжества», в которой, как пишет журнал «Фильм, синхаз, мюжика», воспроизвел один из трудных моментов в жизни Петефи и создал образ поэта-революционера, не потерявшего веры в правое дело борьбы народа за свою свободу, когда на выборах в Национальное собрание летом 1848 года демократическая партия, которую он представлял, потерпела поражение.

В драме повествуется и о событиях, последовавших за

На снимке: актриса Илдико Хювешвёльди в роли Юлии Сендреи.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

выборами в Национальное собрание, воссоздается атмосфера широкого народного движения, рассказывается о том, что поэт в этот период создает и как осенью 1848 года вступает он в ряды венгерской революционной армии.

Неизменным другом и вдохновительницей Петефи в его революционной деятельности была его жена Юлия Сендреи. Образ этой женщины приобретает в пьесе особое звучание, отмечает критик журнала «Фильм, синхаз, мюжика».

Сейчас драму «Виновник торжества» поставил на телевидении режиссер Дердь Хинч.

ГДР

ПОЭТ УВЕ БЕРГЕР РАССКАЗЫВАЕТ

Газета «Нойес Дойчланд» поместила беседу с известным поэтом, лауреатом премии имени Бехера Уве Бергером.

На вопрос о том, как он пишет свои стихи, поэт ответил: «Главное для меня— связать поэзию с реальной жизнью, с какими-то определенными событиями. Много материала дают мне пу-

тешествия, во время которых я изучаю быт, обычаи страны, характеры людей. Недавно я был приглашен на Дни советской литературы в Казахстане. Перед поездкой я много читал об этой советской республике, но действительность оказалась неизмеримо богаче и интересней того, что я узнал из книг и справочников. Встречи с людьми, разговоры с ними, собственные наблюдения дали мне возможность создать новые стихи. Основное в этих стихах — жизнь народа, но я не отрицаю и роли чувств и эмоций, которые возникают у меня в процессе творчества. Я бы хотел, чтобы меня поняли правильно: я не против субъективности, а только против субъективизма или, еще точнее, за единство объекта и субъекта».

На вопрос корреспондента «Нойес Дойчланд» о новом сборнике стихов, над которым работает поэт, Уве Бергер рассказал: «Тематически этот сборник состоит из четырех разделов. Это стихи, посвященные истории от античности до наших дней, стихи, посвященные уже упомянутой поездке в Казахстан, стихи о проблемах и конфликтах нашей современности и стихи о любви. На последних мне хочется остановиться. Я не считаю, что они как-то особняком стоят в моем творчестве, как может показаться после моих рассуждений. Ведь главное в них — человек, его взаимоотношения с другими людьми, его самовыражение, его честь и достоинство».

ПЬЕСА ЭРИХА КЁЛЕРА

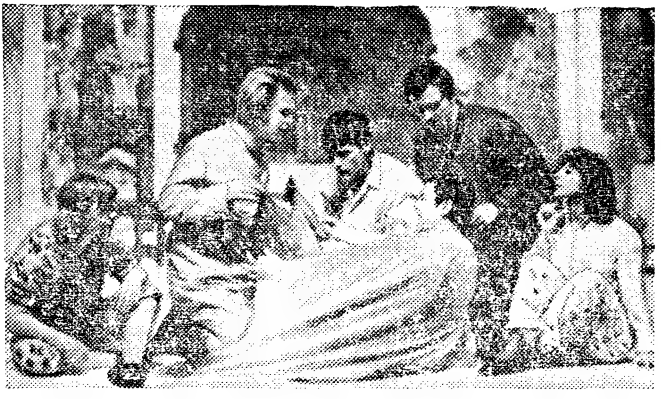
Известный прозаик Эрих Кёлер, недавно награжденный премией имени Генриха Манна (см. «ИЛ» № 8, 1977), на сей раз выступил в драматическом жанре. Его комедия «Маленькое привидение» успешно поставлена режиссером Вольфгангом Энгелем в берлинском «Театер дер фройндшафт».

В старом замке, в котором разместился детский дом, появляется привидение. Это Флориан, сын бывшего владельца замка, дух которого якобы до сих пор живет в подвале. По замыслу отца, Флориан должен помешать новым хозяевам замка и в конце концов заставить их покинуть его. Но неожиданно дело принимает другой оборот: Флориану очень нравятся ребята, он становится их приятелем и не хочет возвращаться в мрачное подземелье. Ярко и выразительно рисует автор характеры детей и взрослых, живущих в этом старом доме новой жизнью.

«Эрих Кёлер,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд»,— создал интересную, искусно построенную пьесу, в которой современная реальность переплетается с фантастикой. Пьеса полна юмора и тонкой иронии. «Маленькое привидение» — не только веселая комедия. Рассчитанная в основном на юных зрителей, она многому их научит и о многом заставит подумать».

На снимке: сцена из спектакля «Маленькое привидение».

(Газета «Нойес Дойчланд»)



ИНДИЯ

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ МУХАММАДА ИКБАЛА

В ноябре 1977 года в Индии, Пакистане и других странах будет отмечаться столетие со дня рождения великого поэта и философа Востока Мухаммада Икбала (1877—1938).

Подготовка к юбилею началась еще несколько лет назад. Был создан правительственный комитет. Проводились конференции, симпозиумы, публиковались различные материалы в периодических изданиях, готовились новые монографии и сборники статей о творчестве поэта. В начале юбилейного года эти публикации стали выходить в свет.

Академия урду штата Андхра-Прадеш в начале 1977 года опубликовала сборник «Мысль Икбала». В нем 12 статей, отражающих широту мировоззрения Икбала, его философских взглядов.

Среди авторов статей — видные поэты и исследователи поэзии Икбала Джаганнатх Азад и Али Сардар Джафри, литературоведы Аслуб Ахмад Ансари, Радж Бахадур Гор, Мухаммад Хасан и другие. Особое внимание авторов уделяется взглядам Икбала на социализм, его высказываниям об Октябрьской революции и Советском Союзе.

ЧЕЛОВЕК — НЕ ОСТРОВ

Журнал «Мейнстрим» опубликовал рецензию на книгу известного советским читателям современного индийского писателя Ходжи Ахмада Аббаса «Я — не остров», представляющую собой его автобиографию.

Фильм режиссера Тапана Синха «Жизнь, жизнь...», по мнению рецензента газеты «Джан юг», является счастливым исключением среди коммерческих фильмов, заполонивших экраны страны. В фильме поднимаются актуальные для современной Индии проблемы права человека на личное счастье вопреки всем отжившим традициям и установлениям. Рецензент отмечает отличную игру исполнителей главных ролей Сунила Датта и Вахиды Рахман (на снимке).

(Газета «Джан юг»)

Видный деятель прогрессивной литературы Индии, талантливый кинорежиссер Х. А. Аббас уже самим названием книги вступает в полемику с представителями той тенденции в индийском искусстве и литературе, которая пытается утвердить культ «абсолютной индивидуальности», изображать человека вне социальных связей и вне социальной ответственности, как своего рода «остров на реке».

Рецензент пишет: «Писатель раскрывает мир и себя с помощью динамических связей, которые он был способен установить с людьми и событиями своего времени. Он стал непримиримым антифашистом под прямым воздействием Неру... В книге Аббаса приводятся слова Неру: «Я убежден, что единственным ключом к решению мировых проблем и проблем Индии является социализм,— и я использую этот термин в его научном экономическом смысле... Социализм, таким образом, является для меня не просто экономической доктриной, которая мне нравится, это жизненное убеждение, которым полны моя голова и сердце». Эти слова Неру стали символом веры и для Х. А. Аббаса, подтвердившего его всем делом своей жизни, в том числе и своим вкладом в дело дружбы советского и индийского народов».

«ОЛЬСТЕРСКИЙ РОМАН»

Так англо-ирландские критики называют произведения, в которых осмысляется сложная политическая ситуация в стране.

К числу таких книг можно отнести романы Кевина Кейси «Мечтать об отмщении» (издательство «Фейбер энд Фейбер») и «Тени на нашей коже» молодой писательницы Дженнифер Джонстон (издательство «Хэмилтон»).

Сюжетную канву «Мечтать об отмщении», пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент» Р. Форстер, составляет рассказ о годе в жизни Майкла Уолдорна, школьного учителя, оставившего свой пост с тем, чтобы написать биографию Майкла Дэвита, известного ирландского политического деятеля начала XIX века.

Но события, описываемые в романе, острая политическая обстановка в стране втягивают Уолдорна в свой круговорот. Уолдорн, пытавшийся углубиться в изучение истории, сам оказывается непосредственным участником живой истории современной Ирландии, свидетелем уличных боев, взрывов бомб, полицейских облав. Трагедия Ирландии, переданная в книге, пишет рецензент, пересекается с личными трагедиями героев книги. Р. Форстер характеризует роман как «сильное и глубокое произведение... Это — повесть не только о двух городах, Белфасте и Дублине, но и о судьбах людей».

Напряженная, острая ситуация описана и в романе «Тени на нашей коже».

Особенность романа в том, что происходящее воспринимается глазами ребенка, невольного свидетеля и участника трагических событий.

«Действие развертывается на фоне ирландского сельского и городского пейзажа. Спокойствие и величие края,— пишет Р. Форстер,— часто нарушают английские

солдаты, обыскивающие дома, устраивающие облавы. Роман удачно соединяет социальную ангажированность с этической проблематикой».

Характерная черта ольстерского романа, по мнению рецензентов, — неизменное присутствие в нем политических мотивов, потому что острая обстановка в стране подчинила все сферы ирландской жизни, заставила ирландцев по-новому осмыслить проблему ответственности гражданина за судьбу своей родины.

ИТАЛИЯ

«АРМИЯ СЦИПИОНА» — РОМАН И ФИЛЬМ

Имя писателя Джузеппе Д'Агаты знакомо советскому читателю, а также и кинозрителю. У нас в издательстве «Прогресс» был опубликован перевод его сатирического романа «Дети Гиппократа» (название оригинала «Врач страховой кассы») и шел на экране созданный по этому роману фильм «Залог успеха» с комиком Альберто Сорди в главной роли. Д'Агата был также и автором сценария этой трагикомедии. В журнале «Иностранная литература» (№ 11, 1976 г.) появился перевод одного из последних произведений писателя — «Четверо повешенных на Пьяцца дель Пополо».

Недавно в Италии вышел третьим изданием роман Д'Агаты «Армия Сципиона». Это первое его крупное произведение, написанное в 1960 году и удостоенное тогда самой важной итальянской литературной премии — «Виареджо». Интерес к этому антифашистскому роману не ослабевает и теперь. В книге рассказывается о трагическом для итальянцев моменте истории: осени 1943 года, когда итальянская армия распалась, а вчерашние союзники — гитлеровцы — превратились в оккупантов и начали охоту за бывшими итальянскими солдатами. Именно тогда итальянские военнослужащие встали перед выбором: отправляться в немецкие концлагеря или уходить к партизанам. В центре романа — группа солдат во главе с майором по прозвищу Сципион, который пытается любой ценой спасти и сохранить свою маленькую «армию». Путь домой солдатам закрыт—страна перерезана надвое линией фронта и в Южную Италию им не попасть. Отряд Сципиона оседает в одном североитальянском городке, майор устанавливает связи с местными подпольщиками. Но военное воспитание, происхождение мешают этому смелому и антифашистски настроенному человеку до конца слиться с народным антифашистским движением...

«Считалось, что тема Сопротивления ушла в прошлое и никого больше не интересует,—говорит Д'Агата в одном из интервью.— Однако в связи с обострением политической обстановки в Италии, активизацией неофашистских сил, общей политизацией всей итальянской жизни она вновь оказалась в центре внимания. Руководство телевидения решило экранизировать роман «Армия Сципиона», а затем режиссер Джулиана Берлингуэр вместе со мною, как автором сценария, смонтировала киноверсию романа — двухчасовой одноименный фильм...» Фильм этот советские зрители уже имели возможность увидеть на X Международном кинофестивале в Москве.

Д'Агата считает, что работа в кино благотворно влияет на литературную деятельность. Это ценный дополнительный опыт для писателя — он помогает более глубоко и непосредственно раскрыть механизмы, которые управляют повествованием.

В активе Д'Агаты-кинодраматурга — помимо «Залога успеха» и «Армии Сципиона» — сценарий сатирической антимилитаристской комедии «Генерал спит стоя» (фильм поставил режиссер Франческо Массаро). В проекте — экранизация собственного гротескового антиклерикального рассказа, герой которого священник. Что касается литературных планов писателя, то Д'Агата намерен издать сборник рассказов разных лет. Несколько месяцев назад вышел новый роман Д'Агаты «Доктор», в котором автор вновь обращается к главной теме своего творчества — обличению фашизма во всех его формах.

КОЛУМБИЯ

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА «АЛЕФ»

Исполнилось 10 лет со дня выхода в свет первого номера журнала «Алеф». Этот журнал, издающийся в Маниcалесе Национальным университетом Колумбии, посвящен вопросам культуры, литературы и образования.

В юбилейном номере журнала его издатели Карлос Энрике Руис и Лусиано Мора Осехо вспоминают о том, как создавалось их литературное детище. По их словам, идея издания журнала, когда не было для этого ни средств, ни помещения, считалась истинным донкихотством, однако группа студентов и преподавателей, горячо любящих национальную культуру, стремящихся приблизить ее к народу, сумела преодолеть трудности. Она создала на добровольных началах «бюро пропаганды культуры», на базе которого и был позднее создан журнал. Из-за финансовых затруднений выпуск «Алефа» временно прекратился, но с 1971 г. он вновь стал регулярно выходить в свет.

Поздравляя своего колумбийского собрата с юбилеем, кубинский журнал «Каса де лас Американас» отмечает его вклад в борьбу за освобождение Латинской Америки от влияния империализма в области культуры.

КУБА

ПРЕМИИ «КАСА ДЕ ЛАС АМЕРИКАС»—77

В январе каждого года в Гаване проводится латиноамериканский литературный конкурс по жанрам романа, рассказа, эссе и поэзии. В состав жюри входят известные писатели и авторитетные критики двух Америк, а майский номер журнала «Каса де лас Америкас» сообщает имена победителей.

В этом году первое место по жанру романа было единодушно присуждено сальвадорскому писателю Манлио Аргете за роман «Красная Шапочка в «красной зоне», второе — Хорхе Мусто из Уругвая за его роман «Пассажир».

В жанре рассказа стал победителем Гильермо Самперио из Мексики, представивший на конкурс рассказ «Атмосфера страха».

По жанру драматургии жюри присудило первое место пьесе «Ла Симона». Автор ее — кубинец Эухенио Эрнандес Эспиноса. Лучшим репортажем года жюри «Каса де лас Америкас» признало материал, который представил на конкурс чилиец Анибал Кихада Серда,— «За колючей проволокой». Премию за биографический очерк «Дни и труды Л. Э. Рекабаррена» получил чилийский писатель и историк Алехандро Виткер.

ПОЛЬША

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Как сообщает газета «Трибуна люду», на книжном рынке Польской Народной Республики большим успехом пользуются книги Государственного издательского агентства (ПАВ), выпускаемые специально к шестидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции.

Из месяца в месяц на книжных прилавках появляются новинки, рассказывающие о нынешнем дне и о перспективах развития Советского Союза. С интересом польские читатели ждут завершения выпуска шеститомника «СССР — сегодня и завтра».

Вниманием читателей пользуется книга Тадеуша Буткевича и Анджея Смиша «Польские солдаты Октября», рассказывающая об участии польских революционеров в становлении Советской власти.

О совместной борьбе польского и русского пролетариата рассказывает «Портфель с документами», представляющий собой копии хранящихся в архивах документов.

Издательство готовит также к выпуску сборники репортажей и очерков польских и советских журналистов о жизни советских республик.

«ПОСЛЕДНИЙ КРУГ»

На польском телевидении режиссером Кшиштофом Рогульским создан фильм «Последний круг» о последних месяцах жизни Януша Кусочинского, знаменитого бегуна, олимпийского чемпиона и патриота, расстрелянного гитлеровцами в Пальмирах. Пальмиры в Польше — место массовых казней польских патриотов, они стали символом борьбы и мученичества поляков. В память Кусочинского ежегодно проводятся международные легкоатлетические соревнования — мемориал Я. Кусочинского.

На снимке: Мариуш Бенуа в роли Януша Кусочинского в фильме «Последний круг».

(Газета «Жиче Варшавы»)

В трагические, мрачные и страшные дни оккупации Януш Кусочинский включился в активную борьбу против захватчиков. Работая кельнером в ресторане, он доставлял туда конспиративную прессу, пытался создать там ячейку Союза вооруженной борьбы. Уже было назначено первое конспиративное собрание у него на квартире. Но когда он вошел в ворота своего дома, его схватили и бросили в тюрьму.

Избитый, истерзанный пытками, он не выдал никого из товарищей. Гестаповцы перевозили Кусочинского из тюрьмы в тюрьму, допросы проводились ежедневно. 21 июня 1940 г. Януш Кусочинский вместе с другими польскими патриотами был расстрелян в Пальмирах.

Как пишет газета «Жиче Варшавы», «фильм режиссера Кшиштофа Рогульского «Последний круг» несомненно станет выдающимся явлением».

США

НЕЛЕПАЯ ЖИЗНЬ — НЕЛЕПАЯ СМЕРТЬ

В издательстве «Саймон энд Шустер» вышел роман «Молитвенник», принадлежащий перу молодой романистки Джоан Дидион. Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» поместил статью Джойс Кэрол Оутс, в которой известная писательница дает высокую оценку этому третьему по счету роману Дидион. Оутс пишет, что в новой книге Дидион вновь обращается к «своей» проблеме — проблеме взаимоотношений «отцов и детей» в Америке.

Шарлотта Дуглас, главная героиня романа, по словам Оутс, не в состоянии объяснить своей дочери, восемнадцатилетней Мэрин, «правила игры» — не может научить ее правильно ориентироваться в сложной, противоречивой, подверженной острым социальным потрясениям жизни современной Америки. Это приводит к тому, что Шарлотта теряет свою дочь. Мэрин попадает в компанию молодых людей, которые, вообразив себя «революционерами», закладывают бомбу в одном из учреждений Сан-Франциско, а затем угоняют пассажирский самолет и сжигают его. Во время этого «революционного» мероприятия Мэрин исчезает, и Шарлотта отправляется на ее поиски.

Дидион не останавливается подробно на судьбе Мэрин: для нее не это главное. Писательница сосредоточивает внимание на Шарлотте Дуглас, доказывая, что именно она повинна в исковерканной судьбе дочери, что не только Мэрин, но и ее мать не понимает современную жизнь. Шарлотта выросла в благополучной семье, пишет Оутс, у нее всегда было чистое белье, свежая отбивная на обед, она всегда была окружена заботой родителей. И жила она постоянно словно «во сне», отгородившись от окружающей жизни высокой стеной. По словам Оутс, Шарлотта вряд ли смогла бы показать на контурной карте мира даже самые крупные государства. У нее смутное представление и об истории своей страны, о политических событиях, происходящих в мире. За два года учебы в университете она один-единственный раз переступила порог библиотеки — когда там открылась выставка прикладного искусства. «Зная, что в мире всегда что-то происходит, и будучи уверена, что все всегда кончается хорошо,— пишет Оутс,— она считает себя далекой от политики. А на самом деле Шарлотта попросту отказывается признать тот факт, что и она в какой-то мере к политике причастна: ведь она знает, что ее муж, преуспевающий адвокат, занимается контрабандной торговлей оружием».

Отправляясь на поиски Мэрин, Шарлотта попадает в небольшую центральноамериканскую страну Бока-Гранде. Эта страна полностью оторвана от всего мира. У нее нет своей истории, ее жители, не думая о завтрашнем дне, живут лишь днем сегодняшним, забывая о нем, как только он отойдет в прошлое. После многочисленных гротескно-комических приключений в Бока-Гранде Шарлотта погибает от выстрела в спину. Ее смерть нелепа, констатирует Оутс, она так же случайна, как «случайна» ее жизнь — жизнь, прожитая «под колпаком».

Писательница, создавшая образ Шарлотты Дуглас, осуждает, по мнению Оутс, позицию социальной индифферентности, оторванность от жизни, пренебрежение насущными проблемами современности. «Немногие писатели в наше время описывают гротескно-ужасные события с такой серьезностью, как это делает Джоан Дидион,— пишет в заключение Дж. К. Оутс.— Проза ее иронична, но в этой иронии отчетливо слышится опасение и беспокойство по поводу того, что, иронизируя, осуждает писательница».

ФРАНЦИЯ

А. СТИЛЬ — ЧЛЕН АКАДЕМИИ ГОНКУРОВ

Академия Гонкуров в составе Эрве Базена, Франсуазы Малле-Жорис, Армана Лану, Эммануэля Роблеса, Робера Сабатье, Армана Салакру выбрала двух новых членов вместо умершего Раймона Кено и подавшего в отставку Бернара Клавеля. Ими стали известные французские писатели Франсуа Нурисье и Андре Стиль.

Общественность страны, пресса оживленно комментировали это событие, прежде всего избрание писателя-коммуниста Стиля, творчество которого буржуазная Франция долгие годы признавать не желала. «Юманите», главным редактором которой Стиль был с 1950 года по 1959-й и где он ведет сейчас литературную рубрику, поместила большую статью Андре Вюрмсера, посвященную творческому пути писателя. Вюрмсер пишет, что до Стиля французская литература XX века «игнорировала рабочих», что книги писателя, начиная с его первого сборника рассказов «Это гордое слово «шахтер», товарищи!» (1949), который теперь может показаться «немного дидактическим», представляют собой своеобразную социальную историю современной Франции.

Отличительной чертой Стиля Вюрмсер считает и то, что он, как никакой другой писатель, любит своих героев, хотя и не лакирует их. В статье отмечается большое писательское мастерство Андре Стиля — «в его языке переплетаются внутренний монолог и повествование, литературный язык и разговорный, его массовые сцены заставляют вспоминать Эйзенштейна».

Вюрмсер, многолетний товарищ Андре Стиля по «Юманите», приветствует членов Гонкуровской академии, отказавшихся от прежнего отношения к творчеству писателя-коммуниста и «сумевших вчитаться в произведения лучшего новеллиста нашего времени».

СТИХИ ПАБЛО ПИКАССО

Поклонники творчества Пабло Пикассо ждут появления книги его стихов. Книга эта выйдет в одном из парижских издательств, как только окончательно будет улажен вопрос о наследстве художника. Незадолго до смерти Пикассо поручил своему давнему другу, видному кубинскому писателю Алехо Карпентьеру, перевести его стихи, написанные по-испански, на французский язык.

Как сообщил А. Карпентьер в интервью мадридскому журналу «Куадернос пара эль диалого», книга откроется большой поэмой Пикассо «Погребение графа Оргаса». Стихи Пикассо представляют собой поэтические раздумья художника о вечных проблемах жизни и смерти, любви, радости и творчества.

Режиссер Александр Джорджевич по сценарию Драгана Марковича снимает вторую серию телевизионного фильма «Обреченные». В первой серии повествуется о разгроме югославской армии в 1941 г. Во второй серии, которая называется «Возвращение обреченных», рассказывается о молодых белградских подпольщиках, которые становятся опытными бойцами, об их участии в борьбе за освобождение Белграда от гитлеровских оккупантов. Премьера фильма состоится в конце текущего года.
На снимке: исполнители главных ролей Злата Нуманачич и Воислав Брайович.

(Газета «Политика»)

ЮГОСЛАВИЯ

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКИ СЕРИИ «ЗНАМЕНИТЫЕ СЛОВЕНЦЫ»

Издательство «Партизанская книга» выпустило первые четыре книги из серии «Знаменитые словенцы». В этой серии, которая выходит под редакцией академика И. Видмара, принимают участие видные ученые, литературоведы и искусствоведы.

Вышедшие из печати книги представляют собой монографии, посвященные основоположнику словенской литературы П. Трубару, классику словенской литературы Ф. Прешерну, известному ученому-слависту Е. Копитару и художнику Я. Ю. Шубичу, творчество которого оказало значительное влияние на развитие словенской живописи XIX века. Предполагается, что всего в этой серии выйдет около 70 книг, посвященных выдающимся деятелям словенской культуры.

ПЕРВЫЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ИВО АНДРИЧА

В 1975 году умер всемирно известный югославский писатель лауреат Нобелевской премии Иво Андрич. После его смерти, как сообщает газета «Борба», было создано Правление андричевского фонда, которое в первый же год своей деятельности осуществило ряд значительных мероприятий. Был заключен договор с несколькими югославскими издательствами — «Просвета» (Белград), «Светлост» (Сараево»), «Младост» (Загреб), «Држава заложба Словение» (Любляна) и «Мисла» (Скопле) на издание собрания сочинений Андрича в 16-ти томах, вышедшего в свет в конце 1976 года. В настоящее время оно печатается в переводах на словенский и македонский языки.

Определенные успехи достигнуты в распространении произведений Иво Андрича за границей. В Дании готовится издание «Травницкой хроники», в Финляндии скоро выйдет в свет новелла «Слон визиря». Подписаны договоры на издание романов «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине» на польском языке и сборника рассказов Андрича на французском языке. Вышедший из печати неоконченный его роман «Омер-паша Латас» также вызвал интерес иностранных издателей.

В октябре прошлого года в Белграде состоялось торжественное открытие Мемориального музея, где собраны материалы, посвященные жизни и творчеству писателя. Недавно впервые была присуждена ежегодная премия имени Иво Андрича за лучший сборник рассказов, которую получил Драгослав Михаилович за книгу «Венок Петрии». Правление андричевского фонда активно сотрудничает с музеями, школами, библиотеками и другими организациями, носящими имя знаменитого югославского писателя. В настоящее время готовится первый выпуск «Ежегодника», куда войдут произведения из рукописного наследия писателя и работы о нем, созданные в различных странах мира.

◆

Авторы этого номера

■

ВЛАДИМИР ЧЕРКЕЗ — VLADIMIR ČERKEZ (род. в 1923 г.).

Югославский поэт, романист, драматург, общественный деятель. Автор книг стихов «На лугах» («Na livadama», 1948), «Майская лирика» («Majska lirika», 1949), «Розы в буре» («Ruže u oluji», 1951), «Кровь и желания» («Krv i žudnje», 1958), «Пора созревания» («Doba zrenja», 1965); романов, в основном об антифашистской борьбе: «Нет возврата» («Bez povratka», 1955), «Солнце в дыму» («Sunce u dimu», 1958), «Арена» («Arena», 1961), нескольких киносценариев, книг для детей и радиопьес.

Публикуемые стихи взяты из журнала «Odjek» (ноябрь, 1976).

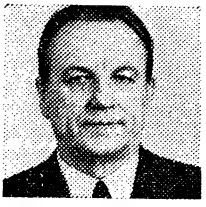
■

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОБЕРТ ИВАНОВИЧ

(род. в 1932 г.).

Советский поэт. Печатается с 1950 г. Автор более пятидесяти книг стихов, вышедших на русском языке, языках народов СССР и за рубежом. В последние годы вышли сборники стихов «За двадцать лет» (1973), «Линия» (1973), «Возвращение» (1974), «Голос города» (1977). Переводит поэтов советских республик и зарубежных, выступает со статьями о поэзии.

■



ДАШКЕВИЧ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(род. в 1913 г.).

Советский литературовед, переводчик произведений писателей Латинской Америки. Печатается с 1933 г. Автор работ о творчестве Х. Марти, А. Карпентьера, Х. Маринельо, Н. Гильена, М. А. Астуриаса, П. Неруды, Ж. Амаду, М. Отеро Сильвы, А. Н. Понсе, Х. Саламеа, К. Фуэнтеса, других прозаиков и поэтов. В его переводах издавались, в частности, произведения М. А. Астуриаса, Х. Б. Альберди, А. Юнке, Л. Э. Дэлано, Р. Амайа Амадора, К. Л. Фальяса.

Вице-президент Общества «СССР—Мексика», член правления Советской ассоциации дружбы и культурного сотрудничества со странами Латинской Америки, член Советского комитета солидарности с чилийскими демократами. За многолетнюю деятельность в области латиноамериканистики правительством Венесуэлы награжден орденом Андреса Бельо I класса.

■

АНДРЕЙ ПЛАВКА — ANDREJ PLÁVKA (род. в 1907 г.).

Словацкий поэт и прозаик. Народный художник ЧССР, председатель Союза словацких писателей; был участником Словацкого национального восстания 1944 года.

Стихи и поэмы Л. Плавки составили несколько сборников. За поэтическую книгу «Липтовская свирель» («Liptovská píšťala», 1959) поэт был удостоен премии имени Клемента Готвальда. Перу Л. Плавки принадлежат также произведения в прозе: роман «Обращение Павла» («Obrátenie Pávla», 1962), автобиографическая книга «Жаждущий влюбленный» («Smádny milenec», 1972; в «Иностранной литературе» № 10—11 за 1972 г. она была опубликована в журнальном варианте под названием «Влюбленный в жизнь»). За эту книгу автору также была присуждена премия К. Готвальда.

Советским читателям творчество Л. Плавки знакомо и по многочисленным публикациям его стихов, рассказов, статей и очерков в нашей периодической печати. В 1974 г. вышла книга «Стихи и поэмы», куда вошли переводы произведений поэта разных лет. В разделе «Среди книг» этого номера печатается интервью с писателем под названием «Поэзия родного дома».

Мы предлагаем вниманию читателя вторую книгу мемуаров А. Плавки — «Полная чаша» («Plná čaša», Bratislava, Slovenský Spisovatel, 1976) в журнальном варианте.

■

АРОСЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Советский переводчик чешской и словацкой прозы. В ее переводе выходили книги Владислава Ванчуры, Карела Чапека, Марии Пуймановой, Марии Майеровой, Петра Илемницкого, Владимира Минача и др.

■

В рубрике «Литературное наследие» публикуются стихи китайских поэтов танского времени (618—907): Мэн Хао-жаня, Лю Цзун-юаня, Лю Юй-си и Бо Цзюй-и (подробнее о них в предисловии Л. Эйдлина). Стихи взяты из изданных в Китае «Собраний сочинений», включенных в «Цюань тан ши» — Полное собрание танских стихотворений (последнее издание — Пекин, 1960). Публикация сопровождается рисунками художника Шангуань Чжоу (род. в 1665 г.).

■

ЭЙДЛИН ЛЕВ ЗАЛМАНОВИЧ

(род. в 1910 г.).

Советский литературовед и переводчик, доктор филологических наук, профессор. Автор книг и статей по истории китайской литературы, а также статей о китайском театре и о проблеме перевода. Л. Эйдлину принадлежат переводы китайской и вьетнамской классической и современной поэзии.

■

РАДКО ПЫТЛИК — RADKO PYTLIK

(род. в 1928 г.).

Чешский литературовед и критик, кандидат филологических наук, занимается историей чешской литературы XX века, проблемами стилистики и теорией комического. Автор книг о Ярославе Гашеке: очерка творчества «Ярослав Гашек» («Jaroslav Hašek», 1962), монографии «Бродячий гусенок» («Toulave house», 1971) и ряда статей. Р. Пытлик — председатель чешского Общества друзей Ярослава Гашека.

Статья «Роман, обращенный к сегодняшнему дню» получена редакцией в рукописи.

■

ГОРДЫШЕВСКАЯ МИРА ТОБИАНОВНА

Советский литературовед и критик. Автор статей по вопросам английской и американской литератур, опубликованных в книжных изданиях и в периодике. Ей принадлежат комментарии к произведениям Томаса Гарди, Уильяма Морриса, Герберта Уэллса. Работы М. Т. Гордышевской неоднократно печатались в «Иностранной литературе».

ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Советский литературовед, переводчик, редактор. Кандидат филологических наук. Автор статей, посвященных творчеству известных французских поэтов XX века: Робера Десноса, Поля Элюара, Тристана Тцара, Пьера Юника, Эжена Гильвика и др.

Как член правления Общества «СССР—Франция» ведет активную работу по расширению культурных связей между СССР и Францией.

СТОЯНОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Советский публицист, автор статей и репортажей по вопросам современной зарубежной литературы и кино, составитель сборников документальной прозы писателей социалистических стран «Писатель и современность» (1974) и двухтомника «Я видел будущее. Зарубежные писатели о Советском Союзе» (1977). В «Иностранной литературе» (№ 6, 1976) опубликована ее работа «Жизнь писателя — повесть об ответственности».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5/VIII 1977 г. А 10631. Подписано в печать 6/IX 1977 г.
Бумага 70 × 108¹/₁₆ = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,80.

Тираж 595.000 экз. (1-й завод 1—450.000 экз.) Зак. 2404.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ДЖЕЙМС УОТКИНС (США). Блюзы для гитары

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К нашим читателям!

В 1978 ГОДУ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ:

ГИЛЬЕРМО АТИАС (Чили).
Против течения
ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ (Болгария).
Барьер
ТИБОР ДЕРИ (Венгрия).
Милый папочка
ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН (ФРГ).
Юность
ЯН КОЗАК (Чехословакия).
Гнездо аиста
АЛЬБЕРТО МОЛИНА (Куба).
Люди безмолвия
МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ (США).
Унесенное ветром
ДРАГОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (Югославия).
Венок Петрии
ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия).
Последний взгляд
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония).
Объяла меня вода
РЕНЕ-ВИКТОР ПИЛЬС (Франция).
Обличитель
ДЖОЗЕФ ХЕЛЛЕР (США).
Что-то случилось
СЬЮЗЕН ХИЛЛ (Англия).
Я — хозяин в своем замке
КИПРИАН ЭКВЕНСИ (Нигерия).
Переживи мир